

КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTIŅENTS MANDER КОНТИНЕНТ

86



У каждого прохожего были в руках сумки, портфели, дипломаты, авоськи. Сергей Васильевич представил вдруг, что этот каждый тоже несет по сорок миллионов, а именно такая сумма была, видимо, в его авоське, и ему перестало быть страшно.

Юрий Кувалдин



**Странно споры происходят
Между сердцем и умом:
Человек себя находит,
Странствуя в себе самом.**

**Тихо движется иль ходко,
Тяжело иль без труда, —
Окончательной находка
Не бывает никогда.**

Семен Липкин



Владимиру Ильичу очень нравился «точный ответ» Нечаева на вопрос, кого надо уничтожить из царствующего дома, — «Всю большую ектинью». Бывший очень религиозный мальчик тотчас понял, о чем речь: в церкви на великой ектинье поминали весь дом Романовых...

Юрий Давыдов

... И я понял, что этот кредит применяется просто для того, чтобы какая-то группа чиновников смогла приватизировать часть самых выгодных, самых аппетитных кусков нашей экономики в своих собственных интересах...

Владимир Виноградов



Ушла эпоха. И Игорь Дедков ушел вместе с нею. Это совпадение двух уходов не кажется случайным. Дедков был прочно укоренен в своем времени. Его литературная биография связана с судьбой поколения 60-х...

Евгений Ермолин



**В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 1996 ГОДА (№№87 И 88)
В ЖУРНАЛЕ «КОНТИНЕНТ» БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ:**

Новые стихи:

**Натали Горбаневской
Юрия Кублановского
Марины Кудимовой**

**Владимира Салимона
Владимира Соколова
Олега Чухонцева**

Драма **Иона Друцэ** «Падение Рима»
Повесть **Марианны Веховой** «Бумажные маки»
Повесть **Сергея Каледина** «Тахана Мерказит»
Новая повесть **Михаила Кураева**
Повесть **Юрия Малецкого** «Любью»
Повесть **Евгения Федорова** «Смена вех»

Новые рассказы:

**Василия Аксенова
Сергея Бабаяна
Ольги Бутенко**

**Юлия Крелина
Владимира Макакина
Евгения Попова**

В разделе «РОССИЯ»

«Интервью с самим собой» **Сергея Аверинцева**
Статья философа **Юрия Н. Давыдова** «Гомо экономикус»
Новая статья **Ларисы Пияшевой** об экономической ситуации
в сегодняшней России
Цикл эссе «Наш век» **Марка Харитонова**

В разделе «ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ»

Документы из Ярославского архива о ярославском восстании 1918 г.
Публикации из архива «Континента» («парижского» — 1974—
1992), а также воспоминания и эссе о Владимире Максимове —
Беллы Ахмадуллиной и Бориса Мессерера, Андрея Битова, Вла-
димира Буковского, Игоря Виноградова, Татьяны Максимовой

В разделе «РЕЛИГИЯ»

Статья **Сергея Аверинцева** о митрополите Суражском Антонии
Статья **Александра Кырлежева** «Поствизантийская церковь»
Очерк **Зои Маслениковой** «Неизвестные речения Иисуса и ново-
заветные апокрифы в современной богословской литературе»

(Далее см. с. 3 обложки)

Замечательному русскому писателю, автору нашего журнала Юрию Владимировичу Давыдову присуждена премия «Триумф» за 1995 год. Редакция «Континента» сердечно поздравляет дорогого лауреата и желает ему и впредь радовать всех нас — и читателей «Континента» — вдохновенными дарами своего прекрасного таланта.

Читайте новый очерк Ю.В. Давыдова «Победитель»
в этом номере.





**Финансирование
типографского и редакционно-издательского процесса
выпуска журнала «Континент» обеспечивается
ИНКОМБАНКом**

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*

Выходит 4 раза в год

МОСКВА • ПАРИЖ

86

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Издатели:

Редакция журнала «Континент»
Ассоциация друзей журнала «Континент» (Париж)
Издательство «Московский рабочий»

Учредитель — И.И. Виноградов

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

**Адрес редакции: 101923, Москва,
Чистопрудный бульвар, 8.
Телефон: (095) 928-97-42
Факс: (095) 201-57-41**

**Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает**

**При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна**

**Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат**

**Редакция пользуется автомобилем «Москвич»,
предоставленным АО «МОСКВИЧ»**

© ТОО «Журнал «Континент»

© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Василий АКСЕНОВ

Виктор АСТАФЬЕВ

Ценко БАРЕВ

Александр БЛОК

Армандо ВАЛЬЯДАРЕС

Галина ВИШНЕВСКАЯ

Георгий ВЛАДИМОВ

Ежи ГЕДРОЙЦ

Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ

Пауль ГОМА

Алла ДЕМИДОВА

Ион ДРУЦЭ

Андрей ЗУБОВ

Вячеслав ИВАНОВ

Фазиль ИСКАНДЕР

Оливье КЛЕМАН

Роберт КОНКВЕСТ

Наум КОРЖАВИН

Эдуард КУЗНЕЦОВ

Александр КЫРЛЕЖЕВ

Николаус ЛОБКОВИЦ

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ

Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ

Жорж НИВА

Амос ОЗ

Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ

Лариса ПИЯШЕВА

Виктор СПАРРЕ

Витторио СТРАДА

Карл-Густав ШТРЕМ

Юлиу ЭДЛИС

Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

- Израиль** Юлия Эйдельман
Nashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375
- Италия** Джулия Филиппелли
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (2) 86-45-47-23
- Канада** Ольга Бутенко
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎ /fax (418) 688-1221
- США** Эдуард Лозанский
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010, fax (202) 667-4244
- Франция** Татьяна Максимова
5 rue Chalgrin, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56
- Швейцария** Жан-Филипп Жаккар
104 rue de Carouge
1205 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 321-4052
- Юрий Гальперин
Scheuermattweg 14
3007 BERN, SUISSE
☎ (31) 459-463
- Нелли Биуль-Зедгинидзе
1227 Carouge
GENEVE, SUISSE
☎ (22) 301-10-86

СОДЕРЖАНИЕ

Валерия АЛФЕЕВА Пасха таинственная. <i>Рассказ</i>	9
Семен ЛИПКИН Странствуя в себе самом... <i>Стихи</i>	32
Зинаида ГИППИУС Моя первая любовь. <i>Рассказ</i>	37
Юрий КУВАЛДИН Замечания. <i>Повесть</i>	48
Владимир КОРОБОВ Крымские сонеты. <i>Стихи</i>	129
Израиль МАЗУС Березина. <i>Повесть</i>	134
Г. ПОМЕРАНЦ . О повести Израиля Мазуса «Березина» . .	227
Ольга КУЧКИНА Любовь Крандиевского к Алисе. <i>Маленькая повесть</i>	230
РОССИЯ	
Юрий ДАВЫДОВ Победитель. <i>Очерк</i>	268
Через пять и через сорок лет?.. (Беседа с Президентом АБ «ИНКОМБАНК» В.В. Виноградовым).	329
ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ	
Яков КРОТОВ История попа Андрея	343
РЕЛИГИЯ	
«Да будет все едино» (По материалам V Международной конференции памяти протоиерея Александра Меня)	377
Ив АМАН Кесарю кесарево, а Божие Богу (К вопросу об отношениях между Церковью и государством)	378

Игумен Вениамин (НОВИК)	
Христианство и демократия	385
Владимир ИЛЮШЕНКО	
Христианство и этническое православие.	397
Михаил МЕНЬ	
Уйти от «случайностей»...	412

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Евгений ЕРМОЛИН	
Провинциал (Игорь Дедков и его литературное поприще).	414

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»	428
--	-----

ПАСХА ТАИНСТВЕННАЯ

Рассказ

Зеленый сумрак нисходит от старых тополей на церковный двор, заросший травой и желтыми одуванчиками. Тополя стоят двойным строем вдоль всей ограды, неподвижные в угасающем закатном свете. Поздняя заря еще золотит острия длинных чугунных пик и отсветами пожара горит в верхних окнах храма.

Мы с отцом Александром сидим у ограды, и я вижу над полем одуванчиков высокую, до верхушек деревьев, в три оконных пролета один над другим каменную стену, литые решетки на полыхающих окнах. Скат крыши и тяжелый купол выкрашены, как и ограда, зеленым, и огромный белый храм празднично светится в этом темном обрамлении и в окружении тополей. И белеет куст черемухи, разливая горчащий нежный запах.

— На всю область оставались две церкви: одна в городе, другая эта, в Двуречках, Всех Скорбящих Радости... — тихо продолжает батюшка. — Хотели и ее закрыть. Председатель запретил чинить крышу. Осенью дождь льет, как сквозь решето. Зимой оклады икон покрываются инеем, — цер-

**Валерия
АЛФЕЕВА**

— родилась в г. Пителино Рязанской области. Окончила факультет журналистики МГУ. Автор книги «Цветные сны (Атлантические дневники и рассказы)» М., 1978, повестей «Джвари» («Новый мир», 7-1989), «Призванные, избранные и верные» («Москва», 4-1991), путевых очерков «Паломничество на Синай» («Москва», 10, 11-1994), «У Мамврийского дуба» («Континент», 83-1995) и «Великая лавра Саввы Освященного» («Москва», 7-1995). Живет в Москве.

ковь летняя, не отапливается. Затем и перекрыть не давали, чтобы объявить храм непригодным для богослужения и закрыть...

А храм, видите, какой дивный... в прошлом веке построен и еще два века простоит. На колокол собирали деньги по всем окрестным деревням. Потом впрягались в веревки, тоже всем миром... целый месяц тащили его волоком от железной дороги по полям и оврагам. А когда подняли, зазвонили в первый раз — на несколько верст звон был слышен, чистый, гулкий... Теперь уж нет колокола... Когда стали в округе крушить церкви, тракторами сворачивать, нашу не тронули. Может, сил не хватило, очень надежно была построена... да и большая, с наскака не сокрушишь... Только колокол сбросили. До сих пор осколки в земле лежат, погребены у церковной стены...

Крышу, однако, стали мы настилать... *тайно образуя*, по ночам. Благословил я наших мужиков, и полезли на колокольню. Постукивали потихоньку до зари. Все боялись, не сорвался бы кто, не сломал бы голову впотьмах. Тогда уж и меня отправил бы председатель в места отдаленные... Только Господь нас иначе рассудил. Вдруг прикатило начальство из обкома — на поля, да рано приехали, он опохмелиться не успел. Лег на меже и стал умирать... и умер бы, если бы не подошли местные, — догадались послать за самогоном... Ну, пока из области привезли другого, мы и крышу перекрыть успели, уже днем работали, не таясь... И отремонтировали храм, покрасили... Только уполномоченный, Лютов, тогда уже на меня зло затаил. «Погоди, — грозил мне пальцем, — мы тебе все в свое время припомним... Будешь знать, как советскую власть водить за нос...»

— Это что же, прозвище у него такое, Лютов?

— Нет... Исконная фамилия, родовая... — засмеялся батюшка. — Правда, может, в прошлых поколениях и прозвище было, потом привилось... Вскоре мы с ним из-за доски столкнулись... Еще с русско-японской войны висела в храме мраморная доска в память о воинах из окрестных сел... Только и была одна историческая реликвия, все перед ней свечи поминальные горели. Ну, как-то и утлядел на

ней уполномоченный надпись: «За веру, царя и Отечество голову положивших...», велел доску снять за проповедь монархизма. Народ-то ко всему уж притерпелся, а тут вдруг ни в какую: «Не дадим, — говорят, — наших отцов и дедов, за отечество голову положивших, Лютому на поругание...» Пошли по селам подписи собирать, в Москву ходоков посылали... Вроде, даже уполномоченному посрамление вышло, за ревность не по разуму. Опять мне минус...

Вдруг где-то совсем рядом, в черемухе, в нерасцветшей сирени защелкал, залился прозрачными трелями соловей. И так наполнился этими чистыми звуками затихший Божий мир, что выпеснила малая пташка из него уполномоченного, и мы с батюшкой как будто о нем забыли. Долго сидели в благоуханных весенних сумерках, слушали соловья.

Дом батюшки на окраине города, большой, старый, разросшийся вширь. Мы завтракаем в кухне с распахнутым в сад окном. Матушка Варвара в белом платке, под которым ярко чернеют глаза и брови, от плиты подает с шипящей сковородки блины, густо смазывая их сметаной. В стеклянном кувшине белеет на столе молоко, и ложка стоит в сметане, а творог расслаивается крупными свежими ломтями.

Положив лапы на подоконник, из-за окна следит за нами собака Барсик с чуткими ушами. И желтые бабочки влетают, кружатся, садятся на розетку с медом и вылетают в полосы солнечного света.

По будням службы нет, и батюшка долго сидит за чаем, одетый по-домашнему в клетчатую рубашку с застегнутыми даже на вороте пуговицами, с заправленной сзади под ворот косичкой. Лицо у него очень русское, простонародное, с плосковатой переносицей и широким носом.

Смотрим семейный альбом с наклеенными на серые листы выпцветшими фотографиями разного формата, с резьбой по краю. Вот Александр Васильевич лет тридцати, очень похожий на себя теперешнего — прямой пробор, наглухо застегнутая косоворотка.

— Это я чтецом в церкви... А тут Варвара Петровна в церковном хоре. Один я там был жених посреди цветника

чистых дев, вот и выбрал такую красавицу при своей неказистости...

А улыбается он всем лицом, щуря глаза и не размыкая губ, доверчиво и слегка смущенно.

— Да будет тебе... — отмахивается Варвара Петровна будто бы недовольно, тоже заглядывая в альбом.

И ее легко узнать в молоденькой курносой девушке с тонким выпрямленным станом, обтянутым белым шелком, — так же блестят глаза из-под кружевной накидки, ярко очерчены губы.

— Это я уже в подвенечном платье... сама вышивала, заранее, года два или три — светлыми шелками по белому шелку. Оно и теперь в сундуке лежит: будем выдавать кого-нибудь из девочек замуж, пригодится...

И девочки здесь, милые, с ясными глазами, сфотографированы порознь и все вместе: старшая Оля, уже студентка, Клава, Нина с замкнутым и грустным лицом над зажатой подбородком скрипкой, младшая улыбающаяся Леночка в школьной форме, с ямочками на щеках и бантиками в косичках. И единственный сын Миша, — теперь уже студент семинарии и иподиакон известного архиерея, — а на фотографии тоненький темноглазый мальчик в белом стихаре, с большой свечой. Он похож на ангела, стоящего, опустив длинные ресницы, у царских врат, — чистотой и молитвенной тишиной веет от его лица.

* * *

Все интересно мне в жизни отца Александра: я еще не знаю, — как это случается, что человек выходит из мира обыденности и становится священником? Мне кажется, что переход этот чудесен и таинствен, как появление из кокона бабочки с яркими крыльями в бархатистой пыльце.

И однажды он начинает рассказывать о своем детстве.

Как сослали его отца, священника, и больше о нем уже никто не слышал. Мать выгнали из дому с семьей детьми. И шли они зимой, в метели, по селам, просили милостыню. Двоих грудных детей мать несла на руках, за плечами на лямках тянула санки еще с двумя, постарше. Трое шли за

санями пешком, — он был из них самым старшим — одиннадцати лет. Далеко кругом по селам их знали и подавать боялись, тем более пустить в дом, и сами голодали люди, куда уж принять такую ораву. Грудные дети почти сразу умерли. Потом и мать умерла. Где-то потерялись братья и сестры, кого в детский приемник взяли, кого добрые люди...

В одиннадцать, двенадцать лет работать еще рано, а просить уже стыдно. Летом жил в лесу, подкапывал на полях картошку, пек на костре. К зиме в собачьем ящике под вагоном добирался в теплые края, воровал. В Сочи попросился в детский дом.

Трудно было батюшке произнести это слово: «воровал», но превозмог себя.

До этой поры его биография почти совпадала с детством моего отца, сына дьякона, только дьякон умер от голода при закрытой церкви в Поволжье, а жену его с детьми так же выгнали из дома.

— *Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба...* — выговорила я слова псалма, давно стоявшие в памяти неразрешимым вопросом.

— Неисповедимы суды Господни... воистину это страшная тайна. Даже Антонию Великому был ответ, чтобы он не исследовал эти суды, а внимал себе... — вздохнул отец Александр. — Один старец сказал мне: это особая благодать, когда Господь призывает к мученичеству.

— А если с детства... за что?

— Не «за что», а как сказано в притче о слепорожденном, чтобы на нас явлены были дела Божии... то есть, чтобы исполнился замысел Божий о каждом из нас. Судьба и закладывается с детства... все из него произрастает, как злак из семени.

— Как хорошо... — цветок прорастает из макового зернышка, бабочка — из кокона, душа — из замысла Божиего?

— Да... Так вот и я жил, и о Боге не помышлял... С пятнадцати лет был на заводе учеником, слесарем... А Бог обо мне помнил. И — в двадцать восемь лет — чудесно досталась мне одна книга... Несколько месяцев я ее читал,

и она всю мою жизнь осветила и перевернула... Потом я уже и школу экстерном кончил, и семинарию, духовную академию, но главное было сказано сразу — как в откровении...

— Какая книга?

— А вот погодите... — поднялся батюшка. — Сейчас покажу, может вы и не слышали...

Скоро он вернулся, прижимая рукой к груди книгу в твердом переплете, с золотым обрезом. Торжественно раскрыл ее на титульном листе с церковнославянским шрифтом, длинным силуэтом горы Афон и годом издания — 1892-ым.

Так в мою жизнь впервые вошел великий святой — Симеон Новый Богослов.

Три дня за дощатым столиком под сиренью в саду я читала его «Слова». И было это озарением, откровением, блаженством, потоком благодатного света, как будто раскрылось небо. А когда я закончила книгу, батюшка обиделся:

— Как вы быстро управились... Я-то его несколько месяцев читал, да потом всю жизнь перечитывал...

— И я буду перечитывать, и жизни не хватит... Просто я оторваться не могла.

— Не хватит... — согласился он. — К какой высоте Господь нас призвал, а мы пресмыкаемся в земном прахе...

— Вы-то в прахе? — улыбаюсь я. — У вас самое высшее служение, как говорит Александр Шмеман: священник, стоящий перед престолом Господним с воздетыми руками — символ высшего предназначения человека: он получает этот мир, как дар, и возвращает Богу в благодарении...

— ...во вселенской Евхаристии... Да ведь это Господь через нас низводит небо на землю... а с нас, грешных, Он за все стократ спросит... — смиренно возражает он. — Хоть бы то взять, что я двадцать лет со своей матушкой Варварой ругаюсь, пятерых детей вырастили, а все смириться друг перед другом не можем... Или, бывает, устанешь за день, приляжешь, поплачешь о своих грехах перед Господом, да так и уснешь, правило перед литургией не вычитав... А как

мы постимся? Хоть и без скоромного, помилуй Бог, а все есть... и картошечка, и щи... Так ли отцы в пустыне спасались?

— Вот, отец, может, обед-то в пятницу не готовить? — посмеивается матушка, вытирая тарелки. — А подам я тебе пять сушеных смокв и холодной водицы...

— Ты-то подашь... такого, что и не хочешь есть, а еще попросишь. Особенно, если блины постные заладишь, с селедочкой... соблазн и только. Хоть уж блины не пеки в постные дни, а то «смоквы»...

— А ты не срами себя зря... Что ж ты исхудал совсем, если такой чревоугодник? Плащ висит, как на вешалке...

— Так это от плохого характера, как ты сама справедливо и попрекаешь, — пища впрок не идет. Да и болонью эту ты купила на два размера больше... Надеялась, вырасту еще?

— Какой в магазин завезли, такой и купила, ведь никакого не было... А насчет характера — что правда, то правда... Никак не уймешься даже под старость лет... Вот хоть бы уполномоченному перестал досаждать. Другой бы ему тут бутылочку, там подарочек, глядишь, и оставит в покое... Сказано ведь — любить врагов своих...

— Своих, матушка, своих... а не врагов Церкви. Сколько они по Руси церковей позакрывали, людей развратили...

— Будет им подарочек, печать антихриста на правую руку... — непоследовательно соглашается она.

— Вот-вот, — кивает на нее батюшка... — Меня смиряет, а сама при встрече с Лютовым бровью не поведет... Да, жизнь вся вокруг искаженная, *кривое не сделаешь прямым*... Иногда сам не знаешь, то ли подвиг совершил во славу Божию, то ли великий грех... Однажды такая вышла со мной уголовная история... Я перед службой часто и ночевал в храме, чтобы зря не ездить по шестьдесят километров туда и обратно. Раз просыпаюсь глубокой ночью, слышу, стук, как будто стену ломают. Ну, спустился в придел, где раньше вторая дверь была, — ее заложили, но кладка-то не такая, конечно, как в толще стен. Там, и правда, долбят ломом. И голоса: трое. Тьма непроглядная, на версту вокруг никакого жилья. Затаился я, пока один полез в пролом, накинул

ему мешок на голову, втянул внутрь. Руки ему связал... Двое других шум услышали, испугались, не полезли. Сижу, жду рассвета... Взломщик мой связанный лежит на полу, рукам больно, грозитя: «Тебе, — говорит, — грех будет». — «Ничего, — говорю, — я покаюсь... А тебе подушку подложу. Тебе-то не грех церкви Божии грабить?» Не одолел бы я его, они бы и меня ломом... Утром сдал в милицию, куда уж они его определили, не знаю. А вспомнить жалко... Молось за него всегда, имени-то не спросил, — так, без имени поминую. Иногда думаю, пожалел бы его, отпустил, как святой Серафим разбойников, может, и этот покался бы?

— Или пошел бы другие церкви грабить... — говорит матушка.

— Или пошел бы... Развратили, споили народ, совсем он одичал, потерял себя: и образ Божий, и человеческий... А к Церкви власти такое отношение насаждали своим примером...

— У антихриста какой первый враг? — спрашивает меня матушка и сама отвечает: — Известное дело...

— Но вот вы спросили о праведнике оставленном... только и то истинно, что всем нам далеко до меры праведников... Может, потому и отцы наши страдали, и вся Церковь — за оскудение духа... Да и мы сами разве что только скорбями спасемся...

* * *

Троица в тот год была очень ранняя. В сыром лесу вокруг церкви еще стояли поляны ландышей, нежно лиловели фиалки. А с вечера и на рассвете самозабвенно пели соловьи.

Ездили служить панихиду на кладбище за деревней Старый Лог. Батюшка чудно определял расстояния — до вокзала три пятидесятих псалма, до ближайшего села — двести Богородичных молитовок.

Утреннее правило вычитал за рулем вслух, лицо посветлело:

— Доброе утро!

Его разбитая «Победа» то и дело останавливалась, подбирая спешивших по обочине к Старому Логу женщин в

платках, с задубелыми складками морщин на еще не старых лицах.

Два старика вынесли из дома на полотенцах большую — метра в полтора высотой — икону святителя Николая с трещиной по середине лика: еще когда отбирали и жгли иконы, ее раскололи по шву, — а половинки потом прятали по чердакам. И было что-то в строгом лике святителя похожее на лица окруживших его людей, что-то родное всем.

Кладбище было светлое, в молодом лесочке, с бедными деревянными крестами. Батюшка в легкой зеленой ризе взмахивал перед иконой кадиллом, таял дым в солнечном свете. Плыли облака, шумели березы в клейкой зелени, с шелестом трепетала мелкая листва осин. А на могильных холмиках цвели колокольчики, незабудки, белая и красная герань.

Когда шли с кладбища к селу по тропе через зеленое поле ржи, отец Александр прочитал стихи, похожие на надпись на одном из потемневших под снегом и ливнями крестов:

Вот уже кончается дорога,
с каждым днем короче жизни нить...
Легкой жизни я просил у Бога,
легкой смерти надо бы просить...

Ему было лет пятьдесят шесть, мне на двадцать с лишним меньше, и я еще не думала о своей смерти как о такой близкой возможности — с травой и колокольчиками, с бездонной тайной вечности под этим цветным покровом. Но в ответ и я прочла первое, что пришло на память, бунинское: «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной...», так созвучное дню. И батюшка умилился до слез.

Когда вернулись, за столом перед тарелкой, с верхом наполненной кашей, сидела прихожанка лет шестидесяти.

— Батюшка, благословите... — поднялась она и сделала чинный поклон. — Я насовсем к вам пришла.

Батюшка растерянно улыбался.

— Ключи вот от квартиры потеряла... — объяснила Варвара Петровна. — И соседи ей досаждают...

— Досаждают, батюшка, досаждают... Вчера вату подсунили под дверь и подожгли. Я уж просила: «Господи, убери моих врагов...» Никакого ответа пока нет.

— Да куда же Он их уберет? — смеется батюшка.

— А куда хочет... *В доме Отца Моего обителей много...*

Батюшка недоуменно смотрит на прихожанку, на матушку Варвару.

— Врач ей прописал от щитовидки есть по шесть ложек гречневой каши... Только не знаем, как мерять — вареную или сырую. Я думаю, чего ее мерять, надо есть, сколько по силам... — И матушка заканчивает с решимостью на все: — Пусть живет, комната девочек пока свободна...

Отец Александр выходит вслед за мной из кухни, рассуждая вслух:

— Это у нее, наверно, пенсия кончилась, вот и пришла... Пенсию-то какую дают, разве жить можно?

— Насовсем пришла?.. — не понимаю я.

— Ну, может и нет... Поживет пока, там посмотрим, как Господь управит. Каши-то хватит на всех... А ведь она хорошая, Галина, в хоре поет с матушкой... и стихи пишет, пусть вам покажет...

Перед обедом Галина надевает очки, раскрывает тетрадку, разрисованную цветными карандашами, — кресты, могильные холмики, ангелы с крыльшками. Стихи жалостные, похожие на песни слепцов, часто они совсем утрачивают как размер, так и хоть какую-нибудь рифму. Я каменею: читает она для меня, значит, придется говорить о впечатлении.

Но батюшка предвещает возможный тягостный исход трапезы:

— Главное, слова от сердца идут, матушка Галина, как молитва... а за рифмы Господь с вас не спросит... Вы борщ-то не забывайте, а то остынет... сметанку кладите, укроп...

* * *

На другой день — Троицкая родительская суббота, и мы все вместе едем на Вселенскую панихиду. Народ тянется вдоль дороги из Двуречек, Подлипок, из Старого Лога,

собираются у ворот нищие, убогие и больные, окруженные стайками воркующих сизых голубей.

К панихиде заполнена вся церковь. Посреди нее горит и плавится река свечей над длинным столом с поминальными приношениями — круги коричневого хлеба, пироги, стопки блинов на тарелках, кульки с пряниками и конфетами, пачки печенья, миски с сочивом и яйцами, и в каждый круг хлеба, в каждый кулек воткнута тонкая свеча.

Чтецы, хор, хромой служка с ежиком седых волос монотонно и многогласно вычитывают нескончаемый перечень имен из затертых поминальных книжек, из записок, зажатых в руках, ворохом сложенных на аналоях.

Беззвучно шевелит губами согбенная одинокая бабка Настасья, похоронившая мужа и шестерых детей, промокает глаза концами головного платка. Сухими глазами смотрит из хора Наталья: двое из ее сыновей — дурачки, от пьяницы мужа, а он недавно упал с моста в реку, или, может, сам кинулся.

Из-за пламени свечей, из клубов кадильного дыма, возносится под высокий купол голос отца Александра:

— Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабам Твоим Сергию, Алевтине, Сисою, Афанасию, Ивану... Убиенным Кириллу, Трофиму, воинам Петру, Степану, Гавриилу, Димитрию... Новопреставленным младенцам Пелагии, Ольге...

А сколько их лежит в земле, кого некому помянуть, погибших и безвестно пропавших в войнах, русских «белых», убитых «красными», и «красных», убитых «белыми», изгнанников, умерших на чужой земле в госпиталях от туберкулеза и тоски... Сколько сброшенных в промерзшие общие ямы на наших холодных просторах от Соловецких островов до Магадана — отцов, матерей или сыновей, замученных, расстрелянных, умерших без причащения и отпевания, имена их Ты знаешь, Господи... И все течет река незаживающего горя, вливаются в нее новые потоки, и плачет Церковь на вселенских панихидах, «от века мертвых днесь всех по имени... память совершающе». И пока стоит она, пока отзывается кровь убиенных — слезами и молитвами живых, — еще жива измученная душа народа.

— ...Убиенным Савелию, Федору, Проклу, Семену, Герасиму... И рабом Божиим Анне, Ирине, Евдокии, Марфе, Елизавете... И сотвори им ве-е-еч-ную па-а-а-мять!

Где эта вечная память, если ничто не вечно? — только в памяти Самого Господа, в которой никто не умирает, потому что Бог наш — не Бог мертвых, а живых.

Усталые, рано постаревшие лица, глаза, обращенные к алтарю, к незримому Богу, с примиренной, горькой или иступленной надеждой, — народ Божий, труждающиеся и обремененные, плачущие, нищие духом... Нет здесь закосневших в сытой наглости и самодовольстве, в тупой властности; нет и ни одного такого черного, страшного, испитого лица, какие с ужасом и тоской видишь у пивных; нет и рожденных в беззаконии и живущих во грехе, отделенных от Тебя до рождения, потерянных, обманутых, униженных, сломленных, ограбленных и оскорбленных, — кто взыщет эти убиенные заживо души? И с кого их разыскать?

— Глубиною судеб Твоих, Христе, всепремудре Ты предопределил еси коегождо кончину жизни, предел и образ...

И мы все будем взвешены на весах Твоих и найдены слишком легкими, но если на одну необъятную чашу возложить все силы окружавшей нас тьмы, а на другую — наши малые силы противостояния ей, — неужели милосердие Твое не восполнит того, чего каждому из нас не доставало?

А перед литургией Троицы в высоком храме стоит густой и сладкий дух, как над скошенным лугом. Подсыхают охапки травы, разбросанные по полу вместе со срезанными в ней колокольчиками, клевером и медуницей. Две большие березы склоняются над царскими воротами, другие, пониже, осеняют южный и северный алтарные входы, проемы окон. Ветки лиловой и белой сирени, подсвеченные красными пионами, как множеством лампад, стоят под иконами, у амвона. Деревья, цветы и травы вошли в храм, чтобы в нем получить освящение.

Отец Александр совершает или повторяет надо мной таинство Крещения — с условной формулой «если не крещена была». Он и настоял на этом, раз оставалась у меня хоть

малая доля сомнения, что меня крестили в детстве: задал несколько вопросов, и я ужаснулась: никто не говорил мне о моем Крещении, и давно уже некого спросить. «А если и крестили, миропомазали ли вас? Перед войной у деревенского священника могло и не быть освященного мира. Тогда и церкви-то были закрыты...»

В белых с золотом ризах, тихий и легкий, он совершает таинство по полному чину, и я произношу священные и страшные обеты, перед судом которых буду стоять всю последующую жизнь.

— Сочеталась ли еси Христу?

— Сочетахся...

Если и крестили меня при рождении, кто произнес за меня эти слова? Где эти восприемники, почему не знала я от начала дней ни церкви, ни даже Светлой Пасхи?

— И веруеши ли Ему?

— Верую Ему, яко Царю и Богу...

О, если бы мы все, кто однажды произнес эти слова, могли потом, стоя перед земными царями, повторить слова пророка Илии перед нечестивым Ахавом: «*Жив Господь, Ему же предстою!*», и быть верными каждый час, в каждом выборе и желании, в порыве и в смертной усталости — верными Ему до смерти...

И зажигаются, отражаясь в воде, три свечи над моей крещальной купелью — в зеленом березовом полумраке, прорезанном полосами света из верхних окон. Дух Святой освящает наитием Своим темные горькие воды жизни, ниспосылая им благодать избавления, очищения, благоговения. Может ли разум вместить глубину и тайну этого троекратного погружения в смерть Христа, в крещальные воды во имя Отца и Сына и Святого Духа?

... Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее.

Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее.

... Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?

Мне казалось потом, что и глубины моей судьбы распахнулись в ином измерении. Мир стал храмом, и присутствие Бога я ощутила *полнотой Наполняющего всё во всём.*

Мой прежний быт стал обваливаться лавинообразно, как после мощного подземного толчка в горах приходят в движение и рушатся окаменевшие напластования породы. Вдруг обнажилась зияющая пустота в отношениях с давними знакомыми, которую до сих пор заслоняла привычка. Вдруг перестали давать литературную работу там, где прежде в ней не было отказа, и две вечно лгущие издательские дамы предлагали позвонить через месяц и через месяц еще. Сокровенная жизнь души разрушала не соответствующую ей оболочку, но я еще не была готова принять это не как случайный расклад обстоятельств, а как судьбу.

Время от времени батюшка появлялся в Москве и звонил. Он старался не задерживаться в коммунальном коридоре, а «болонью» со шляпой снять в комнате, чтобы соседи не рассмотрели его бороду и косичку. Но они все усмотрели сразу и, под нетрезвое настроение, громко выражали за моей дверью недовольство тем, что вот еще попы сюда повадились, чего отродясь не бывало.

И это правда — в наше ближнее и дальнее окружение и плен еще не проникало ничто священное.

Батюшка иногда приезжал с девочками или с Мишей; раза два, осенью, выгружали они из знакомой «Победы» картошку, пакеты с морковкой и капустой с их огорода. Миша тогда уже учился в духовной академии; приходил в элегантном сером пальто, итальянской шляпе в тон и, помогая нести мешок с картошкой, не снимал перчаток. А девочки, Оля и Леночка, делились впечатлениями от Пюхтицкого монастыря, — примеривая на себя этот образ жизни.

Наше знакомство, вычлененное из других событий, кажется спрессованным во времени, — но длилось оно лет около десяти.

Отец Александр печалился: матушка его стала болеть, но лечиться не хотела, все хлопотала по хозяйству, пела в церковном хоре, возложив упования на Бога.

И уполномоченный допекал. Однажды подкараулил у больницы, где батюшка потаенно причащал на дому. «Требования» в общественных местах — даже на кладбищах и в больницах — запрещались, и больные — кто

хитростью, сквозь щель в заборе, кто с негласного ведома медсестер, в пальто поверх больничных халатов, добиралась до ближайшего дома. В назначенное время переулками подъезжал батюшка: не причастить умирающего он не мог, даже если бы за то ему самому угрожали казнью. Раковых больных, безнадежных, кому оставалось совсем недолго, вывозили иногда с ночи, чтобы умирающий облегчил душу покаянием и причастился в последний раз. Издавна батюшка исхлопотал у архиерея антиминос и негласное благословение в крайних случаях и литургию отслужить в домашней церкви.

Уполномоченный устроил засаду с милицией и захватил всех врасплох. Батюшка еще только исповедовал, явных улик требнадзора не обнаружили, Чашу не отняли, не осквернили, и то слава Богу, — но беглых больных насчитали в доме восемь, и исхитриться никто не стал, прямо глядя уполномоченному в пустые и безумные от охотничьего азарта глаза. Только семидесятилетняя Анисья с трясущейся головой поминала вслух иродов окаянных, извергов, хриstopродавцев, которые ни жить людям не дают, ни даже умереть по-человечески. Но свои бессильные речи она прямо к уполномоченному не обращала, а смотрела как бы в забытьи сквозь него в незримое пространство, и в протокол их заносить не стали, а привычно обозначили как «антисоветские лозунги и хулиганские выходы при исполнении обязанностей».

— Отправили эту бумагу властям духовным и кесаревым, в обком... Не знаю, что там теперь надо мной учинят... Хуже-то всего, что матушка Варвара переволновалась, был гипертонический криз, теперь совсем ослабела... В больницу ни за что не хочет, говорит, она там от одного мертвого воздуха умрет. Мне кажется, она уже знает что-то, но молчит. Характер-то у нее непреклонный... Только в последнее время стала ласковая, особенно с детьми... Все псалтирь и Евангелие читает.

И задумывался батюшка, тихо крестился.

Через полгода он осунулся, на лице появилось новое выражение, вроде напряженного ожидания или недоумения, будто он все хотел что-то понять и не мог.

— Матушка стала совсем плоха... — говорил он с проступившими слезами. — Рак у нее, застарелый, с метастазами. Давно несла она этот крест. А я еще огорчал ее, с ней спорил...

— Я думала, вы и не ссоритесь никогда...

— Это вы слишком хорошо о нас думаете... а в жизни всегда много спорного: одному кажется, так правильно, другому иначе, и каждый стоит на своем. Вот Мишенька у нас хочет жениться на некрещеной, со школы они встречаются, говорит: или она — или никто. Из-за одного этого все перессорились. Девочки мои — мечтательницы: «Любовь, любовь...» А что это за любовь без Божьего благословения? — *скоромимойдущая красота...* прельщение... Духовного единения нет — церковной благодатной жизни, возрастания в Духе, навыка несения креста — и разваливаются семьи, как дома на песке... Судьбы покалеченные, дети беспризорные... это уже всенародное бедствие, вроде мора.

Об уполномоченном страшно было и спросить, батюшка сказал сам: тот добивался, чтобы отца Александра перевели за двести сорок километров от дома.

— Ну, да Господь милостив... Это ведь и жить бы пришлось там, а на кого бросить матушку больную, девочек? И как я один? — там церковь летняя, даже дома нет, только сторожка. Двенадцать лет уже язва желудка... — И вдруг спохватился: — Что же это я уныние навожу... *Смиритесь убо под крепкую руку Божию... всю печаль вашу возвергше Нань, яко Той печется о вас...*

— А дальше-то, батюшка? Что там сказано про супостата?

— Дальше-то? *Трезвитесь, бодрствуйте*, — сказано, — *зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая ходит, иский, кого поглотити...* Видите? *Бодрствуйте*, — сказано, — а не унывайте, не устрашайтесь...

* * *

Матушка Варвара умерла очень скоро.

Отец Александр плакал, не сдерживая или не замечая слез.

— Сильной веры была раба Божия Варвара, царство ей небесное... Не жаловалась ни на судьбу, ни на боль... Только все завещала о детках заботиться неустанно, об их душах... А от душевных скорбей ведь и телесные болезни происходят, — это у материалистов дух отделен от тела, у нас-то они взаимопроникновенны...

Подолгу молчал, сидя перед остывшим чаем, нечаянно выговаривал что-нибудь еще, что накопилось и наболело:

— Пока за матерью ходила, Ниночка вот наша надорвалась душой... Она у нас слабенькая, да в школе ее напугали, стала сильно заикаться. И так была робкая, застенчивая, теперь людей избегает, сидит у себя в комнатке в сумерках, плачет или молится... И книги забросила, и скрипку... Леночка медицинское училище закончила, девятнадцать лет... На скорой помощи работает сутками, живет в общежитии, питается кое-как... А ведь я им мать заменить не сумею...

С переводом на дальний приход пока все заглохло, отец Александр надеялся, что насовсем.

Да не тут-то было...

Месяца не прошло после смерти матушки, вызывает его Лютов подписать бумагу.

«Что за бумага?» — «Я тебе вслух прочту».

— Читает невнятно, что-то пропускает, — а на меня там целый обвинительный приговор. Тайно совершал требы, занимался благотворительностью — это тоже они запрещают: дескать, у нас некому благотворить, советская власть обо всех позаботилась. Разузнал Лютов, что мальчику Сереже — он со свечой выходит на чтение Евангелия, — я ботиночки купил... Всегда мы и на похороны, на поминки собрать помогали, по болезни, или корова падет, или еще по какой нужде... Лютов много домов обошел: «Неужто поп у вас такой скупой, все себе тянет?» Я говорю: «Соглашайтесь: никому ни гроша в жизни не давал...» — все понимали, чего он добивается, а Сережа-то не знал, похвалился обной...

Написал Лютов, что я веду с амвона агитацию... дескать, вся ваша религия — антисоветская агитация. И доску «за

царя и отечество» припомнил, и как крышу ночью чинили. «Я, — говорю, — не согласен с вашим доносом». — «А ты, — отвечает, — и подпиши, что не согласен. Подпиши, а потом оговоришь, с какими пунктами не согласен», — и подсовывает бумагу уголкем. Я говорю: «Вы мне в руки дайте, я хоть прочитайте сперва должен...» — «Нет, ты сначала подпиши». Давил, давил на меня, я и подписал, очень хотел узнать, в чем же он меня обвиняет. Вижу, кроме того, что он вслух прочел, там еще невесть что написано... А он у меня уже бумагу из рук тянет, ругается, рвет лист к себе, я не отдаю... Так и разорвали пополам, подпись ему досталась... Вызвал он того же участкового, опять составили акт о моих антисоветских действиях... что разорвал официальный документ.

Эта история была для меня первой в таком роде, и я с ужасом следила за тем, как мертвый хватает живого, медленно сдавливая ему горло, как отец Александр обмякает, слабеет под мертвой хваткой.

Через несколько месяцев, зимой, батюшка написал, что его переводят на глухой приход в шести часах езды от дома.

Ехать туда он не мог. Это и требовалось, чтобы запретить его в служении.

* * *

Пока этого не произошло, он собирался с силами, чтобы себя защищать. Писал архиепископу, — но тот, напуганный натиском уполномоченного, уже направил в Двуречки молодого монаха. Отец Александр остался священником без прихода.

Я перепечатывала для него письма — последнее в Комитет по делам религий, с подписями в его защиту на тетрадных листах. Подписей было за триста, прихожане собирали по всем окрестным селам, как за убиенных в войне с Японией.

В справке о здоровье отца Александра упоминалось, что он направлен на обследование: при осмотре, первом за много лет, обнаружили опухоль в желудке.

Батюшка сказал об этом вскользь, но озноб прошел по моей коже.

И отвечал сатана Господу, и сказал: разве даром богобоязнен Иов? ...

Но прости руку Твою и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя?

Отец Александр виновато улыбался, собирая свои бумаги:

— Вот чем приходится заниматься... должна ведь где-то быть правда? А литургию я служу каждый день, но дома, на своем антиминсе, без прихожан...

* * *

Прошли года два...

Обвенчался Миша — невеста окончила институт и при усердии Миши прошла свой путь от неверия к вере. Сам он закончил академию и был рукоположен в дьяконы.

У отца Александра обнаружили рак желудка и сделали операцию. Он тяжело переносил болезнь, по-прежнему не служил, и это угнетало его больше всего. На уединенных домашних литургиях дочери читали Часы и Апостол, пели; да прихожане крестили у них на дому детей и заказывали молебны.

На Пасху батюшка служил в нашем храме: через раскрытые царские врата я вдруг очень близко увидела его в алтаре и поразилась его новому облику. Запавшие, в темных кругах глаза были неподвижно обращены немного вверх, к запрестольному Распятию, но и внутрь себя. Казалось, что сквозь эти зрачки, сквозь истаявшую плоть пробился незримый пламень духа и горел, как в Неопалимой Купине.

— Христос — новая Пасха, жертва живая...

Пел ликующий хор, горели красные свечи.

— *Пасха священная нам днесь показася, пасха нова святая, пасха тайнственная...*

«Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?»

И когда в красном с золотом пасхальном облачении, с распущенными по плечам волосами, с горящим трехсвеч-

ником в руке он вышел на амвон, чтобы трижды, на три стороны света подать свой возглас:

— Христос воскрес! —

облачение батюшки показалось мне одеянием его таинственного воскресения и уже зримой славы.

* * *

Как непохожа на эту светозарную ночь светоносного дня была наша следующая встреча — в подмосковной больнице.

Стояли заиндеветшие дни с тридцатипятиградусными морозами. В шестом часу вечера уже темнело, и когда на рынке я выбирала хризантемы, они стояли под высокими застекленными призмами с горящими внутри свечами, печально-торжественные в своей озаренной махровой белизне на синем полупрозрачном фоне.

Я долго ехала в промерзшем трамвае, в переполненном метро, стараясь не помять цветы, завернутые в два слоя бумаги. На одном из переходов развернула их и вздрогнула от неожиданности: края хризантем съежились и стали светло-коричневыми. Мне предстоял еще час в автобусе, и я со страхом видела, что уже темнеют витые сердцевинки: хризантемы замерзали у меня на глазах.

С пронзительным чувством вины думала я о том, какой непрерывный поток добра шел ко мне от батюшки. Светлые дни после крещения, сама его полная открытость в общении — все было даром... Иногда к Рождеству мы находили в почтовом ящике конверт без обратного адреса с плиткой шоколада и засунутой под обертку сторублевой бумажкой — в подарок моему сыну от святителя Николая. А даже эти мои цветы запоздалые мне пришлось оставить на подоконнике в холле больницы...

С чрезмерной четкостью я увидела повзрослевшую Нину, пустые по-солдатски застеленные койки, желтую лампочку без абажура под потолком, черные крестовины на окнах в морозных узорах.

Отец Александр полулежал на подушке, прислоненной к спинке кровати, бледный в призрачном электрическом свете, с заострившимися чертами и седой прядью. Худая рука, обнаженная под рукавом полосатой больничной пижамы, поднялась в жесте благословения. Только смущенная улыбка была прежней:

— Простите, что принимаю вас лежа...

Нина взметнулась и с тяжелым заиканием, задыханием, судорожным движением рта выговорила: «З-з-здрав-вст-вуй-те...»

А я и вовсе ничего не могла выговорить, опустившись на пододвинутый ею стул.

— Со школы терпеть не мог химию, а вот и она пригодилась: здесь меня химией лечат, — заговорил отец Александр. — Еще какие-то новые препараты на мне испытывают, с моего согласия: раз ни на что больше не пригоден, послужу науке...

Шутки прозвучали принужденно, но дали возможность пережить первые минуты. Потом я извлекала из сумки гостинцы, и батюшка рассматривал граненую бутылочку с облепиховым маслом, на чудодейственные свойства которого тогда возлагалось много надежд, банки с яркими этикетками.

— А я ведь никогда ананасы не ел... как-то не случилось. Вот мы сейчас эту красивую баночку и откроем...

Говорили так, будто ничего не происходило. Но были неприметные перебои. В какой-то момент он произнес давнюю строчку: «Вот уже кончается дорога...», и оборвал ее. А я не подала виду, что помню следующие строки, до слов: «...легкой смерти надо бы просить». Потом мне понадобилась передышка, и я сказала, что, наверное, Ниночка хочет поговорить с отцом, она приехала издалека, а я пока позвоню.

В холле сидели перед телевизором несколько больных в мятых халатах с пятнами хлорки. В углу висел красный лозунг, стояли плевательница, фикус и гололобый бюст. Звука не было, но кто-то переключал программы, и на экране мелькал то хоровод в шароварах, с венками и лентами, то трибуна с раскрывающим рот оратором, то

поле с бегающими футболистами. И во всем этом — в седых непричесанных женщинах, в свои последние на земле дни сидящих перед немым, мертвенно мерцающим экраном, в гипсовом идоле под лозунгом — была такая безысходность абсурда, мистическая тоска и жуть, привычная обреченность, такой гнет и удушье...

Вернулась я слишком рано: Ниночка — в осеннем пальто, так и не согретьшаяся с дороги, — склонилась над банкой и поспешно ела круглые дольки ананаса. И она, и батюшка смутились, а я прозрела вдруг их нищету.

Через час батюшка поднялся, чтобы нас проводить.

— Можно мне еще придти на днях?

— Приходите... буду очень рад. Я, видите, свободен теперь...

Я поцеловала его благословляющую руку, легкую, почти бесплотную.

У двери обернулась. Отец Александр стоял вполоборота и пристально, с забытой на губах улыбкой смотрел мне вслед.

Мы думали об одном: что видим друг друга в последний раз.

* * *

Через день, закончив лечение, отца Александра выпи-
сали из больницы, и он уехал домой.

Через месяц он умер.

Отпевали его в Двуречках. Все три дня, пока он лежал в храме, к нему шли люди, которых он двадцать лет крестил, причащал, венчал; плакали, говорили слова благодарности, запоздалые, как мои хризантемы, читали над ним Евангелие.

На кладбище, над открытой могилой архиерей сказал речь и первым бросил на крышку гроба горсть промерзшей земли.

Ни одной из дочерей отца Александра не привелось надеть подвенечное платье матушки, вышитое светлыми шелками, — так сложилась жизнь.

Через несколько лет, в возрасте около тридцати, в опустевшем отцовском доме умерла от рака Нина.

Незадолго до смерти она нашла в богослужебных книгах и переслала мне пасхальную открытку без адреса, написанную уже слабой рукой отца Александра.

С волнением прочла я слова: «Христос воскрес!», дошедшие как будто из жизни иной, и дальше строки из послания апостола Павла, повторяющиеся в чине Крещения:

...Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,

зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает:

смерть уже не имеет над Ним власти.

СТРАНСТВУЯ В СЕБЕ САМОМ...

* * *

Зажечь страну горящей речью
Я и пытаться не хочу,
Но трудно видеть душу человеческую
Как незажженную свечу.

Хочу понять загадку дара,
Как царственную жизнь огня,
Но не огонь, а отсветы пожара
Порой исходят от меня.

Столь чуждый речевым раскатам,
Отбросив боевую бронь,
Я самому себе, а не солдатам
Хочу приказывать: «Огонь!»

**Семен
ЛИПКИН**

— родился в 1911 г. в Одессе. Автор около десятка поэтических сборников, изданных в России и за рубежом. Широко известен как переводчик памятников поэтической культуры многих народов мира. Лауреат Пушкинской премии (ФРГ) за 1994 год. Живет в Москве.

Полночь

Как полна эта полночь осенней тоской!
Иностранные буквы горят на Тверской.

На резиновых крыльях машины спешат
В двусторонний прямой электрический сад.

За рекою в глухом переулке темно
И одно только светится низко окно.

Там склонился над старым столом человек.
Это он озарит наступающий век.

Он, безвестный жилец, трем семействам сосед,
Объяснит по-иному свечение планет.

А соседка кричит: «Электричество жжешь?
Ты забыл, недотепа, что вырос платеж!»

Этюды

Тучный вклад Ангальт-Цербстской принцессы
Был восторженно Русью хвалим.
Это скифское море Одессы,
Измаил и пленительный Крым.

Это пышная вольность дворянства,
Всех этюдов замысленный грунт,
Это сладкий соблазн вольтерьянства
И Емельки пугающий бунт.

Убивали цари и царицы
Молодых сыновей и мужей.
Разночинные царевубийцы
Не жалели и жизни своей.

Тех картин не сорвешь, не зажулишь,
Черный памятен нам передел,
Оправдание Веры Засулич
И хоругвей Гапона расстрел.

Превратил нас в добычу науки
Вождь — картавый, а сердцем когтист,
А другой был страшней — сухорукий
Стихотворец-семинарист.

* * *

Выбрала удачное
Время тишина,
Чтоб спуститься на́ берег
В час, когда особенно
Ночь нежна.

Выбрала удачное
Время тишина,
Слышит — возле берега
Двое в море плавают:
Он, она.

Звезды стародавние
Смотрят с высоты:
В море, в час безлюдия,
Двое в одеянии
Темноты.

Смотрят звезды вдумчиво
С южной высоты,
Осветясь догадкою:
Эти двое — юные
Я и ты.

Поиск

Странно споры происходят
Между сердцем и умом:
Человек себя находит,
Странствуя в себе самом.

Тихо движется иль ходко,
Тяжело иль без труда, —
Окончательной находка
Не бывает никогда.

* * *

А.А.А.

В эту комнату бедную, узкую,
Где сливались Ордынка и Млечность,
Я входил, будто в дикую, русскую
И в такую великую вечность.

Нет зубов. Но протеза не вставила.
Речь дышала всем жаром горнила.
Усмехнулась и угля добавила —
Это вечность со мной говорила.

Квадрига

Среди шутов, среди шутих,
Разбойных, даровитых, пресных,
Нас было четверо иных,
Нас было четверо безвестных.
Один, слагатель дивных строк,
На точной рифме был помешан.
Он, как ребенок, был жесток,
Он, как ребенок, был безгрешен.
Он, искалеченный войной,
Вернулся в дом сырой, трухлявый,
Расстался с прелестью-женой,
В другой обрел он разум здравый.
И только вместе с сединой
Его коснулся ангел славы.

Второй, художник и поэт,
В стихах и красках был южанин,
Но понимал он тень и свет,
Как самородок-палешанин.
Был долго в лагерях второй,

Вернулся — весел, шумен, ярок,
Жизнь для него была игрой
И рукописью без помарок.
Был не по правилам красив,
Чужой сочувствовал удаче
И умер, славы не вкусив,
Отдав искусству жизнь без сдачи.
И только дружеский архив
Хранит накал его горячий.

А третья нам была сестрой.
Дочь пошехонского священства,
Объединяя страсть и строй,
Она искала совершенства.
Муж-юноша погиб в тюрьме.
Дитя свое одна растила.
За робостью в ее уме
Упрямая таилась сила.
Как будто на похоронах,
Шла по дороге безымянной,
Но в то же время был размах,
Воспетый Осипом и Анной.
На кладбище Немецком — прах.
Душа — в юдоли богоданной.

А мне, четвертому, ломать
Девятый суждено десяток,
Осталось близких вспоминать,
Благославляя дней остаток.
Мой путь, извилист и тяжел,
То сонно двигался, то грозно.
Я счастлив, что тебя нашел,
Мне горько, что нашел я поздно.
Случается, что снится мне
Двор детских лет, грехопаденье,
Иль окруженье на войне,
Иль матери нравоученье.
А ты явилась — так во сне
Является стихотворенье.

МОЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Н.М.Д.

Рассказ

Предлагаемый читателям «Континента» рассказ написан в эмиграции. З.Н. Гиппиус было 55 лет — возраст, когда, говоря словами современного поэта, «уходит время для любви, приходит для воспоминания». Она не раз признавалась в своей неприязни к интимным душевным и тем более к публичным исповедям, к тому, чтобы говорить с кем-то или писать о себе («...говорить о себе мне в высшей степени неприятно — было и есть»). В то же время говорить и писать «о своем», о том, что она считала верным и нужным знать другим людям, Гиппиус полагала своим неотъемлемым правом и реализовала его активнейшим образом. Это различие — «о себе» и «о своем» — отчетливо выдержано не только в ее прозе, но даже в мемуарах, где сведения «о себе» тщательно дозированы, необходимые автобиографические факты изложены без увлечения, снисходительно-бесстрастным образом и в перечислительных интонациях, и «внутренний человек» в них не просматривается даже под микроскопом. Эта душевная «закрытость» Гиппиус — при том, что круг ее общения был чрезвычайно обширен, а интенсивность общения весьма значительна, — одна из причин того, что вокруг ее имени до сих пор роятся слухи, сплетни, легенды. Рассказ «Моя первая любовь» — редчайший случай в прозе Гиппиус, когда ей захотелось приоткрыть мир своей души.

Гиппиус прекрасно знала Евангелие и не случайно название рассказа и его «внутренний» сюжет звучат цитатой из Апокалипсиса: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Оставил — изменил, предал, отрекся. Христос продолжает увещевать: «Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся...» Нет, — возражает Гиппиус, «примери-

вая» к себе эти слова, — в чем другом, а в этом грехе неповинна, свою первую любовь пронесла через всю жизнь, не забыла, не изменила, не отреклась.

Действие рассказа происходит в Москве на Остоженке в начале 1880-х годов, действующие лица принадлежат к родственному окружению Гиппиус. Вынесенные в подзаголовок загадочные буквы Н.М.Д. («А.М.Д. своею кровью начертал он на щите») — инициалы двоюродной сестры Гиппиус Натальи Михайловны Доброхотовой (1863—?). Она была дочерью тетки Гиппиус Зинаиды Романовны Доброхотовой (урожд. Гиппиус; 1842—1864) и присяжного поверенного Михаила Ивановича Доброхотова (1837—1869), рано умерших и оставивших сиротами двух девочек — в рассказе также упоминается их старшая дочь Юлия Михайловна Доброхотова (в замужестве Биндеман; 1862—1894). Среди действующих лиц мать Гиппиус Анастасия Васильевна Гиппиус (урожд. Степанова; 1849—1903), бабушка Александра Александровна Гиппиус (урожд. Аристова; ?—1895), упомянут и отец, председатель Нежинского суда Николай Романович Гиппиус (1846—1881).

Рассказ печатается по публикации в газете «Звено», Париж, 1924, 9 июня.

Н.И. Осьмакова

I

...Зачем выдумывать? Невыдуманное, настоящее, только на первый взгляд кажется бледнее выдумки, да и то не всегда. А уж если поглубже посмотреть, так всякому станет ясно, что наши надстройки над жизнью весьма бесполезны...

Моя первая любовь... впрочем, она первая лишь потому, что первая сознательная; если же придерживаться формального счета, то она вторая, а самая первая — в Саратове: это черноволосая молодая гостья с бархаткой на шее. Я ее помню, как вчера, а было мне тогда четыре года. Но в четыре или сорок четыре — влюбленность одна, и ее ни с чем не спутаешь: она дает два огромных и неразрывно

связанных ощущения — *блаженства* и *тайны*. Это, конечно, лишь основа; но в моей пред-первой любви, в четыре года, ничего осложняющего любовь быть и не могло; зато «блаженство и тайна» овладели мною повелительно. Насчет «тайны» у меня до такой степени не было сомнений, что как раз это-то и предуготовило любви роковой исход.

Взрослые поразительно ничего не знают о детях. Забывают, что ли? Самая любящая мать, помимо всего прочего, не знает даже и того, что ребенок до какого-то возраста (5, 6, иногда 7 лет — это индивидуальность) остается *не отделенным* от нее; т.е. он не делает еще различия между нею и собою, и сам не замечает, думает ли про себя, или говорит с нею. Он и она, для него, совершенно искренне — одно. И совсем другое — (это свидетельство) — всё окружающее и все окружающие. Я не могу вспомнить, например, когда и каким образом тайна моей любви стала известна маме, хотя она, очевидно, узнала ее от меня: узнала — и ничего не поняла, т.е. самого главного: *тайны*. Как могло мне прийти в голову сказать: «мамочка, это великая тайна»? Если б могло, то раньше должно бы прийти в голову, что мама — другой, не я; и тайна просто не была бы открыта: ведь она такова, что *другому* ее открыть нельзя; действительно нельзя, никому, без всякого исключения.

Мама поняла, что я эту гостью очень люблю, вот и все.

Сажу как-то на стуле в гостиной, спиной к окнам, с няней. Напротив меня, за столом с бархатной скатертью, мама, а рядом, на кресле — «она». И вдруг слышу, как мама говорит с ней — обо мне. Указывает на меня, улыбается: «вот как вас ужасно любят»...

И «она» улыбается, оборачивается ко мне, спрашивает: — Да? Ты меня любишь?

Я и теперь не могу описать всей сложности ужаса, негодования и отчаяния, меня обуявших. Что-то побежало по спине и завязалось на затылке. От блаженства не осталось и следа. Вообще — все погибло. Однако, мой долг был для меня ясен. «Тайну» надо спасать, хранить до конца.

И на этот бездонно-грубый вопрос:

— Ты меня любишь? (с улыбкой) — я, сдвинув брови, серьезно отвечаю:

— Нет. Не люблю. — И прибавляю, чтобы крепче было, как умею:

— Нет. Тьфу... Дрянь...

После этого ярко помню, как в мезонине, у бабушки, мама меня бранила, говорила, что так нельзя отвечать, что надо просить извинения...

— Слышишь? Слышишь?

Мое молчание ее еще больше сердило. Бабушка гладила меня по головке и примирительно повторяла, что я «больше не буду»... Буду или не буду — я молчу, да, кажется, и не слушаю, да, кажется, и не понимаю, за что сердится мама. Вероятно (так я думаю теперь), во мне впервые проснулось тогда смутное чувство моей окончательной отдельности и первого одиночества, и даже чуть-чуть презрения к непониманию «других»... всех, не исключая и той, к которой была любовь. Любовь пред-первая. Ведь все-таки несознательная. А по-настоящему первая — гораздо позже.

II

— Ты придешь?

— Не знаю. Может быть.

Я, конечно, приду. У меня дух захватило от счастья, что я могу к ней прийти. Но я отвечаю небрежно, чтоб «она» не подумала... чего? Что я задыхаюсь от счастья? Ну, конечно. Ведь опять «тайна», это главное... Кроме того, я знаю, что «она» меня «не любит». Я уже знаю и муки ревности.

Когда это все случилось? Думая — не услезу начала. А длится... очень долго. Нет, не смейтесь; действительно долго: ведь когда мы познакомились, мне едва минуло одиннадцать лет; потом было двенадцать; и вот уже тринадцать...

Мне-то кажутся эти годы долгими лишь потому, что в тринадцать лет время бесконечно длинно: месяц — год, год — век. А вообще я ни минуты не сомневаюсь, что любовь моя на всю жизнь.

Над этим тоже могут смеяться только безнадежно «взрослые», т.е. люди, уже все забывшие и еще ничего не понявшие (большинство так и умирает; забыв и ничего не поняв). Однако и я, в тринадцать лет, уже не имею младенческой несложности. Я умею смотреть на себя со стороны и даже умею прикрывать свою «тайну», перед собой, иронией и насмешкой. Это плохо, но что делать! Я — боюсь «сантиментальности». В какие-нибудь десять лет со дня любви той, пред-первой, жизнь меня необыкновенно усложнила и, пожалуй, подпортила.

Мы живем в Москве (куда переехали после смерти отца) в Зачатьевском переулке на Остоженке, у Воскресенья. Из моей узенькой комнаты, из окна, видны зимой сугробы снега в палисаднике, а над забором невысокая желтая колокольня церкви Воскресенья, крест в сером небе. «Она», моя любовь, — моя кузина Наташа, живет тоже в двух шагах от церкви, по другую ее сторону, на самой Остоженке, в старом деревянном доме с мезонином, «собственным». В этом сереньком доме она и родилась.

Наши семейные отношения не просты. Есть что-то от Монтеки и Капулетти. У нас одна и та же бабушка (вернее — «Grand'maman»). Живет в особой квартире и, как нарочно — между нами, прямо против церкви Воскресенья. Это — мать моего отца и «ее» матери, давно умершей. Обе девочки-погодки (моя — младше) отошли, со смертью матери, к семье отца, которую наша Grand'maman почему-то ненавидела. Когда, вскоре, они совсем осиротели (умер и отец), с ними поселились их бабушка, отцовская мать и брат, тот «дядя», что их воспитал, не женился ради них, а о Grand'maman слышать не мог. Он и к моей матери, которая была ни при чем, даже ко мне, относился недружелюбно и подозрительно, хотя и не знал вовсе: но мы были Монтеки...

Не всегда «барышни» и говорили ему, что идут к нам в гости. Против меня дядя, конечно, протестовать открыто не мог, только был не приветлив. Но мать моя очень редко заходила к новым своим «племянницам».

А они полюбили ее, особенно младшая; они никогда не знали, что такое мать. Приходили часто... ну вот тут и началась моя любовь.

Такие они были непохожие на меня, чуждые, хотя и родные; чуждые по всему, по жизни, по тому, что они москвички (а мне уж довелось порядком попутешествовать), по тому, что они выросли без матери и без отца, по тому, что они живут во «враждебном лагере», и, наконец, по возрасту... ведь они уже давно были взрослые барышни...

Младшую в семье звали как-то непривычно: Таша. Нам это не нравилось, у нас ее звали Наташа. Она некрасива. Гладкие, светлорусые волосы; светлоголубые близорукие глаза, бледное лицо с узким подбородком... Да что я ее описываю! Точно дело в красоте! И точно можно сказать что-нибудь словами! Она была — она; ее улыбка, ее голос, ее манера говорить, ее кругленькие золотые сережки в ушах, ее платице табачного цвета, даже безобразный серый платок, повязанный сверх шапочки зимою, — все это была она, о чем же еще говорить?

Впрочем, не я только чувствую ее очарование, ее тихое сияние: к ней влекутся все, начиная с моей матери и кончая моими маленькими сестрами. Я подозреваю, что они влюблены в нее, как я когда-то, в мою гостью с бархаткой на шее.

Отлично вижу, что Юля (старшая сестра) прехорошенькая: розовая, стройная, с красивыми пушистыми бровями. А наружности Наташи я *не вижу*: я ее люблю.

Вот она сидит у нас, в уголку, разговаривает с мамой и тихо-тихо смеется. У меня ноет сердце от блаженства, тайны — и безвыходности. Господи! Ведь я буду ее любить так всю жизнь! Но что же делать? Ведь это же ничем, ничем не может кончиться!

В дневнике (я его веду со страстью и со злобой) — я грубо записываю: «влюбиться без взаимности и смешно, и глупо; постараюсь скорее кончить начатую глупость...» И тут же, маленькими-маленькими буквами, тайком от себя, прибавляю: «Неправда! Вечно буду любить, и вечно хочу любить ее!»

III

Моя бурность, резкость, порывистость неудержимо влеклась к ее тишине, но от нее же и страдала.

До одиннадцати лет отец позволял мне читать, кроме Жюль Верна, только Гоголя; это хорошо, может быть, потому, что Гоголь так мне врезался в душу, что ни одна его строчка не забудется. Но через три года после смерти отца — голова моя была наполнена всей русской литературой и, признаться, этот поток меня ошеломил. Разобраться сил не было, действительность и книги для меня смешались, и в душе шла какая-то настоящая борьба: для выражения ее слов не имелось, да и кому о ней говорить? Не ей же, Наташе? Тут у меня никакого смещения, Наташа действительность, и ни одна любовь в книгах не похожа на мою: моя — единственная.

Меня терзала совершенно безумная ревность: сейчасная, и будущая. Сейчасная — это ее двоюродная сестра Анюта (не моя, только ее, по отцу). Анюта спокойно приходит к ней, когда хочет, даже ночевать у них остается. И Наташа говорит о ней с лаской и нежностью. Да, да, Анюта... Ну хорошо, пускай Анюта. А вдруг... ведь это же бывает? Вдруг Наташе кто-нибудь сделает предложение и она согласится? Тогда что?

Меня обливает таким холодом это чудовищное предположение, что я зажмуриваюсь и не хочу дальше думать.

Тоска, гордость и тайна заставляли меня иногда делать глупости: ходить взад и вперед по тротуару мимо серого домика и заглядывать в окна: а вдруг Наташа меня увидит в окно и... позовет? Прохожу случайно, захожу случайно... Тут ничего такого нет...

Раз это удалось: меня и вправду позвали. Вечер исключительного счастья, незабвенный вечер: дяди не было дома и почему-то мы с Наташей, вдвоем, сидели в его комнате. Дядина комната без печки, на дворе мороз, у меня зуб на зуб не попадал, Наташа куталась в пуховый платок... не знаю, о чем мы говорили, говорили тихо, близко, и... ну, словом, я не помню вечера блаженнее.

Мы виделись в церкви. У Воскресенья, на всеобщей. Становились рядом. К кресту потом шли прикладываться, или к образу, — я сейчас за ней. А под большие праздники, когда миром мажут, — я норовлю так, чтобы кисточка священника коснулась меня тотчас после нее. Смутно

что-то: уж не грех ли? Господи, какой грех, так хорошо: «Слава Тебе показавшему свет!»

В пасхальную ночь на тумбах у церкви горят и чадят плошки, а сама церковь полным полно, не протолкаться. Но мы стоим впереди, рано забрались, Юля и Наташа — коренные прихожанки. Вот этот старенький священник и крестил ее, мою милую... Меня тогда здесь, на свете, не было... Улетаю куда-то мыслями, воображаю, как она меня утешала, уходя «оттуда», обещала, что встретимся... Значит, она меня «там» любила? А что, если и здесь она меня любит, и только здесь — «об этом» не говорят?

Взглядываю украдкой на ее серьезное бледное личико, снизу освещенное свечкой. Уже был крестный ход, уже поют «Христос Воскресе»; кажется — поют каждую минуту, прерывают священника этим криком — пеньем радостным... У меня бьется сердце; даже не от любви только, а от общего какого-то блаженства. Решаю, что похристосуюсь с ней первой; а чтобы никто с ней раньше меня не поцеловался — надо сейчас же, едва начнут гасить свечи...

Так резко оборачиваюсь, что она вздрагивает, но потом понимает, улыбается и мы целуемся. «Как там, как там», — повторяю я в бессмысленном упоении, однако, едва мы выходим из церкви и прощаемся (барышни идут разговляться домой, дядя ждет!) — я опоминаюсь и уже иронизирую над собой: вот глупости, вот сантименты! Что это за выдумки, что она меня любит? И не любит, и не надо, и так ладно, — проживем...

Но на улице трепещут веселые огни иллюминаций, пахнет весной, темнопрозрачный воздух ночной Москвы весь дрожит от колокольного звона — и мне опять хорошо, опять просто-радостно. Завтра днем Наташа придет к нам. Не хочу ни о чем думать, только о том, как она придет и как мы еще раз поцелуемся.

IV

Есть русская икона Божьей Матери, которая называется «Нечаянная Радость». Не знаю почему — таилось для меня в этих двух словах особое очарованье. Было оно, для

полудетской души, словно широкий, и все расширяющийся, радужный круг. Нечаянная радость — это вовсе не то, чтобы внезапно, неожиданно-негаданно свалилось тебе на голову какое-нибудь удовольствие. Нет, нет; это если твое желание, такое тайное и несказанное, что и себе самому оно ни разу не выговорено, и даже в мысль не допущено, а лежит лишь *около* мысли, — вдруг исполнится; вдруг победно войдет в жизнь и ослепит сиянием, от которого только зажмуришься. Вот что такое «нечаянная радость».

В имении под Москвой, в селе Воскресенском, мы проводили каждое лето. Три лета подряд. Какой рай было это Воскресенское! Какая еловая аллея вела вниз, к желтой каменной беседке, к пруду, где качалась, у плотика, белая лодка! А сиреневые кусты какие стояли лиловые, как пахло! Ничего на свете нет, конечно, лучше Воскресенского (самое обыкновенное подмосковное имение, скажу в скобках). Жизнь моя там проходила в постоянном, хотя и беспокойном, блаженстве, которому очень помогла любовь.

Мы были с «нею» в разлуке долгой (три месяца!) и совершенно безнадежной: Наташа с сестрой уезжала каждое лето гостить в семью Анюты, — предмету моей ревности. О том, чтобы дядя отпустил Наташу к нам, хоть на один день, не могло быть и речи. Мы, и она, и я, это знали. Между тем увидеть ее здесь, в парке, в сиренях — и было моим невыговоренным себе, около мысли лежащим желанием.

Мама часто уезжала в город, вечером возвращалась. От станции — семь верст; к вечернему поезду высылали экипаж. У меня привычка — сбежать к пруду, чтобы на лодке подъехать к мосту; экипаж не мог его миновать; с моста дорога подымалась, огибая церковь и парк, — к дому.

Июньский вечер. Еду на белой моей лодочке, острой и шаткой. Тих тинистый пруд. Тих зеленый и розовый, еще совсем светлый, закат. Тихо опускаю и поднимаю длинные белые весла. Некуда торопиться, успею, под мостом подожду. Где-то далеко бабы песни кричат... вот замолкли. Я уже у самого моста. С поднятых весел тихо каплет вода, чуть покачивается лодка... Но отчего так странно сердце

бьется? Или беспокоюсь, что мама не придет? Нет, она сказала, что придет. И рано еще, совсем рано...

Не рано; вот, чуть слышный, мягкий стук колес. Я узнаю, это не телега, это наверное наш экипаж. Это мама. Отчего так бьется сердце?

Встаю в лодке, бросив весла, смотрю наверх, на дорогу, на мост... Сейчас из-за ветел покажется коляска и проедет мимо меня по мосту.

Она показалась. В ней, рядом с мамой, ближе ко мне, сидела Наташа.

Увидев меня, что-то крикнули — и проехали.

Никакого удивления. Только ослепление — вот этим исполнившимся, сразу открывшимся, желанием. Ослепление радостью: она — теперь кажется — и не могла не быть, и все-таки пришла — нечаянная.

Духу почти не хватало. Весла глубоко врезались в воду, острая лодка так и подлетела к пристани, гремит цепь, и духу совсем, совсем не хватает, пока я бегу, спотыкаюсь, в гору, к дому. Какая бесконечная аллея! Я не добегу, я почти не двигаюсь, в груди больно и сухо... Ничего. Сейчас.

Господи! И за что нам такое счастье — жить на свете?

Здесь я обрываю правдивую историю моей первой любви. Во-первых — потому, что могу еще говорить о ней без конца, а во-вторых — я не знаю ее конца. Она кончилась... вероятно, но когда? Неуловим конец. До такой степени неуловим, что, говоря об этой «первой» любви, я не могу вспомнить какую-нибудь «вторую», назвать какую-нибудь «второй».

Мы с Наташей вскоре расстались, чтобы никогда уже больше не жить в одном городе. Но куда бы ни заносила меня судьба — наша разлука непременно кончалась встречей, все равно, длинной, короткой, или мгновенной... И так было все долгие годы жизни. Годы текли, а около нее в Москве, как будто не менялось ничто, ни она сама. Умерла (в молодости) ее сестра Юлия; умер дядя; сломали серенький домик... А сижу я с Наташей в новой квартирке

ее, тоже в деревянном домике против Зачатьевского монастыря, у самого Воскресенья, — и кажется мне, что ничто не двинулось, что выйдет сейчас и прошаркает туфлями дядя... И что не в Петербург или за границу уеду я завтра, а пойду в свой переулок и буду вечером учить уроки.

Мы уже говорим «обо всем». Впрочем, что можно сказать о любви? Ничего о ней никогда сказать нельзя. Я знаю, что Наташа «и тогда» любила меня, — но как? О моей любви — она знает; но что она знает? Что и я-то, в конце концов, знаю?

У нас такая разная жизнь. Так мы сами разные. Так давно все это было. А смотрит она на меня, худенькая, сухонькая, по-прежнему сияет ее улыбка, и не могу я понять, хочется мне плакать или смеяться.

— Ты — поэзия моей жизни, — говорит она ужасно просто, без всякой «сантиментальности». — Уедешь — приедешь и всегда я знаю, что ты где-то со мной.

Опять пролетели годы. Последние, страшные сначала — глухие потом. Где же ты, Наташа?

«Из равнодушных уст я слышу смерти весть...» и странно ей внимаю, тихо, без удивления. Как всем вестям таким теперь.

Умерла давно, уже два года тому назад. Умерла в нищете, даже не в родной Москве — а в Муроме, у дальней племянницы, которая приняла ее из милости «в старухи».

Ну что ж. Пришла сюда раньше меня, ушла раньше меня. Она терпеливая, она подождет... следующей встречи. Ведь и здесь она знала, когда мы расставались, что мы непременно еще увидимся; и что пока не видимся — я все равно «где-то с ней».

А первая любовь — она, говорят, на небе у ангелов записана. Есть такие у них для этого книги.

ЗАМЕЧАНИЯ

Повесть

Из окна был виден остов церкви. Сергей Васильевич брился, изредка поглядывая на этот остов, и думал о том, что он ничего не понимает в религии, хотя когда-то пытался понять. Мать, покойница, верила, но как-то по-своему, темно.

Лезвие было старое и плохо брило, драло кожу. Сергей Васильевич смотрел на свою обрюзгшую физиономию в круглое зеркало, пожелтевшее от времени, но не замечал, что его физиономия обрюзгла. Лысину свою, которая появилась в тридцать лет, он тоже не замечал, привыкнув к ней за последующие тридцать пять лет.

Чтобы смягчить бритье, Сергей Васильевич часто макал помазок в железную кружку с кипятком и мылил помазок о кусок простого хозяйственного мыла в мыльнице.

И зеркало, и мыльница, и кружка с кипятком стояли на некогда белом широком подоконнике. В ванную Сергей Васильевич не выходил, потому что там умывалась жена. А с ней он видеться не хотел, хотя видеться так или иначе приходилось.

Прогромыхал под окнами трамвай. Стекла в окне задрезжали. Сергей Васильевич взглянул на будильник, который стоял на деревенском табурете перед продавленным довоенным диваном, от которого пахло кирзой, и увидел, что уже шесть тридцать. Нужно было поторапливаться. Сергей Васильевич с кружкой, помазком и безопасной

**Юрий
КУВАЛДИН**

— родился в 1946 г. в Москве. Окончил Московский государственный педагогический институт. Автор книг «Улица Мандельштама» (1989), «Философия печали» (1990), «Избушка на елке» (1993). Живет в Москве.

бритвой, подаренной ему в 1949 году отцом к двадцатилетию, пошел на кухню умываться.

На кухне варила овсянку дочь Лиза. Волосы ее были всклокочены. Она была в мятой ночной рубашке.

— Ну, чего ты вылез?! — зло бросила она отцу, не поворачиваясь. — Уйти на работу не дадут!

— Заткнись! — рявкнул Сергей Васильевич.

Настроение его, и так неважное, совсем испортилось.

Сергей Васильевич по натуре был человек мирный, конфликтов не любил, да и ругаться не доставляло ему удовольствия. Но — приходилось...

С досады Сергей Васильевич швырнул со стуком свои принадлежности для бритья в грязную эмалированную раковину, плюнул в эту же раковину, открыл холодную воду — горячей воды в доме не было, лишь в ванной поставили газовую колонку для нагрева воды — и принялся умываться.

— Чтоб вы подошли, пенсионеры проклятые! — взвизнула Лиза, схватила ковшик с недоваренной овсянкой и убежала в свою комнату.

На кухню сразу же вышла жена, полная женщина с синими мешками под глазами.

— Долго ты будешь издеваться над моей дочерью?! — крикнула она.

— Твари! — в отчаянии бросил Сергей Васильевич. — Вы меня достанете!..

Но закрыл кран и пошел к себе утираться белым вафельным полотенцем. Сел на неубранный диван, распахнул дверцу армейской тумбочки, достал банку килек в томате, открывалку, пакет с хлебом и приступил к завтраку. Килька была дагестанская, в жидком соусе, она не нравилась Сергею Васильевичу, который больше любил балтийскую. Но ее теперь не стало. Черный хлеб зачерствел и даже заплесневел, но Сергей Васильевич машинально жевал, не думая о его качестве.

На трамвайной остановке скопилось много народу, и Сергей Васильевич едва втиснулся в трамвай — этот страшный, отечественного производства сарай на колесах.

— Проездной! — крикнул в толпу Сергей Васильевич, стоя на одной ноге, хотя никакого проездного у него не было. Но Сергей Васильевич ездил по этому маршруту тридцать лет, почти всегда впахиваясь в переполненный трамвай, и ни разу не видел в нем контролеров — может быть, потому, что контролеры здесь просто не протолкнулись бы.

За окном потянулся знакомый бетонный забор, и вскоре Сергей Васильевич вместе с вывалившейся из трамвая толпой оказался на улице. Вся в ямах и выбоинах, грязная, пыльная, она пролетала между двумя бетонными заборами. Слева был огромный военный завод, и справа был военный завод, еще более огромный, на котором с 1946 года трудился Сергей Васильевич.

Трамвай прогромыхал дальше, к другим военным заводам, трамвайная толпа раздвоилась, одна часть перешла на противоположную сторону, а с оставшейся частью Сергей Васильевич пошагал вдоль забора к старому выцветшему зданию проходной, изредка бросая взгляд на пыльную пыльнь, пробившуюся между бетонным забором и серым асфальтом с камнями и песком, который неприятно скрипел под ногами.

У турникета движение толпы замедлялось, рабочие склонялись к окошку вахтера и называли свой номер.

Сергей Васильевич сказал:

— Двадцать один ноль восемь.

Это был его номер. Сергей Васильевич получил свой пропуск в металлической рамке под прозрачной плотной пленкой, с фотографией и с лиловыми цифрами: «2108», сунул его в нагрудный карман пиджака и прошел через никелированный вертящийся турникет.

Территория завода была столь огромна, что по ней ходил рейсовый автобус, отправлявшийся от клумбы, посреди которой стоял памятник Ворошилову. Автобус, как и трамвай, тоже был переполнен людьми, некоторых Сергей Васильевич знал, а некоторых — нет.

Автобус миновал железнодорожный переезд. На путях видно было несколько составов с готовой продукцией, которые стояли здесь без движения уже месяцев пять.

— Вот она, народная копеечка! — непременно выкрикивал кто-нибудь в автобусе, когда тот проезжал мимо этих составов.

Наконец Сергей Васильевич доехал до своего семьдесят третьего цеха, вышел у жиденького газончика и вошел в подъезд. По длинному полутемному коридору с металлическим полом, где пахло хлоркой из огромного туалета с примитивными довоенными нужниками, Сергей Васильевич прошел в раздевалку. Там рядами стояли деревянные, с фанерными дверцами с навесными замочками, шкафы — узкие, как вертикально поставленные гробы. Сергей Васильевич собственным ключиком открыл замочек и стал переодеваться. Тонкие носки снял и сунул в туфли, купленные еще во время фестиваля, в пятьдесят седьмом году, но еще живые, поскольку использовал он их лишь для передвижения с работы и на работу. Шeviотовые брюки от костюма повесил на плечики, на них же повесил черный бостонский пиджак, которому с 1961 года износу не было.

Стоя босиком, в одних длинных черных трусах на резиновом коврикe, Сергей Васильевич повесил плечики и снял с гвоздя рабочую одежду. Затем сел на широкую длинную скамейку, на которой уже расположилось несколько рабочих и надел сатиновые черные, в мелких металлических опилках, промасленные шаровары с резинками на щиколотках. Намотал портянки и всунул ноги в лоснящиеся от масла черные с никелированными заклепками тяжелые ремесленные ботинки, служившие ему вот уже пятнадцать лет.

— Привет, Серега! — услышал он справа.

— Здорово, Федя! — ответил Сергей Васильевич.

— Сереге наше с кисточкой! — раздалось слева.

— Привет, Толян! — привычно отозвался Сергей Васильевич, натягивая на себя нательную байковую рубаху. Потом надел синий грязный халат, а на голову — шапку, сложенную из газеты. Как научил его еще в сорок шестом году Михалыч складывать такие шапки, так Сергей Васильевич и складывал их с тех пор, и всю жизнь в них работал.

Цех Сергея Васильевича был очень длинный, в него заезжали целые эшелоны. Конца ему не было видно. Шумность в цеху была уже нормальная, многие включили

станки. Сергей Васильевич подошел к своему верстаку, открыл тумбочку, достал из нее и аккуратно разложил инструмент. Зажал в тиски первую заготовку для бронзовой дверной ручки. И задумался. Принялся набрасывать эскиз ручки на клочке газеты. Выходило нечто похожее на русалку. Остановившись на этом художественном решении, Сергей Васильевич взялся за напильник. Настроение его мало-помалу налаживалось.

К обеду было готово десять великолепных, отполированных и покрытых военным лаком прямо-таки золотых дверных ручек, солидных, тяжелых.

Прогудела сирена на обеденный перерыв. Сергей Васильевич сбегал в столовую, съел тарелку щей с пятью кусками черного хлеба и быстро побежал играть в домино.

Партия удачно закончилась как раз в тот момент, когда заревела сирена на работу.

— Рыба! — взревел вместе с ней Сергей Васильевич и так шлепнул костяшкой, что все подпрыгнули.

Вернувшись в цех, Сергей Васильевич прошел мимо Толяна, посмотрел, как тот гонит свои кухонные ножи, прошел мимо Феди, который делал шампуров для шашлыков. Дальновиднее всех, видимо, был Степа, который изготавливал краны для ванн и кухонь, но у него были огромные трудозатраты на единицу продукции, он бегал от токарного к фрезерному станкам, и эффект был тот же, что и у всех.

К концу смены начал свой ежедневный обход по сбору дани мастер Сашка, который пришел на завод в 1947 году, то есть на год позже Сергея Васильевича. Мастерить и Сергею Васильевичу предлагали, но он не любил начальство и сам не лез в это начальство.

Сергей Васильевич с кровью оторвал от себя две ручки.

— Хоть бы сам что-нибудь делал, Сашок! — с обидой в голосе сказал он, глядя мимо мастера в зарешеченное грязное окно.

— Ты, Серега, умом своим располагай лучше, — сказал Сашка. — Я вам полную политическую свободу даю, рыскую (он так и выговаривал: «рыскую»), очки, можно сказать, начальству втираю, что норму выработки выполняем.

— Ладно, втирай дальше! — усмехнулся Сергей Васильевич, с сожалением прощаясь с двумя великолепными ручками.

— Ты где сегодня стоишь? — спросил Сашка.

— Сегодня поеду до Преображенки, — сказал, подумав, Сергей Васильевич.

— А я встану у «Сантехники» на Кутузовском. Говорят, там все наотлет идет!

— Ну, давай! — протянул руку Сергей Васильевич.

— Давай! — пожал протянутую руку Сашка.

После того, как были надеты рубашка и галстук, Сергей Васильевич повесил ожерелье из ручек на шею, потом уж надел пиджак. Конечно, было заметно, ручки выпирали, но в проходной делали вид, что не замечают, потому что вахтеры работали на заводе лет по пятнадцать-двадцать, а то и дольше, как Сергей Васильевич.

На внутризаводской рейсовый автобус толпа была так велика, что Сергей Васильевич втиснулся лишь в третий автобус — вместе с мастером Сашкой.

— Начальник цеха сказал, что зарплату в следующем месяце тоже не дадут, — сказал, упираясь плечом в грудь Сергея Васильевича, Сашка и вздохнул.

— Сволочи, — безразлично поддержал разговор Сергей Васильевич.

Помолчали, глядя в окно на проплывающий сборочный цех.

— Я еще недельку похожу и смотаюсь в деревню, — сказал Сергей Васильевич, оглядывая упакованного с ног до головы продукцией Сашку, все карманы которого сильно оттопыривались.

Сергей Васильевич получал пенсию, очень маленькую. Когда пенсия подошла, он бросил работу, год просидел дома, вернее, полгода, а вторые полгода — в деревне. Но, подумав, пошел опять на родной завод.

Автобус остановился у клумбы с памятником Ворошилову. Этот памятник в свое время хотели убрать, но коллектив отстоял. И теперь многие говорили, грозя кому-то:

— Климента Ефремовича на вас нету!

Вахтер принял пропуск, даже не взглянув на Сергея Васильевича.

Толпа вынесла Сергея Васильевича на трамвайную остановку. Был конец мая, стояла жаркая погода, но без пиджака не поносишь гирлянды на шее. Уже на трамвайной остановке многие доставали из карманов полиэтиленовые пакеты, матерчатые сумки, авоськи и складывали в них продукцию личной конверсии.

Из ворот заводууправления выскочила серебристая «тойота» с заместителем директора.

— Толстая морда поехала! — крикнула какая-то женщина. — Как только не стыдно! Продались американцам! Сами гребут лопатой, а мы — подыхай с голоду!

— Совковой лопатой! — добавил Сашка, чтобы раззадорить толпу.

Но тут показался железный сарай на колесах, и все заволновались: влезут или нет. Сергею Васильевичу влезть удалось с первой попытки, потому что задняя дверь распахнулась прямо против него. Толпа сзади надавила, ручки впились в ребра. У Сергея Васильевича не было с собой сумки, и гирлянда по-прежнему висела под пиджаком.

Распаренные тела заводчан спрессовались, стало так душно, что Сергей Васильевич почувствовал, как по спине потекли струйки пота. За окнами проплывал серый бетонный забор. Через три остановки он кончился. Но начался забор деревянный.

На Семеновской вышло много народу, и Сергей Васильевич облегченно вздохнул, вытирая ладонью пот со лба. Трамвай пополз по Преображенскому валу, стуча и лязгая железными колесами. Впечатление было такое, будто сбрасывали с машины на землю листовое железо. Но к этому шуму Сергей Васильевич за многие годы привык и как бы не обращал на него внимания.

Сергей Васильевич думал о том, что на вырученные от продажи ручек деньги он купит побольше блинной муки, на которой в деревне сумеет безбедно продержаться до осени.

Выйдя у рынка, Сергей Васильевич обогнул помойные баки; справа тянулся забор кладбища, слева — рынка. Перед входом

на рынок, где на земле сидели нищие, Сергей Васильевич снял пиджак, и ручки засияли на его груди, как ордена.

Сергей Васильевич не спеша двинулся вдоль рядов, сглатывая слюну при виде фруктового и овощного изобилия. Возле торговки солеными огурцами не удержался, взял крепенький огурчик и съел его, сказав затем:

— Солоноват! Погляжу еще у кого.

И пошел дальше. Казалось, что никто на его превосходные дверные ручки не обращал внимания. Сергей Васильевич немного заволновался.

— Не нужны ручки? — на всякий случай спросил он у южанина, торговавшего бананами.

Южанин что-то промышчал по-своему и махнул на Сергея Васильевича рукой. Тогда Сергей Васильевич переместился поближе к хозяйственным товарам. Ноги за день устали. Сергей Васильевич сел на свободный дощатый ящик. Только успел вздохнуть, как услышал вопрос:

— Почему?

Спрашивал молодой развязный человек в малиновом пиджаке.

— По три штуки! — заготовленно ответил Сергей Васильевич.

— Беру. Снимаю ошейник, — сказал молодой человек и добавил вопросительно: — Сам делал?

— Кто ж еще! Чудак человек. На заводе. Сам.

— А можешь мне всю фурнитуру сделать? — спросил молодой человек.

— Что?

— Шпингалеты, крючки...

— Могу.

Договорились. Молодой человек объяснил, что и как делать, оставил свой телефон и даже факс, сунув на прощание Сергею Васильевичу визитку.

Получив деньги, обрадованный Сергей Васильевич поехал домой.

Только он вошел в квартиру, как жена визгливо предупредила:

— Приведи себя в порядок! Сегодня ухажер лизкин придет!

— Какой? — спросил Сергей Васильевич.

— Лежиссер! — сказала с чувством превосходства жена, подняв палец и погрозив им кому-то.

Сергей Васильевич хотя и не знал, что это, собственно, за профессия такая, но слово «режиссер» он запомнил накрепко еще с поры юности, и всплывало оно всегда в памяти в неразрывной связи с фамилией Александров, а дальше — «Веселые ребята». Он поправил жену:

— Режиссер.

— Я и говорю. Он кина снимает.

Сообщение жены взволновало и насторожило Сергея Васильевича, потому что этих режиссеров он считал людьми из другой жизни, которая была ему так же неизвестна, как жизнь генеральных секретарей.

Пока суд да дело, Сергей Васильевич схватил рюкзак и две спортивные сумки и побежал в магазин за блинной мукой. Отоварившись, благо очереди не было (он никак не мог привыкнуть к отсутствию очередей), Сергей Васильевич, подумав, взял на оставшиеся деньги бутылку водки рязанского завода, другой не было, и две бутылки «жигулевского». Потом, еще подумав, купил развесную атлантическую жирную селедку. И сразу как-то повеселел, как веселел всегда, предчувствуя праздник. Особенно он любил Первомай и Ноябрьские. Правда, теперь любил только в воспоминаниях, потому что все вокруг перестали праздновать эти праздники.

Жена обрадовалась селедке, принялась сразу же чистить ее. На кухне было дымно, жарилась курица, пар поднимался к потолку от варящейся картошки. Видно, жена мотнула всю свою зарплату, хоть и небольшую, но выдававшуюся пока регулярно. Она работала на швейной фабрике, продукцию которой никто не покупал.

Бутылку и пиво Сергей Васильевич предусмотрительно спрятал в рюкзаке. В своей комнате он переоделся, прилег на диван, включив черно-белый телевизор «Темп», 1963 года выпуска, посмотрел какую-то белиберду и под эту белиберду задремал. Ему приснилось, что он собирает картошку в деревне, а картошки так много, что мешков не хватает. И Сергей Васильевич радуется обильному урожаю,

прикидывая в уме, сколько же он выручит на рынке за эту картошку...

Разбудила его дочь Лиза.

— Папа, — сказала она нежно, тронув его за плечо. — Вставай, пожалуйста, у нас гости!

Сергей Васильевич энергично, сбрасывая сон, поднялся и, подыгрывая Лизе, сказал:

— Извини, доченька, задремал!

Дверь в комнату была распахнута. В прихожей, у зеркала, стоял немолодой уже седоватый мужик в джинсовом костюме — ухажер Лизы.

То, что ухажер в возрасте, человек, видно, солидный, понравилось Сергею Васильевичу, и он с улыбкой на устах вышел в прихожую. Протянув гостю руку, он представился:

— Сергей Васильевич!

Лиза добавила зачем-то:

— Это мой папа.

— Очень приятно, — сказал гость и в свою очередь назвал себя: — Иван.

Сергей Васильевич вздрогнул при этом имени — почему-то он ожидал, что гость, будучи представителем непонятной профессии, назовется каким-нибудь Жоржем, Эдиком или Альфредом. Имя Иван очень порадовало Сергея Васильевича, он все тряс руку гостя, улыбаясь, заглядывая в его голубые глаза.

— А вот и мамуля! — воскликнула Лиза, когда из ее комнаты показалась сильно накрашенная и напудренная, в новом платье, жена Сергея Васильевича.

— Иван, — еще раз повторил «лежиссер».

— Зоя Степановна, — сказала жена и мать.

— Погода очень хорошая теперь, — сказал Сергей Васильевич.

— К столу, к столу! — пригласила жена и открыла дверь в свою комнату.

Большой стол был накрыт. Он стоял в центре просторной комнаты на ковре. Справа стояло пианино, на котором никто и никогда не играл. Слева — модная стенка, в застекленной части которой музейно поблескивал хрусталь

и фарфор и стояло пять книг: Пушкин, Кочетов, Есенин, Ваншенкин и толстый том «Сказки народов мира».

Стулья, стенка и широкая, великолепная деревянная кровать были куплены пятнадцать лет назад, когда зарплата у Сергея Васильевича была пятьсот рублей, вдвое больше, чем у иных научных работников.

Садясь за стол, Сергей Васильевич отметил, что из спиртного жена, не поскупившись, купила армянский коньяк и шампанское. Еще была большая бутылка пепси-колы. Предвкушая удовольствие, он взял коньяк и потянулся к рюмке Ивана, но Иван сказал, что он за рулем. Сергей Васильевич погрустнел. И жена погрустнела.

— Ну хоть шампанского? — спросил Сергей Васильевич.

— Папа, — педагогическим голосом сказала Лиза, быстро взглянув почему-то на Ивана, — нам нельзя, мы за рулем!

Сергей Васильевич удивленно посмотрел на дочь и вдруг какими-то новыми глазами увидел ее — хорошенькую двадцатичетырехлетнюю девушку с великолепной прической (наверное, в парикмахерскую бегала!), в прекрасном лиловом костюмчике с белым кружевным воротничком. Она хорошо смотрелась рядом с седоватым Иваном.

Вздыхнув, Сергей Васильевич налил коньяку себе и жене. Лиза согласилась выпить немного шампанского. Ивану она налила пепси.

— Какая великолепная у вас квартира, — вежливо сказал Иван, когда все выпили.

— Не жалуемся, не жалуемся, — охотно подхватил Сергей Васильевич. — А сначала только вот эта комната и была, в которой сидим. Мне от завода ее дали — когда дом заселяли в шестьдесят первом году. Я сам с двадцать девятого года рождения, а Зоя — с сорокового. Вот когда родилась наша Лизонька, я и выхлопотал эту комнату, потому что мы жили с Зоей тогда у моих родителей за занавеской на Сухаревке. Теснотища! А тут все-таки своя комната, хоть и в коммуналке...

— И сколько тут метров? — спросил Иван, пробуя селедку.

— Двадцать восемь с половиной, — с гордостью сообщила жена и хотела еще что-то сказать, но Сергей Васильевич перебил ее:

— Потом умерла одна соседка. Из той комнаты, где я теперь помещаюсь, — пояснил он. — Я опять побежал в заводоуправление хлопотать. И что же? Выхлопотал!..

Сергей Васильевич снова взялся за бутылку коньяка и продолжил:

— А когда Лизе было десять лет, умерла другая соседка — из той комнаты, в которой теперь Лизонька помещается. И я опять хлопотать. Поначалу давать никак не хотели. Хотели подселать соседей. Но я тут включил все свои бумаги. Стаж, ударник коммунистического труда, член бюро профсоюзного цеха, ну и все такое. Дали. Вот так вот квартира и досталась, целиком и полностью...

— И дом хороший, старьй, — похвалил Иван. — И вид хороший из окна на церковь. Скоро ее, наверное, отреставрируют. Сейчас все церкви приводят в порядок...

— Приведут, приведут в порядок, это точно, — согласился Сергей Васильевич, чокаясь с женой и Лизой. — Хотя об религии я мало что знаю. Вот кто такой Ной? Отец Христа? — спросил он, пользуясь возможностью поговорить со сведущим, видимо, человеком. Он любил умные беседы.

— Нет. У Христа не было отца, — сказал Иван.

— Как же это? — удивился Сергей Васильевич.

— Очень просто. Его отец — дух святой. От духа святого и забеременела мать Христа, Мария, — растолковал Иван.

— А Ной при чем? — спросил Сергей Васильевич, наливая по третьей. На душе у него стало легко и празднично.

— Ной — это другое дело. Ноев ковчег. Спасение всего живого, — сказал Иван и хотел подробнее растолковать, но тут жена Сергея Васильевича вдруг тихонько завела:

Ромашки спрятались, завяли лютики...

— Зой, дай ты человеку договорить! — перебил песню Сергей Васильевич. Но ему и самому хотелось петь, только не хором, а солировать. Он очень любил солировать за столом.

— А ты, ты... — забывшись, взвизгнула было жена, но тут же спохватилась и, сбавляя тон, ловко продолжила: —

А ты, Сережа, а ты... Спой лучше ты... — И обращаясь к Ивану, добавила: — Сергей у нас очень хорошо поет...

— Конечно, конечно, — вежливо сказал Иван. — Спойте, пожалуйста, Сергей Васильевич.

Сергей Васильевич с готовностью схватил в одну руку вилку, в другую нож и ударил ими по тарелке: «Раз, два... восемь!» — крикнул он и запел:

Мы люди большого полета...

Иван с любопытством смотрел на него, Лиза терпеливо ждала, когда отец закончит песню, а жена, на которую выпитое уже успело подействовать, подперла голову кулаками, и глаза ее увлажнились от растроганности и каких-то своих воспоминаний.

Как только Сергей Васильевич закончил песню, церемонно поклонившись Ивану, она сказала:

— Бывалочи, с девками бегали в Порецкое на танцы... Там часть стояла. Ухаживали за мной офицеры, а я... Эх! В Москву помчалась...

Сергей Васильевич нетерпеливо выжидал и, едва жена запнулась, опять ударил по тарелке, прокричал: «Раз, два... восемь!» и запел с чувством — строго, даже величественно:

Будет людям счастье,
Счастье на века!
У советской власти
Сила велика!

Жена, смахнув слезу, подхватила:

Сегодня мы не на параде,
Мы к коммунизму на пути!
В коммунистической бригаде
С нами Ленин впереди!

Иван громко рассмеялся. Сергей Васильевич тут же прекратил пение, спросил недоверчиво:

— А что это вы рассмеялись?

— Вы с такой иронией, так замечательно проникновенно поете этот идиотский текст, что не рассмеяться просто нельзя! — сказал, улыбаясь, Иван.

— Какой текст? — не понял Сергей Васильевич.

— Идиотский... А что, разве не так?.. — чувствуя, что сказал что-то не то, насторожился Иван.

Сергей Васильевич покраснел от обиды, медленно встал из-за стола и пробормотав: «Извините, я на минутку» — вышел из комнаты. Но уже в прихожей он понял, что погорячился. Сразу возвращаться к столу, однако, не стал, а зашел на кухню, открыл воду и сполоснул лицо. Затем прошел в свою комнату. На душе сразу повеселело: бутылка и «жигулевское» были на месте! А выпить очень хотелось, потому что бутылки коньяка на двоих с женой ему было маловато — ни туда, ни сюда.

Сергей Васильевич быстренько нацедил в железную кружку, из которой брился, грамм сто пятьдесят, сбил об угол подоконника пробку с пива, мигом выпил водку и запил пивом из горла.

Когда он вернулся к столу, Иван в каком-то непонятном ему возбуждении ходил из угла в угол и, грозя кому-то пальцем, говорил, обращаясь к Лизе:

— ...время протекает через сердце, как кровь... И нет точнее часов, чем сердце, пульсирующее ровно столько, на сколько хватает завода судьбы! Погружаясь в ее темные воды через рождение, вступаешь в царствие подобных себе и оказываешься среди народа, среди ближних... Господи! — выкрикнул вдруг он. — Охрани от ближнего!..

Сергей Васильевич, похорошевший, опять жаждал мира и приятного общения и с готовностью поддакнул:

— Не слышал, с чего вы начали, но насчет ближнего очень даже правильно сказали! Воруют, собаки, прямо перед носом. У меня на заводе замок на тумбочке разов десять ломали. Увели драчевый напильник и плашку на двенадцать! А кто ворует? Свои! Ближние... Народ!

Иван обернулся к Сергею Васильевичу и с болью спросил:

— Сергей Васильевич, а вы кто?..

— Как кто? — оторопел Сергей Васильевич, ничего не понимая. — Слесарь...

— А еще?

— Что «еще»?

— Ну, кто вы еще? — все с той же болью в голосе настаивал Иван.

— А вы кто? — в свою очередь с такой же болью спросил Сергей Васильевич.

— Нет, Сергей Васильевич, сначала вы скажите, я вас спрашиваю...

— А я вас! — с обидою возразил Сергей Васильевич.

— Папуля, почему ты не можешь нормально разговаривать! — вскрикнула Лиза. — Прямо, как этот!..

— Лизонька, у меня там бутылочка на кухне, — перебила ее жена. — Ты знаешь где... Принеси, деточка...

Лиза, недовольно пожав плечами, встала из-за стола и направилась на кухню.

— Да спокойно ты, успокойся! — прикрикнул на жену Сергей Васильевич.

— Я что, я ничего... — заискивающе улыбаясь, начала было жена, но Сергей Васильевич опять обернулся к Ивану.

— Вот, никогда не дадут поговорить с интересным человеком, — пожаловался он. — Вы что хотели, я не понял... — но тут вошла Лиза с бутылкой водки в руке, и Сергей Васильевич быстро встал, протягивая к бутылке руку. Лиза взглянула на мать, но без возражений отдала водку отцу, громко сказав при этом:

— Папочка, открой, пожалуйста, и налей всем.

— Тебе тоже, доченька? — в тон ей спросил Сергей Васильевич.

— Немножко. Поддержу вас за компанию, — миролюбиво разрешила Лиза и пока Иван наливал себе пепси, тихонько шепнула отцу: — Только не ругайтесь...

Сергей Васильевич умело скovyрнул жестяную пробку с бутылки и налил себе, жене и дочери. Выпили. Жена со вздохом поставила рюмку на стол и принялась накладывать себе на тарелку салат, делая вид, что все в порядке, но Сергей Васильевич понял: уже отключилась. Вздохнув, он опять обратился к Ивану:

— Простите, я, может, чего-то не понял. Вот вы все спрашивали, кто я. А кто я? Чего вы хотели сказать?

— Я хотел сказать, — улыбнулся Иван, — что вы, Сергей Васильевич, тоже ведь народ. Самый настоящий народ!..

— Это вы правильно, — мирно согласился Сергей Васильевич. — Мы народ. Не просто народ, а великий народ, и не просто великий народ, а великий русский народ... Не то что какие-то там демократы!

— Бей демократов! — очнулась вдруг задремавшая было жена.

— Это что — самих себя? — опять улыбаясь, деланно удивился Иван.

— Мы не демократы! — крикнул Сергей Васильевич. Но спорить ему не хотелось, он без предупреждения ударил вилкой и ножом по тарелке, проскандировал: «Раз, два... восемь!» и запел:

Клен ты мой опавший, клен заледенелый...

Иван, как ни странно, подтянул:

Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой...

Это понравилось Сергею Васильевичу, на душе у него стало совсем хорошо и, закончив песню, он ласково проговорил, обращаясь к Ивану:

— Ну, что ж, рассказывай, Ваня, о своих намерениях...

— Ну, что ты опять, как этот!.. — сразу же вскинулась Лиза. — Неужели непонятно? Мы хотим пожениться!..

Сергей Васильевич, накальывая на вилку кусок жирной селедки, сказал задумчиво:

— Так. Значит, ты хочешь, Ваня, жениться на моей дочери?

— Хочу, — не очень твердо сказал Иван.

— Приданое соберем! — крикнула жена.

— Помолчи! — строго сказал ей Сергей Васильевич. — А где жить собираетесь?

Иван спокойно ответил:

— У меня трехкомнатная квартира на улице 8-го марта. Мать недавно умерла. Я остался один. Отец умер два года назад.

— А кем был отец? — спросил опять Сергей Васильевич, оглядывая пустые бутылки и прикидывая, что, пожалуй, пора сходить в свою комнату и добавить.

— Отец был кинооператором, — ответил Иван.

— Понятно, — кивнул Сергей Васильевич. — Ну, а если не секрет, на что жить собираетесь?

— Пап, ну что ты как допрашиваешь? — сказала Лиза. — Прямо, неудобно!

Но Иван остановил ее:

— Ничего тут нет неудобного, Лиза. Всем известно, что у нас, киношников, сейчас трудные времена. Но я нашел спонсора и через месяц запускаюсь.

— А позвольте узнать, сколько вам будет годов? — продолжил свои расспросы Сергей Васильевич.

— Сорок четыре, — ответил Иван.

— Женат не был? — поинтересовался Сергей Васильевич.

— Не был.

— Детей на стороне нет?

Лиза опять не выдержала.

— Пап, ну что ты пристал к человеку? Ну нельзя же так...

— Мне интересно знать, — строго сказал Сергей Васильевич. — Я же не семечки на рынке покупаю, а выдаю дочь замуж!

Жена очнулась от дремы, крикнула:

— Правильно!

— Шла бы ты лучше спать, мама! — одернула ее Лиза.

Тут Сергей Васильевич неожиданно поднялся и сказал:

— Я выйду на минуточку.

Сначала он зашел в уборную, потом уж побежал в свою комнату. Быстро налил в кружку, жадно выпил, затем запил с удовольствием пивом. Взглянул в окно на проезжающий трамвай, чему-то улыбнулся и вернулся к столу. На душе было очень хорошо. Опять захотелось петь. Но тут поднялся из-за стола Иван.

— Извините, но мне пора, — сказал он. — К сценаристу еще нужно заскочить...

— Я тебя провожу до машины, — встала из-за стола и Лиза.

— Я тоже спущусь, — заявил Сергей Васильевич, решив, что стоит посмотреть, какая у жениха машина.

По грязной, с выбитыми ступенями лестнице они спустились во двор и свернули за угол, в проезд между двумя домами. Там на обочине стояла старая «Волга» Ивана. При

виде столь почитаемого автомобиля Сергей Васильевич приосанился, хотя немного уже покачивался, и спросил:

— Автомобиль, небось, от отца достался?

— От отца, — подтвердил Иван, целуя Лизу и садясь в машину.

Когда он уехал, Лиза с перекошенным лицом повернулась к отцу.

— Ублюдок! — бросила она ему злобно и побежала наверх.

Она закрылась в своей комнате, и больше за весь вечер ее Сергей Васильевич не видел, хотя сам, после того, как уложил жену, не раздевая, а лишь сняв с нее туфли, выходил в коридор раза три — когда посещал уборную и когда ставил чайник, чтобы на ночь попить крепкого чая. К водке, которой осталось грамм двести, он больше не притрагивался, заткнул и спрятал бутылку в рюкзак.

Утром он проснулся раньше обычного от странного шороха в комнате. Жена рылась в сумках.

— Выйди вон! — закричал не своим голосом Сергей Васильевич.

— Сереженька, я знаю, у тебя есть, — прошептала жена.

— Убирайся отсюда!

— Я умираю, Сереженька, дай! — взмолилась жена.

Сергей Васильевич, ощущая легкий шум в голове, вскочил и вытолкал жену из комнаты, закрыв дверь за ней на ключ. Он приложил ухо к двери и некоторое время стоял неподвижно, слушая, что происходит в коридоре. Минуту спустя, он услышал стук двери в комнате жены.

Сергей Васильевич прилег и задремал. Опять ему снилась деревня.

Прозвенел будильник. Сергей Васильевич по заведенному обычаю сразу же поднялся и в трусах пошел на кухню ставить чайник для бритья. Лиза варила овсянку.

— Что ты вылезаеть вечно, когда я тут! — крикнула она.

Сергей Васильевич молча поджег чайник. Лиза схватила ковшик с кашей и побежала к себе.

Сергей Васильевич зашел в уборную, почитал обрывок газеты, затем приступил к бритью на подоконнике в своей

комнате. Он брился и вспоминал вчерашний разговор с Иваном. Сергей Васильевич понял, что Иван ему все-таки не понравился. Да и староват для Лизы. С другой стороны, где их теперь найдешь, женихов? Лиза тоже уже засиделась в девках, давно замуж пора. Может, и сладится...

За завтраком кусок в глотку не лез, но Сергей Васильевич насильно вогнал в себя банку кильки. Правда, без хлеба. И отправился на работу.

На трамвайной остановке его застал дождик, и Сергей Васильевич посетовал, что забыл зонтик. В трамвае было душно, как в парной. Сергея Васильевича немного мутило, и он вышел на одну остановку раньше, чтобы выпить квасу. Палатка стояла у бетонного забора его же завода. Была небольшая очередь, из заводских. В очереди Сергей Васильевич увидел мастера Сашку. Взяли по кружке, отошли в сторонку, с удовольствием потягивая кислотоватый квас.

— Принимал вчера? — на всякий случай спросил Сашка.

— Принимал, — с улыбкой ответил Сергей Васильевич.

— Я тоже принял, — сказал Сашка и пояснил: — Вчера все толкнул у «Сантехники». Особливо хорошо пошли твои ручки!

— А я с женихом знакомился, — сознался Сергей Васильевич.

— Ну и как? — спросил Сашка равнодушно.

— Из этих, — сказал Сергей Васильевич и кивнул куда-то в небо.

— Ну и ладно, — сказал Сашка. — Тебе с ним не жить.

— Режиссер, — уточнил Сергей Васильевич.

— С деньгой?

— Говорит, что неважно сейчас живут. Но мой нашел, говорит, спонсора.

Допили, морщась, квас и пошли на работу. В раздевалке Сергей Васильевич достал из нагрудного карманчика пиджака чертежики заказанной ему накануне на рынке фурнитуры и прикинул, как лучше приступить к делу.

Часа два Сергея Васильевича все мутило, побаливал затылок, прикрытый газетной шапкой, но Сергей Василье-

вич забывался за изготовлением крючков и шпингалетов из золотистой бронзы. Он ходил то к фрезерному станку, то к токарному, то к сверлильному. Потом зажимал детали в тиски на верстаке, работал ножовкой, напильниками, мелкой шкуркой. Полировал детали на станке о войлочный круг.

К обеду мутить перестало. Сергей Васильевич сходил в столовую, где на огромной стене были наклеены цветные фотообои с изображением водопада. Глядя на этот водопад, Сергей Васильевич с аппетитом съел тарелку кислых щей и пять кусков такого же кислого черного хлеба с горчицей. Даже слезы выступили и пот прошиб.

Успел «забить козла». Причем оказался победителем в паре с мастером Сашкой. Но после обеда у него сильно разболелся затылок. Сергей Васильевич тер его, потом помазал керосином. И боль стихла. Сашка явился за данью, получил свое. Сергей Васильевич изготовил гирлянду и под сирену на окончание смены пошел в раздевалку. Шел, думая о том, что дня за три весь заказ сработает.

С гирляндой под пиджаком вошел в квартиру.

— Матери плохо! — с порога он услышал лизкин голос.

— Ну и что? — сказал Сергей Васильевич.

— Она без сознания! Я только что пришла. Толкала, толкала ее, а она ни мычит, ни телится!..

Сергей Васильевич молча прошел в свою комнату, в мрачном раздумье снял пиджак, стащил с шеи бронзовую гирлянду. Переодевшись в домашнюю одежду, отправился на осмотр жены.

Она лежала в новом платье, в туфлях на кровати, возле которой валялась бутылка, пустая. Сергей Васильевич склонился над женой, взял ее за плечи и принялся трясти. Из ее груди вырвался сдавленный вскрик.

Сергей Васильевич успокоился, поднял бутылку и пошел на кухню. Лизка варила себе пакетный куриный супчик с вермишелью.

— Дышит, — сказал Сергей Васильевич.

— Это я ей только что дала нашатыря понюхать.

— Надо что-то предпринимать, — сказал Сергей Васильевич.

— Помолчи!

— Да заткнись ты сама! Я говорю, что надо что-то предпринимать.

— Ну, ты как этот! На себя посмотри.

— Чего мне на себя смотреть, — усмехнулся Сергей Васильевич. — Я работаю!

— Работает он! — воскликнула Лиза. — А жрать в доме нечего! Ладно, я. Мне в библиотеке копейки платят. Да женщине и необязательно зарабатывать. Меня Иван прокормит. А ты-то что?

— Я в деревню уеду...

В эту минуту на кухню, сильно шатаясь, вошла жена. Лицо ее было в размазанной косметике, заспанное, с пустыми, невидящими глазами.

— Суки! — взвизгнула мать. — Купите бутылку!..

— А ну, марш отсюда! — побагровев, не своим голосом заорала на мать Лиза.

Та качнулась и зарыдала, слезы потекли по грязным щекам. И пошлепала к себе скуля:

— Купите бутылку, умираю же...

Наступила гнетущая тишина.

— Надо что-то предпринять, — сказал Сергей Васильевич.

— Я пойду куплю ей, — сказала Лиза. — А то она не успокоится.

— Иди, добивай мать! — крикнул Сергей Васильевич и ушел к себе.

Он включил телевизор и прилег на диван. И незаметно заснул. Ему приснилась деревенская речка, мелкая, но быстрая и холодная. Он босиком ходил по воде с удочкой.

Проснулся он часа через два. Захотелось есть. Он взглянул на сумки с блинной мукой и решил напечь оладьев.

В квартире стояла тишина. Он приоткрыл дверь в комнату жены. Она спала на кровати. Лиза, видимо, передела ее, потому что жена была в халате. На столе стояла ополовиненная бутылка водки.

Сергей Васильевич, вздохнув, пошел на кухню жарить оладьи. Он их жарил на маленькой сковородке и сразу же ел, обжигаясь и облизывая пальцы.

Наевшись оладьев, Сергей Васильевич вновь прилег на диван и опять уснул. Проснулся уже ночью от желания сбежать в уборную, погасил телевизор и потом уже спал, как убитый, до утра, до громкого звона будильника.

Лиза варила на кухне в своем ковшике овсянку.

— Опять вылез! — привычно отреагировала она, увидев отца.

— Дура, спала бы себе и спала! — мирно возразил Сергей Васильевич. — Вскакивает всегда под руку... Тебе же к десяти на работу.

— Не учи! У меня режим! — огрызнулась Лиза. — Ты бы лучше подумал, на что мы свадьбу играть будем!..

Сергей Васильевич задумался. Свадьбу-то играть действительно нужно было, коль дочь говорит об этом серьезно.

— Он мне не понравился! — заявил он однако, зачем-то воткнув букву «д» на деревенский манер.

— Зато мне нравится! — передразнила с буквой «д» дочь. И, помолчав, сказала: — Мне стулья нужны.

— Какие стулья?

— Не понимаешь, что ли? У Ивана нет стульев.

— На чем же он сидит? — удивился Сергей Васильевич.

— На раскладушке, — сказала Лиза.

— Так у него же квартира! — воскликнул Сергей Васильевич.

— Ну, ты прямо, как этот! Квартира есть, мебели нет.

— Совсем нет?

— Был старинный гарнитур, но Иван его продал, потому что жить было не на что, — сказала Лиза, помешивая свою кашу. — Это тебе не на заводе работать! Он человек творческий! Сегодня нет денег, а завтра будет куча! Все ему нужно объяснять...

— Где же я тебе стулья возьму?

— Я сама возьму! Ты мне деньги дай!

— Я же без зарплаты пятый месяц хожу! — возмущенно заорал Сергей Васильевич. — Еле концы с концами свожу. Мяса не ем. Жру черт знает что! А ей стулья подавай! Перебьешься!..

— Кто это?! Кто это?! — закричала мать.

— Где? — в страхе спросила Лиза.

— В комнате моей! С топорами идут! Караул!

— Дура! Там никого нет! Иди спать!

В коридоре началась какая-то возня, потом послышались шаги и все стихло. Сергей Васильевич, чертыхаясь, побежал в свою комнату, схватил кружку, вернулся на кухню и набрал кипяток из чайника для бритья. Затем столь же быстро исчез в своей комнате и начал бритье.

Побрившись, умываться на кухню не пошел. Протер лицо чистым краем полотенца, быстро вскрыл очередную банку дагестанской кильки в томате и принялся глотать ее, выковыривая из банки для быстроты алюминиевой ложкой, а не вилкой, потому что время поджимало, оделся и побежал на работу.

В обед в столовой давали окрошку со свежим огурчиком, хотя и дороже шей, но Сергей Васильевич не удержался, купил и хлебал окрошку так громко и смачно, как давненько не хлебал.

За смену успел сделать большую часть «бронзового» заказа.

Когда он вернулся домой, в квартире стояла тишина. Лизки не было. А жена лежала на кровати. Следов выпивки не было.

Довольный Сергей Васильевич первым делом приступил к жарению оладьев, он глотал их с жадностью, обжигаясь и постанывая от удовольствия, и в некоторые моменты ему казалось, что он весь горит.

Насытившись, прилег у себя на диване. Внушил себе, что заболел и ему налепили горчичников. И забылся сладко.

Ему опять приснилась деревня. Он с удочкой сидит на берегу. Наловил плотвы целую корзину. Потом положил рядом удочку и прилег на песок. Солнце греет, он загорает...

Проснулся часа через три от нестерпимой жажды. Выбежал на кухню, открыл воду и стал пить ее, но жажда не проходила. Сергей Васильевич потрогал лоб. Он оказался горячим. Вернулся в комнату, нашел градусник, лег на диван и сунул градусник под мышку. Минут через пять снял его, взглянул: тридцать девять!

— Так дело не пойдет, — сказал сам себе Сергей Васильевич.

Он отыскал в рюкзаке бутылку с остатками водки, непечатую бутылку пива, налил водку в кружку из-под бритвы, махнул ее залпом, сбил о подоконник пробку с пива, запил им и быстро лег на диван.

Через некоторое время в голове приятно зашумело. Сергей Васильевич сладко зевнул и опять уснул. Даже телевизор в этот вечер не включал. Он спал и как бы чувствовал тишину в квартире, и спал поэтому как-то уютно, размеренно. И сон ему тоже снился какой-то плавный, доходчивый. Будто сидит Сергей Васильевич в своем саду под яблоней-китайкой. И на ней такие маленькие, как черешня, яблочки. И заходит будто сосед по прозвищу Ученый и говорит: «Тебе, Васильич, теперича в Москву ехать не нужно. Теперича выделили тебе пожизненную пенсию, генеральскую, за то, что ты всю жизнь на одном заводе проработал. Выращивай огурцы и картошку, деньги почтальон будет приносить. Ты заслужил!»...

На этом месте Сергей Васильевич проснулся от звонка в дверь. Он вскочил и побежал открывать. Пришла подруга жены, медсестра с фабрики.

— Приболела жена? — спросила она.

— Приболела, — сказал Сергей Васильевич любезно.

— Как поживаете? — спросила медсестра.

— Помаленьку, — ответил Сергей Васильевич, открывая дверь в комнату жены и пропуская туда медсестру.

Медсестра подошла к кровати жены, придвинула стул, села. Сергей Васильевич закрыл дверь и пошел в уборную. На обрывке газеты прочитал информацию о положении в Югославии. Затем пошел на кухню ставить чайник.

Пришла Лиза. Сергей Васильевич сразу же ушел к себе. Напился чаю, лег и уснул до утра. Проснулся раньше звонка будильника. На кухне Лиза, как всегда, варила овсянку.

— Возьми рецепт на столике, медсестра выписала, — приказала она отцу. — Зайди после работы в аптеку, купи лекарство.

— Еще что! — возмутился Сергей Васильевич. — Сама что ли зайти не можешь?

— Помолчи, колхозник! Я занята сегодня. Я ступля покупаю с Иваном!

Сергей Васильевич удивился, спросил:

— И где же ты деньги нашла?

— Где нашла, там уже нету!

На кухню тихо, робко вошла мать, сказала дрожащим, срывающимся голосом:

— Доброе утро!

— Доброе, — ответил Сергей Васильевич, с некоторым испугом поглядывая на жену.

— Здравствуй, мама! — бодро сказала Лиза и спросила: — Чего тебе?

— Чайку попить захотелось.

— Иди ложись, — сказала Лиза. — Я сейчас принесу...

Сергей Васильевич пошел собираться на работу. Съел последнюю банку кильки с хлебом. Чай пить не стал.

В трамвае встретился с мастером Сашкой. Сашка спросил:

— Смотрел вчера футбол?

— А кто играл? — в свою очередь спросил Сергей Васильевич.

— Наши.

— И как?

— Продули. Такую банку не забили. В пустые ворота!

— Разгонять их нужно! — подвел итог Сергей Васильевич.

Трамвай въехал в ущелье между двумя бетонными заборами. На остановке толпа подхватила Сергея Васильевича и вынесла его к проходной родного завода.

— В выходные махну на водохранилище, — сказал Сашка, поглядывая на голубое небо. Погода стояла прекрасная. — Надо порыбачить. Купил лески, крючков.

— Красота! — вздохнул Сергей Васильевич.

— Еще бы!

— А я уж скоро отвалю в деревню. До осени, — мечтательно проговорил Сергей Васильевич.

— Тебе хорошо, есть куда спрятаться, — позавидовал Сашка.

— Вот свадьбу дочери сыграю и отвалю!..

Сегодня как-то особенно хорошо работалось Сергею Васильевичу. Мать пошла, как любил он сам выражаться.

К обеду уже все закончил. Отлично пообедал борщом с черным хлебом. Сыграл в домино, оказавшись победителем. После обеда начал на всякий случай новую партию дверных ручек — в виде драконов.

Иногда, задумываясь, он смотрел в грязное зарешеченное окно, но видел не окно, а расстилалось перед ним деревенское поле, за ним речка и лес, куда он любил ходить ранним утром, по росе, за грибами, причем брал только благородные — белые, подберезовики, подосиновики, а через сыроежки и свинушки презрительно переступал, зная, что через какой-нибудь час огромная корзина, которую плел из ивовых прутьев еще до войны отец, и без них будет полна... Это только подмосковные дачники, которые и лесов-то настоящих российских в глаза не видели, собирают разную дрянь, среди которой сыроежки и свинушки считаются королями...

Перед окончанием смены Сергей Васильевич зашел в химлабораторию позвонить заказчику по визитной карточке. В лаборатории играло радио и, прежде чем набрать нужный номер, Сергей Васильевич прислушался к голосу Бунчикова:

Услышь меня, хорошая...

Бунчикова Сергей Васильевич очень любил, поэтому дослушал песню до конца и только после стал звонить.

Оказалось, что фирма находится недалеко, за кинотеатром «Родина». Сергей Васильевич договорился, что через час будет, повесил на шею очередную гирлянду, заехал домой, упаковал все в сумку.

Жена что-то готовила на кухне. Когда он собирался уходить, спросила:

— В аптеку заходил?

— По делам сбегая и на обратном пути заскочу в твою аптеку, — сказал Сергей Васильевич и побежал на трамвай.

Огромное здание из стекла и бетона, в котором помещалась фирма, Сергей Васильевич нашел без труда. Но в проходной его задержали, пришлось звонить по местному. Встретить его вышел все тот же молодой человек в малиновом пиджаке. Прошли через великолепный холл с фон-

танчиком и с массой зелени. Длинный коридор был устлан ковровой дорожкой.

— Шеф чего-то тобой заинтересовался, — сказал молодой человек.

— А чего мной интересоваться? — насторожился Сергей Васильевич.

— Не знаю. Иначе б я тебя сюда не приглашал.

Остановились у полированной двери, и Сергей Васильевич узнал на ней свою бронзовую ручку в виде русалки. Молодой человек нажал на кнопку кодированного устройства, и они вошли в помещение, которое было просторнее холла с фонтаном. В витринах были представлены образцы модной иностранной одежды.

— Фурнитуру можно положить сюда, — сказал молодой человек, указывая на стеклянный столик, стоявший рядом с входом. На столике стояло несколько телефонов.

Сергей Васильевич разложил свой товар. Молодой человек достал из кармана калькулятор, пересчитал изделия Сергея Васильевича, умножил и тут же расплатился. Сергей Васильевич успокоенно улыбнулся, потому что сумма была кругленькой.

С некоторым недоумением и вновь возникшим волнением он вошел в кабинет директора фирмы. Присел на краешек стула, когда директор — невысокий, коротко стриженный, назвавшийся Владимиром Исаевичем, — предложил сесть.

— Я у Коли спросил, кто это такие великолепные вещи делает, — начал Владимир Исаевич с улыбкой и продолжил: — Но суть, разумеется, не в этом... Сергей Васильевич, вы давно работаете на заводе?

— С сорок шестого года, — чуть дрогнувшим голосом сказал Сергей Васильевич, приглаживая седые волосы, окаймлявшие лысину.

— И все на одном месте? — с той же улыбкой спросил Владимир Исаевич.

— Всю жизнь на одном месте, — сказал Сергей Васильевич.

— Потрясающе! — воскликнул Владимир Исаевич и встал из-за черного полированного стола. Он сложил руки на груди и заходил туда-сюда по кабинету.

— Самое интересное, — сказал он, — что вам уже пятый месяц не платят зарплату.

Сергей Васильевич пораженно уставился на директора.

— Откуда вы знаете? — спросил он.

— Работает там у меня приятель, — сказал Владимир Исаевич.

— В каком цеху?

— Он заместитель директора.

Перед мысленным взором Сергея Васильевича проплыла толстая физиономия зама в «тойоте».

— Хотите, чтобы вам регулярно платили зарплату? — спросил Владимир Исаевич.

— Еще бы! — воскликнул Сергей Васильевич. — У меня как-никак семья все же. Дочь вот замуж надумала выходить.

Сергей Васильевич сказал это, подумав, что Владимир Исаевич, может, надавит на зама и Сергею Васильевичу будут платить. Но Владимир Исаевич его ошаршил:

— Переходите ко мне работать!

Легкая испарина выступила на лбу Сергея Васильевича.

Он спросил:

— Зачем?

— Как «зачем»? Будете для начала получать по миллиону рублей в месяц!

Сергей Васильевич вдруг закашлялся, слезы брызнули из глаз и кольнуло где-то в районе сердца.

Владимир Исаевич вытащил из холодильника банку пива, открыл и протянул Сергею Васильевичу. Тот жадно выпил всю банку.

— Но я же слесарь! — растерянно воскликнул Сергей Васильевич, ударяя себя в грудь кулаком.

— А вы мне не как слесарь нужны.

— У меня образования нету. Я пять классов кончил!

— Мне нужно не образование...

— Что же вам нужно?!

— Вы.

— Я?!

— Да, — твердо сказал Владимир Исаевич.

— Вы просто смеетесь надо мной, — сказал ничего не понимающий Сергей Васильевич.

— Я очень хорошо разбираюсь в людях, и если бы я смеялся, у меня не было бы этой фирмы, — мягко возразил Владимир Исаевич.

— А чем вы занимаетесь? — спросил на всякий случай Сергей Васильевич, опять покрываясь испариной.

— Оптовой торговлей импортной одеждой.

При слове «торговля» Сергей Васильевич вздрогнул. Ненавидел он всеми фибрами души торгашей. Но при воспоминании о слове «миллион» сдержал себя и спросил:

— Тем более, зачем я вам нужен неграмотный?!

— За тем, чтобы вы были верны моей фирме, как родному заводу! — отчеканил этот странный Владимир Исаевич.

— И что же мне, предположим, нужно будет делать у вас? — спросил Сергей Васильевич, напрочь сбитый с толку.

— Быть моим заместителем, — еще раз ошарашил его загадочный Владимир Исаевич. — Так сказать, замполитом! Воспитывать молодежь!

И дрожь, и страх, и волнение, и гордость за себя, и радость одновременно овладели Сергеем Васильевичем.

— Подумайте и завтра же позвоните мне, — сказал Владимир Исаевич, протягивая визитку Сергею Васильевичу.

Совершенно обескураженный Сергей Васильевич вышел на улицу. Он ничего не понял, совершенно ничего. Он шел и перебирал в уме разговор с Владимиром Исаевичем. Вдруг увидел аптеку. Зашел, протянул в окошко рецепт. Купил лекарства. Дошел до дому пешком, положил лекарства на кухонном столе. Закрылся в своей комнате. Включил телевизор. Лег на диван. Стал думать. Волновался, вскакивал, ходил по комнате, вновь ложился. Наконец, как-то удобно почувствовав себя на боку, задремал.

Ему приснилось, что Ученый привел почтальона. А почтальон дает Сергею Васильевичу миллион и говорит, что это, теперича, его генеральская пенсия за то, что он без малого пятьдесят лет оставался верен одному и тому же заводу.

Проснулся Сергей Васильевич в поту. Сел на диване и стал опять думать. Потом решил, что необходимо с кем-то

посоветоваться. Стал перебирать в уме людей, с кем можно было посоветоваться, но никого подходящего не нашел. Потом решил, что ни с кем советоваться не нужно. Просто тихо самому все решить, и баста!

С этим он вышел на кухню и в тишине нажарил себе оладьев, которые с ходу съел, запивая чаем.

Его то распирала радость, то охватывал ужасающий страх. Он посмотрел какой-то художественный фильм, но ничего не понял. И лишь перед тем, как окончательно уйти в ночной сон, решил все-таки рискнуть. Бросить к черту этот проклятый завод и пойти в фирму. Пусть эта фирма и сторит, как, слышал, горели разные фирмы — он ничего, в принципе, не потеряет. Плкнет на все и умотает в деревню навсегда...

Утром, едва Сергей Васильевич проснулся, им овладело нетерпение позвонить Владимиру Исаевичу.

— Опять вылез... — привычно начала Лиза, варя свою кашу. Но Сергей Васильевич не стал заводиться:

— С добрым утром, милый город, сердце родины моей! — весело пропел он.

— Что, совсем сдурел? — удивленно обернулась к нему дочь.

Сергей Васильевич с улыбкой налил кипятку в кружку и пошел к себе бриться. Глядя в зеркальце, он думал о том, что замдиректора завода, оказывается, ценит его. Он, наверное, и шепнул Владимиру Исаевичу о нем.

На кухне появилась жена.

— Ну что выполз, подождать не мог? Не дает на работу уйти...

— Ты что, с цепи сорвалась? — удивился Сергей Васильевич.

— Помолчи! — крикнула ему Лиза, снимая с плиты свой ковшик. — Готовь, мамочка, я уйду...

Жена достала кастрюлю из холодильника и плюхнула ее на плиту.

Сергей Васильевич от греха подальше ретировался в свою комнату. Брился он весело, что-то насвистывая: радость распирала его. Ему так и хотелось сразить и жену, и Лизу известием о грядущей небывалой перемене в его

жизни, но, подумав, он поклялся не говорить им об этом. Пусть все идет так, как идет, сами потом узнают!..

Увидев мастера Сашку, однако, не сдержался — отозвал его в сторону, за высокий вертикально-фрезерный станок, сказал:

— Вот такие вот дела, Сашок... Предложили мне в одной фирме работу. Миллион в месяц.

У Сашки до небывалых размеров расширились глаза, он спросил:

— В какой такой фирме?

— В торговой.

— Посадят! — резюмировал Сашка.

— Я и сам боюсь, — сказал Сергей Васильевич, оглядываясь по сторонам, как бы кто не подслушал.

Помолчали.

— Кем хоть предложили? — спросил Сашка.

— Заместителем директора!

— Так, — проглотил комок в горле Сашка и, подумав, сказал: — Подсадным берут! Это точно. Нашли дурака и берут подсадным!

— Каким «подсадным»?

— Таким, дурак! В один прекрасный день придешь на работу, а они не придут, сбегут! Вместо них придет милиция, повяжет тебя и все воровство на тебя спишет!

У Сергея Васильевича перед глазами побежали зеленые круги.

— Там же одно ворье кругом, да еще с наганами ходят, — сказал Сашка. — Убивают сразу, как не по-ихнему. Звери!

— Да вроде бы на вид ничего, — засомневался Сергей Васильевич.

— Брось ты, Серега! Не нашего ума это дело. Прикроют их скоро всех. Разве мыслимо столько времени издеваться над народом! Над рабочим классом издеваться. Ты же слесарь, дурья твоя голова! А его заместителем директора! Попкой тебя хотят взять...

Тут почему-то вспомнился Сергею Васильевичу друг юности Толя Соловьев. Вместе жили на Сухаревке, за кинотеатром «Форум», в Большом Сухаревском переулке. Вместе бегали на танцы, в кино, пили пиво и вино, духарились. Но Сергей

Васильевич пошел на завод, а Толя занялся гешефтом, устроил подпольный швейный цех. Как он уговаривал Сергея Васильевича в компаньоны к нему пойти! Тот же чертов страх помешал. И что же? У Толи сейчас пятикомнатная квартира на Бронной, автомобиль «джип», особняк на Успенском шоссе, жена в мехах, сын в МИДе работает. Вот так вот! Встретил недавно его, с трудом узнал. Перекинулись двумя-тремя словами — и разошлись. А ведь мог бы он и послушать Толю. Правильным хотел быть, поверил партии и правительству, все ждал чего-то от завода. Дождался!..

Сашка отвлек от размышлений, сказал:

— Конечно, рыск — благородное дело, но я тебе не советую!

— Подумаю, — только и сказал Сергей Васильевич. Но тут же побежал в химлабораторию звонить.

— Я согласен! — твердо сказал Сергей Васильевич, окончательно решив, вопреки советам Сашки, пойти на сей раз против течения.

— Подъезжайте прямо сейчас, — сказал Владимир Исаевич.

— У меня же смена!

— Ваша смена кончилась, — сказал Владимир Исаевич. — Идите в отдел кадров, а потом — ко мне.

В раздевалке, стоя босиком на резиновом коврикe, Сергей Васильевич долго думал, забирать ли замочек от шкафа с собой или бросить его тут. Привык к замочку. Положил его на скамейку и все смотрел на него и думал, пока одевался. Потом, одевшись, машинально сунул его в карман пиджака, решив, что в деревне пригодится.

Трудовую книжку отдали без звука, на прощанье сказали, что в любой момент возьмут обратно, на что Сергей Васильевич иронично бросил:

— Теперь уж Бог возьмет!

До проходной пришлось идти пешком, потому что в это время автобусы не ходили. Солнце припекало. Сергей Васильевич щурился, поглядывая на него. В трамвае было не очень много народу, чему Сергей Васильевич даже удивился.

Опять его встретил молодой человек в малиновом пиджаке, Коля, но на сей раз он называл Сергея Васильевича по имени-отчеству и обращался к нему исключительно на «вы».

Владимир Исаевич усадил Сергея Васильевича на стул, сам же стал прохаживаться по кабинету и объяснять:

— Я понимаю, что вы, дорогой Сергей Васильевич, удивлены. Я и сам удивлен, что вы приняли правильное решение. Эту фирму я открыл всего несколько месяцев назад. А когда-то я работал в ЦСУ, знаете такое большое здание из бетона на Кировской?

— Знаю, — сказал Сергей Васильевич, потому что центр Москвы знал прекрасно, хотя в последнее время бывал там редко.

— Так вот, я работал в ЦСУ и надо мной все мои друзья, которые давно ушли в бизнес, смеялись. В свое время я защитил кандидатскую, работал у Эйдельмана. Экономист он был великолепный. Я понимал, что нужно начинать новую жизнь, но все боялся чего-то. И вот в один прекрасный день мой приятель, а ваш зам, сказал мне, что за совершенно символическую плату он мне найдет подходящее помещение... Оставалось только решиться. И я решился. Приятель помог с регистрацией и со всеми формальностями. Так вот и началось. А теперь вот уже и эта фирма. Новый масштаб, нужны и новые люди. Я сразу же, естественно, задумался об этом. Кто будет со мной работать? Конечно, нужна молодежь, чтобы бегала, ездила, привозила, грузила и так далее. Но нужен и костяк, верно ведь?..

Владимир Исаевич замолчал и, остановившись перед Сергеем Васильевичем, посмотрел на него.

— Верно, — решил согласиться Сергей Васильевич, хотя и не очень понимал, к чему клонит Владимир Исаевич. Тот опять начал ходить по кабинету, продолжая:

— Когда-то я служил в армии. На чем держалось наше подразделение? На товарище старшине. Это был молчаливый, строгий, но справедливый человек. Хозяин в казарме. От выдачи портянок — до вечера самодеятельности. И отец, и мать, и нянька! И вот я решил, что у меня в фирме обязательно должен быть такой же старшина, такой же

человек. И тут такое замечательное совпадение. Приносит Коля дверные ручки. Это я его отрядил на рынок, потому что знал, что там можно купить необычный товар. И приносит он ваши ручки!

Я переговорил с вашим замом директора. Оказывается, он вас хорошо знает. Характеризовал с самой лучшей стороны... Так что, Сергей Васильевич, вы для всех будете заместителем моим, а для меня — старшиной!

— Я в армии не служил, — смущенно сказал Сергей Васильевич. — У меня была броня...

— Я знаю, что с вашего завода не брали. Зачем вас было брать, вы и так всегда на режиме были! Вот и мне хочется, чтобы наша фирма работала так же четко, как прежде работал ваш завод.

— Это хорошо, — сказал Сергей Васильевич. — Я люблю дисциплину. А то современная молодежь распоясалась очень.

— У нас этого не должно быть. У нас будут солидные клиенты. Они должны знать, что у нас дело поставлено строго. И вы должны прививать это сознание всем сотрудникам. Знаете, так это между прочим ходить по залу, по кабинетам, посматривать строго, делать замечания. В этом, может быть, даже основное — делать замечания. Ну, например, Коля вам «тыкал». Это я знаю. А вы ему сделайте замечание: «Николай, ко всем людям, пока вы с ними по обоюдному согласию не перешли на «ты», вы должны обращаться на «вы»! Понятно?

— Понятно, — сказал Сергей Васильевич. — Но не будут ли меня за эти замечания посылать куда подальше?

— Это должно быть исключено.

— А как тут исключишь?

— Докладывайте мне.

— Ладно, я доложу, а мне морду после работы на улице набьют. Иль убьют. Говорят же, что все новые ходят теперь с наганами и сразу же убивают...

— Какие страсти! — усмехнулся Владимир Исаевич. — Этак из дому выходить не нужно. Кирпич на голову упадет...

— Да это я так, — сказал Сергей Васильевич, вспоминая слова мастера Сашки. — К слову пришлось.

Владимир Исаевич внимательно посмотрел на Сергея Васильевича и вдруг сказал:

- Сделайте мне немедленно какое-нибудь замечание!
- Так сразу? — удивился Сергей Васильевич.
- Сразу.

Сергей Васильевич подобрался, распрямил спину и некоторое время молчаливо следил за ходящим туда-сюда по кабинету Владимиром Исаевичем. Затем вдруг прикрикнул, как дома на Лизку:

- А ну, сядьте на место!

Владимир Исаевич одобрительно кивнул головой, подошел к своему столу, сел и, как ученик на парте, сложил перед собой руки.

— Очень хорошо! — похвалил он и добавил: — Только вы не в крик уходите, а в металл. Например: «Сергей Васильевич, как вы сидите?!»

В голосе Владимира Исаевича был этот самый металл — с невозмутимым спокойствием.

- Повторите замечание, — сказал он.

— Владимир Исаевич, сядьте на место! — монотонно-металлически проговорил Сергей Васильевич, чем доставил удовольствие шефу.

— Вот этот тон и закрепите, — сказал он. — Спокойный, твердый, уверенный. А то, понимаете, Сергей Васильевич, крик раздражает того, кому вы делаете замечание. Крик проистекает от слабости. Когда люди хотят сразу что-то изменить, а не получается, они и начинают кричать. И не задумываются над тем, что криком лишь выдают свое бессилие, свою слабость. Вот, например, вы хлопчете о чем-то перед чиновником, а он не обращает на вас внимание. Вы постепенно раздражаетесь и начинаете кричать. И это — провал! Конфликт. А ведь конфликт этот лишь от непонимания формы общения. Содержание в данном случае не имеет никакого значения. Форма общения правит миром! — воскликнул Владимир Исаевич, вышел из-за стола и опять стал расхаживать по кабинету.

— Владимир Исаевич, сядьте, пожалуйста, на место! — таким твердо-металлическим голосом сделал замечание Сергей Васильевич, что сам себе поразился.

Владимир Исаевич с некоторым удивлением посмотрел на Сергея Васильевича, но послушно вернулся на место и продолжал:

— Можно ворваться к человеку с криком, застучать кулаками по столу, а можно вежливо войти, извиниться, твердым голосом изложить свое дело, намекнуть на благодарность, поставить в конце концов бутылку. Уверен, к вам будет совершенно другое отношение.

— Намекнуть на взятку? — спросил Сергей Васильевич.

— Ну вот, вы сразу переводите беседу в конфликтное русло. А беседу никогда не нужно переводить в конфликтное русло. Какая взятка? Вы по-дружески приглашаете человека провести вечер, например, в кафе. Что тут такого? Нащупываете общие интересы. То есть ведете беседу как бы не по существу.

— Понимаю. Начинаю, к примеру, рассказывать о грибах. Я очень люблю собирать грибы, — сказал Сергей Васильевич, поражаясь простоте ума Владимира Исаевича.

— Именно, — воскликнул Владимир Исаевич. — О грибах, о футболе, о театре, о литературе, о собаках, о кошках, о загробной жизни...

— А что можно о загробной жизни сказать? — спросил серьезно Сергей Васильевич.

Владимир Исаевич посмотрел на Сергея Васильевича с некоторым осуждением.

— Вы можете ничего не говорить о загробной жизни, — сказал Владимир Исаевич. — Но силой своего спокойствия, уверенности в себе наведите собеседника, например, и на эту тему. Пусть он говорит! Он должен у вас заговорить! Понимаете? Вас совершенно не должно интересовать содержание разговора, вас должна интересовать только форма этого разговора! И — результат. Вы же пришли не по вопросу о загробной жизни, а совершенно по другому вопросу! Например, пришел я за лицензией. Сидит в кабинете расфуфыренная столоначальница. Я приоткрыл дверь, увидел ее и тут же — на улицу, за цветами. Выждал свою очередь, захожу, сияю улыбкой, и ей сразу тридцать два комплимента и обещание одеть ее с ног до головы в импортную одежду по отпускным ценам!

— А это какие «отпускные»? Тем, кто в отпуск, что ли, идет? — спросил Сергей Васильевич.

— Отпускные цены — это такие цены, которые я сам назначаю, — монотонно-металлически проговорил Владимир Исаевич и вдруг тем же тоном, внимательно приглядываясь к Сергею Васильевичу, оказал: — Встаньте, пожалуйста.

Сергей Васильевич встал, а Владимир Исаевич, выйдя из-за стола, придирчиво осмотрел одежду Сергея Васильевича.

— Надо заменить, — сказал Владимир Исаевич, нажал на кнопку селектора и вызвал Николая.

Малиновый пиджак тут же появился и, как показалось Сергею Васильевичу, с некоторой развязностью плюхнулся на стул.

— Простите, Николай, как вас по отчеству? — дикторским тоном спросил Сергей Васильевич.

— Борисович, — сказал Николай.

Владимир Исаевич с довольной улыбкой следил за Сергеем Васильевичем.

— Николай Борисович, без приглашения у нас не принято садиться! — очень уверенно и спокойно сказал Сергей Васильевич.

Новоиспеченный Николай Борисович с недоумением посмотрел на Владимира Исаевича.

Владимир Исаевич сказал:

— Да, мой друг, так отныне будет.

— Встаньте, пожалуйста, Николай Борисович, — сказал очень сдержанно Сергей Васильевич.

Тот еще раз взглянул на Владимира Исаевича, который развел руки в стороны, говоря этим жестом, что нужно подчиняться.

Николай Борисович встал, опустив руки по швам.

— Хорошо, Николай Борисович! — похвалил Сергей Васильевич. — Теперь можете садиться.

— Я постою, — сказал сбитый с толку Николай Борисович.

— Садитесь, пожалуйста! — металлическим голосом проговорил Сергей Васильевич, так что Николай Борисович тут же сел.

— Владимир Исаевич, я вас перебил? — спросил Сергей Васильевич. — Извините, продолжайте.

Владимир Исаевич, на которого способности Сергея Васильевича произвели, кажется, большое впечатление, сказал:

— Николай... Борисович, — добавил он к «Николаю», — подберите Сергею Васильевичу костюм, обувь, ну и галстук с рубашкой.

Сергей Васильевич оторопело поджал губы, но ничего не сказал.

— Пожалуйста за мной! — воскликнул Николай Борисович.

Через десять минут Сергей Васильевич был облачен в английский сталисто-серый костюм, обут в «Саламандру». И только теперь, вернувшись в кабинет шефа, Сергей Васильевич обратил внимание на одежду Владимира Исаевича. На нем был такой же английский костюм, такая же французская сорочка, такой же галстук.

— Ну-у, Сергей Васильевич! — радостно сказал Владимир Исаевич. — Не знаю, что и сказать. Не менее как на посла Великобритании в России тянете!..

— Спасибо! — поблагодарил Сергей Васильевич. — Только я не понял, как мне расплачиваться?

— Не волнуйтесь, дорогой, — сказал Владимир Исаевич. — Это за счет фирмы. Дисциплина начинается с внешнего облика человека!

— Это вы правильно! — подхватил Сергей Васильевич, привыкая к своему перевоплощению. — Мужчина должен быть в костюме, с галстуком. Я на завод всегда в галстуке ходил! Конечно, поистрепалась одежда, — сказал он, печально взглянув на сверток со старой одеждой. — Но где было взять новую?

— Я понимаю, — сказал Владимир Исаевич и добавил: — Зайдите в бухгалтерию к Людмиле Михайловне, получите подъемные.

— Так сразу?

— Да, идите!

— Слушаюсь!

— Вторая дверь налево, — сказал Владимир Исаевич.

— Спасибо.

Вторая дверь налево была из матового стекла. За столом сидела полная симпатичная женщина в белой кофточке.

— Здравствуйте! — сказал сдержанно Сергей Васильевич, останавливаясь в дверях и оглядывая кабинет.

— Добрый день!

— Позвольте поинтересоваться режимом вашей работы?

— С девяти до девяти. Распишитесь.

— «Распишитесь» — хорошее слово! — сказал холодно, но твердо Сергей Васильевич и взял протянутый ему расходный ордер. Взглянул на него и его чуть кондрашка нехватила от цифры «4.350.000» и слов прописью: «Четыре миллиона триста пятьдесят тысяч рублей». Но силой воли Сергей Васильевич заставил себя сдержаться — он уже понял, что на этой работе нужно будет всегда себя сдерживать. Пока выпрямлялся, потому что расписывался стоя, склонясь к столу, решил, что ему следует сделать главбуху какое-нибудь замечание. И сделал:

— В следующий раз, Людмила Михайловна, вы должны предложить мне сесть.

— Ой, извините, Сергей Васильевич! Растерялась.

— На первый раз извиняю, — равнодушно-строго сказал Сергей Васильевич, принимая пачки денег. — Всего добро-го! — добавил он, покидая Людмилу Михайловну.

Рассовав деньги по карманам, вошел, постучав, к Владимиру Исаевичу, остановился на пороге, спросил:

— Разрешите?

— Входите.

Сергей Васильевич подошел к столу.

— Дорогой Владимир Исаевич, я не понял, за что мне такую сумму выписали? — чуть дрогнувшим от ликования голосом спросил Сергей Васильевич, стоя у стола.

— Садитесь.

— Спасибо! — сказал Сергей Васильевич, присаживаясь на стул.

— Это, как я сказал, подъемные, учитывая, что вы пять месяцев ходили без зарплаты.

— Понятно, от души благодарю! Всеми силами буду оправдывать... Хотел спросить о режиме работы...

— Режим с девяти до девяти, — сказал Владимир Исаевич. — Но вы, Сергей Васильевич, должны приходиться первым и уходить последним.

— Слушаюсь.

Владимир Исаевич достал из ящика стола какие-то ключи, протянул их Сергею Васильевичу, сказал:

— Это от вашего кабинета. Вы там устраивайтесь, как вам будет удобнее. Первая дверь направо.

На этой великолепной филанчатой двери, как и на двери Владимира Исаевича, тоже сияла золотом ручка-русалка собственного его, Сергея Васильевича, производства. На столе стоял селектор, два телефона, возле которых лежала толстая телефонная книга «Вся Москва». Сергей Васильевич, совершенно обалдевший, сел за стол в вертящееся кресло.

В селекторе раздался голос Владимира Исаевича:

— Ну как, Сергей Васильевич?

— Отлично!

— Привыкайте!..

До девяти часов вечера Сергей Васильевич привыкал. Развернул письменный стол так, чтобы свет из окна падал слева. Изучил, как работать с селектором. Несколько раз пользовался телефонами, набирая номер точного времени. Ходил обедать вместе с Владимиром Исаевичем в прекрасную столовую НИИ, где особенно понравилась творожная запеканка и взбитые сливки. Молчаливо присутствовал на переговорах Владимира Исаевича с японцами. Одному японцу через переводчика сделал замечание, что он роняет пепел на брюки. Владимир Исаевич даже подмигнул удовлетворенно Сергею Васильевичу. С Николаем Борисовичем проверял опись прибывшего из Америки товара. Два раза побывал в прекрасном туалете, мыл руки туалетным мылом и сушил под автоматической сушилкой. Сделал замечание одному сотруднику, чтобы тот резко не нажимал на рычаг в спусковом бачке. Большую часть времени строго ходил по залу между витринами, сцепив руки на спине, покашливал, делал отдельные замечания своим сотрудникам и представителям других фирм, которые подбирали себе товар.

Ушел он с работы около десяти часов вечера вместе с Владимиром Исаевичем, который показал, как ставить помещение на охрану. Владимир Исаевич передал ключи от главной двери Сергею Васильевичу, сказав, что такие ключи еще только у него самого.

В руках у Сергея Васильевича был сверток со старой одеждой. К подъезду подъехала старенькая черная «Волга». Владимир Исаевич предложил подвезти до дому Сергея Васильевича. Почему-то Сергей Васильевич думал, что Владимир Исаевич ездит на иномарке.

Выйдя у дома и проводив взглядом машину, Сергей Васильевич сообразил, что в новой одежде ему показываться дома никак нельзя. Начнутся расспросы.

Темнело. Вечер был теплый. Во дворе Сергей Васильевич огляделся. Никого не было. Зашел в соседний подъезд, в котором решил переодеться в старое, но тут же понял, что от свертка ему все равно не избавиться и передумал переодеваться. Пошел домой в чем был.

Перед тем, как вставить ключ в скважину, приложил ухо к двери, прислушался. Едва слышен был работающий телевизор из комнаты жены. Тихо отпер дверь, вошел. Столь же тихо открыл свою комнату и сразу же закрылся. Быстро переоделся. Одежду — и новую, и старую — убрал в свой шкаф, предварительно выложив пачки денег на диван.

Включил для шумовой завесы телевизор и под его рокот принялся рассматривать, щупать, считать купюры, приниматься к ним и даже некоторые целовать. Пахли деньги изумительно, все были новенькие, хрустящие, видно совсем недавно отпечатанные. Как бы спохватившись, Сергей Васильевич сам себе прошептал замечание:

— Прекратите дурью маяться!

Потом понял, что употребил слова, которые могут привести к конфликту. Заменял про себя «дурью маяться» на «заниматься не тем, чем нужно».

Он услышал, как хлопнула входная дверь. Видимо, пришла Лиза. Сергей Васильевич, подумав, взял две десятитысячные бумажки, а остальное быстро спрятал в ящик шкафа. Вышел на кухню. На сковороде были еще теплые

котлеты, в кастрюле — отварная картошка. Сергей Васильевич поставил чайник и стал разогревать еду.

На кухне появилась Лизка.

— Что не спишь, тут крутишься? — недовольно спросила она.

— Добрый вечер, дочь, дорогая Лиза! — очень внятно и твердо проговорил Сергей Васильевич.

Лизка удивленно уставилась на него.

— Что ты, как этот?.. — не нашлась она.

Но Сергей Васильевич держал себя так, как на новой работе. Он сказал:

— Слова «что ты, как этот» ведут к конфликту.

Дочь от непонимания открыла рот. Потом сказала:

— У тебя что, не все дома?

Сергей Васильевич некоторое время постоял в задумчивости.

— Да. Можешь считать, если хочешь, что у меня не все дома. Я не хочу с тобой конфликтовать. Я хочу ровного общения, — сказал он металлическим голосом, извлек из кармана домашних брюк деньги и, протягивая их дочери, добавил: — Возьми эти деньги. Мне сегодня дали. Теперь ты должна говорить со мной так же спокойно, как я сейчас говорю с тобой.

Лиза, ничего не понимая, взяла двадцать тысяч и медленно оглядываясь, покинула кухню. Через минуту она вернулась с матерью.

— Сережа, что тут происходит? — в страхе спросила жена, вглядываясь в Сергея Васильевича.

— Здесь происходит рождение нового человека, — почти что механическим голосом проговорил Сергей Васильевич. — Я не хочу больше слышать собачью речь, не хочу скандалов. Я хочу общаться со своей семьей на нормальном языке. Понимаете?

— Понимаю, — сказала жена, ничего не понимая.

Сергей Васильевич подумал, что ему, пожалуй, следует сделать присутствующим какое-нибудь замечание. Взглянув на грязный халат жены, он сказал:

— Зоя, постирай, пожалуйста, свой халат, прежде чем выходить в нем в места общего пользования!

Потом перевел взгляд со смущенного лица жены на дочь и сделал замечание ей:

— Прежде, чем бежать к маме и жаловаться, нужно до конца понять мою позицию!

— Ладно, чего ты завелся? — огрызнулась Лизка.

— Дорогая моя дочь, я же сказал тебе, чтобы ты не употребляла слов, которые приводят к конфликту!

Лиза поклонилась, кривляясь:

— Хорошо, дорогой папочка! Я больше не буду употреблять слов, которые тебе не нравятся!

— Господи помилуй! — вздохнула жена, уходя с кухни. — Каждый день новости!

Когда она ушла, Лиза спросила:

— Ты это серьезно?

— Да. Я очень серьезно пересмотрел форму общения.

— Финиш! — крикнула Лиза и разразилась искусственным хохотом.

Но Сергей Васильевич не смутился, не поддался на провокацию. Он сказал:

— Это будет видно, где финиш, а где старт. Я говорю очень серьезно. И ты должна понять меня. Ты выходишь замуж. У тебя будут дети. Неужели ты хочешь, чтобы твои дети говорили с тобой так же, как ты говоришь со мной? Неужели ты согласишься, чтобы они говорили тебе: «ну, что ты, как эта»? А?

Лиза, пораженная, даже покраснела, а Сергей Васильевич продолжил:

— Я понимаю, что мы живем врозь, но давайте при встречах соблюдать элементарное приличие.

Он положил в тарелку котлету, три картофелины и пошел к себе ужинать. Смотрел телевизор и не спеша ел. Глаза уже начинали слипаться, но он взбадривал себя хождением по комнате, решив лечь спать попозже, потому что вставать теперь нужно было не в шесть, а в семь тридцать.

Подумав, он достал из тайника тридцать тысяч, вышел в коридор и постучал в комнату жены. Она уже легла, но еще не заснула. Увидев его, она даже испугалась:

— Чего тебе?

— Зоя, вот тебе немного, — сказал он, протягивая жене деньги.

— Спасибо! — обрадовалась жена и, облегченно вздохнув, добавила: — Если хочешь, полежи со мной...

Сергей Васильевич глубоко вздохнул, но прилет без звука.

Только в середине ночи, проснувшись, чтобы сходить в туалет, он перешел к себе. Под утро приснился Ученый — сидит с ним за столом под яблоней и говорит, что, мол, через полгода на такую генеральскую пенсию можно и машину покупать. От возбуждения Сергей Васильевич даже проснулся. На час раньше проснулся — как будто ему на завод нужно было идти. Минут десять полежал, но понял, что не заснет. И пошел ставить чайник на кухню.

В кухонное окно светило солнце, и лучи его бликовали на пустых молочных бутылках, стоявших на широком подоконнике. Монотонно жужжала муха, билась о внешнее стекло. Сергей Васильевич шире распахнул форточку и газетой, сложенной вчетверо, выгнал муху на волю.

— Ты не опоздаешь? — испуганно спросила жена, заглядывая в кухню.

— Здравствуй, — для начала сказал Сергей Васильевич. И пояснил: — Я договорился приходить на час позже.

— Это хорошо, — сказала жена, входя и широко зевая.

— А рот нужно прикрывать ладонью! — сделал замечание Сергей Васильевич.

— Ты чего это?

— Надоело жить в бардаке, — мирно объяснил Сергей Васильевич. — Хочу повысить дисциплину на работе и дома.

Жена настороженно посмотрела на него и спросила:

— Тебе зарплату дали?

— Дали, — коротко ответил Сергей Васильевич.

— Старое время еще вернется, — мечтательно проговорила жена, затем воскликнула: — Лизка — слышал? — помогла каким-то спекулянтам продать книги. Ну, все сразу. И, говорит, хорошо заплатили!..

Сергей Васильевич вздрогнул и от «старого времени», которое вроде теперь было ему ни к чему, и от «заплатили».

Оказывается, не только ему повезло, оказывается, может повезти и дочери.

Жена включила радио, которое стояло на холодильнике. Передавали вариации на темы русских народных песен. Сергей Васильевич послушал немного и пошел бриться. Потом ел овсянку вместе с женой на кухне. Лиза вышла мыть коврик, сказала, что в загс им с Иваном идти в следующую среду.

Сергею Васильевичу нужно было уже уходить, а жена все крутилась на кухне, из которой коридор у входной двери хорошо просматривался. Стало быть, жена увидит Сергея Васильевича в новой одежде. Сергей Васильевич помучился переживаниями на этот счет, когда стоял одетым в своей комнате у двери, прислушиваясь. Жена гремела кастрюлями.

Подумав, Сергей Васильевич махнул рукой на возможные вопросы и вышел в коридор. В этот момент Лиза, которая тоже собиралась уходить, открывала входной замок. Увидев англо-французского отца, оторопела.

— Ну, ты даешь, папочка! — воскликнула она громко. — Прямо, как этот!

— Как кто? — вырвалось у Сергея Васильевича.

— Как джентльмен! — сказала Лиза.

Тут же в коридор выскочила жена.

— Ай, ай! — запричитала она удивленно и закачала головой. — Справил костюм?!

Она подошла к мужу и стала ощупывать ткань костюма.

— Хороша, хороша материя! По какому такому случаю?

Сергей Васильевич быстро сориентировался:

— По случаю свадьбы дочери.

— Сколько ж ты получил? — допытывалась жена.

— Мне за пять месяцев насчитали, да еще премию дали, — сказал Сергей Васильевич.

— Ты б лучше мне что-нибудь купил! — надулась Лизка.

— Куплю, — мягко сказал Сергей Васильевич.

— И мне-е!.. — кокетливо протянула жена, изображая обиженную девочку.

— Куплю и тебе, — великодушно согласился Сергей Васильевич.

По лестнице спускались вместе с Лизой.

— А ты ничего! — сказала она с чувством.

На улице разошлись в разные стороны. Лиза пошла на троллейбус, Сергей Васильевич — на трамвай. Трамвай был набит битком. Сергея Васильевича втокнули в него задние пассажиры. Было душно, и от соседнего мужчины несло перегаром.

Как ни замедлял движение на работу Сергей Васильевич, но явился на полчаса раньше. Сам открыл входную дверь фирмы, снял помещение с охраны. Затем принялся влажной шваброй протирать пол. Пришла уборщица, пристыдила начальника шутливо, что он отбивает у нее хлеб.

Минут через пятнадцать пожаловал бодрый Владимир Исаевич.

— Добрый день, Сергей Васильевич! — приветствовал он.

— Здравствуйте, Владимир Исаевич! Вытирайте ноги, пожалуйста!

Владимир Исаевич пошмыгал ногами по губчатому коврику, лежавшему при входе, протянул руку Сергею Васильевичу:

— Зайдите ко мне на минутку, Сергей Васильевич.

— Слушаюсь!

В кабинете Владимир Исаевич сказал:

— Вы не могли бы мне помочь?

— Конечно!

— Дело в том, что через час ко мне домой придет машина из трансгентства с мебелью. Собственно, там мебели-то всего два кресла и диван. Но мне некого пригласить помочь.

Сергей Васильевич очень удивился этому «некого». В фирме работало человек десять молодых плечистых ребят, а ему некого пригласить? Владимир Исаевич как бы прочитал эти мысли и сказал:

— Я не хочу, чтобы кто-то видел, как я живу.

Перед мысленным взором Сергея Васильевича предстала квартира минимум с пятью комнатами, с роялем, гарнитурами, коврами и картинами. Конечно, кому захочется в наше время показывать богатство? В тот момент Сергей

Васильевич вспомнил почему-то деревню, свой дом. Дом был построен из красного кирпича дедом еще до революции, семь на десять метров, в один этаж. Земли было пятнадцать соток, но городить огород на задах можно было до леса. Конечно, и у Сергея Васильевича были в деревне проблемы: на часть дома претендовала сестра Маруся, которая тоже жила в Москве. Правда, в последнее время она редко выбиралась в деревню, потому что дети выросли, а ее мужа, военного, парализовало.

В машине черт дернул Сергея Васильевича спросить об отпуске, — мол, планировал пожить до осени в деревне.

— Я понимаю, Сергей Васильевич, но мы работаем без выходных и без отпусков, — довольно строго сказал Владимир Исаевич — сказал даже с некоторой обидой в голосе. И добавил: — Нужно набирать обороты. А дальше — посмотрим!

— Это правильно, — извиняющимся тоном тотчас согласился Сергей Васильевич.

За окном машины Сергей Васильевич узнал здание метро «Измайловский парк». Затем проехали вдоль линии железной дороги и свернули к блочной пятиэтажке шестидесятых годов. У второго подъезда дома уже стоял фургон с мебелью.

Сначала понесли кресло.

— А грузчиков не дают? — спросил Сергей Васильевич, кряхтя.

— Я отказался, — сказал Владимир Исаевич. — Обдирают они.

Сергей Васильевич удивился скупости Владимира Исаевича, но промолчал. Остановились на втором этаже перед мрачной дверью, крашеной коричневой краской. В тесной прихожей на уродливой этажерке стоял старый черный телефон. Кресло пронесли через небольшую комнату, где за круглым столом сидела и шила на машинке пожилая женщина — как выяснилось, мать Владимира Исаевича. Внесли в маленькую, узкую комнату, в которой кроме раскладушки ничего не было.

— Вы здесь живете?! — вырвалось из груди Сергея Васильевича разочарование увиденным.

— Да, Сергей Васильевич, — сказал Владимир Исаевич, улыбаясь. — Как видите, ничего пока не нашёл. Я вообще мало думаю о быте. Но сейчас решил жениться...

— А раньше вы не были женаты?

— Нет. Хотя подруг было много. Домой возвращался поздно, чтобы переночевать. Я какой-то не домашний человек. Вся жизнь проходила на работе. После работы с друзьями то в ресторан, то в театр с подружкой. А раньше я в оркестре на кларнете играл.

— На кларнете? — поразился Сергей Васильевич.

— Да, на танцах.

— Бывало и я по молодости на танцы бегал, — сказал Сергей Васильевич.

Когда перенесли кресло и диван и отпустили фургон, немного посидели. Сергей Васильевич в некой гордости за себя, за то, что выхлопотал себе такую прекрасную квартиру, сказал:

— А я, грешным делом, думал, что вы живёте в огромной квартире! Поэтому и не хотите никого приглашать.

— Правильно, не хочу никого приглашать, но не поэтому, — сказал задумчиво Владимир Исаевич. — Зачем людям знать, что глава фирмы спит на раскладушке? У них другой образ «нового русского», а я смеюсь над всеми этими богатеями в коттеджах...

— Интересно! Никак не ожидал! — воскликнул Сергей Васильевич. — А как с матерью, ладите? — помолчав, спросил он.

— Она у меня немного не в себе, — печально сказал Владимир Исаевич.

Уходя, Сергей Васильевич взглянул на мать Владимира Исаевича, крутящую ручку швейной машинки, и только теперь заметил, что никакой ткани в машинку заправлено не было, вхолостую строчила машинка! Дрожь легкого испуга пробежала по спине Сергея Васильевича, и он поспешно вышел из квартиры, вспомнив мастера Сашку и подумав, что не так-то прост и понятен этот новый мир.

— Вы могли бы себе квартиру купить, — сказал Сергей Васильевич на обратном пути.

— А вы знаете, сколько она стоит? Впрочем, когда-нибудь, конечно, куплю. Я ведь и сейчас, прекратив наши операции, мог бы купить и квартиру, и новую машину, иномарку, и дом в Коктебеле, и даже яхту... Но я не такой человек. Материальная сторона жизни меня мало привлекает.

Помолчали.

— Что же вас привлекает? — решил, наконец, спросить Сергей Васильевич.

—оборот! И не только финансов. Меня привлекает загадочная оборачиваемость всего, что меня окружает. И главным образом оборачиваемость человеческих жизней. В юности жизнь казалась мне бесконечной, а теперь дни мелькают за днями. Все проходит, все уходит, и все пройдет. Задумайтесь над тем, что наше солнце погаснет. Значит погаснет все. И стало быть все наши жизни, все дела людей, самые важные дела, условны. Однажды я остановился на улице и понял, что я умру. И я стал думать об оборачиваемости. Только это и может как-то скрасить жизнь. Нужно крутить свою машинку, это главное. Все остальное приложится. Обратные средства крутятся, как колесо автомобиля, а грязь, которая отскакивает с этого колеса, и есть наш доход.

— А если на чистом шоссе нет грязи, то, значит, и дохода не будет? — спросил, вдумываясь в мысли Владимира Исаевича, Сергей Васильевич.

— Это я образно сказал, дорогой Сергей Васильевич! Если есть вращение, оборачиваемость, то доход неизбежен. Но сначала не нужно думать о доходе. Нужно вращать, нужно вращать колесо, вращать, вращать, наращивать обороты. Нужно стремиться к созданию вечного двигателя. Потому что весь смысл жизни — в стремлении!

— Я понимаю, — сказал Сергей Васильевич. — Но тогда зачем вы мне столько подъемных дали, целую кучу?..

— Разве это куча! — воскликнул Владимир Исаевич. — Мы выйдем с вами на триллионы!

— Да-а! — вздохнул задумчиво Сергей Васильевич.

Во время их отсутствия пришел из Германии «мерседес», грузовой, с длинным тентованным кузовом, привез муж-

ские меховые куртки. Сергей Васильевич наблюдал за разгрузкой, сделал замечание, когда несколько коробок сбросили из кузова на асфальт, чтобы коробки аккуратно брали на руки.

— А чего с ними будет, не стекло! — крикнул один из сотрудников.

— С ними ничего не будет, — согласился Сергей Васильевич. И добавил строго: — Будет с культурой нашей работы!

Тут же подъехал супер-МАЗ из Воронежа за товаром. Часть коробок с куртками перегрузили с борта на борт.

Сергей Васильевич неизменно присутствовал при каждой такой операции, с интересом наблюдал за работой, а то и помогал. Но не забывал делать замечания.

Когда не было погрузки-разгрузки, он с важным видом ходил по залу, где представители разных фирм осматривали для последующего оптового приобретения образцы товаров. Изредка заходил к себе в кабинет посидеть в кресле.

Во время обеда в столовой НИИ Владимир Исаевич сказал:

— С завтрашнего дня ни одна бумага без вашей подписи мною подписываться не будет. Соответствующий приказ я подготовил. Я думаю, вам несложно будет отслеживать номенклатуру и количество вместе с товароведами.

— Конечно, — не очень уверенно сказал Сергей Васильевич, начиная более серьезно относиться к словам мастера Сашки.

— Это не дублирование, — разъяснил Владимир Исаевич. — Это необходимая процедура введения вас в курс дела.

— Грамотки у меня маловато, — напомнил Сергей Васильевич.

Владимир Исаевич улыбнулся и сказал:

— Считать деньги и выбирать товар умеет каждый!

— С этим согласен! — бодро подтвердил Сергей Васильевич и в свою очередь улыбнулся.

На следующий день Сергей Васильевич принимал посетителей и подписывал им бумаги, предварительно сверяясь с копиями договоров, которые передал ему Владимир

Исаевич, и проверяя по селектору с Людмилой Михайловной, главбухом, хотя ее подпись на бумагах стояла, поступила ли предоплата. Потому что копии платежей — даже с отметкой банка — Сергей Васильевич, по совету Владимира Исаевича, во внимание не брал. Главным аргументом для него была проводка в собственном банке, когда деньги совершенно точно были зачислены на счет фирмы.

На следующий день для упрощения работы он попросил Людмилу Михайловну постоянно давать ему копии банковских выписок. Людмила Михайловна на всякий случай проверила у Владимира Исаевича — давать ли выписки Сергею Васильевичу? Владимир Исаевич ответил положительно. Но, сказал он, кроме валютных.

Из первой же выписки Сергей Васильевич узнал, что на счету фирмы более семи миллиардов рублей. Сергей Васильевич завороченно смотрел несколько минут на узкую полоску бумаги, сопел и покашливал.

Перед тем, как подписать документ посетителю, Сергей Васильевич говорил:

— Добрый день! Садитесь, пожалуйста.

Посетитель присаживался, хотя садиться ему было незачем. Однако ни один посетитель замечания на этот счет Сергею Васильевичу не сделал, поскольку вид Сергея Васильевича внушал посетителям некий трепет. Была в Сергее Васильевиче помимо строгости какая-то внешняя загадочность.

Вечером в буфете НИИ Сергей Васильевич купил три банки шпрот, триста грамм пошехонского сыра и семьсот грамм докторской колбасы.

В среду, после обеда, Сергей Васильевич отпросился у Владимира Исаевича на свадьбу. Зашел в универмаг на Семеновской. Купил в подарок набор глубоких и мелких тарелок. Сначала хотел что-то из одежды в фирме взять, но это был бы в денежном отношении перебор, а тарелки обошлись в тридцать одну тысячу. Зато всю жизнь будут помнить Сергея Васильевича, будут есть и вспоминать о том, кто подарил.

Жена еще с утра поехала к Ивану, готовить. Сергей Васильевич сел в метро, доехал до «Площади Революции», там сделал пересадку, вышел на «Динамо» и на автобусе доехал до улицы 8-го марта.

Иван жил в белой башне на одиннадцатом этаже. В большой комнате уже был накрыт стол, ждали гостей. Сергей Васильевич поздоровался с Иваном, вручил дочери подарок.

— Спасибо, папочка! — вежливо поблагодарила она и положила, не разворачивая, подарок на стул в угол.

— Что ты им купил? — спросила шепотом жена.

— Набор хороших тарелок, — шепнул Сергей Васильевич и принялся рассказывать по просторной из-за отсутствия мебели квартире.

Иван как-то загадочно подмигнул и пригласил Сергея Васильевича в маленькую комнату. Когда дверь закрылась, Иван шепнул:

— У них было! — И достал из-под раскладушки бутылку водки.

Сергей Васильевич сразу повеселел и сказал торжественно:

— Слава Богу, вы сегодня не за рулем!

— Махнем поскорее, Сергей Васильевич, чтобы никто не заметил!

— Махнем! — согласился Сергей Васильевич, потирая руки.

Иван достал граненый стакан из-под той же раскладушки, налил сначала Сергею Васильевичу, тот мигом выпил, потом себе. Зажевали кусочком хлеба, предусмотрительно оказавшимся в кармане Ивана.

Из маленькой комнаты тут же перешли в среднюю, сели на стулья. Иван закурил «Беломор».

— Вы разве курите? — удивился Сергей Васильевич.

— Когда выпью, — сказал Иван и спросил: — Ну как там ваш завод?

— Гудит завод, гудит! — с улыбкой ответил Сергей Васильевич.

Иван был все в том же джинсовом костюме, правда, с галстуком. Бросалась в глаза его явно излишняя веселость,

но Сергей Васильевич объяснял ее грандиозностью события.

После некоторого молчания Сергей Васильевич спросил:

— Как вас величать по отчеству?

— Да зовите просто Иваном!..

— Нет. Я хочу называть вас по отчеству! — очень твердо, понимая, что тот наигрывает, возразил Сергей Васильевич.

— Ефимович, — сказал Иван.

— Хорошо. Спасибо. Иван Ефимович, вот вы растолкуйте все-таки мне насчет народа, чтобы между нами никогда не возникало недоразумений, — сказал Сергей Васильевич. — Я вас так понял, что я, значит, народ, а вы, выходит, не народ?

— Да нет, Сергей Васильевич, и вы народ, и я народ, дело не в этом. Но меня, знаете, поражает то, что люди в большинстве своем никак не хотят быть культурными. Понимаете, не стремятся к совершенствованию. То есть остаются просто народом! Понимаете, на-ро-дом! — повторил по слогам Иван Ефимович. — И это меня злит!

Сергей Васильевич держал себя в узде. Подумав, он сказал:

— Злиться не нужно. Это первое. А второе — не нужно произносить таких слов, которые ведут к конфликту. Это же так просто. Сначала надо думать, в уме подбирать слова, такие слова, которые бы не обижали вашего собеседника. Неважно, что вы хотите сказать, содержание не должно интересовать вас. Вас должна интересовать форма.

Иван Ефимович с неподдельным интересом уставился на Сергея Васильевича.

— Вы... так просто изложили закон искусства? Не может быть!

— Вы знаете, Иван Ефимович, однажды остановился я на улице и понял, что умру. Солнце наше погаснет, все погибнет, все исчезнет. Поэтому я понял, что содержание условно. Остается одна форма!

— Гениально, Сергей Васильевич! Нам надо повторить!

— Иван Ефимович, не торопите события, дождемся гостей!

Иван Ефимович встал, подошел к окну и некоторое время смотрел на улицу.

— Вы любите жизнь, Сергей Васильевич? — спросил он.

— Люблю, но не понимаю ее. Мне шестьдесят пять лет. И что же? Я не чувствую возраста. Как будто мне двадцать. В зеркало смотрю и не замечаю своих лет. Не понимаю.

Послышался дверной звонок. В комнату заглянула Лиза.

— Ну, что вы тут спрятались, как эти?..

Сергей Васильевич хотел сделать ей замечание, но промолчал. И вдруг ощутил себя раздвоенным. На работе он был одним, дома другим. И он подумал, что, пожалуй, всю жизнь он был каким-то раздвоенным. Про себя думал одно, вслух говорил другое и всю жизнь боялся чего-то. А чего, собственно, боялся? Выйти из колеи, свернуть с накатанной дорожки, опасаясь, чтобы не было хуже?..

Иван Ефимович пошел встречать гостей. Сергей Васильевич подошел к окну. С одиннадцатого этажа хорошо был виден стадион, осветительные вышки, часть трибун, табло. Он стоял и думал о своей жизни, которая, казалось, промелькнула одним рабочим днем на заводе. Он даже не заметил, как выросла Лиза. Когда она успела из красного комочка, каким он ее увидел в родильном доме, превратиться во взрослого человека?

От выпитого и от этих воспоминаний у Сергея Васильевича возникло в душе какое-то умиленно-тоскливое чувство. Ему вдруг стало жалко Лизу, жалко и себя, и жену, и даже Ивана Ефимовича. Он пожалел всех людей, зачем-то появляющихся на этот свет. Слезы выступили у него на глазах, но тут же сменились улыбкой радости — ведь он сумел сделать первый шаг навстречу совсем другой жизни! Он вспомнил умного Владимира Исаевича, вспомнил свои четыре миллиона в заглажке и просиял. Как будто жизнь его только начиналась, а вся прежняя была лишь подготовкой к этой новой жизни. Он и не предполагал, что она будет такой интересной.

Сергей Васильевич вышел в прихожую. Лиза всем гостям говорила:

— Это мой папа!

Сергей Васильевич добавлял, здороваясь:

— Сергей Васильевич!

Сели за стол, поздравляли молодоженов, кричали: «Горько!». Жена Сергея Васильевича бегала из кухни в комнату и обратно, но не выпивала, и от этого тоже на сердце у Сергея Васильевича было покойно и легко. Он молчаливо выпивал и плотно закусывал, налегая на мясной салат со свежими огурцами и зеленым горошком.

— Сергей Васильевич, скажите тост! — обратился вдруг к нему Иван Ефимович — раскрасневшийся, веселый.

Сергей Васильевич вздрогнул было от неожиданности и растерялся, но вспомнил Владимира Исаевича, налил себе рюмку, поднялся, кашлянул и сказал:

— Наша жизнь очень похожа на вращающееся колесо. Вот едет машина по грязной дороге. Колесо вращается. С него летит грязь. Это то, что нам достается от жизни. Это наш, так сказать, доход. Я это говорю образно. Машина может ехать по гладкому шоссе. Дорога уходит назад. Так уходит наша жизнь. Но колесо должно вращаться. При этом вращении мы должны обдумывать свои слова. Мы не должны говорить те слова, которые ведут к конфликту. Колесо должно вращаться, хорошие слова произносятся, доход должен быть постоянным. Содержание исчезает. Форма остается!

Сергей Васильевич поднес рюмку к губам и залпом выпил. Все оживленно загудели, раздались хлопки в ладоши. Так ли уж связно он сказал, он не знал, но то, что хотел сказать, сказал.

— Форма и есть содержание! — крикнул Иван Ефимович.

— Горько! — перебили его.

Лиза в белом платье, красивая, молодая, и Иван Ефимович опять встали, повернулись лицом друг к другу и поцеловались. И тут Сергей Васильевич против воли схватил вилку и нож, ударил по тарелке, проговорил: «Раз, два... восемь!» и запел:

Будет людям счастье,
Счастье на века!
У советской власти
Сила велика!

За столом раздался дружный хохот, и несколько гостей так же дружно подхватили:

Сегодня мы не на параде,
Мы к коммунизму на пути!
В коммунистической бригаде
С нами Ленин впереди!

Мало кто из гостей Ивана предполагал, видно, что отец невесты такой хохмач! До самого Сергея Васильевича только сейчас это дошло. И он тоже расхохотался до слез вместе со всеми, повторяя:

— Надо же! Ленин в коммунистической бригаде! Надо же! Мы к коммунизму на пути, оказывается, были! А пришли в тупик! Надо же! Вот тебе и счастье людям на века! Надо же!.. Ой, не могу! Сил нет смеяться!..

— Пап, ну ты прям, как этот!.. — пыталась урезонить его Лиза.

Но Сергей Васильевич продолжал хохотать. И все хохотали. А Иван Ефимович уж и сам визгливо затягивал:

Будет людям счастье...

Наконец, кое-как успокоились, слышались лишь отдельные вскрипы. Жена принесла блюдо с жареными куриными ногами. Сергей Васильевич прицелился вилкой и наколол самую жирную. Лиза тоже подцепила покрупнее и положила в полную салатом тарелку Ивана Ефимовича.

— Ваня, ты совсем не закусываешь! — сказала она.

— Я ем, — бодро возразил захмелевший Иван Ефимович и на всякий случай пару раз ткнул вилкой в тарелку.

Сергей Васильевич сначала ел курицу руками, но заметив, что сосед, киношный приятель Ивана Ефимовича, ест ту же курицу при помощи ножа и вилки, последовал его примеру, предварительно вытерев пальцы бумажной салфеткой.

Вдруг Иван Ефимович вскочил, уронив на пол вилку, и закричал:

— Бездарности! Кругом нас одни бездарности! Чернь дорвалась до власти и управляет мыслящим меньшинством! Черные воды черной крови льются от берегов Нила, пра-

родины европейской культуры, смывают эту культуру народившимся на-ро-дом! На-род! Что это такое? Что? Я вас спрашиваю? Кто запустил эту рулетку жизни? Кто создал гниющего осла, которого мистифицируют создатели фильма жизни? На сей раз речь идет не о сновидениях. Мертвые разложившиеся ослы из «Андалузского пса» Бунюэля говорят мне о гниющей народной крови! Бездарности!

— Иван, не митингуй! — попытался одернуть его сосед Сергей Васильевича.

Однако Сергей Васильевич шепнул соседу:

— Зачем вы его прерываете? Каждый волен говорить то, что ему хочется сказать.

— Да я знаю Ивана, — ответил сосед.

Между тем Иван Ефимович продолжал витийствовать:

— Мир бездарностей, киша в навозной жиже, затягивает гениев в свой навоз! Но из на-ро-да возникает на-род! Вот что я провозглашаю, бездарности! Новое слово — роднад! Это мы, белая кость человечества, роднад! Вычеркиваю из словаря слово «народ», вписываю — роднад!..

Лиза дернула Ивана Ефимовича за рукав, усадила его, сказав:

— Ты мне обещал!

Иван Ефимович мутным взором обвел стол и затих.

Наступило неловкое молчание. Сергей Васильевич стал смутно догадываться о причине странных свойств Ивана Ефимовича. Тот сидел, навалившись на стол, и тяжелым взглядом смотрел прямо перед собой. Затем взял бутылку и налил себе.

— Ваня, тебе хватит, — сказала Лиза.

Сергей Васильевич тоже считал, что хватит, но рука как-то сама потянулась к Ивану Ефимовичу с полной рюмкой. Они чокнулись и выпили. Лиза сунула в рот Ивану Ефимовичу огурчик. Вяло пожевав, Иван Ефимович выплюнул остаток огурца в тарелку и вдруг заревел какую-то ему одному известную песню:

Сосновый бор ташил бродягу
Во внеполярную звезду,
Пьянел художник Верещагин,
Сшибая встречных на ходу.

За ним ползком шагал Саврасов,
В стакане моря исхудав,
И утонул в тарелке кваса
Разбойник Мусоргский, поддав.
Я с ними был в стране уродов,
В навозной русской стороне,
Чернеют трупы на подводах
И дети плавают в вине.
Тоска проела русский обруч,
Распалась бочка страшных снов,
А я, как падла, все же корчусь,
Не находя в аду основ...

В этом месте он зарыдал, уронив голову на стол.

— Надо уложить его, — сказал сосед Сергею Васильевичу.

Но Сергей Васильевич как бы не реагировал, молча смотрел в тарелку и о чем-то напряженно думал.

Потом принялся машинально освобождать свою тарелку от еды. Через пять минут, когда Ивана Ефимовича отнесли на раскладушку, Сергей Васильевич незаметно покинул квартиру. Ему очень хотелось, по старой привычке, еще и выпить, и закусить, но он сказал себе: «Хватит». Пешком направился к метро. В аллее Петровского парка посидел на скамейке, думая о загадочности жизни, о странных свойствах людей, о несчастном Иване Ефимовиче и о глупой дочери Лизе. Конечно, не ему было решать их судьбу, но ведь от чувства сострадания никуда человеку не деться. С других людей он постепенно перешел на себя, мысленным взором окинул всю свою жизнь. И увидел себя стоящим в трусах на резиновом коврике перед шкафчиком в раздевалке...

Чтобы отвлечься от этих тягостных мыслей, он резко встал и направился к метро мимо ограды стадиона. По пути купил мороженое, эскимо, и с удовольствием съел его. Шел девятый час вечера, но на улице было очень светло. Вспомнив, что завтра ему опять идти в фирму, он повеселел. Но тут почему-то полезли в голову мысли о смерти, сменившиеся мыслями о бессмертии души, о

том, что хорошо бы в самом деле воскреснуть, как бы начать жизнь сначала. Но только чтобы не на завод ходить, а в новую фирму, общаться с культурными, умными, добрыми людьми. Однако Сергей Васильевич понимал, что такого быть не может. Тогда он стал думать о том, почему его жизнь основной своей частью легла на коммунистическую историю страны. Значит, был в этом какой-то свой резон, свой замысел? Собственная судьба представилась Сергею Васильевичу в виде длинной и широкой линейки, белой с черными делениями, рассчитанной почему-то до ста лет. Так и было написано на линейке: «Судьба длиною в сто лет». Линейка стояла вертикально, как у геодезистов, когда они ловят уровень. Красная полоса, как в уличном термометре, поднялась до отметки «65». Сергей Васильевич понял, что лучше не думать об этом.

Придя домой, он переоделся в домашнее, включил телевизор, прилег на диван и задремал.

Ему опять снилась деревня. Идет он с Владимиром Исаевичем по шоссе, и подходят они к его кирпичному дому. В палисаднике цветут высокие золотые шары. Крыша из оцинкованного железа поблескивает на солнце.

— Великолепная у вас усадьба, Сергей Васильевич! — говорит Владимир Исаевич.

— Это потому, — говорит Сергей Васильевич, — что дед стремился к созданию вечного двигателя. Дед крутил свое колесо. А с колеса летела к нему в амбар, который сторел до войны, пшеница.

— Хороший был у вас дед, — говорит Владимир Исаевич. — Создавал вечный двигатель! Вы ему, наверное, замечания делали?

— Нет, не делал, — отвечает Сергей Васильевич. — Я не застал деда. Ему делал замечания мой прадед.

— Вы из самой гущи народа? — спрашивает Владимир Исаевич.

— Да. Из самой навозной жижи. Прежде чем я, чума-зый, выбился на настоящую дорогу, много нашего брата легло костями!

— Это потому, — объясняет ему Владимир Исаевич, — что вы меня долго найти не могли, а я вас. Пока мы были врозь, над нами смело правили. А теперь, когда мы соединились, нам и правители не нужны. Постепенно все, кто шли в коммунистической бригаде рядом с Лениным, уйдут, исчезнут. Они не могут себе представить, что мы сами себе начальники и сами себе указ. Но для этого целое поколение коммунистов должно лечь костями. Пройдут годы. Наступит другая жизнь. Новая жизнь!

У дома их встречает Ученый с почтальонской сумкой на плече.

— Вам с Марса прислали письмо, — говорит Ученый. — Там вам определили дома для загробной жизни.

— Разве загробная жизнь будет на Марсе? — спрашивает Сергей Васильевич, удивляясь.

— Да. На Марсе, — отвечает Ученый. — Для всех, кто работал на войну, работал на военных заводах, загробная жизнь определена на Марсе. Потому что Марс — это бог войны!

Сергей Васильевич хочет что-то спросить у Владимира Исаевича, но тут он слышит какой-то звонок и просыпается. Оказывается, жена забыла ключи.

Открыв ей дверь, Сергей Васильевич с удивлением увидел, что она трезва.

— Ну и набрался жених! — сказала она, качая головой.

— Разошлись все? — спросил Сергей Васильевич.

— Да, ребята хорошие. Помогли все перемыть. Потом разошлись. Ивана-то рвало незнамо как! Потом ничего, умыли его, заснул.

— Это ты свой портрет видела, — сказал замечание Сергей Васильевич.

— Ладно уж тебе! Каждый по-своему в жизни мается!

— Можно выпить, повеселиться. Я всю жизнь пью, а дураком не делаюсь. Надо норму свою знать, — наставительно заметил Сергей Васильевич.

— У одного норма — лужа, а у другого — море!

— Похмеляться нечего, — поставил точку Сергей Васильевич.

Жена пошла к себе. Сергей Васильевич — к себе. Завел будильник. Выключил телевизор. Лег. Только задремал, как опять разбудила жена:

— Пойдем ко мне...

— Чего ты?

— Требуешься! — засмеялась жена.

Сергей Васильевич зевнул, не спеша поднялся и направился в комнату жены, вспоминая Ученого и планету Марс.

Среди ночи проснулся, захотелось в туалет. Поднялся. Затем выпил холодного чая на кухне. Вернулся в свою комнату и проспал крепко до звонка будильника. Снов больше не привиделось.

Когда Сергей Васильевич вышел на кухню, жена заканчивала приготовление завтрака. Она пожарила корейку, прихваченную со свадьбы, и сварила кофе. На кухне горел свет; за окном было пасмурно, шел дождь. Сергей Васильевич налил в кружку кипяток и пошел бриться. Изредка он смотрел в окно на остов церкви, думая о том, что нужно бы что-нибудь почитать о религии.

Хотя выпил вчера на свадьбе Сергей Васильевич умеренно, но аппетита все равно не было. Через силу он съел пару кусочков корейки без хлеба, запивая горячим кофе с молоком.

— В деревню-то собираешься? — спросила жена.

— Не получается, — ответил Сергей Васильевич, глядя в окно.

— Чего так?

— Работа пошла. Надо денег подзаработать, — сказал Сергей Васильевич и посмотрел на закопченный потолок. — Ремонт в квартире не мешало бы сделать.

— Ремонт нужен, — вздохнула жена. — Но он в такую копейчку влетит! Одни обои чего стоят!

— Вот потому и работаю, — вслед за женой вздохнул Сергей Васильевич.

Помолчали.

— Скучно без Лизки, — сказала жена.

Сергей Васильевич молча встал и пошел собираться на работу. Он переживал за Лизу и думал о том, что Иван Ефимович, наверное, уже похмеляется.

Время до обеда Сергей Васильевич провел с товароведами в подвале — просторном, светлом, с длинными стеллажами, на которых хранился товар. Кондиционеры поддерживали постоянную температуру. Глядя на все это богатство, Сергей Васильевич поражался, как мог Владимир Исаевич за несколько месяцев так раскрутить колесо. Несомненно, в этом была какая-то загадка. Сергей Васильевич аккуратно заносил в заведенный им блокнот цифры, сверял с накладными, делал замечания товароведам, чтобы более тщательно пересчитывали товар.

Товароведы, главным образом бывшие сотрудники ЦСУ и этого НИИ, интеллигентные люди, поглядывали на Сергея Васильевича приветливо и с любопытством, расценивая его появление в фирме как прихоть Владимира Исаевича или подозревая в этом какой-то дальний тайный замысел. Но никто никого прямо ни о чем не спрашивал. Вообще здесь было не принято задавать лишние вопросы! Все держались чуть-чуть неестественно в обходительности, в вежливости, в некоем пережиме этих качеств, боясь, видимо, не угодить Владимиру Исаевичу и потерять место.

Николай Борисович сменил малиновый пиджак на черный, догадавшись, что в малиновых пиджаках разгуливает лишь всякая шантрапа из палаток и «мерседесов».

— Вам к лицу черный цвет, — похвалил его Сергей Васильевич, когда они, закончив дела в подвале, поднялись вверх и остановились у кабинета Сергея Васильевича.

Прежде Николай Борисович работал в ЦСУ, в отделе межотраслевого баланса, под началом Владимира Исаевича. Получал гроши, но был исполнительным, трудолюбивым, за что и ценил его Владимир Исаевич.

— А ведь это с моей легкой руки, можно сказать, изменилась кардинальным образом ваша жизнь, Сергей Васильевич, — сказал вдруг вполголоса Николай Борисович.

— Да, — так же вполголоса согласился Сергей Васильевич. — Но всему есть причины. До этой перемены, до встречи с вами мне нужно было отработать на заводе почти пятьдесят лет!..

— Две моих жизни! Трудно себе вообразить...

— Что ж тут воображать? Так сложилась моя жизнь.

- И вы не хотели ее изменить?
- Привык и не думал об этом.
- А для меня завод — это что-то страшное, чем путала меня мама, когда я получал двойки в школе.
- Вы плохо учились?
- Из рук вон! Как-то наплевательски относился к школе, а потом и к институту. Не принимал всерьез ни то, ни другое. Все интересы мои лежали вне этих стен.
- Это молодость, — сказал Сергей Васильевич.
- Может быть. Все казалось каким-то ненастоящим. А настоящее где-то пряталось.
- Что же за интересы у вас были?
- Театральные. С десяти лет пропадал в студии, в подвале. Репетировал до безумия. Даже в кино меня сняли — сидел на крыше с горном. Фильм, правда, дрянной получился. Про пионерскую верность. Потом тайно от родителей поступал в школу-студию МХАТ, провалился. Сказали, что у меня голосок слабоват. Набрали курс луженых глоток. Бездарности с басовыми голосами. Впрочем, МХАТ всегда славился и славится такими бездарностями. Все фальшиво у них, нежизненно, театрально. Показывали тут как-то по телевизору Тарасову в роли Анны Карениной. Я просто плевался.
- Я в театре плохо разбираюсь, — сказал Сергей Васильевич. — Раз пять за всю жизнь и был там. Помню только Гриценко в театре Вахтангова. Очень хорошо играл.
- Гриценко великолепный артист был, — согласился Николай Борисович. — Но человек, говорят, неумный был. Хотя теперь я начал понимать, что ум не нужен артисту. Даже, можно сказать, противопоказан.
- Помолчали. Сергей Васильевич собрался уже идти к себе в кабинет, но тут Николай Борисович передернул плечами и начал болтать расслабленными руками, как будто был на шарнирах.
- Не нужно так делать, — мягко сделал замечание Сергей Васильевич. — Вы же не уличная шпана.
- Это все от студии, — сказал Николай Борисович. — Был у нас педагог по сценическому движению, который все учил нас расслабляться. У меня это расслабление вошло в привычку.

— Но это выглядит как развязность, — сказал Сергей Васильевич.

— Развязность?

— Да. И она пугает. Особенно на рынке. Я думал, что вы из этих, из новых бандитов.

— Вот видите, как обманчива бывает внешность, — сказал, улыбаясь, Николай Борисович. — Каждый человек — потенциальный актер, только не догадывается об этом. Выбирает себе какую-нибудь роль и играет всю жизнь. Например, у нас, в России, очень популярна роль неудачника, клянущего судьбу.

— Это вы правильно заметили, — сказал в задумчивости Сергей Васильевич, вспоминая заводскую публику.

— А сейчас, быть может, самое лучшее время наступило. Если раньше трудно, почти что невозможно было переменить свою роль, то теперь это может сделать каждый.

— Кому повезет, — сказал Сергей Васильевич. — Вот мне повезло. А на заводе осталось столько народу!

— Это очень странно.

— Что?

— Что так много народу. Да и вы там были. А вы не задумывались над тем, что работая на военном заводе, вы совершали преступление против человечества?

Сергей Васильевич вздрогнул от этого вопроса. Чтобы он — да совершал преступление?

— Я так не думаю, — сдержав однако обиду, сказал Сергей Васильевич.

— А я — думаю. Преступно работать на войну. Конечно, я идеалист, но... Неужели каждому не понятно, что нужно просто не устраиваться на военный завод, не ходить в армию, не поступать в военные училища! Тогда и войны не будет!

— Так не бывает, — улыбнулся наивности Николая Борисовича Сергей Васильевич. — У человека, бывает, нет выбора. Ищут работу поближе к дому. Да чтобы побольше платили. А на военных заводах платили до недавнего времени очень хорошо. Свои дома отдыха, пионерские лагеря и почти что бесплатно. Всегда были продовольственные заказы. Был свой дом культуры. Квартиры бес-

платно давали. Я, вон, выхлопотал себе прекрасную квартиру.

— Это были приманки.

— Конечно! — воскликнул Сергей Васильевич. — А как же без приманок? Ребенок только родился, все тянет к себе, ручонками машет — мне, мне, мне!

— Но нужно же делать различия в приманках! А то и в мышеловку затянут при помощи приманки! — возразил Николай Борисович.

— Да, могут затянуть, — сказал Сергей Васильевич, вздыхая.

— И вас затянули на военный завод?

— Да нет. Сначала я ничего не соображал. Потом верил тому, что нас американский империализм покорит...

— Так ведь и покорил! — воскликнул с усмешкой Николай Борисович. — Но по-другому покорил. По объединительной идее. Государства рано или поздно отомрут. На земле не будет деления людей на нации. Все будут жить в мире.

— Вы верите в это? — спросил, поражаясь, Сергей Васильевич.

— Верю! А вы?

— Я нет.

— Почему?

— Потому, что в человеке слишком много разной грязи, — сказал Сергей Васильевич и сам удивился своим словам, как будто вместо него говорил Иван Ефимович. — Что такое на-род? Это то, что народилось и слепо живет, не думая ни о чем. А нужно из народа превратиться в мыслящее существо, стать как бы над народом. Роднадом стать!

— Кем? — не понял Николай Борисович.

Сергей Васильевич спохватился, что пошел не в ту степь, махнул рукой и направился к себе в кабинет.

Домой он вернулся в десять часов вечера. Жена спросила:

— И где же ты пропадаешь?

— Работы много, — спокойно ответил Сергей Васильевич.

— Что-то ты скрываешь!

— Мне нечего скрывать. Работаю и все.

Жена обиженно развернулась и исчезла в своей комнате. Сергей Васильевич попил чаю с бутербродами, включил телевизор, прилег на диван и задремал. Ему приснился родной завод.

Приходит Сергей Васильевич на завод. А у памятника Клименту Ефремовичу сколотили трибуну. Директор завода приглашает Сергея Васильевича выступить. Все уже знают, что проводится заводской митинг. Площадь перед памятником полна народа.

Сергей Васильевич поднимается на трибуну, вскидывает руку, чтобы все успокоились. И когда наступает тишина, громко начинает речь:

— На-род! Вы понимаете, что вы называетесь на-родом? А? Я вас спрашиваю? Нет! Вы не понимаете, что вы на-род! Если бы вы понимали, что вы на-род, вы бы сразу же почувствовали всю оскорбительность этого названия. На-род! Что это такое? А это то, что вас, как животных, нарожали, и вы живете, как животные. Отныне вы перестаете быть народом, потому что все без исключения начнете тянуться к культуре! Вы начнете узнавать вращающееся колесо! Оно должно вращаться, вращаться, вращаться. С него летит грязь. Это ваш доход. Я говорю образно. Каждый должен стремиться к созданию вечного двигателя. Военный завод не вращается, хотя и на нем крутятся-вертятся разные станки и механизмы. Все вы совершаете преступление против человечности. Вся наша Россия состоит из военных заводов и каждый день совершает преступление! Потому что везде это страшное порождение половой жизни — на-род! Внимание! Сегодня я закрываю родной военный завод. Прекращаю существование на-рода на отдельно взятой территории! Каждый из вас будет продавать меховые куртки из Германии. Для этого вам выделит помещение заместитель директора, друг Владимира Исаевича. Теперь вы будете роднадом! Да здравствует роднад! Слава роднаду! Без руководства партии и правительства — вперед к победе роднада над народом! Ура, товарищи!

Над площадью гремит мощное ура заводчан. На площадь вносят на руках отреставрированную церковь. Мощное ура сопровождается колокольным звоном...

Это звонил будильник. Сергей Васильевич открыл глаза и некоторое время лежал в страхе, думая, что с такими мыслями он давно бы сидел за решеткой во времена чуткого руководства КПСС.

Сергей Васильевич тихо поднялся, как будто за ним кто-то подглядывал, полез в ящик шкафа, где были спрятаны деньги, пошарил рукой по его дну, под газетой, нащупал и выгацил свой партийный билет, который все еще, на всякий случай, хранил. Он был членом КПСС с 1948 года. Помнится, всего два года отработал на заводе и его приняли. И он был счастлив тогда, как будто ему вручили диплом о высшем образовании.

— Выделился из на-рода, камрадом стал! — с некоторым презрением к самому себе прошептал Сергей Васильевич, разглядывая красную книжицу. Ему захотелось вдруг сжечь эту книжицу, но затем, взглядевшись в старую фотокарточку, взглядевшись в самого себя юного, с волосами, Сергей Васильевич чуть не прослезился и спрятал книжицу на прежнее место.

И когда он брился, поглядывая на остов церкви, тоже все думал о себе молодом, как будто и не он жил в то время, а кто-то другой. И этот другой торопил его забыть прошлое.

Целый день Сергей Васильевич был под впечатлением своего сна. Хотел поделиться мыслями на этот счет с Владимиром Исаевичем, но промолчал.

Вечером, придя домой, он не обнаружил в квартире жены. Дверь в ее комнату была закрыта, и в щели под дверью была темнота. Сергей Васильевич понял, что это она сделала назло. Он пожарил себе картошки, поужинал. Потом, сидя на кухне, стал думать, куда бы ему потратить деньги, которые с каждым днем медленно, но верно мельчали. Решил начать закупку всего необходимого для ремонта квартиры. Загоревшись этой идеей, принялся рассчитывать на бумажке, сколько потребуется обоев, краски, побелки. Да надо бы ванную облагородить, выложить стену плиткой. А в уборной не мешало бы сменить унитаз.

Щелкнул дверной замок. Вернулась жена.

— Где это ты пропадала? — спросил Сергей Васильевич.

— Работы много, — спокойно ответила жена.

— У-гу, — промычал Сергей Васильевич и ушел к себе.

При свете ночника он отсчитал себе денег на покупку ремонтных материалов. Подумав, добавил еще пятьсот тысяч. Он все еще не мог поверить, что у него могут быть такие деньги.

Заснул Сергей Васильевич, как часто это бывало, под урчание телевизора, но и выключил его, как обычно, — ночью, когда бегал в туалет.

На следующий день, в обед, прокатился на машине Владимира Исаевича по хозяйственным магазинам, купил все, что намечал. Завез все домой. Шофер помогал занести покупки в квартиру.

— Отличная квартирка у вас! — похвалил шофер.

После обеда, когда Сергей Васильевич подписывал бумаги посетителям, вызвал Владимир Исаевич, сказал, что им вдвоем нужно съездить по делам.

В машине у Сергея Васильевича сорвалось с губ:

— Нашел тут в ящике свой партбилет. Смеялся.

— А чего смеяться? Все мы из той эпохи. Вы думаете, у меня нет такой книжицы? Есть. Иначе я бы не защитил кандидатскую, не был бы начальником отдела.

Сергей Васильевич как-то облегченно вздохнул и, посмотрев в окно, определил, что они подъезжают к гостиничному комплексу «Измайлово». Вышли у одного из корпусов. Возле палатки продавали жарящиеся тут же шашлыки.

— Давайте возьмем, — предложил Владимир Исаевич. — Здесь из хорошего мяса готовят.

— Давайте, — сразу согласился Сергей Васильевич, пропустивший обед из-за поездки по хозяйственным магазинам.

По просьбе Владимира Исаевича продавец сострогал с шампуров обжаренные кусочки шашлыка с луком и помидорами на бумажные тарелочки, которые вручил Сергею Васильевичу. Владимир Исаевич, не сообщая Сергею Ва-

Сильевичу о цели приезда к гостиницам, расплатился и пригласил его, направляясь к подъезду ближайшего корпуса:

— Пойдемте!

Сергей Васильевич, не задавая вопросов, направился за ним, держа перед грудью тарелочки с ароматным шашлычком.

Светило солнце, день был жаркий, люди улыбались, женщины были одеты в яркие легкие платья.

В вестибюле Владимир Исаевич предъявил швейцару в лампасах картонный пропуск, сказав, что Сергей Васильевич следует с ним. В просторном холле было многолюдно, шла бойкая торговля на многочисленных лотках, за прилавками, в палатках. В лифте поднялись на четырнадцатый этаж, прошли по мягкому ковру длинного коридора до окна в тупике, и Владимир Исаевич открыл собственным ключом дверь номера.

— Мой запасной аэродром! — шутливо сказал он, бросая свой черный дипломат в мягкое кресло.

Сергей Васильевич оглядел прекрасный трехкомнатный номер, с ванной и туалетом. В дальней комнате на полу стоял огромный сейф, возле него холодильник «ЗИЛ». Из него Владимир Исаевич достал две банки немецкого пива. Стали пить пиво и есть шашлыки, расположившись за низким полированным журнальным столиком темного дерева.

— Это ваш номер? — спросил Сергей Васильевич, наслаждаясь отличным шашлычком.

— Да. Я здесь часто ночую. Да и вообще живу. Собственно с этого номера все и началось. Я не говорил вам, что до создания фирмы у меня был небольшой кооперативчик. Я еще работал в ЦСУ, а кооперативчик уже был. Кооперативчик из трех человек. Я его создал для Веры. Она скоро должна подойти.

— И чем занимался кооператив?

— Чем еще можно заниматься! Купи-продай!..

Сергей Васильевич с волнением подумал о том, что вот оно — начинается раскрытие загадок. Он был в напряжении, но старался не подавать виду. Он стал понимать, что

за этим вторым дном есть наверняка еще и третье, и четвертое, и пятое.

— Почему вы мне так доверяете? — вырвалось вдруг у него.

Владимир Исаевич помедлил с ответом. Он встал, прошелся по комнате. Солнце светило сквозь прозрачную штору. Тень от фигуры Владимира Исаевича двигалась по стене.

— Потому что я уверен, что вы даже своей жене не сказали, что работаете у меня.

— Откуда вы узнали? — поразился Сергей Васильевич.

— Вы человек закрытого типа.

— Что это значит?

— А то, что вы никогда не рассказываете о своих внутренних переживаниях. Вы все носите в себе. И не только от напуганности временем. Еще и от русской традиции — таиться от подобных себе.

— Вы как будто читаете мою душу! — обескураженно сказал Сергей Васильевич.

— Я же говорил вам как-то, что я психолог.

— Но вы же экономист! — возразил Сергей Васильевич.

— Психолог — это не профессия, это — состояние души. То, что я чувствую своей душой, то присуще и вам. А я всю жизнь испытываю какие-то загадочные сопротивления в собственной душе. И вечно преодолеваю эти сопротивления. Так что же — рассказывать об этом другим? У меня и так не проходит чувство, что кто-то тайный все время наблюдает за мной. Я говорю себе, что никто не наблюдает, но это не помогает. Идет настоящая борьба внутри, пока я не преодолею очередное сопротивление. Но тут же возникает другое сопротивление. И так — до бесконечности...

Сергей Васильевич молча слушал, отыскивая и в своей душе какое-нибудь сопротивление. И быстро нашел его. Он и был в этом номере, и как бы внутренне противился собственному присутствию здесь.

Владимир Исаевич достал из кармана связку ключей, подошел к сейфу и открыл толстую дверь.

— Смотрите! — сказал он.

Сергей Васильевич из кресла увидел высокие стопы денежных пачек, огромное количество денег. Даже холодный пот прошиб Сергея Васильевича от этого зрелища.

— Это неучтенка! — с чувством прошептал Владимир Исаевич.

— Какая «неучтенка»? — не понял Сергей Васильевич.

— То, что не отражено ни в каких документах. Этих денег как бы нет. Но они есть!

Страшная улыбка скользнула по лицу Владимира Исаевича.

Сергей Васильевич почувствовал, как у него задрожали ноги. В голове пронеслось: прав был мастер Сашка! Вот оно — воровство, вот этот страшный новый мир! Вот эти преступные деньги!..

— Не понимаю, — дрожащим голосом проговорил Сергей Васильевич.

— Ну что тут не понимать, Сергей Васильевич! — воскликнул Владимир Исаевич. — Это то, что при помощи некоторых бухгалтерских комбинаций я спрятал от налогообложения! Это же просто!

— Не знаю, — выдавил бледный Сергей Васильевич. — Зачем вы мне это все показываете?

— Потому, что это составная часть нашей работы. Собственно, без этой части и работы бы не было, — ответил мягко Владимир Исаевич, расстелил перед сейфом на полу газету и принялся выкладывать на нее пачки. Выложил пачек сорок — по десять тысяч, заметил Сергей Васильевич; получился увесистый сверток, который Владимир Исаевич засунул в предусмотрительно оказавшуюся в кармане его пиджака авоську.

В неподдельном страхе наблюдал Сергей Васильевич за действиями Владимира Исаевича.

— А это не воровство, Владимир Исаевич? — вырвалось у него.

Владимир Исаевич удивленно посмотрел на него, сказал:

— Это то, что я не отдал вашему заводу.

— Почему заводу?

— А налоги, простите, куда идут? Они идут на содержание военных заводов, армии, бесчисленных чиновников, которые плодятся бесконтрольно. И я их должен содержать? Я должен всю эту прорву наглецов кормить?

— Но есть же закон, — неуверенно возразил Сергей Васильевич, вытирая холодный пот со лба.

— Какой закон? Эти типографским способом отпечатанные строчки, придуманные теми же чиновниками? Да если им не противостоять, они завтра напишут, что каждая фирма должна платить 200 процентов налогов!

— Там же умные люди, — все еще сопротивлялся Сергей Васильевич.

— Там нет людей в общепринятом смысле слова. Там есть никем не управляемое, саморазвивающееся, самоплодящееся чудовище под названием государство! Именно государство занимается воровством. Вы что думаете — ставки налогов научно обоснованы и способствуют бурному развитию экономики? Ничуть не бывало! Эти бездарные, не способные к самостоятельному труду типы сбиваются в государственной сфере. Они подсчитывают, сколько им нужно денег для безбедной жизни. И это и называется государственным бюджетом! Или на простом понятном языке — намеченная к изъятию у людей, которые сами зарабатывают, денежная масса. То есть запланированный грабеж, воровство, ими же узаконенное! Если их не остановить, они уничтожат все на свете. Потому всякое огосударствление и заканчивается войнами. Потому что государство уничтожает индивидуальность! А с индивидуальностью уничтожается и индивидуальная совесть. И возникает совесть коллективная, которая по определению бессовестна! Эта коллективная совесть государства хочет элементарно жрать, жить, процветать! И она не будет задумываться над теми тонкостями, о которых я говорил. Она никогда не признает себя паразитом, питающимся плодами чужого труда, чужой жизни! Потому что признать это может только личность, у которой есть личная совесть. А чтобы изъять нужные средства, государство прибегает к террору, к запугиванию, к насилию. Так поступали и большевики, так поступают и нынешние государственники. Потому что схема паразитирования — вечна! Как только появился человек, так и пошла борьба, грубо говоря, добра и зла. Добро булки печет, а зло отнимает. Зло, разумеется, изощряется, делается цивилизованным. Выходит какой-ни-

будь современный пузатый Держиморда в золотых очках на трибуну и говорит, что подписан указ о 28-процентном налоге на добавленную стоимость. Вот и все. Закон! И он принимается к исполнению налоговой инспекцией. А откуда возникла эта цифра? Оттуда же. Маршалы заявку дали, колхозники заявку дали... И пошло, поехало! Вору под знаком закона! Все эти законы условны, и их пугаться нечего! — гневно воскликнул Владимир Исаевич.

— Но ведь посадят! — голосом мастера Сашки прошептал Сергей Васильевич.

— А вы, Сергей Васильевич, живя при коммунизме, не думали о том, что вас могут просто так посадить, без всякой причины?

— Думал, — честно сознался Сергей Васильевич. — Скажешь иногда что-нибудь, и страх охватывает...

— Вот! Вот оно! Но чтобы превратить человека в раба, не обязательно его запугивать. Достаточно просто подавить его совесть. Потому что совесть — основа души человека, она интуитивно ощущается нами как подсказчик добра. И вот подавляется эта личная совесть, подчиняется интересам государства, то есть становится коллективной совестью. И тут человек спокойно уклоняется от мучительного собственного нравственного выбора по совести, перекладывает его на коллектив. Вы работали на военном заводе, то есть работали, Сергей Васильевич, на войну. Но ваша личная совесть была чиста. Вы были как все! Этот процесс происходит стихийно. И этот процесс массовой коллективизации совести десятилетиями организовано внедрялся и контролировался могучими политическими силами. Возникла таким образом особая форма несвободы без тюремной решетки и лагерной проволоки. Потому что там, где появляется стадо человеческое, там тупость и слепота...

— На-род, — по слогам сказал Сергей Васильевич. — Он не хочет тянуться к культуре. Его нарожали и все. А нужно отказаться от этого оскорбительного названия — на-род!

Владимир Исаевич внимательно взгляделся в Сергея Васильевича.

— Я вижу, Сергей Васильевич, вы во многом разбираетесь, — сказал Владимир Исаевич. — Совершенно верно! Противостоять коллективной совести нужно всяческими методами. И главный метод у меня, да и у всех, кто зарабатывает сам, не отдавать им того, что они наметили к грабежу! Раньше был террор, теперь — налоги. Это вполне современная форма несвободы. Цивилизованная! Ведь что говорит, улыбаясь с трибуны, какой-нибудь современный Держиморда? Он говорит — отдавайте деньги мне, чтобы я жрал и плодил себе подобных! Он ведь только прикрывается этими несчастными пенсионерами! Да я столько перечисляю в пенсионный фонд, что на эту сумму могу сам содержать пятьдесят человек! И коллективная совесть по-прежнему процветает, она только сменила коммунистические лозунги на демократические. «Подлинная демократия!» Скоро в каждом доме будет налоговый инспектор. Паразит, отнимающий последнее для вышестоящих паразитов. Нет, коммунисты не ушли, Сергей Васильевич, они только сменили вывеску. Это они продолжают сопротивляться сокращению армии, закрытию военных заводов, это они создают администрации, префектуры, мэрии, министерства, отделы, подотделы, полиции, милиции, юстиции... Потому что изнутри они никогда сокращаться не будут. Нужен внешний сокращатель. А этот внешний — мы. Правда, пока нас мало. Но в будущем нас станет больше, и мы разберемся с этим монстром государства...

— Я никогда не задумывался так глубоко, — вздохнул Сергей Васильевич, несколько успокаиваясь. — Но ведь на их стороне, на стороне этой коллективной совести сила, армия и милиция! Не справиться с ними...

— В лобовую атаку на них никто и не идет. Происходит внутреннее сопротивление почти всех мыслящих людей. Умные ребята не идут в армию. Производители платят в бюджет столько, сколько сами считают нужным платить. А для успокоения надзирателей по всей стране действует другая экономика — успокоительная. Официально ее нет, но о ней все знают и говорят. Не по существу, правда, говорят, а лишь для красного словца. Но почти каждый представитель коллективной совести, поскольку он лично

бессовестен, давно нашел уже себе во второй экономике тайный источник финансирования.

— Взятки?

— Вы опять употребляете слова, которые ведут к конфликту! Не взятки, а источники финансирования. Вот сейчас эту авоську вы вынесете из гостиницы, а там с нею пойдет Вера и отнесет ее, кому нужно, чтобы наша фирма работала еще успешнее. Понятно?

— Понятно, — взволнованно сказал Сергей Васильевич, страшась порученной ему к вынесению авоськи.

— Я вижу, вы взволнованы?

— Да, пожалуй, так.

— Не волнуйтесь. Знайте, что вы стали участником сопротивления коллективной совести! Так было всегда, во все века и при всех народах. Сопротивление — это необходимое условие любой деятельности. Самостоятельной деятельности...

Сергей Васильевич молчал и думал о том, как логично и точно обрисовал картину Владимир Исаевич. И еще о том, главное, что у Сергея Васильевича не нашлось ни одного аргумента против. Он сам прекрасно понимал, что бронзовые ручки с завода были тоже сопротивлением, и...

Но тут щелкнул входной замок. Вошла молодая красивая женщина. Это и была, как сразу понял Сергей Васильевич, Вера. Она открыла дверь своим ключом. Вера была в джинсах, подчеркивавших плавную округлость ее бедер, и в черной водолазке. Каштановые волосы были собраны в большой пучок на затылке, сколотый золотистой ширококрылой бабочкой-заколкой.

— А-а! Вы шашлык ели! — воскликнула она со смехом. — А мне?..

— Извини, Вера, не подумал, — сказал Владимир Исаевич, представляя ей Сергея Васильевича.

— Здравствуйте, Вера, — сказал Сергей Васильевич, поднимаясь из мягкого кресла.

— Бабки готовы? — спросила Вера буднично.

— Да, сударыня.

— Тогда двинули! — сказала Вера.

— Простите, Вера, как вас по отчеству? — вмешался Сергей Васильевич, которому не понравился тон Веры.

— Дмитриевна, — сказала, удивляясь, Вера и посмотрела на Владимира Исаевича, который пожал плечами и развел руки в стороны, как бы говоря этим жестом, что противостоять своему заместителю он не может.

— Вера Дмитриевна, бабки имеют название «деньги», а вместо двинули можно сказать «пошли», — подумав, сделал замечание Сергей Васильевич, принимая из рук Владимира Исаевича авоську с увесистым газетным свертком в ней.

— Хорошо, Сергей Васильевич! — засмеялась Вера. — Буду следить за своей речью.

Сергей Васильевич почувствовал себя актером в каком-то загадочном спектакле и, когда все вышли в коридор, перебросил авоську через плечо, как носят деревенские. Он шел с улыбкой и все же в некотором страхе, но никто не обращал на него внимания ни около лифта, ни в вестибюле, ни на улице. У каждого прохожего были в руках сумки, портфели, дипломаты, авоськи. Сергей Васильевич представил вдруг, что этот каждый несет по сорок миллионов, а именно такая сумма была, видимо, в авоське, и ему перестало быть страшно.

Вера взяла у него авоську, поцеловала в щеку Владимира Исаевича пухлыми губами, сказав: «До вечера!» — и побежала в метро. Владимир Исаевич и Сергей Васильевич сели в машину и поехали в фирму.

К Сергею Васильевичу скопилось много посетителей. Часа два напролет он подписывал бумаги, потом ходил по залу, делал замечания, вникал в разговоры, советовал.

Придя домой около десяти часов вечера, он услышал шум и пение из комнаты жены. Солировала жена:

В низенькой светелке огонек горит...

Сергей Васильевич нервно сказал себе: «Так и знал!» — и быстро прошел в свою комнату. Но дверь тут же открылась, и Лиза, остановившись на пороге, сказала:

— Мы ждали тебя! Пойдем!

— Добрый вечер! — для начала сказал Сергей Васильевич. Потом все же спросил: — Мать выпивала?

— Выпивала. Ну и что?

Сергей Васильевич мрачно вздохнул и вяло пошел за дочерью.

Жена радостно вскочила из-за стола навстречу мужу. Она была красна и сильно накрашена. Смешанный запах духов и водки ударил в нос Сергею Васильевичу, и, как это часто бывает с трезвыми людьми, входящими в пьяную компанию, он непроизвольно отшатнулся. Жена была закована в тесное шелковое платье и от этого казалась еще толще, бесформеннее — как туго набитый мешок сахара. В комнате стоял какой-то кислый запах. Сергею Васильевичу стало совестно за нее и досадно.

За столом сидел спиной к двери Иван Ефимович в своей джинсовой куртке, вид которой вызывал уже у Сергея Васильевича просто тошноту. Иван Ефимович оглянулся и встал. Глаза у него были потусторонние, в темных кругах. Он не сразу узнал Сергея Васильевича, хотел что-то сказать, но поперхнулся и всплеснул руками, как бы от страшного испуга. Потом со стоном подбежал к Сергею Васильевичу, обнял его, припал лбом к плечу и, мыча, как паралитик, замер. Сергей Васильевич брезгливо отстранился. На подбородке у Ивана Ефимовича была капуста: несло от него давним перегаром.

— Штрафную! Штрафную всенепременно! — проговорил Иван Ефимович, задыхаясь.

Он повернулся к столу и сказал рыдающим голосом, потрясая кулаками и всхлипывая:

— Спаситель пришел!

Звякнула о рюмку бутылка, Сергей Васильевич, чтобы поскорее отделаться от этих людей и от кислого запаха, сел к столу и молча выпил. На столе стояли холодная картошка, банка шпрот с неровно открытой крышкой, тарелка со стрелками зеленого лука и редиской, запотевший сыр и подернутая зеленоватым отливом вареная колбаса, нарезанная толстыми кружочками. «Должно быть, — подумал Сергей Васильевич, — сильно торопились выпить». Он взял стрелку лука и принялся жевать его без хлеба, как бы

показывая этим свое недовольство всем происходящим. Но минут через пятнадцать рука сама потянулась к бутылке — Сергей Васильевич налил всем, чтобы лишнего гвалта не было, и поспешно выпил. Люстра с подвесками из стеклянных трубочек засветила как будто ярче.

— Папа, — повернулась к нему Лиза, — я сейчас разогрею картошку и подам сардельки. Мы еще не брали горячее, — пояснила она.

— Хорошо, Лизочка! — одобрил Сергей Васильевич, ощущая приятный прилив легкого опьянения.

Лиза поднялась, взяла тарелку с картошкой и пошла к двери. Он смотрел вслед дочери, любуясь ею. Лизочка ходила всегда как-то особенно, мягко и нежно ступая. Легкий шум ее нового платья и запах свежих духов придавали всему ее облику праздничность. И когда она вернулась с горячей картошкой и горой толстых сарделек в эмалированной миске, нежно сказав: «Кушайте, пожалуйста!» — ее праздничный вид, поза, голос так растрогали Сергея Васильевича, что он схватил нож и вилку, ударил по тарелке и со своим неизменным: «Раз, два... восемь!» — запел:

Я люблю тебя, жизнь...

Жена весело подпевала, Лиза улыбалась, а Иван Ефимович сонным взглядом смотрел то на Сергея Васильевича, то на тещу, пытаясь, видимо, понять, что здесь происходит и где он находится. Скоро бутылка опустела, достали другую, последнюю. Потом с Лизой увели Ивана Ефимовича в ее комнату и, раздев, уложили под одеяло. Как и когда улеглась жена, Сергей Васильевич не знал, потому что сразу ушел к себе и закрылся на замок.

Он лежал на диване и сначала думал о страшных деньгах в авоське, о рискованном деле, о себе, вовлеченном в это дело. Потом ему вспомнился отец — бритоголовый, с пронзительными черными глазами на белом лице, отчего походил на снеговика, которому дети на место глаз вставили угли. Сколько помнил себя Сергей Васильевич, отец каждый день таскал домой полные сумки из столовой, где работал грузчиком. Набирал, что ему нравилось, и таскал — то есть, подумал Сергей Васильевич, воровал. Мать, ма-

ленькая тихая женщина, торговала в булочной, и хлеб таким же образом, как сумки отца, поступал в тесную комнату в Большом Сухаревском переулке. Но все равно почему-то никогда ничего не хватало. Была целая прорва родственников, которые, как помнил Сергей Васильевич, всегда приходили, как нищие, спали на полу на одежде, и мать одаривала их едой. До самого поступления на завод Сергей Васильевич никогда не носил новой одежды, ходил в перешитых отцовских брюках, в его же приталенном френче, который отцу подарил еще до войны директор столовой.

Сергей Васильевич лежал на диване и думал о нужде, которая постоянно преследовала всех его родственников и знакомых. И каждый старался как-то выкрутиться из этой нужды, тащил в дом все, что подвернется под руку, включая коробку кнопок или канцелярских скрепок.

Потом мысли Сергея Васильевича перешли на Ивана Ефимовича. Он подумал о том, что надо будет спросить у него или у Лизы, начал ли он снимать свое кино. На этом Сергей Васильевич успокоился и заснул. Ему приснилось, что к его деревенскому дому Ученый подогнал самосвал с мелочью. Полный кузов металлических денег. Сергей Васильевич подивился и стал с Ученым разгружать эту мелочь совковой лопатой прямо на землю. У самосвала кузов заклинило, и он не поднимался. Мелочь приятно звенела и поблескивала в солнечных лучах...

Прозвенел будильник. Сергей Васильевич заведенно поднялся и пошел на кухню ставить чайник. Следом показалась Лиза, сонная и почему-то некрасивая.

— Пап, мне деньги нужны, — сказала она, зевая.

— Рот нужно прикрывать ладонью! — сделал замечание Сергей Васильевич, ощущая неприятную тошноту.

— Да заткнись ты! — на привычном языке начала дочь.

— Заткнись сама, дура! — взорвался вдруг Сергей Васильевич, забыв, что надо сдерживаться, — словно кто-то его встряхнул и заставил кричать: — Идиотка, вышла за алкоголика! Я что, гнал тебя из дому? Ты что, голодала? Зачем

вы сюда приперлись? Чтобы мать спаивать? Только она успокоилась немного, так они приперлись с бутылками!..

— Ты, рязанская жаба, выбирай выражения!

— Я тебе сейчас выберу! — вскричал громче прежнего Сергей Васильевич и замахнулся на дочь.

— Урод! Убери руки! — завизжала Лизка. — Ублюдок! Обрадовался, что дочь выжил из дому!

От негодования Сергей Васильевич даже покрылся красными пятнами.

— Это я тебя за этого артиста выдал, щучка?!

В кухню с криком ворвалась жена:

— Куркуль! Не трогай мою дочь!..

За ней в проеме двери показалась зачумленная физиономия Ивана Ефимовича.

— Что тут у вас происходит? — удивленно спросил он, икая.

Только теперь Сергей Васильевич увидел весь вздор и глупость ситуации. Как это он дал себя завести? Он стиснул зубы и пошел из кухни, отстранив в дверях дрожащего с похмелья Ивана Ефимовича, как посторонний предмет. Закрылся в своей комнате, сел на диван и стал убеждать себя в том, что он не такой, как они, что он может сдерживать себя, может стремиться к культурному поведению. Кое-как преодолев в себе отвращение и к себе, и к этим людям, он пошел с кружкой на кухню за кипятком.

Иван Ефимович в трусах, с папиросой сидел, дуясь, на табурете. Жена, оттопырив толстый зад в ночной рубашке, смотрела в окно. На работу она явно не собиралась. Лиза стояла у холодильника, на ее глазах блестели слезы. Почему-то она — только теперь заметил Сергей Васильевич — была босиком. Ногти на пальцах ног поблескивали красным лаком.

Сергей Васильевич молча налил в кружку кипятка и собрался уже выйти, как жена оглянулась и нагло спросила:

— Ты думаешь в семью деньги давать?..

Сергею Васильевичу от этой наглости стало жутко и мерзко, но он промолчал, хотя молчать не было сил, крик рвался наружу. Он поспешно покинул кухню.

Сергей Васильевич брился, привычно поглядывая через окно на остов церкви, и думал о том, как опрометчиво поступил он совсем недавно, когда дал Лизе двадцать тысяч и жене тридцать, сказав, что ему насчитали за пять месяцев. Нельзя им даром давать деньги, нельзя ничего давать даром, только просить потом будут — еще и еще. Вот оно, уже началось...

Он посмотрел в угол, где возле сумок и рюкзака с блинной мукой лежали связки обоев, стояли банки с краской. Сколько денег истрачено, знали бы они! Да им нет дела до этого!..

А какое дело до них Сергею Васильевичу? Жена ему просто ненавистна, дочь — отрезанный ломоть, а этот Иван Ефимович и вообще посторонний человек. Что его к ним привязывает? Квартира? Да пропади она пропадом. Что вообще привязывает его к жизни? Новая работа, большие деньги, которые он получает? Но к чему Сергею Васильевичу деньги?..

Волна ненависти захлестнула было Сергея Васильевича, но тут он взглянул на часы и, вздохнув, стал быстро одеваться.

Надо было продолжать жить и выполнять свои обязанности. Вращать колесо.

Пора было идти делать замечания...

КРЫМСКИЕ СОНЕТЫ

*Под сенью гор Тавриды отдаленной
Певец Литвы в размер его стесненный
Свои мечты мгновенно заключал...*

Пушкин

* * *

На карте Крым скуластый, как татарин.
А иногда мне кажется, что он —
Истории гигантский реликварий,
Словарь мифологических имен.
Мне видится один и тот же сон,
Он, как мираж для путника в Сахаре:
Обрыв Яйлы, ее восточный склон
В лиловом мареве, без копоты и гари,

И побережье — бабочки крыло
(Как от пыльцы мерцающей светло!) —
Еще переливается, сверкает...
Но шустрый мальчик-коллекционер,
Натуралист, отличник, пионер,
Вот-вот сачком ту бабочку поймает.

**Владимир
КОРОБОВ**

— родился в 1953 г. в Тобольске. Детство и юность прошли в Крыму. Окончил Литературный институт. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Москва», «Литературная учеба» (лауреат премии журнала 1991 года за лучшую подборку стихов), в альманахах «Поэзия» и «Истоки». Автор сборника стихов «Взморье» (1991), перевода «Крымских сонетов» А. Мицкевича — журнал «Брега Тавриды» (1994). Живет в Москве.

* * *

Великий Чатырдаг! Ты со времен Адама
В преданиях воспет, Мицкевичем — в стихах.
Из глубины веков тебе заметней драма
Поруганной земли, природы, стертой в прах.
Развернута вдаль иная панорама:
Над мглой бетонных глыб кружится в небесах
Не птица в синеве, а ящер дельтоплана,
Запущены сады, пожарища в лесах.

Пейзаж убог и нищ... Гяур не сжег селенья —
Безбожно извратил обряды, веру, быт.
Молчишь надменно ты, а Крым кровоточит —
«Бесстрастный драгоман всемирного творенья!»*
Покамест красота величие хранит,
Бездарность жаждет разрушенья.

* * *

На площади приезжие татары
Кучкуются. А местные хохлы
Им с жаром объясняют, где Исары,
Где Ай-Василь, а где плато Яйлы.
И те и эти — пришлые. Пошлы́
Все аргументы в пользу крымской свары.
Автомобили мирно, как ослы,
Стоят в тени развесистой чинары.

И лишь старик, по виду за сто лет,
Глядит сквозь время, видя: минарет,
Муллу, фонтан и девочку-татарку,
Которая, набрав в кувшин воды,
Идет, смеясь, в цветущие сады,
Мелькая средь ветвей платочком ярким...

* Строка из сонета Мицкевича «Чатырдаг» в переводе Ивана Бунина.

* * *

Аттракционы. Музыка. Горсад.
Цветник из лиц, хохочущих блудливо,
Где вывеска «ЗАКУСОЧНАЯ-ПИВО»
Куда красноречивей, чем закат.
Стоит фотограф, оттопырив зад,
Снимает дам и жмурится счастливо.
И декольте вечернего залива
Прохожих завораживает взгляд.

Таков фасад. А там, у баллюстрады,
Стоят атланты, но дегенераты.
Их страсти до предела взведены!
И значит близко время мордобоя
Под шелест эластичного прибора
И ласки экзотической волны.

* * *

В Ливадии толкнутся интуристы,
Романовых отыскивая след,
А их встречает ряженных квартет:
Бренчат уныло в парке бандуристы.
Спивают гимн Украины «артисты»,
Жовто-блакитный прославляя цвет.
Три парубка и вислоусый дед —
Нахраписты, упрямы, голосисты.

Положим, что под небом сей страны
Потуги их наивны и смешны,
Но затянулась явно буффонада...
Ты спросишь, друг, кому все это надо:
Фиглярствовать, валять здесь дурака?
Спроси об этом пана Кравчука!

* * *

На берегу оконченного лета,
На свалке пляжной, где царит забор,
Вас не прельстит собрание предметов,
Представленных как будто на подбор:
Презерватив, расческа, гвоздь, монета,
Бутылка, зонтик, кукла, мелкий сор —
Все это экспонаты для поэта,
Которые приковывают взор.

Грядущему судить позволив веку,
Он занесет в сонет, как в картотеку,
Весь этот хлам, почерпнутый извне,
Чтоб прошлое предстало слабой тенью,
Где смех и слезы, взлеты и паденья,
Лежащие «Титаником» на дне.

* * *

Пошли дожди и кончен спрос
На море, сад, огни курзала,
Где лепестки гастрольных роз
Еще кружат, взлетая вяло.
Закрылся тир. Повесил нос
Курортник грустный у причала.
Чадят окурки папирос
Из-под осеннего завала.

И стрелки перелетных стай
На циферблате небосвода
Все строже сводит время года,
Передвигая их за край...
Увы, изменчива природа
И ненадежен крымский рай!

* * *

Зима на юг приходит не спеша.
Стучат каштаны, падая, о крыши.
И морем остывающим дыша,
Срывает ветер листья и афиши.
Гастроли кончились. В карманах ни гроша.
Все звезды в небе или же — в Париже.
А здесь над молом чайки мельтешат,
Их крики все пронзительней и выше.

Весь город вымер, вымерял свой бег.
Но скоро небо из-под сонных век
Начнет дождем и снегом колоситься.
Душа замрет, она бездомней пса,
Ее пугают люди, голоса...
Над Черным морем белый снег кружится.

БЕРЕЗИНА

Эпизод Отечественной войны 1812 года

*Повесть**

1

Война была неизбежна. Во многих петербургских домах только о том и говорили. Из-за блокады, которую объявил Наполеон Англии, подорожали многие товары. За сукно, к примеру, теперь платили в два с половиной раза больше, чем в годы, когда английские корабли свободно плавали в балтийских водах. Знающие люди уверяли, что Наполеон намерен передать Галицию Варшавскому герцогству. Дерзостям, с которыми Наполеон удовлетворял каждое свое желание вблизи российских границ, когда-нибудь надлежало положить предел.

Императора Александра любили, но и роптали на него. И потому вздохнули с облегчением, когда окончательно

**Израиль
МАЗУС**

— родился в 1929 году под Уманью. Окончил Всесоюзный заочный Политехнический институт по специальности инженер-строитель. В 1948—1954 гг. отбывал заключение в Вятлаге по политической статье. Писать начал в 50-е годы. Автор цикла лагерных рассказов и воспоминаний в книге «Где ты был?» (1992). Живет в Москве.

* Журнальный вариант

провалилось сватовство Наполеона к Анне Павловне¹. Во многом винили воспитателя Александра швейцарца Лагарпа, который сделал его республиканцем. Оттого и ждали опасных последствий после каждой встречи Александра с наследником якобинцев.

На самом же деле к лету 1811 года интересы двух великих государств Европы были выражены обоими императорами весьма определенно и совершенно не совпадали. Единственное, чего упорно не желал делать Александр, так это начинать войну первым.

Не понимая, что Александр в мечтах давно уже видит себя победителем Наполеона, некоторые чиновники и военные, особенно из западных губерний, в посланиях своих предостерегали его от изъявления дружеских чувств к императору французов. Наполеон, убеждали они, всех правителей Европы желает видеть своими вассалами. Мыслимо ли сие для России?

Были и такие послания, где Александра призывали к немедленным действиям, дабы предотвратить идущую от западных границ угрозу. К примеру, полковник Турский из Белостока сообщал, что помимо французов и поляков в войне против России будут принимать участие также и жидаы. Свое утверждение он обосновывал тем, что жидаы — как и поляки — пользуются особым покровительством Наполеона. Полковник предлагал установить особое наблюдение за каждым жидом в Петербурге и ввести в Западном крае императорскую почту вместо жидовской. Тем самым неприятель был бы лишен возможности использовать в случае войны своих лазутчиков в тылах российских войск.

В Петербурге жили и ходатаи по еврейским делам. Из бумаг, которые они посылали каждый год в канцелярию императора, было известно, что больше всего еврейское племя, доставшееся России в наследство от Польши вместе с ее землями, озабочено собственным своим стесненным положением. Многие российские умы желали участвовать в справедливом устройстве еврейской жизни и помогали

¹ Сестра Александра I.

евреям осознать самих себя, стремясь освободить их от прежних заблуждений. Другие, напротив, полагали, что это невозможно, и требовали оградить христианское население от их вредного влияния.

Когда во Франции стал заседать Великий Еврейский Синадрион¹, где сами евреи решали, как им жить дальше среди других народов, Александр приостановил действие указа о выселении евреев из сел Западного края, который действовал с 1804 года. Никто не должен был иметь повод говорить о России с уморизною.

Передавая послание полковника Турского министру внутренних дел князю Куракину, Александр сказал со снисходительной улыбкой:

— Желаю, чтобы вопль сей не остался без ответа. Снарядите в Западный край чиновника, обладающего умом глубоким и старательным, а по возвращении пусть он доложит нам, имеется ли в самом деле и в чем именно может теперь состоять угроза от евреев отечеству нашему.

Князь Куракин сразу же подумал о том, что наилучшим образом государев наказ сможет исполнить чиновник по особым поручениям Гридин Георгий Иванович. Помимо тех достоинств, которые назвал император, немаловажно было и то, что Гридин известен был своим бескорытием. Качество это было совершенно необходимо при общении с племенем, столь известным своим особым умением располагать к себе чиновников. Когда-то опытный государственный муж Гавриил Романович Державин после первого посещения западных губерний заявил, что козь Божий промысел сохранил сей маленький рассеянный народ, то и нам следует заботиться о его сохранении. Однако через некоторое время он же, ближе познакомившись с нравами

¹ В 1806—1807 гг. во Франции заседало Собрание еврейских депутатов, которые по поручению Наполеона должны были дать ответ, в полной ли мере они признают себя гражданами Франции. Получив положительный ответ, Наполеон в 1807 г. объявил об открытии Великого Синадриона — общееврейского органа самоуправления. Однако еврейские общины всех стран мира, кроме Франции и Италии, идею Наполеона отвергли как порочную.

еврейского племени, с большой обеспокоенностью только и говорил, что об его многочисленности¹.

— Истинных твоих намерений никто знать не должен, — напутствовал князь Куракин Гридина, когда тот дочитал до конца послание Турского. — Не следует также забывать, что послание сие государь наш назвал вошлем.

— Догадываюсь, что суть сего вопля есть различие веры, — ответил Гридин.

— Однако не для того возлюбил нас Господь, чтобы мы всех иных людей ненавидеть стали, хотя бы и жидов, — смиренно проговорил князь Куракин, расстилая на столе карту Западного края.

— В какую же местность следует мне прибыть первоначально? — спросил Гридин, разглядывая карту.

— А ты закрой глаза и опускай палец на карту, — с усмешкой сказал князь Куракин. — Куда судьба укажет — туда тебе и путь держать.

— Пусть так и будет, — усмехнулся и Гридин. И, зажмурившись, опустил палец на карту. Открыв глаза, он увидел, что попал он где-то между городами Борисов и Игумен — но ближе к Борисову.

— Стало быть... Борисов, — сказал Гридин.

Когда Гридин ушел, князь Куракин долго еще сидел в задумчивости, думая о том, до чего странно судьба имеет иногда обыкновение распорядиться нашими жизнями. К примеру, мог ли кто предположить каких-нибудь десять с небольшим лет назад, когда о молодом Гридине только и говорили как об опаснейшем республиканце, что пройдут годы и в деле ревностного служения государю и отечеству трудно будет сыскать равного ему...

2

Чем дальше от Петербурга, тем живописнее была дорога. Поспевающие хлеба золотились вокруг холмов, на которых пламенел сиреневым цветом иван-чай. Придорожные де-

¹ Во многом причиной такого отношения Г.Р. Державина к евреям явился его разрыв с Перетцем, одним из ходатаев по еврейским делам, отцом будущего декабриста и другом реформатора Сперанского.

ревья с тяжелыми сочными листьями дышали прохладой и покоем. Бабы у селений торговали огурцами и помидорами, на которых блестели капельки родниковой воды. Из глиняной посуды выглядывали соленья, в лукошках лежали душистые яблоки. После столицы душа Гридина отдыхала.

Лишь на второй день путешествия, преодолевая сон, навеваемый мерным движением кареты, Гридин отворил сумку и стал читать жалобы от евреев. Жалобы эти хранились в канцелярии, и Гридин взял их с собой, чтобы глубже познать предмет своего исследования. «Куда вы гоните нас?! Куда и за что? Неужели суждено нам, подобно цыганам, жить на лесных полянах у костров и в кибитках? Так цыганам сие сам Бог велел и радость в них вдохнул именно для такой жизни, — читал Гридин. — Но не боитесь ли вы гнева Божьего, если увидит он нас на ваших землях пляшущими и танцующими, гаданиями зарабатывающими хлеб свой?»

Гридин прервал чтение и задумался: что знал он о племени, из недр которого вырвалась столь дерзкая жалоба? А задумавшись, почувствовал даже некоторое волнение при мысли о том, что волею судьбы ему, может быть, одному из первых в столице, выпало не только увидеть вблизи нынешнюю жизнь древнего народа, но и попытаться понять, что же осталось в нем от прежнего величия.

«Пожалуй, что ничего и не осталось», — подумал, однако, он, едва на дороге появилось первое еврейское местечко. Гридин увидел строй низких домиков, сделанных кое-как, с подслеповатыми окнами. Он велел кучеру свернуть с дороги и проехать по местечку. Пока карета медленно двигалась по пыльной улице, Гридин ощущал на своем лице сверлящие взгляды мужчин и женщин, которые, мучимые явным недоумением и любопытством, застыли вдоль дороги. Увы, они показались Гридину весьма малопривлекательными.

— Пан имеет что-нибудь нам сказать? — весело прокричала Гридину какая-то женщина.

Гридин ничего не ответил. Женщина стояла у открытых ворот, и за ее спиной он увидел жалкий утоптаный пустырь с островками чахлой травы. Глядя на мужчин,

Гридин решил, что они весьма схожи обликом с некоторыми знакомыми ему восточными народами. «Так ведь, в сущности, они и есть восточный народ, но только живущий на западе», — подумал Гридин, покидая местечко. Хотя, пожалуй, в отличие от восточных народов, в одеяниях евреев было слишком много черного цвета... И это как-то не располагало к ним...

Имея привычку каждую мысль додумывать до конца, Гридин тут же вызвал, однако, перед своим мысленным взором совсем иную толпу образов, населявших страницы священных книг. И они пробудили в его душе невольный трепет.

«Нет, нет, были же, конечно, у того народа когда-то и Бог, и царь, и земля... Это теперь от всего только и осталось у них, что пустое небо над головой...»

Когда в полдень колеса кареты покатались, наконец, мимо первых борисовских домов, Гридин оставил раздумья и полностью отдал себя во власть обстоятельств. Обстоятельства же оказались таковы, что невозможно было представить лучшего начала для его занятий, чем это путешествие в Борисов.

Гридин не любил приезжать куда-либо инкогнито, хотя всегда находил возможность для исследования интересующих его предметов на самой глубине. Так случилось и в этот раз.

— Конечно же в Минск? К генерал-губернатору? — любезно спросил Гридина городничий Шатилов, едва тот появился в его канцелярии. — Сами-то мы никому не нужны. Все у нас здесь проездом. Даже Карл, король шведский, — и тот прошел через Борисов, не взглянув на него.

— Я здесь также проездом, — с улыбкой заметил Гридин. — Однако есть у меня задача и для Борисова.

— В чем же она... ваша задача?

— Велено мне подробно изучить и представить в столицу отчет об устройстве и проживании в вашем городе лиц еврейского племени.

— Отчего же именно еврейского? — с гримасой и некоторым испугом проговорил городничий.

— Есть основания... — уклончиво ответил Гридин.

— Неужели жалоба?

— Да, — сказал Гридин.

При нем и вправду были жалобы. Иное дело, что не борисовские, но, увидя в глазах городничего испуг, он имел все основания предположить, что и борисовские тоже могли быть.

— Вот она цена всех клятв жидовских! — с негодованием воскликнул городничий. — Можно ли после этого хотя бы одному слову их верить?!

— Что же, коли вам известно, от кого жалоба, то и дело мое проще, — заметил Гридин.

— Как же мне не знать, если за весь год только одно происшествие и было! Гумнер это, один только и может быть, Гумнер со всем своим семейством... Согласен — само происшествие весьма было неприятное, даже вызывающее, но ведь и меры к исправлению, едва все прояснилось, приняты были незамедлительно! И даже извинения принесены — как самому семейству, так и кагалу!..

Гридин одобрительно кивнул головой, но тут же сказал, прекращая разговор:

— Дабы положительно исполнить данное мне поручение, прошу вас определить ко мне чиновника, от которого я мог бы узнать любую необходимую мне подробность.

Вскоре к Гридину был прислан адвокат Квитковский, которому и было поручено отвечать, не таясь, на все вопросы Гридина.

Гридин и раньше слышал, а теперь Квитковский ему подтвердил, что в Западном крае во многих христианских семьях в дни перед еврейской пасхой детям не разрешают уходить далеко от дома. Правда, в прежние годы Бог отводил беду от Борисова, но в эту весну в одном православном доме пропала девочка. Отец ее прежде жил в Смоленске и был приглашен в город одним борисовским купцом, чтобы служить у того приказчиком. И вот на следующий день, едва рассвело, побежала по городу страшная весть. Объявились две бабы, которые своими глазами видели, как девочку за руку вел к лесу хозяин паровой

лесопильни Лейзер Гумнер. Гумнер был схвачен и в кандалах отправлен в острог. Многие евреи стали кричать, что девочка, с которой видели Гумнера, была его собственная внучка. Сам же он вместо того, чтобы тоже так говорить, упорно все отрицал, утверждая будто бы в тот день вообще на лесопильне не был. Следов от девочки нигде найдено не было: ни в доме Гумнера, ни вокруг лесопильни. В церквах звонили колокола и проклинали убийцу. Назначен был день суда и выбраны судьи, как вдруг в дворянское собрание пришел Мойша Энгельгардт, родственник Гумнера, и привел за руку пропавшую девочку. Он нашел ее в Смоленске у родителей приказчика, а сын Гумнера и еще один их родственник Лейб Бенинсон привели туда же и самого приказчика, где он во всем и сознался, говоря при этом о жидовских кознях и об их известном умении выйти сухими из воды.

— Каковы же были последствия? — после некоторого молчания спросил Гридин.

— А таковы, что к дому приказчика отправили подводу, на которую побросали весь его скарб и вместе со всей семьей отправили вон из города.

— За такое надо было сечь плетьюми, — сказал Гридин.

— Хотели и плетьюми, но сами евреи были против, чтобы не ожесточать город. Когда же городничий спросил сына Гумнера, будет ли он требовать чиновников от генерал-губернатора, то ответ был, что нет, не будет. А теперь вот оказалось, что пожаловались прямо в столицу.

— В столицу от семьи Гумнеров никакой жалобы не поступало, — твердо проговорил Гридин. — Слухи о происшествии в Борисове пришли к нам от иных людей. Имею желание сегодня же увидеть Лейзера Гумнера.

— Разве вы не знаете, что он умер? — удивленно спросил Квитковский.

— Когда же?

— Вскоре после выхода из острога, — ответил Квитковский.

— Перестарались, значит, — нехорошо усмехнулся Гридин. — Как зовут сына?

— Борух.

— Стало быть, ваше дело теперь указать мне дорогу к Боруху Гумнеру...

Гридин вдруг почувствовал, что от легкости, с которой язык его произносит незнакомое доселе еврейское имя, он получает удовольствие. И ему еще больше захотелось исполнить свой долг самым наилучшим образом. Дабы дальнейшее развитие событий ничуть не уступало их успешному началу...

3

Солнце стояло еще высоко, но уже клонилось книзу, когда карета вкатилась в лес. Лес был еловый, а потому мрачный, и Гридин тут же вспомнил девочку — именно здесь ее и должны были искать с особым старанием.

«В этой девочке весь ответ на вопрос государя о еврейском племени, — думал Гридин. — Может ли грозить какой-либо опасностью народ, который страха ради отказывается от законной сатисфакции за нанесенные ему обиды?...»

Подумал Гридин и о том, какая польза была бы отечеству от такого случая, поспей он в столицу вовремя. Большой открывался простор, чтобы просвещенность государя перед Европой показать. Что же до Турского, то этому полковнику просто страшный сон, наверное, привиделся перед тем, как послание государю писать.

Какие три народа-неприятеля?! Случая с девочкой достаточно, чтобы один исключить начисто. А другой народ — поляки? Давние умельцы саблями звенеть да гордо головы вскидывать. Однако, если и между собой у них никогда согласия нет, то, стало быть, сам Бог велел им всегда иметь рядом твердого опекуна. Хоть австрийского, хоть прусского, хоть российского. Французы — это, конечно, другое дело. Только без полковника Турского давно известно, как грозен сей неприятель.

Вскоре лес отступил, и взору Гридина открылась просторная, залитая солнцем поляна с множеством построек разной величины. Это и была, видно, паровая лесопильня Гумнера. По дороге навстречу двигалось несколько тяжело

груженных досками телег. Лошадей вели, держась за поводья и весело покрикивая, крепкие, кряжистые мужики. Рядом с дорогой был берег Березины, проблески света от которой Гридин иногда видел в лесу сквозь стволы деревьев. Прямо на берегу стоял большой деревянный чан, в который при помощи какого-то устройства трое мужиков заливали воду. Чан стоял высоко, и от нижней его части в сторону самой большой постройки тянулся желоб, тоже деревянный. Над этой постройкой торчала высокая железная труба. Еще когда Гридин был в лесу, он слышал резкие, иногда даже пронзительные звуки, которые пропали, едва он выехал на поляну. Теперь он только и слышал, что крики мужиков, которые затаскивали на телеги, стоявшие невдалеке, доски, уложенные ровными рядами по краю поляны. Там же были свалены и бревна. К строению с трубою четверо мужиков катили по деревянным, вертящимся круглякам огромное бревно...

Гридин вышел из коляски и подошел к строению ближе. С обеих сторон по торцам были устроены ворота, стоявшие распахнутыми настежь. Когда Гридин прошел внутрь строения, он вновь увидел бревно, которое мужики приткнули к нескольким пилам с широко разведенными зубьями, поставленным стоймя и закрепленным в металлической раме. Главным же зрелищем в строении определенно был котел, доходивший высотой почти до самой крыши. Из котла уходила вверх труба, рядом располагалось какое-то устройство с двумя тяжелыми колесами по бокам, сочлененное с цилиндром, из которого с шипением выбивался пар. От колеса, что висело над рамой, опускалось вниз железное плечо.

— Пан интересуется? — услышал Гридин за спиной певучий голос.

— Интересуюсь, — обернулся Гридин. Сквозь очки на него смотрел высокий худой еврей в промасленном халате.

— У меня двухдюймовки по десять футов¹, или пану требуется что-нибудь другое? — склонившись, спросил он.

¹ 1 фут = 12 дюймов, 1 дюйм = 2,54 см.

— Что-нибудь другое, — засмеялся Гридин. — Хочу машину в деле увидеть. И еще как бревно на доски развалено будет.

— А когда-нибудь раньше пан видел машину на пару?

— Нет, никогда.

— О, как я завидую пану! Он определенно будет сейчас иметь особое удовольствие. Но только позвольте спросить: с кем имею честь беседовать?

— Чиновник по особым поручениям из Петербурга Гридин Георгий Иванович. А вы, вероятно, Гумнер? — с улыбкой спросил Гридин. — Борух Лейзерович?

— Да, Борух Лейзерович. Но иногда меня зовут еще и Борисом Лазаревичем, на что я не обижаюсь.

После этих слов Гумнер распрямил спину и, наконец-то, убрал с лица свою неподвижную вежливую улыбку, которая несколько раздражала Гридина. Гумнер дал знак рабочим, один из них распахнул дверцу топки и стал лопатой забрасывать туда опилки. Когда дверцу закрыли, Гридин сквозь отверстие увидел, как разгорается пламя, и даже услышал его гул. Когда наверху что-то отворилось и от котла с шумом отлетело облачко пара, Гумнер подошел к вороту, похожему на морской штурвал, но только меньшего размера, и стал поворачивать его. Пар шипя все сильнее и сильнее, пока колесо не сдвинулось с места. И сразу же металлическое плечо на колесе поползло вниз, затем поднялось вверх, чтобы снова и снова повторить это движение.

— А теперь, господин Гридин, смотрите сюда! — крикнул Гумнер и потянул на себя какой-то рычаг. Под рамой шелкнуло, и она, рассекая воздух зубьями, запрыгала на месте. Вообще же все строение было заполнено внутри самыми разными звуками. Помимо тех грубых, которые исходили от прыгающей рамы или от шипящего пара, было много и нежных, наподобие колокольчиков. Гридин невольно стал искать глазами, откуда они доносятся, и, как ему показалось, нашел. Это были рычажки, приводившие в движение колесики, а уж те помогали маслу капля за каплей вытекать из стеклянного сосуда на трущиеся части машины. Гумнер перехватил удивленный

взгляд Гридина и, сияя от удовольствия глазами, сказал: «Малеруп!»

Мужики навалились на бревно кольями, и тут же слышался ужасный рев разрезаемого вдоль дерева. Прошло немного времени — бревна словно и не было совсем. Лишь несколько досок в беспорядке лежали на гладком земляном полу. Одна за другой они были перенесены под другое колесо машины — там тоже двигалась рама, но только с одной пилой. Здесь каждая доска обрезалась по краям, после чего все обрезки у обеих рам были собраны, порезаны на куски и брошены в ящик, который стоял рядом с дверцей топки.

— Ну, что вы на все это скажете, господин Гридин? — радостно спросил Гумнер.

— Скажу, — ответил после некоторого молчания Гридин, — что вижу в машине предзнаменование удивительных дел — особенно для потомков.

— Боже мой, у вас светлая голова, господин Гридин! Машина и правда — такая замечательная! Я все думаю — вот мой отец — мог ли он знать перед тем, как поехать в Вильну на базар, что пока он чинил в Борисове крыши, где-то в Англии жил человек, который сделал для него такую машину?

— Жаль, что англичанин, а не наш, русский, — вздохнул с улыбкою Гридин.

— Так ведь все потому, что пространства огромны, — тоже с улыбкой проговорил Гумнер. — Пространства огромны и людей много. Есть кому резать доски и без машины...

— А что — с поляками вам было проще? — насмешливо спросил Гридин. Ему не очень понравилась улыбка Гумнера.

— Об этом спросите у тех, кто там сейчас живет, — ответил тот, сразу посерьезнев, — А я могу вам только сказать, что это очень обидно, но поляки слишком много думают о евреях. Поляк просыпается с евреем в голове и засыпает тоже с ним! Можете мне поверить, если бы мой отец поставил эту машину не здесь, а где-нибудь под Варшавой, на второй день вокруг лесопильни уже стоял

бы народ и все кричали бы, что евреи отнимают у них последний кусок хлеба¹.

— Отчего же они именно так будут кричать?

— Откуда мне знать отчего... такой народ, лядаший.

— А вы какой народ? — спросил Гридин.

— Мы?! — Гумнер посмотрел на Гридина поверх очков и вдруг засмеялся. — Так ведь тоже лядаший... кому не хочется танцевать мазурку вместо того, чтобы гнуть спину за какой-нибудь паршивый лишний грош? Но мы все-таки приучены думать об этом немножечко больше...

— Однако, думается мне, есть среди вас много и таких, у кого душа холодная и скупая. Особенно среди тех, — с усмешкой добавил Гридин, — которые к разным механизмам расположены...

— Когда бы это было правдой, господин Гридин, то самая щедрая душа у того быть должна, кто никаких ремесел не знает, — смиренно наклонил голову Гумнер.

— О, как вы ответили, Борис Лазаревич! — с разгоревшимся лицом и глядя Гумнеру прямо в глаза сказал Гридин. — Нет, вы определенно человек не холодный и даже, может быть, щедрый. Но только... зачем вы отца своего Лазаря в обиду дали?!

— Что такое вы говорите и зачем?! — испуганно пробормотал Гумнер. — Этого никто не должен был знать. Боже мой, незнакомый пан не должен был говорить таких нехороших слов! Откуда у вас известие о моем отце?..

— На то и столица в отечестве, чтобы иметь в ней сведения о каждом своем гражданине, — сказал Гридин. — Известно, что отца вашего несправедливостью и оговором к смерти привели, а вы отказались призвать обидчиков своих к ответу! Непостижимо сие и удивительно.

— Если что и удивительно, так это ваши слова. Можно ли поверить, что вы прибыли в Борисов из-за беспокойства об одном из евреев? — с недоумением спросил Гумнер.

¹ К началу XIX века из-за постоянных мелочных ограничений по отношению к еврейскому населению в Польше польско-еврейские отношения были весьма напряжены.

— О, нет, нет, конечно. Я здесь проездом, но поручения относительно вашего дела имею весьма определенные. О несчастьях отца вашего по прибытии обязан буду доложить самому министру.

— Ах, господин Гридин, это такая неприятность... Городничий будет думать, что вы приехали по нашей жалобе, но нам не на что жаловаться. Все по справедливости и было: отца отпустили из острога, а в храмах объявили о нашей невинности.

— Однако батюшка ваш как из острога пришел, так вскоре же и скончался! — воскликнул Гридин.

— Да, это так, — проговорил Гумнер с неохотой. — Но умер он в своей постели, а когда умирают в своей постели, то кто кроме Бога может знать причину... И потом вот что я вам скажу, господин Гридин: у вас хорошая голова и, как мне показалось, также и доброе сердце. Так зачем вам думать о нас плохое, когда можно увидеть хорошее? Завтра в доме у моего брата Лейба Бенинсона будет вся наша семья. Я с низким поклоном и радостью приглашаю вас к нам... если вам это почему-нибудь не зазорно.

— Нет, нет не зазорно, и буду обязательно, — заверил Гридин. Ему почему-то не захотелось отказывать Гумнеру.

На обратном пути, удобно расположившись в карете, Гридин опять вернулся к размышлениям о сущности народа, дела которого предстояло ему исследовать. Он давно уже решил для себя, что о благословлении Господнем лучше всего судить по дарам его. Какой народ полюбит — тому много и дает. Кому на всей земле, из всего множества морей и стран, дано больше, чем России? Никому. А что тогда следует думать о народе у которого Господь отобрал и то небольшое, что у него было? А то и следует думать, что тем самым лишил Господь народ сей благословления своего. Увы, но это так...

4

Из взрослых мужчин семьи, что пришли в субботу к Бенинсону, недоставало только Мойши Энгельгардта. Он ненадолго выехал в Вильну с поручением от княгини

Осташковой, у которой служил управляющим. Все они — сам Бенинсон, Гумнер и муж их бездетной тетки Эммы рэб Иосиф — сидели на стульях у открытого окна в гостиной лицом друг к другу. Бенинсон и рэб Иосиф были взволнованы и требовали от Гумнера, чтобы он еще что-нибудь вспомнил из того, о чем говорил ему чиновник из столицы. Долгий стол в гостиной был уже накрыт, и час застолья близился. Ждали только Гридина. Гумнер вспоминал все слова, которые услышал от Гридина, и когда, наконец, замолчал, Бенинсон задумчиво произнес:

— Они там в столице имеют сведения о каждом своем гражданине? Пусть он это рассказывает кому-нибудь еще, но только не нам! Как будто бы мы не знаем, откуда у них появляются такие сведения...

— Еще как знаем! — подхватил рэб Иосиф. — Но чего же вы хотите, когда рядом с тобою живут такие евреи, которые от сумашествия в голове уверены, будто бы во всех столицах Европы только и гадают, какие у нас здесь, в Борисове, новости?.. Тот же Шмуль Пророков, чтобы о нем, не дай Бог, где-нибудь не забыли, готов оповестить весь мир не только о том, что было, но и о том, чего не было совсем...

— Городничий не будет думать о Шмуде Пророкове. Зачем ему о нем думать? — вздохнул Гумнер. — Он будет думать о нас.

— А теперь послушайте, что я вам скажу, — засмеялся Бенинсон. — Ничего не будет, совершенно ничего не будет. Уверяю вас, дело Лейзера закрыто раз и навсегда.

— Почему?

Бенинсон не успел ответить. Вошла Хая, его мать, и встала перед ним с мольбою в глазах.

— Что случилось, мама?

— Лейбелэ, я хочу знать — этот человек из Петербурга случайно не мешумед¹?

— Борух, когда ты с ним говорил, у него были спокойные глаза, да? Тебе ничего не показалось? — повернулся Бенинсон к Гумнеру.

¹ Выкрест.

— Конечно же, нет, еще как нет, — с улыбкой ответил Гумнер. — Вы его скоро сами увидите. А почему вы об этом спросили, мимэ¹?

— Потому, что когда-то Нахман, мир праху его, тоже привел в дом чиновника из Петербурга. А когда они хорошо выпили, тот вдруг стал говорить с нами оф идиш. О, если бы ты только видел ту исключительную посуду, которую я потом вынуждена была выбросить на помойку!..

Рахиль, мать Боруха Гумнера, подошла и встала рядом с Хаем.

— Ты тоже хочешь что-то сказать, мама? — спросил ее Гумнер.

— Да, я хочу знать, почему чиновник из Петербурга вместо того, чтобы навестить князя Радзивилла, приезжает именно к нам? Мне страшно это говорить, но все-таки я вас спрашиваю: что-нибудь нехорошее случилось с Мойшей, да?!

— Что такое я слышу, Рахиль?! Типун тебе на язык! — крикнула Фира, мать Мойши Энгельгардта. Она вместе с Эммой вошла в гостиную и успела услышать последние слова, которые произнесла Рахиль. — Прежде чем говорить глупости мужчинам, надо было подойти ко мне и спросить у моего сердца, где теперь Мойша. Я бы тебе тогда сказала, что он давно выехал из Вильны и, может быть, уже сегодня к вечеру будет здесь.

— Ах, Фира, ты такая мудрая женщина! — радостно воскликнул рэб Иосиф. — В нашей семье другой такой нет. Действительно, почему мы не можем принять у себя дома порядочного человека п р о с т о так, если имеем к нему интерес?

— Чей же это интерес, Иосиф? — громко спросила Эмма. — Твой? Лейба? Боруха? Или, может быть, Мойши?

— Общий... общий для нас всех, — немного подумав, ответил рэб Иосиф. — Разве не приятно хотя бы один раз в год немного поговорить с чиновником, который приехал к тебе из столицы?

¹ Тетя.

— Общими для всех, — сказала Хая, — могут быть только погромы.

— Боже мой, — простонал рэб Иосиф, — когда ты перестанешь вспоминать любимые словечки твоего покойного мужа, Хая?

— Можно подумать, что если о человеке совсем ничего нельзя вспомнить из того, что он говорил при жизни, так это хорошо, — тут же ответила Хая и ушла вместе с сестрами.

— Однако вернемся к нашему разговору, Лейбелэ, — сказал рэб Иосиф, когда мужчины остались одни. — Что ты имел в виду, когда говорил, что дело Лейзера закрыто навсегда. Как же оно закрыто, если приехал чиновник его открывать?

— Разве этот чиновник приехал сюда, потому что нарушен закон? — спросил Бенинсон, долгим взглядом посмотрев сначала на рэб Иосифа, потом на Гумнера. — Ха-ха-ха. Как бы не так! Он приехал, чтобы взять свой хабар с городничего. А теперь, когда получил донос от Шмуля Пророкова или от кого-нибудь еще и увидел наши доски, понял, что может взять хо-ро-ший хабар и с нас тоже. И он его обязательно получит. Разве нет, дорогие мои?

— Мне не нравится, как ты говоришь о человеке, которого еще никогда не видел, — сказал Гумнер. — Как-нибудь я тоже умею хорошо угадывать, когда именно надо давать чиновнику деньги. Но здесь.. Боже упаси! Он благородный человек.

— Благородный... неблагородный... — тихо проговорил рэб Иосиф и вдруг потянулся к окну. — Он приехал! Берелэ! Лейбелэ! Скорее, скорее идите его встречать.

Дом, к которому подъехал Гридин, был высоко поставлен и размерами заметно превосходил стоявшие рядом с ним. Кроме того перед домом был разбит небольшой сад, тогда как все соседние окнами смотрели прямо на улицу, отчего дом Бенинсона, стоявший за стволами деревьев, притягивал к себе взор, а не убивал своей унылостью. Дверь была умеренной высоты и состояла из двух половин, украшенных деревянным орнаментом. От крыльца с двух сто-

рон опускались в сад каменные ступеньки. Так же устраивались подъезды и в барских домах, и подумав об этом, Гридин снисходительно улыбнулся. Вскоре, впрочем, иная улыбка осветила его лицо, когда двери распахнулись и навстречу ему вышли Бенинсон и Гумнер, который радостно приветствовал Гридина как старого знакомого. Пока шли к гостиной, Бенинсон, облегчая общение, сказал Гридину, что во многих домах не только Москвы, но также и Петербурга его давно уже зовут не иначе, как Лев Наумович.

Известие, что гость, наконец-то, приехал, разом пронеслось через весь дом от одного конца до другого. Детская возня и крики вмиг оборвались, когда рослый Гридин, облаченный в цивильное платье, с приветливой улыбкой ступил в гостиную, где его ждало все семейство. Он назвал себя, сопроводив свои слова едва заметным поклоном. На этот раз ничто не раздражало его взгляда — как, к примеру, улыбка того же Боруха Гумнера при первом знакомстве. Лица же молодых женщин показались ему и просто привлекательными, и потом он весь вечер с удивлением поглядывал на них. Их главным украшением были, несомненно, глаза, и он припомнил, как петербургские знакомцы, которые бывали в западном крае, в один голос уверяли, что ничтожество мужчин еврейского племени особенно заметно, если смотреть на них рядом с их жидовками.

Переведа взгляд на старших женщин Фиру, Хаю, Рахиль и Эмму, Гридин сказал:

— Вы определенно родные сестры, — и тут же галантно добавил: — однако, и различие удивительное, каждая из вас весьма красива по-своему...

— Вы тоже недурны собой, ваше превосходительство, — шаловливо проговорила одна из молодых женщин, которая назвала себя Машей.

— Ах, господин Гридин, как жаль, что Мойши, мужа Маши, именно сегодня, в такой день, нет в городе, — сказала Эмма. — О-о, он у нас не простой человек! Пусть на меня Борух и Лейб не обижаются, но это мой самый любимый племянник...

— Это моя жена Эмма, — с гордостью сказал рэб Иосиф, сопроводив свои слова церемонным поклоном. При небольшом его росте и тучном теле поклон этот был столь неловок, что вызвал смех у детей.

— Я так и подумал, — весело проговорил Гридин.

— Интересно, как вы догадались?

— Очень просто, — ответил Гридин. — По восторгу, который был в ваших глазах, когда ваша жена говорила...

— Вы это так хорошо сказали, господин Гридин! — растрогался рэб Иосиф. — Почти по-еврейски.

Гридина усадили на самое почетное место и просили говорить первым. Он начал со здравицы в честь государя и государства российского. Его слушали радостно, и Гридин почувствовал даже какую-то неловкость от того, что есть некая тайна в его появлении за этим столом. И тут же подумал о себе с усмешкой: не иначе как угощение с пряными запахами да терпкое вино вызвали это чувство. Однако же, может и в том состояла причина его неловкости, что облик каждого, кто сидел за столом, не был ему так уж непривычен. Особенно, если смотреть на сестер, которые были и белолицы, и светловолосы.

— Чему вы так улыбаетесь, глядя на нас? — спросила Эмма.

— А тому и улыбаюсь, — ответил Гридин, — что если бы встретил вас у себя в поместье, то и не догадался бы, что вы родом из иного племени.

— Ах, господин Гридин, — с печалью сказала Фира, — когда б нас можно было распознать, из какого мы племени, то не сидеть бы нам с вами за этим столом и вообще не жить на белом свете.

— Вот как! — воскликнул Гридин. — А можно узнать, почему?

— Чем меньше знать о наших еврейских болячках, тем крепче будете спать, господин Гридин, — тут же громко сказала Хая.

— А светловолосые мы потому, — сказала Рахиль, — что у нас папа был мельник и нас мукой присыпало. Нет, нет не смейтесь. Умные люди знают, что говорят.

— Вы когда-нибудь видели, господин Гридин, как с коней рубят лозу? — спросила Эмма.

— Еще бы, я и сам рубил на учениях.

— Вот так зарубили когда-то вместо лозы папу, маму и фиринового мужа Гершла, — сказала Эмма.

— Здесь, в Борисове?

— Нет, под Уманью, — ответила Эмма. — Здесь, в Борисове, слава Богу, этого делать еще не умеют.

— Так это, верно, было очень давно. Во времена гайдамаков, да? — спросил Гридин. — Я слышал и читал об этом страшном событии. Как же вам удалось спастись?

— Когда за селом появилось облако пыли от их коней, — сказала Фира, — отец спрятал Рахиль, Хаю и меня с Мойшей на руках в сарае, в яме. Рахиль и Хая были совсем еще маленькие девочки. Ночью пришел сосед, передел нас в одежду своих дочерей, дал коня с телегой, и мы поехали в Борисов, к Эмме, — как будто бы погорельцы. Представьте, нас никто не узнавал. Это Бог хотел нас сберечь, и даже гайдамаки давали нам хлеба...

— Зато когда они приехали в Борисов, — сказал рэб Иосиф печально, — гайдамаки сумели-таки убить еще одного человека.

— Иосиф! — воскликнула Эмма.

— Не сердись, Эмма, но если уже есть разговор, так пусть он будет полным. Когда они приехали в Борисов, мы ждали ребенка, которого Эмма выбросила, как только увидела ту страшную телегу у нас под окном. Они приехали рано утром и не хотели нас будить. Когда она разглядела, кто там в телеге, то стала кричать: а папа? а мама? а Гершл?

— Господину Гридину совсем не обязательно знать так много подробностей, — тихо сказал Бенинсон.

— Столь скорбные события, к несчастью, случаются, и состоят они, увы, из подробностей, — заметил Гридин. — Однако должен заметить — и пусть сие служит для вас утешением, — что действия, подобные совершенному гайдамаками, невозможны в российской империи.

— Как любят говорить у вас в Москве, — ласково сказал Бенинсон, — вашими бы устами да мед пить, господин Гридин.

— Давид! Давид! — воскликнул вдруг Гумнер. — Прочти господину Гридину вирши о снегире. Это исключительно замечательные вирши. Вам обязательно должно понравиться.

— Не знаю, к месту ли... стих совсем о другом, — вспыхнул Давид, юноша лет шестнадцати от роду.

— А кто тебе сказал, что мы здесь собрались, чтобы читать заупокойную молитву? — проговорила Хая.

Давид выбрал место, откуда он всем был хорошо виден, и после некоторого молчания, которое понадобилось ему, чтобы унять волнение, еще ломким своим голосом начал читать звонкие стихи Гавриила Державина:

Что ты заводишь песню военну,
Флейте подобно, милый снегирь?
С кем мы пойдем войной на гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?..

— Весьма и весьма похвален твой порыв, Давид, к стихам военным, — задумчиво произнес Гридин, когда раскрасневшийся Давид закончил чтение. — Гавриилу Романовичу радостно было бы услышать, как ты читаешь его «Снегиря». Только удивительно мне, откуда пришли к тебе столь возвышенные чувства к ратному делу?..

— От покойного князя Осташкова, в имении которого мой отец и теперь еще служит, — ответил Давид.

«Ох, полно, — Осташков ли? — подумалось, однако, Гридину. — Еще и двух десятков лет не прошло, как рядом с поляками против того же Суворова встали и евреи¹. Есть, есть о чем тут поразмыслить»...

— Если бы мужчины не любили ратное дело, то и не было бы столько войн, — сказала Хая и вдруг заплакала.

— Ну чего ты опять плачешь? — всполошилась Эмма.

— Я вспомнила, как Нахман в жаркий день поехал верхом на коне к реке и прыгнул в воду... И попал головой на камень...

¹ В состав повстанческой армии Костюшко, которая была разбита Суворовым в 1794 г., входил отряд еврейской молодежи.

— Что он ненароком попал головой на камень, мы давно уже знаем. Но когда это было? Десять лет назад, а она все плачет, — недовольно сказала Рахиль. — Что же мне тогда делать? Биться головой о стену, раз мой муж умер этой весной? Боже мой, Боже мой, какой это был человек! Такой умный, такой порядочный, такой красивый...

— Господин Гридин, уж коли Рахиль сама заговорила о своем муже, то я хотел бы вас спросить, — прошептал Бенинсон, близко наклонившись к Гридину. — Действительно ли вы намереваетесь открывать дознание о смерти Лейзера?

— Полагаю, что подобные действия отвечали бы вашим интересам, — ответил Гридин, — следует наказать виновных.

— Нет, господин Гридин, нет. В наших интересах было бы полное умолчание о скорбных событиях в городе этой весной. От всего иного нам может быть один только вред.

— Никоим образом, любезный Лев Наумович, не желал бы я учинять вашему семейству вреда. Однако столицу беспокоят слухи.

— Ах, господин Гридин, конечно же я понимаю, что вы находитесь в некотором затруднении, — тихо сказал Бенинсон, — однако, какие бы издержки ни были, я готов их полностью оплатить и даже с лихвой. Вы меня понимаете?

— Понимать-то я вас понимаю, — недобро усмехнулся Гридин, но затем произнес с невольною обидою: — И все же менее всего ожидал я услышать именно от вас подобные слова. Неужели дал я повод думать обо мне, как о чиновнике от коммерции?

— О, прошу простить меня, если слова мои показались вам обидными, — быстро проговорил Бенинсон. — Хотя и то верно, что чиновникам от коммерции всегда плачу я деньги. Так ведь и я тоже не остаюсь в накладе. Но поверьте, — совсем иное дело моя нижайшая просьба к вам: оставить все как есть. Вы сохраните нам честь перед чиновниками, которым мы давали слово молчать о происшествии, а мы сохраним добрую память о вас как о своем благодетеле.

— Хорошо, я удовлетворен вашим ответом, — после некоторого молчания сказал Гридин. — Но я желал бы оставить этот разговор.

Настроение его было испорчено. Он решил посидеть для приличия еще недолгое время и проститься.

Между тем девушки убирали посуду и готовили стол к чаю.

Сквозь кружевную скатерть проблескивал черный лак столешницы, и Гридин, помолчав, суховато спросил Бенинсона, не из досок ли Гумнера сделан стол.

— Увы, господин Гридин, здесь в Борисове мы еще не можем быть столь же искусными в столярном деле мастерами, как в Париже.

— В Париже?! — насторожился Гридин.

— У меня в доме вся утварь из Парижа, — с гордостью произнес Бенинсон.

— И часто вы бываете во Франции? — спросил Гридин.

— Да нет, утварь я покупаю в Вильне. Там у меня от моего торгового дома контора, — ответил Бенинсон. — А во Франции я еще не был, потому что там никогда за один берковец льна¹ не платили больше восьмидесяти рублей. Зачем мне Париж, если шведы дают мне 120 рублей? В прошлом году я хотел купить у них равендук², так они отдавали его по 50 рублей и ни на один рубль меньше. И вы думаете, я не обошелся без них?! По 25 рублей не хотите?! И это был равендук лучший. Он перележал у меня на складе, и мне давали за него 40 рублей с благодарностью.

— Зачем ты так много говоришь о товаре господину Гридину, — сказал рэб Иосиф. — Ему об этом совершенно не интересно знать. Зато нам интересно было бы послушать, что в Петербурге думают о Наполеоне.

— У нас с ним союз, — с усмешкой ответил Гридин.

— Разве может быть такой союз, чтобы от него не было прибыли отечеству? — опять заговорил рэб Иосиф. — Раньше, когда торговали с Англией, было 67 копеек серебром

¹ 10 пудов.

² Парусный холст определенного размера.

за один рубль, а теперь только двадцать. Если союз приносит одни убытки, так его не должно быть.

— Однако наш государь никак не может разрушить его своей волей, — весьма серьезно заметил Гридин.

— Почему же?

— Нельзя, чтобы европейские императоры о нас дурно думали. Будто бы мы только тем и озабочены, как бы новое кровопролитие начать.

— Слух был, будто бы император французов нашего государя о новой встрече просил, — сказал Гумнер. — Но будто бы наш государь и слышать о том не желает. Верно ли?

— Верно. Да и не осталось больше просьб его, которые можно было бы исполнить без потери достоинства. К примеру, просил он позволить ему провести через нашу землю отборные войска к рубежам Индии.

— Какая гордыня! — воскликнул рэб Иосиф. — Будто бы Россия есть второе герцогство Варшавское...

— Стало быть, опять война, если на все свои просьбы Наполеон будет получать отказы? — испуганно спросил Гумнер.

— Стало быть, война. Но только не по вине отечества нашего, — сказал Гридин. — А мы знаем, что оружие правых Бог всегда благословляет особо. Не могу к этому не заметить, что возможный неприятель наш к тому же и коварен чрезмерно... Известно ли вам, к примеру, как много милостей даровано вашему племени Наполеоном?

— Дошли и до Борисова слова Наполеона о том, что рука, которая когда-то умела крепко держать в руках меч, не может того забыть, сколько бы веков с тех пор ни минуло, — сказала Бенинсон с такой неловкой усмешкой, что невозможно было не заметить и некоторую гордость, которая сопровождала произносимые им слова. — Веков! Нет, вы только подумайте, как это можно себе представить!! Жалко, нет Мойши — он бы вам объяснил, о чем на самом деле думал Наполеон, когда говорил такие слова...

— Известно и другое, — сказал Гридин, больше обращаясь отчего-то к Давиду, чем к остальным. — После штурма Варшавы Суворовым весь двор российский был

весьма обеспокоен известием, что среди бунтовщиков было много людей вашего племени, которые сражались с редким отчаянием...

— Это Бог испытывал нас, чтобы снова увидели мы тщетность жертв своих, — тихо проговорил рэб Иосиф. — А что до поляков, так они нам еще раз доказали, что неблагодарнее их нет людей на всей земле. Пусть Бог будет им судья...

— Тщетность и многих иных действий бывает весьма очевидной, однако, мы совершаем их постоянно, — назидательно произнес Гридин.

Между тем незаметно подошли сумерки, и девушка зажгла в гостиной первые свечи. Дети давно оставили стол и теперь шумно играли в саду. Давид сидел вместе с мужчинами и с благоговением смотрел на Гридина каждый раз, когда тот начинал говорить. Гридин решил, что пора уходить, и поднялся из-за стола. Вслед за ним поднялись Гумнер и Бенинсон. Их глаза, обращенные к нему, как бы спрашивали: а с Лейзером-то как? Что решилось-то? Дело о его смерти умерло за этим столом или нет? Или все только начинается на нашу голову?! Ах, господин Гридин!

Гридину было бы искренне жаль, если бы все, о чем они беспокоились, оказалось правдой. Но, вероятно, было не о чем беспокоиться, и он вскользь обронил, что, возможно, в ближайшее время дело Лейзера Гумнера будет предано полному забвению. На что Гумнер с огорчением прошептал Бенинсону: «Что значит в о з м о ж н о ?» — «Возможно — это как раз то, что нам надо!» — смеясь прошептал ему в ответ Бенинсон.

На прощание Гридин пообещал женщинам непременно явиться к ним, если еще когда-нибудь ему доведется бывать в Борисове. В глазах Маши мелькнуло при этом насмешливое сомнение, и он невольно улыбнулся ей, подумав: «Хорошо, что с веселой усмешкой смотрят эти глаза, а не со страхом, коего не избежать было бы, если бы ей открылась вдруг истинная моя задача...»

Впрочем, ему предстояло еще весьма многое выяснить и понять, прежде чем он готов будет начать составление доклада о своем путешествии в Западный край. И он поду-

мал, что, пожалуй, знакомство с семейством полезно было бы продолжить и теперь, еще до отъезда из Борисова. Эта мысль окрепла в нем, когда, направляясь к воротам, он лицом к лицу встретился с Энгельгардтом. Братья радостно бросились Энгельгардту навстречу, вскрикнул Давид, но Гридин сразу же почувствовал на своем лице настороженный, может быть, даже и враждебный взгляд. Братья представили их друг другу. Гридина больше всего удивила в Энгельгардте вольная манера держать себя — без той легкой суетливости, которая была свойственна его братьям.

— Как жаль, — сказал Гридин с вежливой улыбкой, — что был лишен сегодня удовольствия беседовать с вами. А что если завтра?

— Завтра никак невозможно. Утром я уезжаю в имение княгини Осташковой, — ответил Энгельгардт. — Но жизнь ведь не кончилась? Свидимся когда-нибудь...

«Нет, не когда-нибудь, а завтра же и приеду», — упрямо подумал Гридин, поднимаясь в карету и охватывая заодно быстрым взглядом и окна соседнего дома, из которого выглядывали любопытствующие лица.

5

Если это верно, что души умерших любят слушать, когда о них говорят живые, то душе Лейзера Гумнера суждено было еще некоторое время постоять под окнами его дома в тот субботний вечер.

Раз за разом, перебивая друг друга, Бенинсон и Гумнер рассказывали Энгельгардту, зачем они пригласили к себе домой Гридина, а тот упрямо твердил, что он их не понимает.

— Что скажет о нас городничий?

— А что он должен сказать? — спокойно спрашивал Энгельгардт.

— Он скажет, что мы дали слово, а сами отправили жалобу.

— Так вы, действительно, отправили жалобу?

— Нет, конечно.

— И ваш Гридин об этом знает?

— Еще бы!

— Но тогда о чем вы беспокоитесь?

— Но как ты не понимаешь!!

— Нет, я понимаю, — с усмешкой говорил Энгельгардт. — Когда будет разбирательство, то все они обязательно узнают, что родственники Лейзера Гумнера на них не жаловались. Разве не так?

— Нет, не так. Не должно быть никакого разбирательства.

— Почему?

— Если оно будет, то они обязательно скажут, что от нас ничего другого и нельзя было ожидать. Сначала отказались от своих слов и написали жалобу, а затем испугались собственной жалобы и отказались от нее тоже.

— Ну, и пусть говорят. Но мы разве не знаем, что это не так? А что если этот чиновник явился в Борисов сам по себе, без всякого приглашения? И его, Борух, совсем не обязательно было звать домой.

— Боже мой, Боже мой, о чем он говорит?! — простонал Бенинсон.

— Подожди, Лейбелэ, — сказал Гумнер, — давай поговорим с ним немножечко по-другому. Почему бы нам не думать, что это как раз тот самый случай, когда люди в столице вдруг захотели жить, действительно, по-христиански?

— Если это так, то господину Гридину совсем не надо было приезжать в Борисов из Петербурга, где совсем недавно сын по-христиански убил своего отца, а до этого жена убила своего мужа, а еще раньше отец убил своего сына, — прокричал Энгельгардт братьям. — Вот почему меня удивляет, что из-за смерти какого-то несчастного Лейзера Гумнера из столицы в Борисов приезжает чиновник по особым поручениям!

— Разве Авессалом не хотел убить отца своего Давида? — проговорил Гумнер.

— О, наконец-то! — воскликнул Энгельгардт. — Этого упоминания нам здесь как раз больше всего и не хватало! Ну что ж, будем умничать. Только говорите не разом, а по очереди.

Братья засмеялись и обнялись. Только Давид сидел рядом с отцом, опустив голову. Все ушли к столу; отец и сын остались у окна вдвоем.

— Прости меня, папа, — сказал Давид, — но я первый раз в жизни плохо о тебе подумал.

— Отчего же?

— Ты так говорил, как будто люди на самом деле никогда не поступают по-христиански, а только любят об этом говорить. Но ведь это не так. Разве князь Осташков относился к нам не по-христиански?

— Князь Осташков был добр, и мы платили ему тем же. Кроме того он был умен и знал, что мы столь же добры, как и он. Да, о нем можно сказать, что он относился к нам по-христиански, но если бы он был человеком другой веры, то был бы точно таким же.

— А мы?

— Мы тоже.

— Тогда зачем мы столько страдаем из-за того, что евреи?

— Это дело Божье. И ты хорошо знаешь, что так говорить, как ты сейчас сказал, — нельзя. Это грех. Кому-то Бог и теперь еще разрешил проливать чужую кровь, а кому-то и нет.

— А если я признаюсь тебе, что рад был бы служить в армии? — сказал Давид, и глаза его загорелись. — И пусть чужая кровь. Зато до самой смерти рядом со мной были бы самые верные товарищи. Отец, я мечтаю жить и умереть под знаменем.

— Если бы такое могло случиться на самом деле, то у тебя был бы совсем другой отец, — вздохнул с улыбкой Энгельгардт. — Когда-нибудь ты случайно заехал бы в Борисов, встретил бы меня на улице и даже не знал бы, кто я такой.

— Вот тебя-то мне больше всего и жалко, — улыбнулся в ответ Давид. — Как подумаю, какие у тебя будут глаза, если я скажу тебе, что хочу быть православным, так...

Он не договорил — в гостиную вошла Маша.

— Мойшэлэ, Дудэкэл, все ждут вас. Но расскажите мне, о чем вы здесь так долго шепчетесь? — обняла она мужа и сына.

— Давид спрашивает меня, почему Перетц и Навахович¹ так плохо поступили, что сначала объявили себя защитниками всех российских евреев, а потом вдруг крестились.

— И что же ты ему ответил?

— Я ему сказал, что так всегда бывает с людьми, которые сами себя называют чьими-то защитниками. Потому что назвать человека защитником может один только Бог.

— А что об этом думаешь ты, мама?

— Что я об этом думаю? Я думаю, что можно жить в одном городе, а потом в другом; переехать из одного края земли в другой, жить у разных царей и под разными флагами. Можно даже случайно нарушить Закон, прости меня Господи, но одного делать никак нельзя: нельзя менять одну душу на другую. Потому что душа дается человеку при рождении не только на всю жизнь на земле, но и вообще на все времена. Душа человека, который сменил ее, обречена на вечные страдания. Потому что т а м должны ее узнать, а как же ее узнают, если это совсем не та душа, которую Бог вдохнул в человека, когда он родился?..

— Ах, мама, — печально проговорил Давид, — но что же мне делать, если именно моя душа и тянет меня вон из Борисова...

6

Солнце едва поднялось над лесом, когда Энгельгардт приехал в имение. В барском доме было тихо, и он направился к флигелю, в котором жил. В тот день, когда он уезжал в Вильну, прошел сильный дождь, и теперь вся земля вокруг флигеля заросла травой. Дворовые люди знали, что траву вокруг флигеля управляющий любит выкашивать сам, и рядом с дверью, под навесом, приготовили ему литовку. Энгельгардт вошел в дом, перед тем с особым удовольствием коснувшись пальцами мезузы², переоделся

¹ Автор первой русско-еврейской поэмы «Вопль дочери иудейской».

² Кусочек пергамента со словами молитвы, закрепленный на косяке двери.

в легкую полотняную одежду и начал с того, что стал выкашивать дорожку в сторону барского дома. Вскоре к нему тихо подошел Кулик, деревенский староста, крепкий мужик с белой бородой, и спросил, почем в Вильне пшеница. Энгельгардт ответил, что двадцать рублей за четверть¹.

— Вот оно как! — сказал Кулик, покачал головой и отошел.

— Что же ты меня не спросил, на сколько срубов я договорился? — крикнул ему в спину Энгельгардт.

— Боязно было, — ответил Кулик и медленно повернул голову назад к Энгельгардту. — Неужто и вправду на все десять?

Мужики, что сидели невдалеке на бревнах, поднялись и стали за спиной Кулика. Они не сводили глаз с Энгельгардта, на их лицах блуждали улыбки.

— И не только на десять, — весело засмеялся Энгельгардт, — но еще и на пять новых. Сегодня к вечеру ждите подводы. Есть и задаток.

Энгельгардт прислонил литовку к дереву, ушел к себе и вскоре вернулся с деньгами в руках, которые передал Кулику. Староста медленно пересчитал деньги, потом крепко сжал их в кулаке и поклонился Энгельгардту. Следом за ним поклонились и мужики.

Земля вокруг флигеля была ухоженная, и Энгельгардт косил широко, не опасаясь камней. Лицо его было мокрым от пота, когда из дома выбежал молодой князь Николай Александрович, Коленька, и подбежал к нему.

— Моисей, ты опять меня не послушался, — закричал Коля, — обещал привезти Давида, а сам в который уже раз приехал без него. Я из окна видел, как ты приехал, и так огорчился, что снова заснул.

— У Давида много занятий по дому, — ответил Энгельгардт. — А вы с пользой ли провели время, что меня здесь не было?

— Представь, я стал перечитывать Священное писание и вдруг оказался в полном недоумении. Откуда взялась на

¹ 9 пудов.

земле вторая женщина, та, что стала женой Каина? И как ее звали? Почему я раньше этого не заметил?

— Должно быть, упущено от злодейства, что совершил Каин. Нам же дано только домысливать.

— Это ты мне объяснил совершенно по-еврейски, — недовольно проговорил Коля, — лишь бы гладко было и на правду походило, а мне истину знать хочется.

— Вот и идите, Николай Александрович, к вашему французу, который вас так хорошо учит, в чем отличие одного ума от другого, — весело сказал Энгельгардт, — он вам про жену Каина все и объяснит. А ко мне-то зачем пришли?

— Вот ты и обиделся, а я случайно это сказал — не подумал. Уж ты меня прости, Моисей. Дай лучше литовку, я тоже косить хочу, а то меня, на тебя гляючи, завидки берут.

— Моисей Григорьевич, голубчик, до чего же я рада, что ты приехал, — подошла Анна Александровна, княгиня Осташкова. — А про дела мне не докладывай. Я по твоему лицу вижу, что все у тебя получилось. Ведь получилось же, да?

— Получилось, — сказал Энгельгардт. — Все хорошо.

— Послушай, Моисей Григорьевич, а я знала, что ты сегодня приедешь.

— Не иначе, вам об этом птицы рассказали, которые видели меня, когда я к Борисуville подъезжал?

— Не угадал! — и княгиня залилась веселым смехом. — Сон приснился, что мы с тобой чай пить собрались, а ты головку сахара принес, которую никто из дворовых расколоть не может. Долго мы с тобой так сидели, пока я от огорчения не проснулась.

— Вы еще больше огорчитесь, если сахар, который я привез, и вправду расколоть нельзя. Ваши сны опасные, надо пойти проверить.

— Ты, Моисей Григорьевич, хотя и смеешься, а по глазам вижу, что ты о чем-то другом думаешь. Верно ли? — сказала княгиня. Энгельгардт хотел было ответить, что не идет у него из головы визит к его родным одного чиновника из Петербурга, но тут, словно это заранее было предоп-

ределено, в воротах усадьбы появилась прогулочная коляска, а в ней Гридин.

— Этот господин мне незнаком, — тихо сказала княгиня.

— Он вчера в доме моего брата гостем был, — проговорил Энгельгардт.

— Вот как! С каким же он ко мне делом?

Коляска подкатила, Гридин вышел из нее и поклонился княгине.

— Не мог проехать мимо столь замечательного имени, — сказал он, представляясь. — Кроме того, я знаком с вашим управляющим...

Княгиня повела Гридина в дом, сказав Энгельгардту:

— Моисей Григорьевич, иди переоденься и приходи в гостиную.

Когда Энгельгардт вошел, Гридин пересказывал Анне Александровне самые последние столичные новости, больше все о свадьбах и похоронах.

При ярком дневном свете Энгельгардт выглядел не столь загадочным, каким показался Гридину вчера вечером. Разглядывая Энгельгардта вскользь и незаметно, Гридин с усмешкой подумал, что, пожалуй, Энгельгардта, надень на него хоть русский, хоть французский офицерский мундир, не то что его братьев, невозможно было бы отличить от других офицеров. Чтобы вовлечь его в общий разговор, Гридин с вежливой похвалой отозвался о Давиде. Но Энгельгардт словно бы и не слышал его слов, лишь слабо кивнул головой. Зато тут же заговорил молодой князь.

— Если бы Давид захотел и Моисей ему позволил, то он мог бы стать настоящим гусаром, — сказал Коля. — Он и стреляет без промаха, и фехтует претотлично, и ножи бросает не хуже любого абрека на Кавказе.

— Муж мой покойный учил Давида вместе с Колей воинскому делу, — с улыбкой сказала княгиня и вздохнула. — А то, что на войну его никто не позовет... может, и хорошо. Долго жить будет.

В глазах княгини блеснули невольные слезы. Гридину в городе говорили, что князь долго болел и умер от ран, которые получил при Фридлянде. Чтобы переменить го-

рестный разговор, Гридин заговорил о живописной картине, на которую прямо от окна падал свет.

— Удивительно, до чего изображение радует глаз свежестью, — проговорил Гридин. — Словно бы еще один луг возле имени вашего.

— Так ведь это и есть наш луг, — засмеялся Коля.

— Живописец, должно быть, хорошо известен в столице? — спросил Гридин.

— Совсем неизвестен, — ответила княгиня. — Богомаз, из борисовских жителей. Князь его заметил и позвал в одно лето к нам погостить.

— Вот как! — удивленно воскликнул Гридин. — А что же та, соседняя с ней картина, где, если я не ошибаюсь, изображено испытание львами пророка Даниила, — также его?

— Да, представьте себе, — с гордостью ответила княгиня, а Энгельгардт с одобрением посмотрел на Гридина. Заметив этот взгляд, Гридин неожиданно для себя вдруг быстро и с вдохновением заговорил:

— В ранней юности и в силу особых обстоятельств чтение книг, и особенно Священного писания, было единственной моей радостью. Однако должен вам заметить, что в писаниях пророка Даниила больше всего изумляла и пугала меня таинственная рука, которая появилась на пиру Валтасара и написала на стене: мене, мене, текел, упарсин. Ночью... в своей комнате... возле слабой свечи... и мне иногда казалось, что вижу я на стене эту же руку...

— О, Георгий Иванович! — воскликнула княгиня. — Вы определенно и сами душой живописец.

— Что вы, что вы, нет, конечно, — засмеялся Гридин. — Но часто бываю склонен к различным размышлениям. Вот и о пророке Данииле тоже невольно много всякого передумал. Особенно хотелось мне понять, отчего в его писаниях рассказаны две похожие истории — первая про огненную печь с отроками, а другая о том, как Даниила бросают к голодным львам.

— Говорите же скорее, что вы об этом думаете! — нетерпеливо проговорил Коля, который слушал Гридина с чрезвычайным интересом.

— А то, что и одного повествования о чудесном спасении за верность Богу и отказ молиться за идолов было бы, по моему разумению, довольно. Хоть с печью, хоть с львами. Знак-то ведь был дан один и тот же!..

— В чем же тогда объяснение? — с улыбкой спросила княгиня.

— А в том, что мы, люди, к чему ни прикоснемся, никак с природой своей несовершенной совладать не можем, — тоже с улыбкой ответил Гридин. — Определенно те, кому Даниил поведал обе эти истории, должны были для потомков своих оставить только одну. Они же, не зная, какой именно надобно отдать предпочтение, так обе и сохранили.

— А слабость-то в чем? — не выдержал Коля, поскольку все после слов Гридина вдруг на какое-то время замолчали, вглядываясь в картину.

— Как я понимаю — в растерянности перед выбором от незнания, что же самому Богу хотелось бы, чтобы люди помнили.

— Ну, а сами-то какую историю выбрали бы? — не унимался Коля.

— Так ведь, пожалуй, что и не знаю, — опять засмеялся Гридин. — Перед могуществом истинного ума слаб и растерян человек. Я тоже слаб и растерян.

Все в гостиной вздохнули с облегчением и тоже засмеялись. Возвышенный разговор привел Гридина в хорошее состояние духа — он был рад, что так неожиданно и искренне ему захотелось вдруг говорить. В эти минуты он даже забыл, что приехал в имение, дабы тайно исследовать Энгельгардта. Все было почти как в юности, когда легко и просто сходишься с людьми.... Гридин и на Энгельгардта смотрел сейчас почти с приятнью.

— А что, Моисей Григорьевич, верно и вам тоже есть, что сказать об этой картине, если взглянуть несколько далее ее рамок?

— Не знаю, господин Гридин, что вам и ответить на это, — отозвался Энгельгардт. — Не обессудьте, но я от первой и до последней буквы воспринимаю повествование о жизни Даниила без всяких сомнений.

— Вот как? — покачал головой Гридин. — Но ведь то, что я сказал, так очевидно!

— Может быть, и очевидно, да только не совсем. Для меня вот очевидно, что именно две истории, а не одна быть должны, и первая, и вторая. Это значит, что испытания на верность Богу будут повторяться в разных видах из века в век.

— А теперь что скажете, Георгий Иванович?! — торжественно воскликнул Коля.

— Скажу, что всегда предпочтительнее иметь два суждения об одном и том же предмете, чем только одно. А у Моисея Григорьевича такая глубина в словах, что теперь много о них размышлять буду...

Беседа перешла на другие предметы, Гридину было все так же покойно и хорошо на душе, но вскоре он взглянул на часы и ужаснулся, что может не доехать засветло до намеченного ночлега. Провожали Гридина весело, и когда его коляска подкатила к молодому лесу и скрылась в нем, княгиня сказала:

— Какой приятный человек Георгий Иванович!

Энгельгардт ничего на это не ответил, а только подумав, что скорее бы из его души ушло все то темное, что вошло в нее, когда он в первый раз встретился глазами с этим вроде бы и вправду неплохим человеком....

7

21 марта 1812 года императором был подписан высочайший указ об особом наблюдении в пограничных областях. Согласно указу следовало брать показания со всех граждан иностранного происхождения и других подозрительных лиц о цели посещения ими городов и местечек. Тех же, кто убедительных объяснений предоставить не сможет, высылать немедленно. Среди бумаг, сопутствовавших написанию указа, были и подробные размышления по данному предмету чиновника по особым поручениям Георгия Ивановича Гридина. В своей записке государю он рекомендовал призывать на воинскую службу также и российских подданных моисеева закона, а для усиления благонадеж-

ности гражданских лиц требовать от них принятия особой присяги. Однако же по причине известной российской медлительности соображения Гридина так и остались никем не востребованными. А между тем они мало в чем расходились с соображениями некоторых весьма высокопоставленных вельмож, коим также пришлось по долгу службы думать об устройстве еврейского племени в российском государстве.

Здесь надо особо отметить, что в самом конце своей записки Гридин вдруг позволил себе рассуждения общего характера. Он предположил, что смысл самого существования граждан моисеева закона все-таки полон загадок. И коли они не пропали совсем в прошлые века, то и неизвестно, какими именно мерами их надобно сдерживать, дабы поведение их при общении с неприятелем нашим не было бы вредным. Из чего проистекало, что наблюдение за гражданами моисеева закона следует вести постоянно.

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что предложения Гридина появились в весьма и весьма тревожное время. Хорошо известно, что именно в такие времена каждый ум способен производить те лишь образы, к которым приучен годами. К примеру, едва указ от 21 марта был прочитан минским губернатором, как он немедленно отправил государю депешу, в которой сообщал, что «подозрительны все жида!»

Когда в середине лета того же года войска Наполеона перешли пределы России и двинулись вглубь ее, сведущие люди со вздохом говорили, что многих, очень многих потерь — как людских, так и хозяйственных — можно было бы избежать, если бы чиновники, собравшиеся вокруг государя, умели вовремя угадывать события и предотвращать их. Вспоминали также и указ от 21 марта, появившийся слишком поздно, чтобы произвести все те полезные действия, ради которых он был сочинен.

8

В начале ноября 1812 года к городу Борисову подошли передовые отряды армии Наполеона, которая покидала пределы России. Великая армия снова уходила из далеких

от Франции земель непобежденной, но еще не было в ее недолгой истории столь горестного похода, как этот. Судьба, так благоволившая к Наполеону прежде, в этом походе отвернулась от него. Иногда ему казалось, что это не он вел свои войска на встречу с неприятелем, а неистовый вихрь кружил его над огромными, похожими друг на друга пространствами, пока не швырнул на улицы Москвы. Запустение, огонь и смерть встретили его здесь вместе со стаями воронья, от которых темнело небо. Весь город казался ему ужасной тюрьмой, в которую он сам себя заключил. И он мечтал лишь об одном — бежать. Может быть, настоящий русский его поход только тогда и начался, когда он построил свою армию и, опираясь на палку, повел ее вон из Москвы¹.

На всем пути до Борисова армия постоянно должна была доказывать неприятелю, что, несмотря ни на что, она еще крепко держит в руках оружие. Никогда прежде Наполеон не был так тверд в мысли, что ни один полководец мира не имел счастья вести за собой таких солдат, которые были у него. Даже когда на пути из Смоленска в Борисов ударили морозы, войска, едва завидев его, кричали: «Да здравствует император!»

Невозможно было допустить, чтобы неприятель перекрыл дорогу, по которой двигались основные силы армии. Поэтому к борисовскому тет-де-пону² был послан корпус генерала Домбровского, чтобы укрепить его оборону от Дунайской армии адмирала Чичагова, которая двигалась к Борисову с юга по противоположному, правому берегу Березины.

9

Когда Дунайская армия русских подошла к Борисову, возле тет-де-пона завязался бой. И 7-й Егерский полк сумел быстро овладеть не только этим укреплением на

¹ Есть документальные доказательства, что этот символический жест имел место и Наполеон в первые часы отступления, действительно, шел впереди своей армии.

² Предмостное укрепление.

правом берегу, но и перейти по мосту на левый берег, после чего генералу Домбровскому ничего не оставалось, как покинуть Борисов. Первое соприкосновение с французами — и сразу же победа! Это вызвало ликование в штабе адмирала Чичагова. Впрочем, в штабе было известно, что морозы и голод сделали свое дело и великой армии больше нет. Дело у тет-де-пона было еще одним тому подтверждением. Можно было предположить, что движение французов к границе продолжают разрозненные отряды, в одном из которых находится Наполеон. Еще было известно, что беспорядочное отступление французов все более замедлялось из-за гибели лошадей, которых нечем было кормить.

И все же, несмотря на это, некоторые офицеры просили адмирала отменить его решение, когда он приказал штабу и части армии перейти на левый берег. Известно, что раненый зверь бывает особенно опасным. Кроме того, корпуса маршалов Удино и Виктора, которые не принимали участия в московском походе, по некоторым сведениям соединились с Наполеоном и сопровождали его отступление.

Адмирал, однако, желал быть на левом берегу еще и потому, что с верховья Березины, по левому же берегу, двигалась с севера к Борисову армия Витгенштейна, которая по распоряжению фельдмаршала Кутузова должна была войти в подчинение адмиралу. По всему выходило, что армии должны были соединиться прежде, чем Наполеон подойдет к Борисову. Что же до возможных потерь, то на то и война, чтобы на ней кому-нибудь умирать. У тет-де-пона при взятии редута тоже полегло много солдат и офицеров, в том числе и командир 7-го Егерского полка генерал-майор Энгельгардт.

Одним из офицеров штаба адмирала был Георгий Иванович Гридин. Он был послан в Дунайскую армию сразу же, едва началась кампания, и остался этим назначением весьма недоволен. Армия отстояла слишком далеко от основных мест сражений. Но когда армия двинулась и вступила в бой с неприятелем именно под Борисовом, Гридина охватили вдруг самые мрачные предчувствия. Вспомнилась карта, что была расстелена на столе у князя

Куракина, когда они выбирали место, с которого Гридину надлежало начать свое путешествие в Западный край. Вспомнилось, как палец его указал место между Игуменом и Борисовым. Не страшное ли пророчество было тогда передано ему через эту карту? Особенно сильно предчувствие гибели тревожило Гридина в первые часы после того, как вместе с Чичаговым он проскакал по мосту и вновь увидел дома Борисова.

Однако утром следующего дня дурные предчувствия совершенно оставили его. Причиной тому было появление у Чичагова членов наполеоновской комиссии по управлению уездом, среди которых Гридин узнал адвоката Квитковского.

— Мог ли я предположить прошлым летом, что когда-нибудь увижу вас в столь презренном виде? — сказал Гридин, тут же подумав, что знак был не о его жизни, а всего лишь предрекал значительность событий, которых предстояло ему быть здесь свидетелем.

— Прошу не забывать, господин Гридин, что я поляк! — выпрямился и гордо отбросил назад седую голову Квитковский. — Нет ничего презренного в том, что я вместе с другими поляками хотел поднять из руин нашу несчастную родину!..

Квитковский прокричал свои слова с отчаянием, возможно думая, что вскоре будет убит за измену или арестован. Он не знал, что высочайшее повеление предписывало всем командующим действующих армий быть снисходительными к полякам, которые служили императору французов, ошибочно полагая, что вновь стали подданными Речи Посполитой. Истинное унижение еще только ожидало поляков, вступивших в схватку двух великих народов на стороне одного из них. Вслед за Речью Посполитой теперь карту Европы должно было покинуть и герцогство Варшавское.

Чичагов отпустил притихших и удивленных поляков, после чего всех, кто был в штабе, пригласил к столу отпраздновать первые победы. Однако едва бокалы наполнились вином, дверь распахнулась и вбежал забрызганный грязью и кровью офицер.

— Французы!!

Через несколько часов Борисов был снова в руках французов.

Горьки и ужасны были потери. Истреблен или пленен был весь авангард, состоявший из егерей. Много убитых и раненых было среди тех, кто преграждал путь к мосту кирасирам маршала Удино, пока шла ретирада. Сам адмирал едва спасся от плена, оставив в Борисове весь свой обоз. Только теперь адмирал осознал, какой грозный враг встал перед ним на другом берегу Березины, у горящего моста, готовясь к новому прыжку. Оставалось только предугадать — где именно.

10

12(25) ноября в Борисов прибыл Наполеон в сопровождении маршала Нея. Стоя на высоком берегу Березины, он долго смотрел на борисовские окрестности за рекой и всюду видел российские войска.

— Похоже на то, что западня захлопнулась, — задумчиво произнес Наполеон.

— Не огорчайтесь, сир, — сказал Удино. — Когда Чичагов убежал, он оставил мне превосходное вино. Оно ждет вас.

— Возможно, — с усмешкой проговорил Ней, — он оставил его с умыслом, — как это делают в тюрьмах, когда осужденным на смерть подносят бокал с вином.

— Думаю, что он не успел об этом подумать, — сказал Удино. — Вместе с вином он оставил нам и всю свою кухонную и столовую посуду.

— Было бы лучше, если бы он забыл разрушить мост, — мрачно проговорил генерал Лорингтон.

— Мне мост не нужен, — сказал Наполеон. — Место для переправы должно быть другим и выбрано сегодня же.

— Вы думаете, мы сможем избежать сражения, сир? — спросил Удино.

— Хотелось бы. У того, кто отступает, как оказалось, тоже есть свои преимущества перед неприятелем. Русские

это доказали. У наступления дорога одна, у отступления их много.

— Приятно сознавать, что мы усваиваем чужие уроки, сир, — с поклоном заметил Ней.

— Я и прежде знал, — с улыбкой ответил Наполеон, — что не всегда можно угадать, по какой именно дороге побежит от тебя неприятель.

— К сожалению, русских на том берегу собралось так много, — сказал Лорингтон, — что они в состоянии перекрыть все до одной дороги из Борисова.

— Если они будут уверены, что верно угадали место переправы, то стянут к нему все свои силы, — возразил Удино. — Русские всегда стремятся к тому, чтобы иметь значительное численное преимущество над нами.

— Я готов выслушать ваши предложения, Удино, — сказал Наполеон.

— Предлагаю строить две переправы. Одна из них должна быть ложной, которую мы будем неумело скрывать от неприятеля.

— С двух сторон от города?

— Да, сир.

— Какая же из двух будет истинной?

— Еще не знаю. Сейчас поисками обеих переправ занимается генерал Эбле.

— Вам следует найти деревню, расположенную на берегу. Обычно их ставят рядом с бродом, — сказал Наполеон. — Мы потеряли понтоны, но для переправы можно использовать бревна от изб. Желательно, чтобы как можно большее число жителей Борисова знало, где именно мы строим ложную переправу.

— Большая часть жителей Борисова состоит из евреев, — заметил Удино.

— Вот и хорошо, поскольку евреи очень любопытны, — сказал Наполеон.

— И только, сир? — усмехнулся Ней. — Я помню, что когда-то вы много говорили о достоинствах этого племени.

— Я и теперь готов повторить все, что говорил о них прежде. Никто с такой решимостью, какая была у них,

не противостоял Риму. Такой народ достоин лучшей участи.

— Но только никто почему-то не пожелал стать евреем в тех землях, по которым они прошли после своего поражения, — проговорил Лорингтон.

— Но и они тоже с трудом согласились признать себя французами, когда наш император попросил их об этом, — с усмешкой сказал Ней. — Они очень долго посыпали головы пеплом, прежде чем разрешили своим дочерям становиться женами французов.

— И всегда согласны были носить любую шутовскую одежду, лишь бы их не спутали с каким-нибудь другим племенем, — добавил Лорингтон. — К тому же какой правитель мира сделал для них больше, чем наш император?! И какой неблагодарностью они ему ответили.

— Мы и не должны ждать благодарности от подданных другого императора, — сказал Удино. — Иное дело, если их враждебность использовать с пользой для себя.

На взмыленной лошади прискакал адъютант маршала Удино. Он доложил, что когда бригада Карбино переходила Березину возле деревни Студенка, то лошади шли по дну, а если где-то и плыли, то не более десяти футов. Вода доставала ездовым до колен.

В карете, направляясь к Студенке, Наполеон вспомнил слова Лорингтона о неблагодарности евреев и подумал, что, как и многие другие офицеры, Лорингтон тоже, видимо, читал прокламацию, которую обнаружили в захваченной у русских почте. Автором ее был какой-то еврейский проповедник¹, который сбежал вглубь России. Одно место Наполеон с удивлением прочитал несколько раз: «В основе характера Наполеона лежат две черты: во-первых, гнев и жестокость, позволяющие истреблять без жалости бесчисленное множество душ и вызывающие в настойчивом стремлении к победе готовность бороться до полной и окончательной собственной гибели. Во-вторых, заносчивость и гордыня, при которых все военное искусство, все

¹ Рабби Шнеер-Залман (1747—1812), активный противник Наполеона, руководитель хасидов Беларуси и Литвы.

удачи и победы приписываются исключительно собственной мощи и силе своего ума. Основное же свойство милосердия и доброты состоит в том, что чувствуешь горе и страдание униженного и угнетенного более сильно, чем собственные. Эти черты воплощены в полной мере в нашем императоре».

Удивительно, но даже после той брани, которую слышал о себе Наполеон всю жизнь, слова эти почему-то задевали. Они были пропитаны какой-то совершенно изощренной ложью и лицемерием.

Особенно задело Наполеона его сравнение с Александром. Что может знать о жизни государей этот жалкий проповедник, всю свою жизнь только и видевший, что убогие хижинки своих единоверцев, в которых из-за детских криков и неприятных запахов даже его солдаты отказывались оставаться на ночлег?.. Известно ли ему, что многие годы он, Наполеон, по уверениям самого Александра, был его идеалом, которому больше всего в жизни тот желал бы подражать? Свойства милосердия и доброты... Господи, откуда им быть, если прежде чем проникнуться ими, невозможно избежать топота копыт и грохота пушек? И разве сам Александр, этот тайный республиканец, которого он полюбил как брата, не говорил ему, что Гражданский кодекс есть главное сражение, которое выиграл Наполеон?.. Нет, нет, никому не дано знать, какая тоска угнетает душу человека, который обязан выигрывать все свои сражения...

Карета остановилась, и Наполеону сказали, что он в Студенке. Прекрасный вид открылся его взору, когда он вышел из кареты. Спокойные темные воды реки, скованные льдом у берегов. Обширная низина, медленно переходящая в лес. Вдоль реки крестьянские избы, над некоторыми из них белыми столбами поднимался дым...

11

В Борисове печи топили теперь только ночью при плотно зашторенных окнах, чтобы с улицы нельзя было увидеть отблесков огня. Кругом горели костры, и толпы голодных солдат бродили в поисках пищи.

— Когда-то мы радовались, что живем на самой короткой дороге между Москвой и Варшавой, — сказала Хая, укладывая поленья в печь. — А теперь я должна плакать горькими слезами из-за того, что Наполеон, дыра ему в голову, решил убегать из Москвы почему-то именно по этой дороге.

— Адмирал Чичагов тоже хотел, чтобы Наполеон уходил по какой-нибудь другой дороге. И поэтому, когда тот здесь появился, едва успел перебежать на другой берег, — сказал Гумнер, который пришел задними дворами, чтобы поговорить с братом.

— Зато Шмуль Пророков опять от имени населения Борисова выбежал к Чичагову с хлебом и солью, — усмехнулся Бенинсон.

— Почему опять?

— Потому что когда Наполеон был здесь первый раз, Шмуль делал то же самое вместе с поляками.

— А мы с тобой еще радовались, что сражение обходит нас стороной, — сказал Гумнер.

— Мне казалось, что где-то впереди, далеко от города, у Чичагова имеется надежный заслон от Наполеона.

— Тебе казалось... Можно подумать, что ты в этом что-нибудь понимаешь, если даже сами генералы не могут с точностью угадать, откуда к ним должен подойти неприятель, — вздохнул Гумнер.

— С точностью может работать только твоя машина, — засмеялся Бенинсон, — а война, как болезнь. Никогда не знаешь, когда она начнется и чем она закончится. Они ворвались в город, как бешеные звери. Я сам видел, как они зарубили на скаку двух офицеров, совсем еще мальчиков, которые стояли перед ними с поднятыми руками.

— Там красивые мужчины и здесь красивые мужчины, — послышался голос Хай, — и каждый умирает за своего императора.

— Что ты там печешь, мама?

— Хочу испечь немного лейкех.

— А хлеб?

— Хлеб я уже испекла, а лейкех для детей. Они не виноваты, что идет война. Берелэ, а что делала Рахиль, когда ты уходил к нам? — спросила Хая.

— Она тоже стояла у печи. И еще она мне сказала, что сама слышала, как два француза говорили друг с другом на еврейском языке. Но только, как она сказала... очень грубо.

— Тебе бы надо было ей ответить, что это были немцы, — сказал Бенинсон с усмешкой. — С тех пор как они стали говорить на идиш, они сильно его испортили. Один купец в Москве объяснил мне, почему нас не любят. Оказывается, потому, что мы присваиваем себе все самое хорошее, что есть на земле.

— Один шляхтич, который зарезал свою жену, спросил в остроге у моего отца, почему нас не любят. «А вот вас, когда узнали, что вы зарезали свою жену, любят?» — спросил его отец. «Теперь уже нет, никогда». — «А если бы вы не убили, но они этого еще не знают?» — «Когда узнают, то полюбят», — ответил шляхтич. «Вот так и нас тоже когда-нибудь полюбят», — сказал ему отец.

— Что ты такое говоришь? — не выдержал Бенинсон. — И твой отец, и ты вместе с ним всю жизнь думали, будто люди, как колесики: если все сделать как надо, то они обязательно будут правильно вертеть друг друга.

— Война есть война, — задумавшись, повторил почему-то Гумнер и развел руками. Наверное, он даже не слышал последних слов Бенинсона. — У нее свои законы.

— Именно такие слова сегодня сказал мне один полковник, который остановил меня и вдруг заговорил со мной оф идиш. Наполеон, сказал он, ведет особые войны в мире. Сам Бог благословляет его, а теперь прокладывает ему дорогу во Францию. Мама, ты все еще здесь?

— Не обращай на него внимания, Борух, он сходит с ума от безделья, — сказала Хая перед тем как уйти из гостиной.

— Ты слышишь треск за окнами? — спросил Гумнер. — Мне кажется, ломают твой забор. Они жгут костры по всему городу.

— Скоро мы избавимся от них...

— Конечно, скорее бы они уходили, но я тебе хочу сказать, что все-таки люди стали намного лучше, чем они были раньше. Раньше, когда неприятель входил в чужой город, он грабил и убивал, а мы с тобой все-таки сидим и спокойно разговариваем.

— Я себе места не нахожу, а ты говоришь, что мы сидим и спокойно разговариваем?! — возмутился Бенинсон. — В Москве про таких, как ты, говорят: блаженный. Как это не грабят, если у меня два склада с товарами сгорело, а остальное растащили. Кругом валяются мертвецы, а ты говоришь, не убивают...

— И все-таки мне нравится, когда они говорят о равенстве и братстве. Еще они говорят, что если бы Александр не хотел войны, то она бы и не началась.

— Пустые слова, — сказал Бенинсон, который не переставая ходил по гостиной. — Особенно о равенстве и братстве. Может быть, до того как сюда пришел Наполеон, у меня, действительно, не было братства с поляками, так я его и сам не хочу. И равенства с ними мне тоже не надо. Даже если бы они мне вдруг сказали, что я им, оказывается, равен и они мне теперь разрешают жить на самой главной улице в Варшаве, то я все равно туда не поеду. Я всегда буду жить там, где мне совсем не надо думать ни о братстве, ни о равенстве. Именно так я и жил в Борисове, пока сюда не пришел Наполеон. Когда адмирал бежал из города, я переживал такую досаду, будто мой отец еще раз разбил свою голову о камень. Зачем мне чьи-то замечательные слова, если я знаю, что человек, который их говорит, ничего кроме зла мне не сделал?! А теперь я больше всего хочу, чтобы его поймали...

— Лейбелз, брат мой, — вскрикнул Гумнер, — ты не должен пускать злобу в свое сердце, как какой-нибудь пьяный мужик! Вспомни тот день, когда мы привезли из острога моего отца и договорились забыть имена всех, кто причинил нам зло. Вспомни, с какой радостью ты всегда приезжал из Москвы и как ждали дети твои подарки. Скоро уйдут французы, и мы снова будем жить еще лучше, чем прежде.

— Как это я могу с радостью приехать из Москвы?! Что ты такое говоришь?! Нет больше Москвы, он ее сжег.

— Мы будем молиться, чтобы ее скорее отстроили, и еще за то, чтобы не сгорел Борисов, — сказал Гумнер.

— Борух, Борух послушай, — глаза Бенинсона в этот миг сделались совершенно сумасшедшими, — полковник слу-

чайно сказал мне, что Наполеон будет уходить из Борисова по дороге на Игумен. Я хочу попасть на тот берег... я места себе не нахожу, как сильно я хочу попасть на тот берег.

— Боже, — простонал Гумнер и снял очки, — ведь за это могут убить.

— Убить могут и просто так, — усмехнулся Бенинсон, — ни за что.

Искры от костров, что горели в ту ночь по обе стороны Березины, поднимались высоко над землей и гасли, словно бы это были души убитых в бою. И разве сами костры, если смотреть на них из далеких небесных высот, не были в ту ночь подобны звездам? Никто не знал своей судьбы из тех, кто, жадно глядя в огонь, тянул к нему свои ладони...

И еще в той ночи был слышен шепот двух людей, двух братьев, которые пробирались мимо костров, страшась каждого, кто мог бы увидеть их и окликнуть. «Оставь меня, Берелэ, ты очень далеко ушел от дома, это опасно...» — «Если ты передумаешь, я немедленно вернусь вместе с тобой...» — «Если разбита лодка, я вернусь, но только ты должен теперь же оставить меня одного. Прошу тебя, Берелэ...» — «Брат мой, остановись...» — «Как ты не понимаешь! Если со мной что-нибудь случится, то кто же кроме тебя присмотрит за моими детьми?...» — «Мойша, кто же еще?» — «О, о чем ты говоришь... У Мойши такая жизнь, что он не любит, когда его лишний раз беспокоят...» — «Это когда все хорошо, а когда плохо, то он приходит сам». — «Ты говоришь правду, но будет лучше, если ты оставишь меня, Берелэ...» — «Лейбелэ, брат мой...»

Угасали и вновь вспыхивали костры в тревожном городе, а искры все летели и летели в высокое ночное небо.

12

Адмирал Чичагов ждал начала битвы при Березине. Битва должна была, он был в этом твердо уверен, завершиться полным разгромом остатков армии Наполеона, а значит принести Европе долгожданный мир. Да, перед ним стоял один из самых великих полководцев, каких только знала земля. И один из величайших ее злодеев. Ибо вся

кровь, которая второе десятилетие лилась в Европе, была на его руках. Но гнев Божий остановить невозможно. Час полной расплаты за все содеянное близился. И Чичагов ощущал трепет при мысли, что именно он избран провидением и послан сюда с обязанностью пленить Наполеона...

Однако тот страх, который испытал в Борисове Чичагов, когда еле спасся от пленения по вине своего авангарда, еще не был забыт им до конца. Чичагов желал теперь предвидеть все возможные неожиданности. Одним из самых вероятных было решение Наполеона переходить Березину небольшими отрядами на значительном пространстве. И нельзя было допустить, чтобы Наполеон, находясь в одном из этих отрядов, сумел просочиться где-нибудь через расположения российских войск. Дабы не упустить возможности пленения Наполеона и при таком развитии событий, а так же предвидя, что Наполеон может принять облик простого солдата или офицера, Чичагов собственной рукой написал прокламацию к войскам и населению с главными приметами злодея: «Наполеонова армия в бегстве. Виновник бедствий Европы с нею. Мы находимся на путях его. Легко быть может, что Всевышнему угодно будет прекратить гнев Свой, предав его нам. Посему желаю, чтобы приметы сего человека были всем известны. Он роста малого, плотен, бледен, шея короткая и толстая, голова большая, волосы черные. Для вящей же надежности ловить и приводить ко мне всех малорослых. Я не говорю о награде за сего пленника: известные щедрости монарха за сие ответственуют».

Армия Чичагова растянулась от деревни Брили до Шешевичей, основными своими силами располагаясь на позициях перед тет-де-поном. Орудия были поставлены так, чтобы пресечь любую попытку французов восстанавливать мост и вместе с тем быть недосыгаемыми для их орудий, стоявших на высоком берегу Березины. Было вполне допустимо, что Наполеон, несмотря на потери и не имея сведений об истинной численности российских войск, сделает попытку атаковать именно здесь. Хотя бы потому, что возможность такой лобовой атаки будет оце-

нена неприятелем как маловероятная. Такие решения полностью отвечали натуре Наполеона, и Чичагов больше всего их опасался. Однако беспокоило Чичагова и то, что, оставаясь в центре, он имел недостаточно сильные позиции на флангах. Каждый раз, когда он говорил об этом, ему возражали, что нельзя производить усиления флангов до тех пор, пока Наполеон не откроет истинных своих замыслов. Особенно упорствовали генерал Чаплиц и полковник Корнилов, позиции которых были расположены в верхнем течении Березины, у Брилей.

Между тем наблюдатели сообщали Чичагову, что ночью ими были замечены значительные передвижения войск ниже по течению Березины — между Борисовым и Ухолодами. Там же французы валили лес и со всеми предосторожностями, чтобы не быть открытыми неприятелем, откатывали бревна к реке. Опасался Чичагов и того, что генерал Шварценберг, который ранее преследовал его на всем пути к Борисову, может выступить из-под Минска на Игумен, и тогда следующий его шаг будет к Ухолодам на соединение с Наполеоном. И все-таки, пока делались последние рекогносцировки, Чичагов оставался в нерешительности...

Что же до возможного прорыва через Березину в верхнем ее течении, то здесь все было против Наполеона. Армия Витгенштейна двигалась к Борисову с севера, и Чичагов час от часу ждал сообщений от Чаплица о ее появлении на левом берегу против Брилей. Да и поляки из корпуса Домбровского должны были предостеречь Наполеона от желания овладеть дорогою на Вильну через Зембин, даже если бы ему и удалось наладить надежную переправу где-нибудь в верхнем течении Березины. Дорога на всем своем протяжении была окружена болотами, отчего через речку Гайна и еще одну небольшую речку были когда-то построены двадцать два моста. Хотя и можно было предположить, как сильно Наполеон желал бы опередить русских и раньше их войти в Вильну, но только вряд ли, думал Чичагов, он станет загонять себя в столь очевидную западню.

Велико же было удивление адмирала, когда стало известно, что французы под прикрытием пушек принялись

разрушать остатки моста. Не значило ли это, что пушки должны были быть сняты с позиций? Что неприятель уходит из города? И что более всего Наполеон страшится преследования русскими войсками, которые могут пойти следом за ним из Борисова, если мост не будет разрушен? Но что, если это ложный маневр? И слухи о том, что Наполеон остался без понтонов, бросив их еще в Смоленске, неверны? Что же тогда?..

Но даже если бы Чичагов отправил большую часть стоявших перед Борисовым полков вниз к Ухолодам и Шебашевичам, а Наполеон, узнав об этом, спешно стал бы строить рядом с мостом переправу, то и тогда полки не опоздали бы встать на свои прежние позиции.

Все было так, однако, Чичагов медлил, ожидая еще какого-то, самого верного знака... И вот ночью, когда в глубоком раздумье Чичагов сидел перед горящей свечой, прискакал офицер от генерала Чаплица с известием о том, что с противного берега переправились два борисовских еврея с просьбой срочно доставить их к адмиралу.

— Отчего же не доставили? — спросил Чичагов.

— В том нет надобности, ваше высокопревосходительство. Суть сообщения изложена ими письменно. Со слов соплеменников их, что несут службу у Наполеона, известно им стало место, где будет наведена переправа. Место сие есть деревни Дымки и Ухолоды.

Вот он знак, которого так ждал Чичагов! Сомнений больше не оставалось. Немедленно был поднят весь штаб, и началось движение в войсках. К утру на позициях у тет-де-пона и в Брилях стояли только полки генерала Чаплица и графа Палена.

Лазутчиков из Борисова велено было держать под строгим наблюдением егерей, коих — при исполнении ими таковых обязанностей — все чаще, на французский манер, называли жандармами¹. Чичагов же после успешного окончания сражения намерен был принять лазутчиков и щедро их вознаградить.

¹ Окончательно корпус жандармов в России был учрежден в 1827 г.

— А что, Георгий Иванович, верно ли говорят, что приходилось тебе исследовать дела жидовские? — задумчиво спросил Гридина Чичагов вскоре после прибытия в Шебашевичи.

— Нескромно было бы говорить о себе как об исследователе, ваше высокопревосходительство, но и то верно, что надлежало мне проверить одно опасение.

— Какое же?

— Сообщения были о полной приверженности Наполеону не только поляков, но также и евреев. В ожидании войны с Наполеоном император желал знать, имеется ли связь между Синедрионом в Париже, где Наполеон возвышал евреев, и окраинами Европы, в которых большая их часть проживает.

— И что же? — с интересом спросил Чичагов.

— Мое путешествие не подтвердило указанных опасений. Если что-то за пределами российской империи их и занимает, так, пожалуй, лишь цены на товары, — с улыбкой сказал Гридин. — Впрочем, и таких единицы. Основная масса евреев темна и необразованна. Однако, и первоначальные опасения совсем мною не отвергались. О чем теперь я должен, наверное, сожалеть, наблюдая такие подтверждения их преданности отечеству.

— Еще и потому удивительно мне тебя слушать, Георгий Иванович, что прежде, когда доходили ко мне слухи о жидовских геройствах, я встречал их не иначе как с насмешкой. Уверен был, что слухи сии сами же они и производят. Теперь начинаю думать по-иному. Однако же, если обнаружится какое-либо лукавство или обман от тех лазутчиков, что указали мне на ретираду Наполеона, то полностью передаю их в твои руки. Суди их тогда, как на войне положено, сам знаешь...

Костры на обеих сторонах Березины у Борисова были столь же многочисленны, как и в прошедшую ночь.

13

13(26) ноября была сильная снежная вьюга. Пока русские полки располагались на новых позициях, французы в Студенке наводили два моста через Березину. Один для

пехоты, другой для артиллерии. Когда Наполеону доложили, что Чичагов ушел от Борисова к Ухолодам, а главное — ослабил также и позиции возле Брилей, он воскликнул: «Я обманул его! Мы спасены!»

С пяти часов утра он был на лошади и подбадривал понтонеров, которые работали по пояс в воде. Когда они выходили на берег и, стоя между двух костров, сбрасывали с себя мокрую одежду, чтобы одеть сухую, от тел их валил пар.

Первыми переходили мост кирасиры 2-го корпуса, которыми командовал Удино. Лица их были обращены к Наполеону, и они кричали: «Да здравствует император!»

Вскоре переправа была замечена передовыми отрядами русских и обстреляна ими. В ответ французы ответили огнем из сорока пушек, которые были поставлены на высотах в линию вдоль реки. Вскоре пушки французов появились и на правом берегу, а кирасиры отбросили конницу русских к Брилям.

Первые известия о событиях у Студенки Чичагов воспринял спокойно. Он был уверен, что Наполеон совершает ложный маневр, чтобы увести русских от истинной переправы. Дурные предчувствия, сомнения появились у него, лишь когда послышался далекий гром канонады. Он распорядился составить летучий отряд и отправить его на правый берег для рекогносцировки. Чаплиц слал отчаянные призывы к Чичагову вернуть войска и направить их к Студенке, уверяя, что именно перед ним стоит вся армия Наполеона. Когда о том же прислал донесение и генерал граф Пален, Чичагов спешно направил к Студенке полки генералов Воинова и Ланжерона. Наконец, к вечеру того же 26-го числа вернулся летучий отряд с левого берега. Французов нигде не было, хотя на местах их стоянок еще теплились костры. Только теперь картина постигшего его несчастья открылась Чичагову до конца...

И все же смута в душе Чичагова была не столь болезненной, как у Гридина, который сразу же после прибытия летучего отряда в Шебашевичи, отправился к деревне Стрехово. Там, в пяти верстах от деревни, был хутор, где содержали лазутчиков. Гридина сопровождали три жандар-

ма, и все путешествие до хутора было совершено в полном молчании под грохот все более близкой канонады.

С возрастающим ужасом Гридин понимал, что вина за все случившееся лежит на нем и только на нем. Кому как не ему, Гридину, следовало, едва пришло известие о лазутчиках и Чичагов принял решение о передвижении войск, воскликнуть: «Ваше высокопревосходительство, Павел Васильевич, позвольте мне самому исследовать сообщение. Уж кому, как не мне, говорить с борисовскими евреями, из которых с несколькими я даже лично знаком!» — «Вот какой знак был мне указан перстом князя Куракина, — с острым стыдом тут же подумал Гридин. — А не тот о котором я вообразил поначалу, беспокоясь за свою жизнь. Само провидение распорядилось указать мне место, где я с наивысшей пользой обязан был бы сослужить службу своему отечеству, а я не угадал его! Стыдно, невыносимо стыдно!»

Гридин не сомневался, что он, конечно, сумел бы угадать истину. Он бы разглядел страх в их глазах, ошеломив лазутчиков словами о знакомстве с Борухом Гумнером, Лейбой Бенинсоном и Мойшей Энгельгардтом. Мог бы и спросить сурово: «А не состоите ли вы в родстве с Шмулем Пророковым, тем самым, что подносил хлеб-соль Наполеону?»

О, память! Не напрасно же она хранила эти имена, как оружие, к часу, когда, как оказалось, должна была решиться судьба злодея и предстояло возвыситься отечеству, получив за все страдания свои наивысшую сатисфакцию в виде прекрасно исполненной и полной победы!..

Гридин отчетливо видел, какие были бы у лазутчиков лица, когда после его расспросов и предупреждений, что если за их словами стоит обман и весь ход последующих событий будет обратным тому, о чем они принесли весть, то истреблены будут не только они, но и все их семейства... После чего, был уверен он, лазутчики непременно упали бы на колени и во всем ему открылись. Конечно, он никогда бы не посмел исполнить свою угрозу, но высказать ее он обязан был несомненно, зная, как сильна любовь этого племени к своим домочадцам...

Тут Гридин ясно вспомнил вдруг, как Бенинсон предлагал ему взятку и как ловко потом, осознав свою оплошность, но не меняясь в лице, заговорил совсем о другом. О, коварное племя с ласковыми глазами и приветливыми улыбками! Отчего же не подумал он тогда, что такие они во всем? А уж в самом главном — определенно. Да, он, Гридин, конечно же заслужил самое суровое порицание от всех, кто когда-то доверился ему, посылая в то, годичной давности, путешествие. И когда он, собрав воедино разрозненные свои впечатления, так и не сумел ответить на вопрос, какое же из них главенствует. Немудрено, что записка его из-за отсутствия в ней озарений потерялась в канцелярии и вряд ли была прочитана императором... Ведь главная особенность сего маленького племени, лишенного божеского покровительства, в том состоит, что во все прошедшие времена на земле всегда находили они место, на которое со всех сторон обращались с надеждой их взоры. То были и Рим, и Африка, и Испания, и Нидерланды... Теперь же несомненно — Париж. Вот мысль с которой он, Гридин, обязан был и начинать и заключать свое послание! И вот почему, едва случилось в Париже, тут же возмутилась и Польша, а рядом с поляками встали и евреи. Потому и встали, что все от одной цепочки... и можно только предполагать, какие еще неожиданности откроются, когда станут известны причины, по которым Виттенштейн опоздал со своим войском прибыть к Борису.

В душе Гридина не было яростной злобы, а была одна только горькая обида. И если бы те, к кому он теперь так спешил, открылись ему, он даже почел бы вредным их казнить. Какой бы исход дела у Студенки ни произошел, место им было в следственной комиссии в Петербурге, чтобы каждое движение их души, каждая их тайна были бы прояснены, а государственные мужи на сто, а может быть даже и на двести лет вперед знали бы, как им следует жить дальше с этим племенем. Уж коли провидению было угодно, чтобы вместе с Польшей империя российская, сама того не ведая, приобрела в евреях столь опасных противников...

Но ведь могло же ведь быть и по-другому?!

Что ж, и тогда тоже, прежде чем перемещать войска к Шебашевичам, Чичагову надлежало услышать от Гридина: «Ваше высокопревосходительство, Павел Васильевич, все подтвердилось!» Вот роль, которую Гридин обязан был исполнить, но не исполнил...

В тот час, когда Гридин передавал поводья лошади выбежавшему встречать его жандарму, из Шебашевичей выехал Чичагов, который штаб свой намерен был поставить в деревне Стахово...

14

Хозяин хутора хорошо знал обоих братьев. Особенно Гумнера, у которого не раз бывал на лесопильне. Его расположение к братьям передалось и жандармам, которые их стерегли. Однако лица жандармов сразу же окаменели, едва началась канонада совсем не оттуда, откуда ее ждали. Хозяин предположил было, не глядя на испуганных братьев, что подошли с севера российские войска — с намерением взять Борисов.

— Или же сами французы желают уйти из него, — с усмешкой сказал один из жандармов.

— Но разве такое возможно? — заглядывая поочередно всем в глаза, проговорил Гумнер.

Когда же во двор въехали всадники, Бенинсон и Гумнер немедленно были уведены от общего стола, за которым они сидели вместе со всеми, и заперты в горнице. Молодой жандарм, перед тем как запереть за ними дверь, только и промолвил: «Беда-а-а».

— Беда, беда! — тихо проговорил и Бенинсон. — Боже мой, Берелэ, что я наделал!? Почему я не прогнал тебя?.. Прости меня, Берелэ, прости...

— Брат мой, тебе не надо так себя убивать, еще ничего неизвестно, — спокойно возразил Гумнер. — Все еще только началось... И кто знает, зачем именно приехали сюда эти люди...

Когда перед Гридиным распахнули дверь в горницу, он с изумлением узнал в лазутчиках старых своих борисовских

знакомцев. «Вот оно даже как!!» — прошептал он с удивлением. Несмотря на военный мундир Гридина, сразу же узнал его и Гумнер.

— Господин Гридин! — воскликнул он обрадованно. — Сам Бог направил вас сюда. Мы с братом пребываем в очень большом затруднении, и нам необходим заступник...

— Георгий Иванович, о-о... — выдохнул и Бенинсон.

Гридин сухо велел братьям сесть к столу, который следом за ним внесли жандармы.

— Ставлю вас в известность, — сказал Гридин, — что я имею поручение провести над вами дознание в деле о государственной измене.

— Клянусь вам жизнью своих детей... — горячо начал было Бенинсон, но Гридин прервал его:

— Никаких клятвенных уверений слушать не намерен. Вам следует отвечать только то, что спрашиваю.

— Да, да, да, я понимаю, — пробормотал Бенинсон, — мне всего лишь хотелось помочь...

— Вы и помогли, — с плохо скрываемой неприязнью сказал Гридин.

— Ах, господин Гридин, я по вашим глазам вижу, как плохо вы о нас думаете. Раньше у вас были совсем другие глаза. Вы не хотите мне верить, да?..

— По долгу службы обязан я верить только своему разумению и слушать ответы, — отрезал Гридин. — Какое известие желали вы передать адмиралу Чичагову, когда спускались к воде?

— О том, что переправе французов надлежит свершиться в Ухолодах.

— Не смотрите так на моего брата, — сказал Гумнер, — он говорит правду.

— Кто же передал вам, господин Бенинсон, сие известие? — Гридин словно бы и не слышал Гумнера. Он уже не верил ни одному их слову.

— Маршал Удино собирал у себя всех уважаемых лиц города и сказал через переводчика, что поелику невозможно скрыть, что армия будет уходить на Минск через Ухолоды, то смертью будет караться каждый с семьей своей, кто донесет об этом Чичагову.

— А вы, стало быть, и поверили, — с холодной усмешкой проговорил Гридин. — И тут же побежали к реке?..

— Нет, тогда никто и не подумал, что Удино может говорить правду. Но потом его слова случайно повторил мне один офицер из гвардии императора. Он встретил меня на улице и вдруг стал говорить со мной по-еврейски. С ним был мешочек, а в нем талес¹, он мне показал... Просил, когда закончится битва в Ухолодах, поехать туда и помолиться за его душу...

— И это все?! — быстро спросил Гридин. — Когда-нибудь прежде вы знали этого человека? Хотя бы как меня? Без мундира? Или, может быть, от кого-нибудь слышали о нем? Или кем-то было сказано, что будет день, когда к вам подойдет человек?.. Вот это вам было сказано?..

— Какой еще человек и кем было сказано?! — вскрикнул испуганно Бенинсон.

— Не надо отвечать таким криком, а кем было сказано, у вас и спрашиваю. К примеру, и вы сами, и дети ваши, и даже родительница отменно по-русски говорите, а вот соплеменники ваши о чем не скажут, так все с кривляньем. Ведь кто-то выучивал вас?

— Боже мой... — раскачиваясь с закрытыми глазами на скамье, простонал Гумнер.

— Дед наш, мельник, который жил на Украине, в доме по-русски любил говорить, а мы научились от матерей наших, — все более испуганно глядя на Гридина, ответил Бенинсон. — Был и еще один родственник, который учил нас грамоте, но только понять не могу, зачем вам это надобно?

— Для общего понимания, — сдерживая раздражение, сказал Гридин. — Что же родственник ваш и теперь в Борисове?

— Да он уже лет десять как умер...

— И что же... он всегда жил в Борисове?

— Нет, ему долгие годы пришлось и в Москве жить.

— Он, стало быть, имел особое благоволение?

¹ Молитвенное одеяние.

— Ему не требовалось. Он, когда в Москве жил, был православный.

— Как это... был? Хотя нет, я о том после спрошу... Зачем же он из Москвы обратно в Борисов приехал? — с нетерпением спросил Гридин.

— Несчастливая судьба, господин Гридин, — все более недоумевающая и теряясь, ответил Бенинсон. — После смерти жены его дети выросли и сильно стыдились его.

— Это потому, что тех евреев, кто крест на себя одевает, вы проклинаете на веки вечные? Так что ли? — с недоброй усмешкой поинтересовался Гридин.

— Проклинать не проклинаем, но как бы и знать больше не знаем, поскольку они по своей воле от веры отцов ушли, — возразил Бенинсон. Голос его, как ни странно, отвердел.

— Тогда отчего же про родственника вашего, который в Москве жил, вы сказали, что он был православным? А потом нет?

— Никак сути не пойму, о чем вы меня спрашиваете, — хмуро проговорил Бенинсон, прямо глядя в глаза Гридину. — Родственник тот — родной брат рэб Иосифа. После того как вся его жизнь разрушилась, только ему и осталось, что умереть или в свою старую веру войти...

— А что, господин Бенинсон, его дети? Вы-то видели их когда-нибудь? — спросил Гридин, поднявшись и прохаживаясь вокруг стола:

— Когда в Москве по делам был, то видел одного его сына. Приходил к нему с известием о смерти родителя.

— Что же подвигло вас?

— Как же можно о детях не подумать при таком несчастье? Какой бы разлад ни случился, но смерть выше, — сказал Бенинсон.

— Тогда как же вы о своих детях не подумали, отправившись в столь опасное путешествие?! — прокричал Гридин, весь переменявшись. — Коли никто людей вашего племени на войну не звал, то зачем же пошли?

— Мне Наполеон разорение принес, — твердо ответил Бенинсон. — И обида была, когда Чичагов бежал из города. Как же было иначе? Разве мы не одного отечества люди?

— **Одного отечества?! — не выдержал и хрипло засмеялся Гридин. Упорство Бенинсона взбесило его. — И это после того урона, который претерпело оно? Вы что не понимаете, что служба ваша неприятелю доказана и поступком вашим, и последствиями. Чего вы запираетесь?!..**

— **Мой брат здесь вообще случайно, — перебил его Бенинсон. — Отпустите его. Прости меня, Берелэ. А я...**

— **Нельзя говорить, чего не было. Хоть и на самого себя. Бог накажет, — раскачиваясь и не открывая глаз, прошептал Гумнер.**

— **Вам, господин Гумнер, может быть, и не о чем говорить. А вот вам, господин Бенинсон, определено есть. И если брат ваш, как уверяете, невиновен, то подумайте хотя бы о нем. Жизнь ему сохраните...**

— **Нет, нет, такого не может быть! Зачем вы заставляете меня врать?! — в гневном отчаянии крикнул Бенинсон.**

— **Врать?!.. — Гридин распахнул дверь, крикнул, и в горницу вошли два жандарма. — В баню его и розгами! — отчеканил Гридин. — Пока истинной правды не начнет говорить! А когда обо мне вспомнит, тогда и позовет!..**

— **И отца тоже розгами били, чтобы правду открыл, где в лесу девочку закопал, — сказал Гумнер. И, положив на стол очки, закрыл ладонями глаза.**

Гридин велел вывести и его, запереть пока в чулане.

15

Гридин насилия не любил, но другого способа заставить изворотливого еврея признаться в очевидном не видел. А иначе он никак не мог отправить братьев в следственную комиссию для окончательного выяснения всех их связей с французами. И тем отложить окончательное решение по их делу, сняв его с себя... Поэтому он с нетерпением ждал, когда Бенинсон, наконец, заговорит. Допрос братьев так его расстроил и утомил, что дрожали пальцы и дергались плечи.

От раненого, которого привезли на хутор из Брилей, Гридин узнал, что Наполеон через Зембин пробивается к

Вильне, а на левом берегу в стороне от переправы беспрестанно слышится гром пушек.

— А как же мосты через Гайну? — спросил с изумлением Гридин. — Разве они не сожжены?

— Так ведь мы так далеко к Зембину никогда и не уходили, — ответил раненый.

На столе перед Гридиным лежало сопроводительное письмо в следственную комиссию, которое он начал было сочинять — на всякий случай. Но когда пришел жандарм и сообщил, что злодей упрямо молчит, и не взять ли в баню другого, Гридин содрогнулся и понял, что окончательное решение судьбы братьев ему переложить ни на кого не удастся. Чичагов ждал приговора, и этот приговор мог быть только одним. Злоба на Бенинсона опять захлестнула Гридина. Ну что же, пусть сам себя и винит — и за себя, и за брата, хотя Гумнер, возможно, и в самом деле не знает всей правды. Но ведь отправился же с братом через реку!.. А Бенинсон столь изворотлив и хитер, что никогда, конечно, правды не откроет, будет выкручиваться и отрицать все до конца. Гридину это становилось все более очевидным. На что он только надеется? На то, что удастся-таки обмануть его, Гридина? Или на его помощь?.. Что же, ничего не поделаешь — пусть пеняет на себя. Придется поступить с братьями так, как и следует поступать с вражескими лазутчиками...

Горестные раздумья Гридина прервал второй жандарм, который появился с сообщением, что перед дверью избы стоит управляющий из имения княгини Осташковой господин Энгельгардт и просит разрешения войти. Гридин вздрогнул. «Вот оно, подтверждение тайного их сговора!» — пронеслось в его голове. Появление Энгельгардта казалось ему настолько естественным, что возбуждение Гридина стало чрезвычайным.

— Вы вот что, — горячо заговорил он, — никак невозможно допустить, чтобы вновь прибывший господин мог увидеть арестованных. Дабы воспрепятствовать этому, господина Энгельгардта отвести за угол избы и пусть ждет там, а арестованного из чулана отвести в баню. После этого проводите прибывшего ко мне...

Энгельгардт прибыл на хутор не случайно. Уже после того, как там появился Гридин, хозяин хутора втайне от жандармов послал сына в имение княгини Осташковой, чтобы сообщить Энгельгардту, в каком бедственном положении оказались его братья.

В офицере, который сидел за столом в горнице, куда его ввели, Энгельгардт сразу же узнал Гридина, и огорчение его и беспокойство еще больше усилились.

— Вот уж никак не думал, что доведется мне вновь вас увидеть, любезный Михаил Григорьевич. Так ведь? Не запамятовал? — сухо сказал Гридин, все более справляясь с волнением, которое захватывало его.

— Не запамятовали, ваше превосходительство, господин Гридин. И я безмерно желал бы, чтобы и эта наша встреча, как и прежняя, завершилась бы полным нашим взаимопониманием...

— О-о, господин Энгельгардт, до тонкостей ли нам теперь, — воскликнул Гридин. — И могут ли вообще быть какие-либо обстоятельства значительнее тех, что происходят рядом ... на поле брани?

— Ваше замечание было бы верным, господин Гридин, если бы не стало мне известно, что здесь на хуторе содержат обоих моих братьев.

— Верно, здесь они. И вам что же... известна также и причина задержания?

— Слух дошел, что пойманы два лазутчика из числа борисовских жителей, один из которых хозяин лесопильни. Обо всем остальном я и сам домыслил...

— Весьма и весьма убедительно ответили, — холодно проговорил Гридин. — Одного лишь понять не могу: о том, что здесь их на хуторе охраняют, от кого известие получили?

— Один из офицеров, кто видел их, когда они на лодке приплыли, и знал также, куда они были отправлены, потом ранен был и через имение проезжал. От него случайно и услышал...

— Ну да, опять случайность! — насмешливо воскликнул Гридин. Все подозрения его подтверждались. Конечно, Бенинсон потому и отпирался, что ждал Энгельгардта, надеялся на него. Не он ли и главный у них?..

— Я не понял вас, вы что-то хотели сказать, господин Гридин? — настороженно глядя на него, спросил Энгельгардт.

— А то вы не понимаете, что братья ваши стали причиной весьма значительного ослабления наших полков перед Наполеоном?!.. — опять вскричал Гридин.

— Как же такое возможно? Разве они люди военные? — пронзительно глядя в глаза Гридину, возразил Энгельгардт.

— Возможно? И вы об этом прекрасно знаете! Знаете, что по собственной своей воле братья ваши доставили командующему армией адмиралу Чичагову сообщение о направлении, в котором якобы происходит ретирада французов. И это сообщение было достаточно правдоподобным, чтобы немедля были приведены в движение также и российские войска. Мне остается только сообщить вам, что когда баталия началась не там, где ее ожидали, адмирал распорядился казнить лазутчиков!..

— Господи, но ведь вы-то, господин Гридин, должны бы понимать, — быстро заговорил Энгельгардт, — что никак не могут они желать спасения для Наполеона. Ведь вы видели их прежде! Похожи ли они на лазутчиков? Наоборот... ну, конечно же, наоборот!.. Я так понимаю, что слова сии вы не от себя сказали, а как бы от чиновника, который совершит когда-либо знакомство с обстоятельствами следствия вашего по одним лишь бумагам.

— Именно, что от себя и говорю! — раздражительно крикнул Гридин. — От себя! От себя! Можно ли говорить и мыслить по-иному при столь очевидных обстоятельствах!

— Ваше превосходительство, господин Гридин, неловко мне спорить с вами, когда только о братьях и думаю. Скажите, как спасти их? — смиряя себя, сказал Энгельгардт.

— Жизнь их может быть спасена при одном непременном условии, — твердо сказал Гридин. — Они обязаны открыть тайные связи свои с врагами отечества.

— А по-иному... так, чтобы не врать... никак нельзя? — опустив глаза, спросил Энгельгардт.

— Плохо вы меня понимаете, Михаил Григорьевич! — зло засмеялся Гридин. — Ах, как плохо. Дело-то ведь, повторяю, о ч е в и д н о е! И давайте говорить прямо: здесь не только братьям вашим, но и вам тоже барьер надобно перейти, который, о-о, это я понимаю, иногда перейти невозможно. А коли это невозможно, так я о том только искренне сожалеть могу. А помочь... нет. В молодости и мне тоже якобинцем быть хотелось. Так ведь прошло...

— Но что же мне делать, коли я определенно знаю, что нет у братьев моих никакой вины? — с тоской проговорил Энгельгардт. Он уже понял, что Гридина не переубедить.

— И сии слова произносите после всего, что случилось?! — возмутился Гридин. — Непостижимо! Брат ваш Гумнер может и не посвящен, но вы то, господин Энгельгардт, вы-то ведь обязательно должны быть посвящены! Зачем вы запираетесь? Даже страшно подумать, какая бездна нас теперь отделяет!..

— Пусть бездна. Но ни моей вины в том нет, ни моих братьев, — с безнадежным отчаянием проговорил Энгельгардт. — Позвольте мне хотя бы увидеть их...

— Скоро увидите.

— Почему же не теперь?

— Теперь еще рано, — холодно ответил Гридин.

— Тогда я желал бы отъехать в имение и быть здесь к назначенному вами часу, — сказал Энгельгардт.

— И к назначенному часу, и теперь вы обязаны быть только здесь, — проговорил Гридин с недобрым блеском в глазах.

— Разве я не свободен распоряжаться собой?! — воскликнул Энгельгардт.

— Нет, не свободны.

— Почему же? Зачем вы так страшно смотрите на меня? Кто вы? Кто вы были тогда и кто вы теперь?

— Тогда я был око государево, а теперь меч карающий! — отрезал Гридин и быстро вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Он ожидал, что Энгельгардт станет кричать и хватать его за рукава шубы, однако, должен был признать, что мгновенно окаменевшее лицо еврея, едва он услышал

последние слова Гридина, сжатые губы и опущенные глаза показали Энгельгардта человеком, умеющим достойно пережить свое поражение. Да, в эти минуты он вел себя как настоящий воин. И разве неясно, что, конечно же, он был не только пособником своих братьев, но несомненно и направлял их?!.. И, конечно, сумел бы спасти их и от петли, если бы только не досадная для него и братьев роковая случайность. Случайность эта — он, Гридин. Случайность, которую ни Энгельгардт, ни братья его никак не могли предвидеть... Сердце Гридина сжалось от охватившего его трепета перед неисповедимостью и величием Промысла Божия.

16

Пушки умолкли еще вечером, и всю ночь братья слушали, как воеет метель за окном. К утру они заснули, а когда проснулись, на дворе был уже день. Гумнер одел очки и подбежал к столу, на котором стоял кувшин с водой. Он сполоснул руки и, придерживая очки, протер кончиками пальцев глаза. С трудом, согнувшись, подошел к столу и Бенинсон.

— Кто бы мог подумать, — проговорил Бенинсон, — что господин Гридин на такое способен? И он еще сидел за моим столом как самый дорогой гость!..

— Мойша был прав, когда говорил, что мы не должны были принимать его в доме как благородного человека, — сказал Гумнер. — Я виноват. Мне не хотелось, чтобы в городе думали, будто бы мы пишем жалобы в столицу. Только теперь я вижу, какая это была глупость. Пусть бы даже мы и послали жалобу... И что? Ничего...

— Послушай, Берелэ, — перебил его вдруг Бенинсон, — а тебе не кажется, что у них опять случилось новое событие?

— Ну и какое же?

— А такое, что Наполеон перешел Березину не где-нибудь, а именно в Ухолодах! Как и должно было быть! Да, да! — вскрикнул Бенинсон. — Потому, наверное, и замолчали пушки, что сражение кончилось и только теперь наступила полная ясность...

— Но почему нам об этом никто не говорит? — тихо спросил Гумнер.

— Может быть, просто некому? Или просто еще не успели? — тоже тихо ответил Бенинсон. — Моя мама всегда говорит, что надо верить в хороший исход до самой последней доски. Давай подождем. Ты помнишь ту хозяйку, которая, когда приходил срок платить за комнату, а у нас не было денег, снимала на полу в коридоре перед дверью по одной доске?

— Да, да, я помню эту историю, — сказал Гумнер. — Когда оставалась самая последняя доска, приходил рэб Иосиф и приносил деньги...

— Мама на него не в обиде! — улыбнулся Бенинсон. — Но ей всегда казалось, что он то же самое мог бы делать немного раньше, не дожидаясь, пока над ямой останется только одна доска!..

— А моя мама говорит, что иначе их трудно было научить бережливости. И она ему за это благодарна на всю жизнь. Послушай, Лейбелэ, а что ты скажешь, — тоже с улыбкой проговорил Гумнер, — если вдруг откроется дверь и войдет рэб Иосиф, который скажет, что адмирал Чичагов разрешил ему увезти нас домой?..

— Пусть придет любой, не только рэб Иосиф, и скажет нам, что мы свободны! Рэб Иосиф всегда говорил, что нам повезло и мы живем в хорошие времена. Помнишь, как он говорил, что пятьдесят лет назад просто невозможно было жить, но сто лет назад еще невозможнее.

— А ты помнишь, какую ужасную историю он нам рассказал в тот день, когда моего отца увезли в острог? Про Герша Хаскелевича?..

— Герш Хаскелевич — это тот, у которого была самая страшная казнь? — стал припоминать Бенинсон. — Кажется, по магдебургскому праву?..

— И по саксонскому тоже, — добавил Гумнер. — Они вырвали из груди Герша Хаскелевича сердце и разрубили его на четыре части. И прибили к четырем столбам вокруг города. А потом содрали с его спины четыре куса кожи и прибили их к тем же самым столбам. И только тогда, — и это было записано в законе, ха-ха-ха, они отрубили ему

голову и посадили ее на кол. После чего обмотали весь кол кишками Герша Хаскелевича...

— Берелэ, брат мой, не надо, прошу тебя... — тихо проговорил Бенинсон.

Но Гумнер уже не слышал его. Он был в каком-то странном возбуждении, руки его дрожали:

— А с чего все началось? — упрямо продолжал он, чуть понизив голос. — В реке нашли утопленника с надрезанными пальцами! И сколько людей к нему ни подходило, он лежал себе тихо как утопленник, но едва подошел Герш Хаскелевич, как поднял вдруг руки и из пальцев брызнула кровь!.. Ха-ха-ха, рэб Иосиф был прав — тогда, действительно, невозможно было жить! Все до одного холопы князя Сангушко, которые тогда стояли у реки, дали клятву, что видели это собственными глазами! Как можно было спасти Герша Хаскелевича, если в городе Заславе именно так и находили убийц?..

— Одного только не пойму, — задумчиво проговорил Гумнер, немного помолчав. — Зачем совершать злодеяства, если знаешь, что обязательно за них будет расплата? Ведь Герш Хаскелевич сказал же князю Сангушко, что диббуки¹ разорвут его душу на части! Так и случилось. Боже, как он стал кричать — сразу же, как их казнили! «Прочь! Прочь, жертвы мои!» И так кричал до самой смерти.

— Человек иногда бывает намного страшнее зверя, — вздохнул Бенинсон. — И тогда он начинает придумывать машины, чтобы немножко отвлечь себя от других людей....

— Значит, чем больше на земле машин, тем лучше у человека душа? — задумчиво откликнулся Гумнер. — Странно, что я об этом никогда раньше не размышлял, хотя ты знаешь, как я люблю машины... Может быть, это и так... может быть. Но мне почему-то кажется, что если бы Бог вместо того, чтобы помогать людям выдумывать машины, взял бы и сжег дотла весь этот замечательный город Заслав, где жил Герш Хаскелевич, да еще сказал бы его жителям, почему он это сделал, за какие именно грехи, то уверен — их души стали бы лучше и без всяких машин...

¹ Души умерших.

— Если бы твой отец жил в те ужасные времена, он бы не умер в своей постели, — сказал Бенинсон. Глаза его вдруг заблестели, две слезинки скатились к бороде.

— Не надо оплакивать нас, Лейбелэ! Ты же сам сказал — давай подождем! — обнял его Гумнер. — Бог милостив. Нам кто-нибудь обязательно поможет...

— Я не нас оплакиваю. Я плачу только о тебе. Почему я не прогнал тебя от реки? Почему я не вернулся вместе с тобой?! — Бенинсон сжал ладони и опрокинул лицо к небу. — Господи, Господи, прости мне страшный грех мой. Ибо сказано, что «не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его...»¹

— Отчего же тогда ты не желал слушать меня? — спросил со слезами Гумнер.

— Я бы и теперь не послушал, если бы смог отогнать тебя домой. Я живой человек, и ветер гуляет в моей душе. Я не смог остановить его. Как французы не смогли остановить себя, когда перешли российские рубежи, а русские — когда двинулись им навстречу...

Братья улыбнулись друг другу и опять обнялись.

— Я хочу есть, — сказал Гумнер, одной рукой придерживая очки, а другой вытирая глаза.

На столе лежали хлеб, соль и несколько вареных бульб. Братья сполоснули руки, благословили пищу и стали медленно трапезничать. Соль была крупной и хрустела на зубах. Ветер за окнами стих, на землю падал снег. За весь день не было ни одного выстрела...

Братья еще сидели за столом, когда дверь распахнулась и в горницу вошли жандармы.

— Вставайте и следуйте за нами, — сказал один из них.

Во дворе стояла телега с запряженной лошастью. Вокруг в седлах сидели всадники. Гридина среди них не было, вместо него распорядился какой-то другой офицер... Братья молча поднялись на телегу и сели рядом на клок сена.

¹ Псалом Давида 145, 3-5.

Кого-то ждали. Наконец, показался жандарм и рядом с ним человек в шубе и лисьей шапке.

— Мойша! — обрадованно закричал Гумнер. — Лейбелэ, Лейбелэ, мы спасены!

Бенинсон ответил ему диким воплем, каким кричат насмерть раненые звери, и зарыл в сено лицо.

17

17(29) ноября французы сами сожгли мосты у Студенки. Еще накануне вечером Витгенштейн в нескольких местах прорвал оборону, которую держал против него со своим корпусом маршал Виктор. Уже в сумерках русские заняли все высоты над Студенкой. Казаки бросились было с гиканьем вниз к реке, но завязли в кричащей, никем не управляемой толпе отступавших французов, которые отбивались чем попало, даже дубинами. Все, кому в эти часы удалось перейти по мостам на правый берег, шли по трупам.

Маршал Виктор поставил пушки у самой реки, но стрелять не велел — слишком уязвимой была позиция. Он ждал генерала Партуно, который с тремя тысячами пехоты шел к переправе из Борисова. Когда стало известно, что генерал Партуно пленен, маршал Виктор отдал приказ оттеснить толпу от переправы и начать переход на правый берег всех частей своего корпуса. Оттесненные принадлежали к полкам, которые, теряя своих командиров на переходах от Москвы к Смоленску и от Смоленска к Борисову, остались без лошадей и оружия. До самой темноты на всем пространстве перед переправой падали ядра. Костры догорали. Никто не желал поддерживать в них огонь, становясь при этом живой мишенью. У самой переправы на бревнах сидели русские пленные — из тех, кто пытался сбросить в Березину кирасиров Удино, когда они впервые появились на правом берегу. Теперь они помогали саперам генерала Эбле чинить мосты.

Перед рассветом батальон арьергарда и последние пушки были переправлены на правый берег, а мосты подожжены. Вопли отчаяния неслись в спины уходящим... Вско-

ре они сменились победными криками русских, которые подошли к переправе с обоих ее концов. На левом берегу снова запылали костры, а пленные французы сумели быстро восстановить оба моста.

В те же самые часы, когда армии Чичагова и Витгенштейна, наконец соединившись, приступили к преследованию Наполеона, в деревню Стахово к штабу прискакал в сопровождении ординарца Гридин, чтобы получить подпись адмирала под приговором трем братьям.

— Разве они еще живы? — недовольно спросил Чичагов, подписывая приговор. — Но, помнится, что лазутчиков было двое?..

— Третий обнаружил себя позже, ваше высокопревосходительство, — пояснил Гридин. — И надо полагать, что он самый опасный из них...

— Казнить немедленно, — протягивая Гридину бумагу, сказал Чичагов. — Где-нибудь рядом с переправой, чтобы все видели. Проследите и распорядитесь сами.

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, — выгнулся, принимая приказ, Гридин. В глубине души он надеялся, что судьба избавит его от такого завершения всей этой ужасной истории, но должен был признать, что заплатить за свою преступную доверчивость было назначено ему по справедливости. Он вздохнул и хотел было спросить у Чичагова о мостах на Зембин, которые в целости были оставлены Наполеону, подразумевая и здесь тоже чей-то злой умысел. Однако полные страдания глаза Чичагова остановили его, и он не решился задать ему этот горький вопрос.

Теперь, когда битва завершилась, мысли о ней причиняли Чичагову невыносимую боль. Однако если бы Гридин и сказал ему о мостах, Чичагов знал бы, как ответить ему, найдя оправдание каждому действию генерала Чаплица. Точно так же, как были у него веские оправдания и всем остальным своим действиям. Успех Наполеона Чичагов объяснял лишь той непозволительной медлительностью, с которой Витгенштейн приближался к Борису, а оказавшись рядом с переправой и во всем превосходя противника, не смог одним ударом захватить ее.

Да, все было так, но в глазах общества именно Чичагов, поставленный волею судьбы против уходящего из Москвы Наполеона, обязан был стать п о л н ы м его победителем. И теперь не только общество, но, может быть, и сам император не пожелают простить его за то, что он таковым не стал...

В тексте приговора была одна странность, которую Чичагов заметил, но осмыслил не сразу. Гридин уже уходил, когда Чичагов велел вновь показать ему приговор.

— Господи, — думал, показалось, а здесь именно так и записано... Энгельгардт... Мойша... — прошептал Чичагов. — Мыслимо ли?! Генерал Энгельгардт, коего потеряли, когда началось дело под Борисовым, и вдруг, по его завершению, опять... Энгельгардт... Но токмо уже совсем иной, да еще жид из лазутчиков...

— О-о, ваше высокопревосходительство! — с горестной готовностью откликнулся Гридин, — Одному только Богу известна та бездна, из коей происходят подобные странности!..

Гридин свернул приговор трубочкой, обвязал его тесьмой и, вновь опуская в сумку, подумал, что Чичагов, конечно, прав: лучшего места для возмездия, чем у самой переправы, не найти...

Все свои распоряжения Гридин изложил письменно и отправил с ординарцем на хутор, сам же поскакал к Студенке. По дороге с ним случилось удивительное происшествие. Откуда-то сбоку к самому краю изрытой подковами дороги выбежал заяц и долго бежал рядом с лошастью Гридина — да так близко, что если бы Гридин захотел, он мог бы достать его плетью. Наконец, перед тем как прыгнуть у куста прочь от дороги, заяц безбоязненно — так показалось Гридину — прямо посмотрел на него. И чувство было такое, что нет никакой войны, что она всего лишь приснилась. Даже воздух, который он глубоко вдохнул в это мгновение, показался ему каким-то особенно легким, бодрящим...

Однако вскоре ужасные приметы войны открылись его глазам. Чем ближе к переправе, тем чаще попадались припорошенные снегом окоченевшие тела людей, как русских,

так и французов, убитые лошади, развороченные орудия и повозки. Еще только показались мосты, а воображение Гридина уже было потрясено рядами печных труб, торчащих вдоль реки на противоположном берегу, — все, что осталось от деревни Студенка...

Пространство реки, между двух мостов особенно, было завалено каретами, сундуками, прочим дорожным скарбом. Во многих местах по кромкам мостов виднелись неподвижно торчащие заиндевевшие лошадиные морды.

На левом берегу пленные французы долбили яму, к которой со всех сторон подтаскивали мертвецов. Из реки их вылавливали крючьями. Были среди них и женщины, и даже дети. Кругом горели костры, вокруг которых французы сидели попеременно с русскими.

Вдруг у самой дороги, рядом с деревней, Гридин увидел мощное разлапистое дерево. Это была старая сосна с тремя кряжистыми могучими нижними ветвями. Тому замыслу, для исполнения которого Гридин прибыл в Студенку, расположение ветвей соответствовало полностью...

Возле берега, где были свалены оставшиеся бревна от изб, возились мужики. Один француз с покрасневшими от бессонницы глазами громко рассказывал двум русским офицерам, почти еще мальчикам, которые слушали его, не слезая с лошадей, каким он увидел в последний раз своего императора.

— Вот здесь, мсье, на этом самом месте, где я теперь стою, он остановил свою карету, чтобы пропустить даму, которая никак не могла пробиться к мосту, и вскоре ее карета свободно покатила вперед, а император спросил моего друга майора фон Грюнберга, который держал на руках левретку, не желает ли он продать ему свою собачку. Лицо Грюнберга стало столь печальным, что император тут же воскликнул: «О, как я вас понимаю! Вы не хотите расстаться с вашим верным другом. Желаю удачи, майор».

— И что же: повезло майору? — быстро спросил один из офицеров.

— О, мсье, был бы счастлив сообщить вам об этом, — вздохнул рассказчик, — но это не так.

На правом берегу показалась телега, сопровождаемая жандармами. Гридин поскакал было к переправе, но затем сдержал лошадь и направил ее к сосне. Вскоре к сосне подкатила и телега. Никто из братьев не искал глазами Гридина. И по этой причине и потому еще, что лица их были спокойны, Гридин вновь почувствовал, как в душе его поднимается волна туманящей мозг злобной к ним ненависти. Неужели даже перед картиной неотвратимой смерти Бенинсон с Энгельгардтом выдержат и не произнесут все те признания, которых он так ждал от них на хуторе?! Хотя теперь, если бы слова сии и были даже произнесены, судьбу братьев Гридин изменить уже все равно бы не мог...

Жандармы разобрали веревки, которые были брошены в ту же телегу, и стали быстро прилаживать их к ветвям. Когда все было готово, братьям велели встать.

Подогнали еще одну телегу, на которую поставили Бенинсона и Гумнера. Гумнер снял очки и положил их в карман. Энгельгардт сбросил с себя шубу.

Вокруг сосны становилось многолюдно. Среди российских воинов, как конных, так и пеших, стояли также и крестьяне. Чуть в стороне толпились пленные.

Гридин развернул приговор и приготовился его читать. Дыхание его стеснилось, буквы поплыли перед глазами, и он, вместо того, чтобы прочесть, как положено, весь текст, отчаянно прокричал в толпу самое короткое извещение, которое пришло ему на ум:

— От имени его величества императора Александра I адмирал Чичагов повелел наказать смертью через повешение пособников злейшего врага земли нашей Наполеона Бонапарта — Энгельгардта Мойшу, Бенинсона Лейба и Гумнера Боруха, мещан борисовских. Приговор надлежит исполнить немедленно!

Когда на Энгельгардта опускали петлю, он стоял с закрытыми глазами. Пальцы, которые коснулись его шеи, дрожали. Энгельгардт открыл глаза и увидел перед собой испуганное лицо молодого жандарма. Бенинсон и Гумнер уже произносили первые слова молитвы.

— Не бойся, — сказал Энгельгардт, глядя в глаза жандарму, — нет на тебе вины за мою смерть.

В то же мгновение лошади рванули с места и еще три жизни добавились к тем тысячам и тысячам жизней, что были погублены в последние дни на обоих берегах Березины...

18

Ночь Гридин провел в одном из домов на мызе Старый Борисов, рядом с именем князя Радзивилла. Утром он намерен был прибыть в штаб к Чичагову. Действия отступающего Наполеона вызывали теперь у многих русских офицеров лишь снисходительные насмешки. Страх перед преследователями был так велик, что французы разрушали за собой мосты через Гайну, ничуть не задумываясь о том, что действия сии производились совершенно напрасно. Мороз так сковал речку, что догнать Наполеона можно было теперь не только в любом ее месте, но даже и по болотам.

Когда утром Гридин вновь прибыл к переправе, ему не терпелось как можно скорее попасть на правый берег. Большую часть пленных куда-то увели. У нескольких ярко пылающих костров грелись те, кто был оставлен, чтобы чинить переправу. Из дворов доносились громкие голоса мужиков и баб.

Гридин, никак не желая смотреть в сторону сосны, все же нечаянно повернул голову и с удивлением увидел, что казненных под ветвями нет, а только болтаются на ветру концы трех веревок. Ординарец Гридина поскакал к мужикам и от них узнал, что поздно вечером приезжали на телеге жиды и забрали своих покойников. Потом добавил: «Темные люди!»

— Отчего же? — спросил Гридин.

— Так ведь оттого, что думают, будто жиды погублены безвинно.

Слова были пустыми, однако, Гридин испытал вдруг непреодолимое желание быть в эти часы в городе. Он медленно развернул лошадь обратно к борисовской дороге и после некоторых раздумий пришпорил ее...

В Борисове среди пепелища и разора Гридин увидел, как куда-то — и в одиночку, и толпами — спешат евреи.

Следуя за ними, он скоро оказался на кладбище. Гридин сошел с лошади, бросил поводья ординарцу и, стараясь быть малозаметным, подошел поближе к месту, где толпился народ. Он увидел повозку, на которой, зашитые в саван, лежали три покойника. Точно на такой же повозке братьев привезли в Студенку. Чернела земля, выброшенная из могилы. Гридин заметил стоящих в стороне нескольких молодых офицеров и гражданских лиц определенно христианской наружности и подошел к ним.

— Должен тебе заметить, — услышал Гридин тихий голос одного из офицеров, — что во всем случившемся я склонен видеть пример высочайшего самопожертвования, ради спасения личности, которая имела смелость объявить их свободными и равными со всеми иными народами земли.

— Какой же ты, право, Никита, мечтатель, — тут же возразил ему другой. — Вглядись в образы их и подумай: может ли столь темный народ, потерявший собственного Бога, иметь сколько-нибудь ясное впечатление о свободе?..

У могилы произошло движение, и пронзительные женские голоса взметнулись над кладбищем. Гридин узнавал женщин и вспоминал их имена — Фира, Хая, Эмма, Рахиль, Маша... Затем все стихло и на возвышение рядом с повозкой поднялся молодой человек в накинутом на плечи талесе. «Давид!» — едва криком не вырвалось из груди Гридина имя сына Энгельгардта¹... Как странно, что за все эти дни он ни разу не вспомнил о Давиде, хотя в записке, которую он направил после первого своего посещения Борисова князю Куракину, он особо указывал, что некоторые из племени, доставшегося России от Польши, весьма расположены к тем понятиям и знакам, которые особо чтимы в российском обществе, включая также и понятие о воинской доблести... А ведь именно Давид, воспитанник князя Осташкова, и вдохновил его тогда на эти слова...

¹ По просьбе внука генерала Энгельгардта император Николай I издал указ, в соответствии с которым потомки лазутчика обязаны были в г. Борисове носить фамилию Энгельсон.

Мысли Гридина остановились, когда над могильными камнями взметнулся высокий голос Давида и стал набирать силу, иногда обрываясь и истончаясь до слабого тона одной единственной струны, но затем переходя в мощное трубное звучание. И тогда Гридину казалось, что голос этот ложится ему на плечи, тяжестью своей прибывая к земле. Звуки, в которых он не различал ни слов, ни смысла, глубоко проникали в его душу и бередили ее так сильно, что трудно стало дышать. Гридин уже хотел было оставить кладбище, как вдруг услышал за спиной знакомые голоса.

— Мама, мама, Давид проклинает и нас тоже, да?

— Господь с тобой, Коленька! — Гридин, не поворачивая головы, узнал в говорившей княгиню Осташкову. — Никого он не проклинает, а лишь читает заупокойную молитву.

Гридин сделал осторожные шаги прочь от этих голосов, никак не желая быть узнанным Осташковыми, и только оказавшись за воротами кладбища, смог снова вздохнуть полной грудью. Однако еще одной малоприятной встречи он все же не избежал. То был Квитковский, с которым он вдруг столкнулся лицом к лицу.

— Ах, господин Гридин, — горестно покачивая головой, заговорил Квитковский, — какое несчастье, что именно нашему городу довелось быть свидетелем столь жестоких баталлий! К тому же и такая позорная смерть трех его весьма достойных граждан... Как жаль, что вы отсутствовали и ничего о том не знали. Иначе, уверен, остановили бы казнь...

— Знал, господин Квитковский, знал! — неожиданно для самого себя закричал вдруг Гридин. — Как знаю и о недостойных ваших действиях на службе у Бонапарта! И вам не рассуждать надо о якобы совершенной жестокости, а еженощно благословлять государя нашего императора за то, что и с вами не случилось того же!..

Квитковский онемел, а подоспевший вовремя ординарец передал Гридину поводья. Гридин вскочил на коня и снова поскакал к Студенке. Теперь уже покидая Борисов навсегда...

Французский поход еще продолжался, когда Гридина привезли в родительский дом умирать. Нелепый случай — провалился с лошадьёю в полынью — вызвал у Гридина сильную простуду, которая не оставила его, а наоборот, перешла в такую болезнь груди, когда вместе с кашлем стала появляться кровь.

Болезнь Гридина началась еще в Пруссии; войска ушли вперед, а он остался в одном из небольших тихих и чистых немецких городков, в благопристойном немецком доме, где квартировал. И ничто не предвещало ему несчастья — разве какая-нибудь шальная пуля неизвестно откуда. Но однажды ночью, когда, как всегда, Гридин спал, широко разметавшись на громадной постели, от которой тонко пахло ромашкой, он посреди ночи как-то разом вдруг проснулся, явственно ощутив рядом с собой чье-то присутствие. Он испуганно открыл глаза и в ужасе отпрянул. Рядом с ним, на краю постели сидел Мойша Энгельгардт. За его спиной стояли оба его брата — Гридин даже блеск очков Гумнера различил в сумраке. Ему показалось, что братья как будто тянули Энгельгардта за рукав; лица их были пренебрежительны и словно бы говорили: «Зачем ты нас сюда привел? Он того не стоит...» Губы Гридина помимо его воли прошептали: «Господа, что вам от меня угодно?» — «Да вот все думаю о нашем последнем разговоре, господин Гридин, — проговорил Энгельгардт с тем же выражением окаменелости, которое было у него тогда, — вспомнить никак не могу, запомятовал: как это так — хотели быть якобинцем, а потом вдруг опять возлюбили монарха?» И Гридин, теряя благородство, будто бы он был всего лишь какой-то провинившийся лакей, стал говорить Энгельгардту, что это случилось с ним п р о я с н е н и е, именно что прояснение, которое явилось к нему сразу же, едва воцарился новый монарх, а уж когда и во Франции был провозглашен император, — тут он и последние сомнения утратил и опять уверовал, что на земле без монархов никак нельзя. Что Бог благославляет поначалу монархов и уж потом народ.

Энгельгардт вдруг грубо прервал речь Гридина, который все говорил и говорил, боясь замолчать, и спросил с угрозой: «Отчего же, господин Гридин, не было у вас про-я с н е н и я, когда вы меня и братьев моих невинных жизнью лишали?» И тогда Гридин, сиюсь освободить себя от страха и ужаса, стал кричать: «Прочь! Прочь от меня ... лазучики!» И если при первых словах крик был такой силы, на который могла прибежать и хозяйка, то последнее слово словно бы куда-то провалилось. Гридин его хоть и выкрикнул, но сам не услышал. Между тем тело его стало мелко дрожать и так же мелко постукивали зубы. И все это на виду у Энгельгардта, которого братья, не переставая, тянули за рукав. «А вы, господин Гридин, — снова заговорил Энгельгардт, — дальше-то зачем живете?» — «Для познания истины», — тут же ответил Гридин, все еще дрожа всем телом. «А истину и не надо познавать, — произнес с усмешкою Энгельгардт, — по ней просто жить надобно». — «Но кто, кто ты теперь?» — закричал Гридин, протянув к Энгельгардту руку, которая тут же и провалилась в него. «Я диббук», — вставая, сказал Энгельгардт, после чего, слившись с братьями, исчез.

Гридин очнулся, и все случившееся тут же определил как дурной сон. Он долго лежал с открытыми глазами и все думал и думал об этом сне, который так запечатлелся в его памяти, будто бы случился наяву.

В те же самые дни Гридин посещал своего раненого приятеля и застал у него доктора, из евреев.

— А что, любезный, не смогли бы вы мне ответить, имеется ли в вашем языке слово д и б б у к, — спросил доктора Гридин, совершенно уверенный, что слово это — случайный плод сновидения, но уж если запомнилось, то отчего бы и не спросить, — а уж коли имеется, то что сие обозначает?

Доктор внимательно посмотрел на Гридина и, отведя взор, побледнел. Он прочитал на лице Гридина знаки близкой смерти, которые особенно различимы во времена жестоких войн.

— Так называют покойников, которые выходят из своих могил и бродят по земле с обидой на еще живых, — не поднимая глаз, ответил доктор.

Теперь побледнел и Гридин...

Еще до болезни Гридин стал странен и рассеян, а просыпаясь по ночам, все глядел в темноту, ожидая, когда же из нее снова выйдет Энгельгардт со своими братьями. Страха больше не было, а было лишь нетерпение скорее сказать им, что поступил он с ними в полном соответствии со своей природой, которая плохо умеет подвергать себя сомнениям, особенно же в минуты великих битв. И что теперь травую-повиликою готов он ползти к ним для того лишь, чтобы прикоснуться к их могилам. Потом же, когда Гридин понял, как близок его собственный смертный час, он не стал исступленно молить Бога о спасении, а только благодарил за то, что душа его отлетит в небеса без обиды. Однажды, когда Гридин понял, что ни Энгельгардт, ни братья его больше к нему не придут, он взял слово с родителя, что после смерти гроб с его телом отправлен будет в город Борисов и там похоронен вместе с российскими воинами, которые сложили свои головы в той знаменитой баталии.

И уж совсем перед самой кончиной вдруг посетил Гридина полицейский чин из Петербурга. Он сообщил больному, что его борисовские исследования вновь прочитаны при дворе, и теперь уже с огромным вниманием, и есть голоса, что вместе с иными его сообщениями, особенно же сочиненными после бегства Наполеона из Борисова, их следует рассматривать как чуть ли не крупное литературное достижение. Гость был весьма раздосадован, когда заметил, что вместо радостного отклика Георгий Иванович слушает его слова с почти неприличной усмешкою.

— Да ведь пустое все это, пустое, — ответил Гридин на вопрос, который вместе с обидою застрял у гостя в глазах, — минутное впечатление, которое всего лишь есть самое начало исследования. И не только по тому племени, которому посвятил я свои записи, но и по многим иным племенам, — после вдруг засмеялся, тут же закашлявшись, и добавил. — Окончательная ясность будет не раньше, чем лет через сто, когда не токмо что меня, но и вас не будет...

Гридин умер, но слово, которое дал родитель своему сыну, обещая похоронить его в Борисове, на семейном

совете сочли вынужденным, произнесенным всего лишь как успокоительное.. Тем более, что именно в те дни Георгий Иванович говорил много странного и непонятно-го. Оттого и похоронили его, отбросив всякие сомнения, в родовом имении под Москвой.

20

Есть одно старинное предание, что в шуме листвы на местах бывших сражений, если замереть и долго слушать, ни о чем не думая, можно услышать не только громы пушек, звон мечей или посвисты стрел, но даже и вопли воинов, их предсмертные крики, а то и просто чьи-то давно забытые имена.

Много за эти годы воды утекло возле деревни Студенка. На месте старых домов рубились новые, умирали одни деревья и на их месте вырастали другие. Давно уже сгнили кареты, что стояли во многих крестьянских дворах с первой весны после битвы. Но каждый раз в летнюю ветреную пору одинаково шумит листва на деревьях.

И среди множества листьев, где-нибудь, всегда обязательно рядом, и это можно услышать, если сильно того захотеть, есть три листочка, которые из года в год, едва поднимается ветер, ласково окликают друг друга по именам: Бе-ре-лэ... Мой-ше-лэ... Лей-бе-лэ...

Послесловие

Книга Саула Гинзбурга попала в мои руки совершенно случайно. В генеральном каталоге тогдашней Ленинской библиотеки я искал какую-то другую книгу, и вдруг — «Евреи в Отечественной войне 1812 года». Сначала листая, а потом все более внимательно читая ее, я испытывал странное чувство, что все это я когда-то знал, забыл и теперь вот вспоминаю. Особенно эпизод с тремя повешенными евреями, хотя в книге не было почти никаких подробностей, кроме фамилий. Гумнер вообще упоминался только в сноске.

Прошли годы, но этот эпизод не только не забылся, но как-то сам по себе стал даже обрастать живыми подробностями, и в какой-то момент я почувствовал потребность рассказать о нем. Там же в Ленинке, одну за другой я стал читать книги о переправе Наполеона через Березину и вскоре понял, что если я на самом деле попробую рассказать об этом эпизоде (а именно «эпизодом Отечественной войны 1812 года» назвал случившееся с тремя повешенными евреями прекрасный дореволюционный российский военный историк К.А. Военский), то мне обязательно следует поехать в Борисов. Что я и сделал летом 1993 года.

В Борисов мы отправились с сыном Алексеем на машине. На всякий случай, поскольку ехали мы в независимое государство, я запасся письмом из «Литературной газеты» к борисовским властям, чтобы, при надобности, мне разрешили работать в городском архиве.

Едва оказавшись в борисовской гостинице, я взял у администратора телефонную книгу и внимательно стал листать ее. Я не оставлял надежду найти в Борисове прямых потомков Энгельгардтов-Энгельсонов, Гумнеров и Бенинсонов, и кто знает, — может быть, в памяти кого-то из них все еще продолжает жить услышанная от родителей (а те слышали от своих родителей) та давняя семейная трагедия?..

Переворачивая страницы, я невольно думал: «О! Есть еще порох в пороховницах!»

Когда-то Борисов был еврейским местечком, первых поселенцев которого привез на свои земли князь Радзивилл, чтобы они обшивали и обували его, чинили крыши, мастерили бочки и крестьянский инструмент, привозили заморские продукты и разную роскошь из Вильны, были управляющими и музыкантами, ювелирами и врачами. В течение многих веков еврейская жизнь в Борисове протекала удивительно спокойно. С одной стороны в большом отдалении была Варшава, с другой — Смоленск, рядом с которым проходила российско-польская граница. Во времена Ивана Грозного русские захватили Полоцк и по приказу царя велели евреям оставить свою веру и принять христианскую. Когда те отказались, всех мужчин утопили

в проруби. Борисов был рядом, но Бог миловал его. Точно так же обошли его стороной кровавые времена гайдамаков, прокатившихся по Украине незадолго перед полным распадом Речи Посполитой.

Если соотнести численность населения Борисова и Москвы, то Абрамовичей в борисовской телефонной книге было не меньше, чем Ивановых в московской. За ними шли Аксельроды... Альтшуллеры... Байбусы... Баршан... Бейнаровичи, однако, увы, Б е н и н с о н о в в книге не было. Галкины... Ганусы... Гельфанды... Гейзеры... Гинзбурги... Гликманы... Гофманы... Гуревичи... Очень жаль, но и Г у м н е р о в тоже не было. Леви... Левины... Левинсоны... Майзусы... Меклеры... Рабиновичи... Фриды... Фридманы... Шульманы... Элькинды... Эпельбаумы. Э н г е л ь г а р д т о в нет. Возвращаюсь к Бейнинсонам. А вдруг какой-то их предок, живущий после 1812 года, решил, что с буквой й его фамилия станет более благозвучной?

Ну что ж, начнем с Бейнинсонов. Набрал номер и на другом конце провода услышал голос молодой девушки — без всяких грудных придыханий и узнаваемых интонаций. «Да, вы позвонили правильно. Еще совсем недавно такие люди здесь жили. Но теперь их нет. Они уехали в Израиль». — «Простите, — на всякий случай спрашиваю я, — а вы сами не из еврейской семьи?» — «Ой, нет, — вскрикивает девушка. — Не имею никакого касательства. За что меня извините». — «Это вы меня извините за беспокойство и большое вам спасибо»...

На этой же странице взгляд останавливается на фамилии Бернштейн. А вдруг? Снова отвечает молодой женский голос, но на этот раз звучат те самые интонации, которые я так желал услышать, когда звонил первый раз. «Да, это на самом деле квартира Бернштейн». Представляюсь: из Москвы, литератор, хотел бы узнать... «Почему вы звоните именно к нам?» — «А потому что мне нужен умный и, скорее всего, старый еврей, который смог бы мне рассказать кое-что о прошлом города Борисова». — «Вы хотите знать какие-нибудь фамилии?» — «Да». — «Какие же?» Я называю фамилии и очень при этом волнуясь. «Ни одна

из этих фамилий мне не известна, — после некоторого раздумья отвечает девушка. — Правда, совсем еще недавно здесь жили люди с фамилией Бейнинсон, так они уже уехали в Израиль. Отсюда многие уехали». — «Но, может быть, тот умный старый еврей, которого я ищу, все же остался?» — «Что вам на это сказать? Лучше моего дяди Моисея для этого дела вам здесь в Борисове все равно никого не найти». — «Ну, так в чем же дело? Как мне с ним увидеться?» — «К сожалению, он умер». — «О, простите... Но тогда... у него ведь наверняка были хаверэм¹, познакомьте меня с кем-нибудь из них». — «Боже мой, о чем вы говорите?! С кем здесь мог общаться такой пожилой человек? С женой, конечно». — «Тогда познакомьте меня, очень прошу вас, с его женой». — «С тетей Цилей?» — «Наверное, если ее так зовут». — «Знаете, что я вам на это скажу? Я не видела ее с тех пор, как умер мой дядя». — «Что же делать? Посоветуйте что-нибудь». — «Простите, но вы, конечно, взяли наш номер в телефонной книге?» — «Да». — «Так вот в этой книге есть еще одна фамилия Бернштейн. Звоните туда. А вообще я должна вам сказать, что если вы что-то задумали, то делайте это скорей, потому что очень скоро таких фамилий, как наша с вами, в Борисове не останется совсем». — «Я позвоню Бернштейнам и что... кого мне спросить?» — «Как кого? Вы же хотели говорить с тетей Цилей». — «Спасибо вам огромное». — «Не за что, мне и самой было приятно с вами разговаривать». — «Как вас зовут?» — «Маша». — «Вы тоже скоро уедете?» — «Думаю, что нет». — «Отчего же?» — «У нас имеются некоторые сложности». — «Извините, я не хотел... еще раз огромное вам спасибо». — «Нет, нет, я вам скажу, почему именно мы не можем уехать. Дело в том, что у нас только один папа еврей, а мама русская». — «Ах, вот в чем дело, а я подумал, что вам тяжело уезжать из Борисова или же вы отказники». — «Представьте себе, что мы простые люди и никакой ценности из себя не представляем». — «Что вы такое говорите?! — засмеялся я. — Как это может быть, чтобы человек не представлял из себя никакой цен-

¹ Товарищи.

ности?» — «Ну, это у вас в Москве так красиво думают, а у нас в Борисове обо всем думают проще». — «В любом случае, Маша, уедете вы или останетесь, я желаю вашей семье счастья». — «Я вам желаю того же», — сказала Маша.

Снова верчу телефонный диск. «Да, это квартира Бернштейнов. Вас слушают. Кто вам нужен?» Удивительно, но это опять молодой девичий голос. «Пожалуйста, приглашите к телефону Цилю Бернштейн». — «А по какому, простите, поводу?» — «Видите ли, я приехал из Москвы, литератор, хотел бы узнать судьбу некоторых еврейских семейств, которые когда-то жили в Борисове». — «Когда они здесь жили?» — «В прошлом веке». — «Но при чем здесь Циля?» — «Циля — жена Моисея Бернштейна, а Моисей Бернштейн, говорят, был очень умным человеком и хорошо знал историю вашего города». — «Ну так это Моисей, а Циля и раньше ничего не знала, а теперь тем более ничего не знает, потому что у нее, извините меня, развился полный маразм». — «Простите, кто она вам? Бабушка?» — «Да, это моя бабушка». — «Скажите, а вы не знаете кого-нибудь из тех старых борисовских евреев, которые еще живы и с которыми больше всего любил говорить ваш дедушка?» — «Как вы понимаете, даже если б мой дедушка был жив, я бы их и теперь тоже не знала. Слишком большая разница в возрасте. Я думаю, будет лучше, если тот же самый вопрос вы зададите моей маме. Я ее сейчас позову»... — «Алло, я вас слушаю». — «Простите, я из Москвы, литератор, приехал в надежде, что мне удастся узнать некоторые подробности из жизни вашего города в прошлом веке». — «Все это очень хорошо, но при чем здесь я?» — «Говорят, что ваш отец был очень умным человеком...» — «О, это правда». — «Я хотел бы узнать у вас телефоны или адреса людей, с которыми он любил проводить время и которые еще живы». — «Что мне вам на это сказать... Дело в том, что все, у кого в порядке с головой, давно отсюда уехали. Правда, есть у нас в городе два человека, у которых с головой как раз в порядке, но они еще почему-то здесь. Хотя детей своих они давно отсюда отправили, отчего я и говорю, что с головой у них все в порядке. Думаю, что это

именно то, что вам надо. Запишите их фамилии: Ерусалимчик Лиля Федоровна...» — «Ничего себе фамилия». — «Да, такая вот фамилия. А что, Бернштейн, по вашему, лучше?» — «Тоже хорошая фамилия, но мне отчего-то кажется, что и вы тоже не собираетесь отсюда уезжать». — «Как это я не собираюсь?! Еще как собираюсь! И, конечно, уеду». — «Так в чем же задержка?» — «Задержка очень серьезная — у меня прекрасный дом, и мне пока что не удастся продать его за ту цену, которую он стоит. А мне, знаете ли, как-то не очень хочется отдавать его даром. Они уже много чего получили от нас даром, и мне как-то не хочется, чтобы я тоже была в этом списке благодетелей. Однако продолжим наш разговор... Ерусалимчик — очень грамотная женщина, но жизнь сильно ее потрепала. Она была ни много ни мало как собственным корреспондентом «Минской правды» у нас в Борисове. И к тому же исключительно принципиальный человек. Что это значит — быть таким в те годы — вы сами понимаете. Но вот ее муж — Александр Борисович Розенблюм — это как раз тот человек, которого вы ищете. По образованию он юрист, у него светлая голова, и, как мне кажется, его интересуют те же самые вопросы, которые интересуют вас. Если вы ему понравитесь, то желаю вам удачи».

Розенблюм, которому я позвонил немедленно, разговаривал со мною весьма холодно. Он не только не позвал меня в тот же вечер к себе, как я того очень хотел, но и на следующий день готов был принять меня не сразу с утра, а часов в одиннадцать у себя на работе. Работал он на деревоотделочном комбинате.

На следующий день, рано утром мы с сыном отправились в краеведческий музей, где около двух часов оставались единственными его посетителями. Поначалу меня там приняли настороженно, отчего-то решив, что я собираюсь писать диссертацию и для этого охочусь за какими-то материалами, хранящимися в их музее. Вскоре мы все вместе выяснили, что красть у них я ничего не собираюсь. Кроме того было совершенно очевидно, что красть у них просто нечего. Одна из научных сотрудниц музея сказала, что в настоящее время они работают над воссоз-

данием быта евреев в прошлом веке. В экспозиции будут представлены одежда, принадлежности культа и многое другое. Затем мне рассказали о подвигах евреев в последней войне, показали портреты Героев Советского Союза.

— А сведения о героях Отечественной войны 1812 года у вас есть? — спросил я.

— А разве об этом имеется какая-нибудь литература?

— Обширной, конечно, нет, — ответил я. — Но ведь многое можно прочитать и между строк. Разве не так?

— Вы меня должны извинить, — сказал научный сотрудник музея Валерий Николаевич Рахович, — но только все упоминания о евреях в связи с войной 1812 года, не хочу вас обидеть, носят несколько пренебрежительный оттенок.

Он раскрыл одну из книг и прочитал, что пишет о еврейском племени военный историк Владимир Гаврилович Краснянский.

— И это что, правильно? — спросил я.

— О ч е в и д н о , что нет, — ответил Рахович, — но таковы были в те годы стереотипы, теперь мы не в состоянии что-либо исправить...

Александр Борисович Розенблюм принимал нас в одном из кабинетов деревоотделочного комбината. Это был среднего роста человек неопределенного возраста. По пути в его кабинет я обратил внимание на то, что многие плакаты, которые висели на стенах, были точно такими же, какие вывешивались в производственных конторах Вятлага сорок лет назад. Это впечатление несколько смутило меня и разрушило тот чистый порыв, с которым я ехал к Розенблюму.

После того, как мы познакомились, Розенблюм, пытливо глядя мне в глаза, спросил:

— Значит, вы тоже хотите написать о т о й войне?..

— И о т о м мире?.. — невольно вырвалось у меня. — Нет, конечно.

Я ожидал после этих слов увидеть на лице Розенблюма улыбку, однако, он удивленно на меня посмотрел и сказал:

— Тогда я не понимаю, зачем вы сюда приехали.

— Во время той войны был эпизод, когда адмирал Чичагов здесь, в Борисове, повесил трех евреев за то, что они будто бы были лазутчиками Наполеона.

— Ах, вот вы о чем, — наконец-то улыбнулся мне Розенблюм, — я слышал об этой истории, но фамилий не помню.

— Их фамилии — Энгельгардт, Бенинсон и Гумнер. У меня была надежда, что я встречу здесь кого-нибудь из потомков этих людей. Когда чего-то упорно ищешь, то всегда надеешься на чудо.

— Нет, я таких фамилий не помню. Думаю, что люди, которые вас интересуют, лежат по дороге к Студенке в братской могиле на 9000 человек. Мне, например, очень хотелось бы найти доказательства того, что в нашем городе были ритуальные преследования. Однако, увы, я перерыл здесь все архивы и ничего не нашел.

— И не должны были найти, — сказал я, — поскольку самого процесса не было. К нему только готовились.

— Откуда вы все это знаете?! Вы видели какие-нибудь документы?

— Нет, но думаю, что было именно так.

— Так это что — ваш домысел?

— Да, но мне не хотелось бы обозначать его именно этим словом. Например, где-то в стороне от города за лесом когда-то была лесопильня. Когда я увидел ваш комбинат прямо в центре города, то очень огорчился. Жаль, что он не стоит на месте той лесопильни, но все-таки я хотел бы внимательно посмотреть на места вокруг города.

— Послушайте, — произнес Розенблюм, — если вы здесь все так хорошо знаете, то я просто не понимаю, чем именно могу вам помочь.

— А вот чем, — сказал я. — Очень прошу вас поехать вместе со мной в деревню Студенка. Мы просто постоим вместе на берегу Березины.

— Когда вы хотите там быть?

— Мы на машине. Хотелось бы прямо теперь и выехать.

— Я согласен.

И вот мы в Студенке. Памятный знак, колодец, небольшое дерево. Березина — как Москва-река у Звенигорода.

Вокруг ни одного современного строения, а значит все вокруг так и было без малого двести лет назад. Невольно я нашел глазами дерево, подобное тому, которое здесь когда-то, должно быть, искал глазами Гридин. От порывов ветра на дереве, под которым мы встали, шумели листья. Александр Борисович, стоявший рядом, был для меня как пуповина, через которую мне передавалась уверенность, что в эти минуты эта земля и для меня тоже родная. «Собственно, даже только ради этих минут стоило сюда приехать», — подумал я.

Осталось отдать поклон тем, кто лежал в братской могиле, и можно было возвращаться домой. Место это когда-то было оврагом, наверху тянулась дорога, по которой так же, как и теперь, ходили рейсовые автобусы. Мы стояли внизу у памятника, и Александр Борисович мне рассказывал, как одна женщина вылезла из земли и пошла к автобусной остановке, где долго, пока ее не заметили, сидела на лавочке в ожидании автобуса.

Сама братская могила заросла со всех сторон еловым лесом и находилась за белыми воротами с висящей над ними шестиконечной звездой, внутри которой был помещен извечный еврейский вопрос: «9000. За что?»

Когда мы поднимались вверх, я заметил, что постамент памятника внизу весь испещрен какими-то словами. Поначалу я их не заметил. Ну, конечно же: жида, жида, жида...

— Все-таки вы заметили, — вздохнул Александр Борисович. — И они нас еще спрашивают, почему мы отсюда уезжаем.

— Но ведь вы же не уезжаете?

— Я не уезжаю, но детей отправил.

— Александр Борисович, как вы думаете, что будут делать эти люди, когда в городе совсем не останется евреев и даже исчезнет все, совершенно все, что могло бы напомнить о них?

— Я думаю, что то же самое они будут делать и на других памятниках, но только придумают царапать там какие-нибудь другие слова... такие люди.

— Их ведь обычно бывает очень немного?..

- Но главное, что они всегда есть.
- Этим чаще всего занимаются подростки, — сказал я, — почти дети.
- Которые очень быстро вырастают...
- Странно, но ведь для многих из них это путь к очень несчастной жизни, только сами они этого никогда не понимают.
- Зачем нам думать об их жизни, мы иногда и о себе не успеваем подумать.
- Скажите, расстреливали немцы или свои?
- Конечно, свои.
- И что, неужели в городе живут еще люди, которые отсидели за это срок?
- О, они приезжали из лагерей с такими хорошими характеристиками, были там такими ударниками труда...
- Их что же — принимали здесь с радостью?
- Нет, этого не было. Тот, кто уже подох, до самой смерти знал, что он не такой, как все.

Я чуть было не сказал Александру Борисовичу, что, вот видите, я же говорил, что и для них тоже это закончилось несчастьем. Под конец жизни они и сами стали почти евреями. Но не сказал. Александру Борисовичу эти слова, тем более на таком месте, могли показаться кощунственными.

Перед тем, как мы попрощались с Александром Борисовичем, глаза его радостно вдруг засветились и он рассказал мне о том, как долго и упорно искал место в родословной семье Энгельгардтов для генерала, который погиб при взятии мостового укрепления 9 (22) ноября 1812 года. И как благополучно закончил эту работу с помощью московского дворянского собрания¹...

Машина уносила меня все дальше и дальше от Борисова, и я с сожалением думал о том, что поездка совсем не прибавила мне знаний даже и об адмирале Чичагове. А хоть и слабая, но все же надежда на это у меня перед отъездом из Москвы была.

¹ Дворянский вестник, № 1(2) 1993 г.: «След в траве забвения» о генерале Энгельгардте Павле Михайловиче, автор Александр Розенблюм.

Кто он, адмирал Чичагов? Блестящий морской офицер, для которого переправа у Студенки стала роковой. В 1814 году он навсегда оставил Россию, поселившись в Германии. Думая об адмирале Чичагове, можно уйти в размышлениях весьма далеко, почти в мистические дали. В поведении адмирала во время березинских событий есть много загадочного, и загадки эти мне, конечно же, не отгадать. Я могу лишь строить предположения. Например, почему адмирал вместе со своим штабом решил переправиться вдруг на левый берег, после того как Домбровский был изгнан из Борисова? Ведь все силы Дунайской армии, за исключением нескольких егерских полков, оставались на правом берегу. Было совершенно очевидно, что если к Борисову подойдут основные силы французов, Чичагов вынужден будет спасаться бегством. Что и произошло. Ведь не мог же адмирал не знать, что отступающая армия Наполеона была укреплена свежими корпусами Виктора и Удино! Тогда зачем он совершил столь нелепый поступок?..

Размышляя об этом, я все время вспоминаю, что задолго до кампании 1812 года адмирал боготворил гений Наполеона. Когда он был морским министром, на его рабочем столе стоял бюст Наполеона, и многие осуждали его за это. Адмирал был вольнодумец и отчаянный противник крепостного права. Когда он стал дежурным генерал-адъютантом, то много говорил об этом с Александром I. Адмирала не любили два таких совершенно разных человека, как поэт и министр Державин и граф Аракчеев. Сам адмирал к самым счастливым годам своей жизни относил те, которые он прожил в век Екатерины...

Тайная идея адмирала, когда он вошел в Борисов, состояла, думаю, в том, что Наполеон, обнаружив все дороги к отступлению отрезанными, решит сам отдать распоряжение войскам прекратить бессмысленное кровопролитие. Поставив себя на самую слабую позицию, адмирал как бы призывал Наполеона к благоразумию. Вот отгадка, которая кажется мне наиболее вероятной, хотя я понимаю, что доказать это твердо не смогу никогда. Именно Чичагову сдавшись в плен, Наполеон, казалось адмира-

лу, должен был не столь сильно испытывать свое унижение. Адмиралу к тому времени было 45 лет, он был честолюбив и желал занять в истории отечества место, отвечающее его достоинствам. И именно в эти дни перед ним открылась вдруг возможность стать для России победителем Наполеона, а для Франции — его благодетелем...

В архиве адмирала Чичагова я нашел одну запись, которая сделала его для меня совершенно современным человеком. Когда Павел I узнал, что адмирал желает взять в жены дочь английского моряка, он пришел в ярость. Павлу I доложили, что адмирал намерен и сам стать английским моряком. По распоряжению императора Чичагова в одном нижнем белье провели по всему дворцу и затем отправили в крепость. Через несколько дней Павел I одумался, и все уладилось, но Чичагов потом всю жизнь думал о Павле I с содроганием. А запись Чичагова такая: сидит Павел I перед окном и ему читают прошения. И на каждое из них он милостиво разрешает — согласен, согласен, согласен... Но вдруг он видит на площади человека в круглой шляпе, ношение которых было им запрещено. Весь Петербург ходил тогда только в треуголках. И вот на всех следующих прошениях появляется — отказать, отказать, отказать...

Это напомнило мне историю, которую рассказывали в лагере о Швернике. Якобы раз в неделю его привозили на московскую окружную дорогу, где стояли вагоны, битком набитые просьбами о помиловании. Он брал мел и на каждом из вагонов писал — отказать, отказать, отказать...

Вместе с ядрами французских пушек адмирал как бы получил в Борисове воздушное послание от Наполеона, извещавшего, что смерть для него, Наполеона, намного предпочтительнее самого почетного плена. Однако адмирал желал стать победителем Наполеона, но, думаю, никак не его погубителем... Правда, если в первом случае я смело мог выдвинуть свою версию и прямо сформулировать ее, то теперь сделать это мне становится чрезвычайно трудно. Драма, которая разыгралась вокруг переправы у Студенки, содержала в себе много странностей. Через много лет внук адмирала Леонид Чичагов напишет об адмирале: «Доныне

он известен лишь как Главнокомандующий Дунайскою армиею в 1812 году и как лицо, несправедливо обвиненное фельдмаршалом Кутузовым в пропуске Наполеона при р. Березине. Поэтому мы едва ли ошибочно скажем, что Павел Васильевич как государственный деятель еще совершенно неизвестен. На нас лежит обязанность во всей ее полноте обрисовать личность адмирала Павла Васильевича — так как нам, естественно, более чем кому-либо другому, известны во всех подробностях обстоятельства его долговременного служебного поприща, по которому он шел неуклонно, никогда не упуская из виду благой цели пользы отечества, гордо попирая зависть и клевету, шипевшие под его стопами. Для нас также кажется весьма странным, что характер его не был понят не только современниками, но и потомками, историками».

И вот я никак не могу освободиться от мысли, что пропуск Наполеона был совершен адмиралом тоже совсем не случайно. Но — как бы стихийно, под влиянием некоего очень сильного чувства, которое в нужную минуту он, сам того не сознавая, просто не смог в себе обуздать. А донесение евреев-лазутчиков просто удивительным образом оказалось как бы созвучным этому чувству, подталкивая к тому же решению, которое им, этим чувством, подсказывалось. И потому только, думаю, адмирал этим лазутчикам поверил. **Захотел поверить.** Хотя опять-таки, конечно, сам того не сознавая, принимая голос владевшего им чувства за голос полководческой интуиции... Вот где истинная загадка, над которою надо долго и глубоко думать!..

Нет, никак не мог столь образованный, деятельный и волевой человек, которому прежде все, совершенно все удавалось, просто так **пропустить** Наполеона! Когда же дело свершилось, адмирал и сам был потрясен тем уроном, который понесли российские войска из-за проявленной им слабости. И можно почти с уверенностью утверждать, что подобное сильное чувство вряд ли могло возникнуть у него из-за трех лазутчиков-евреев, которых он распорядился повесить. Они и так были обречены с самого начала, еще когда только спускались к реке, ища

лодку. Ведь шел спор между двумя великими народами, и никто не приглашал евреев принять в этом споре участие. Будучи безусловным поклонником идей свободы и справедливости, адмирал полностью отвергал идею равенства между высшими и низшими племенами, между высшими и низшими сословиями. Он полагал, что французская революция потому и захлебнулась в крови, что одной из ее целей была попытка уравнять всех людей друг с другом.

Для него лазутчики-евреи, конечно же, совершали свой подвиг с надеждою, что они будут щедро вознаграждены, как о том по долгу службы обещал и он сам в своей прокламации, — и только поэтому. Думать же о том, что евреи такой же европейский народ, как и все остальные, но только живущий более сложной жизнью, тогда было еще не принято. А тем более говорить об этой сложности, которая состояла в том, что будучи преданными гражданами своих отечеств, они лишь тем и отличались от коренных жителей, что каждый раз, вспоминая о своем потерянном отечестве, переживали это столь сильно, будто бы только вчера его потеряли. Поэтому, если и можно допустить какие-либо упреки к адмиралу в причастности его к убийству ни в чем не повинных людей, так только косвенные. Такие же косвенные, как и наши догадки об истинных причинах поведения адмирала в сражении при Березине. Вся его жизнь, после того как он обрек себя на добровольное изгнание из российской империи, состояла в лихорадочном желании оправдать себя перед покинутой им отчизной. И он был бы весьма удивлен, если бы вдруг в ночи душа его безумно закричала: «Прочь, прочь, жертвы мои!» Какие жертвы? Евреи-лазутчики? Но даже диббуки вряд ли смогли бы убедить его в их невиновности.

Одно время, подобно маркизу де Кюстину, он тоже пробовал описывать некоторые народы Европы. Однако вскоре оставил это занятие. Только об одном думал он не переставая: о виктории, которая могла быть, но не случилась... С этими мыслями он и состарился, не откликаясь на приглашения Николая I вернуться в Россию, и умер на руках бесконечно любившей его дочери.

Адмиралу Чичагову принадлежат два удивительных пророчества. Одно из них состоит в том, что он за пятьдесят лет до отмены крепостного права сумел точно предсказать ее дату. Поэтому я с особым трепетом отношусь к его второму пророчеству относительно судьбы нашего общего с ним отечества: «Увы, не увижу я собственными моими глазами мое Отечество счастливым и свободным, но оно таковым будет непременно, и весь мир удивится той быстроте, с которою оно двинется вперед».

Сколько было таких пророчеств в России! Даже с указанием точных сроков. И ни одно из них, увы, не сбылось... Но, может быть, оно все-таки сбудется, и в России когда-нибудь и впрямь наступят эти прекрасные, счастливые времена...

1993—1995 гг.

О повести Израиля Мазуса «Березина»

Повесть Израиля Мазуса основана на интуиции и фактах. Факты — пророчество рабби Залмана Шнеерсона о гибели Наполеона, решимость русских евреев поддержать Александра, большие суммы, пожертвованные кагалами на ведение войны, сообщения евреев о передвижении французских войск, опережавшие российскую разведку...

Можно понять, что хасидский мистик сочувствовал царственному христианскому мистiku и с отвращением относился к «могучему южному демону». Однако поведение еврейских общин определялось не только этим. Не все евреи — хасиды. Миснагдим (отрицающие) считали хасидизм ересью, презирали хасидов и смеялись над экзальтированной верой в чудеса их старцев (цадикив). Решало другое. Русские войска были единственной силой, прекращавшей погромные движения в Речи Посполитой. Польская власть не справлялась с погромами, то есть она уже не была властью. После раздела Польши погромы сразу прекратились и возобновились только в 1881 году. В решении поддержать русских против французов сказалась благодарность: впервые за много лет евреи вздохнули свободно под имперской властью; но был еще и прямой расчет: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Синица — возможность спокойно работать, дело делать. Журавль — в Париже, где всех уравнивали в правах. А непосредственно власть перешла бы от русских чиновников к польским панам. Евреи хорошо помнили эту власть. Твердо решив поддержать русских, они выиграли 70 лет жизни без погромов и без процессов о ритуальных убийствах. Паны, которым Александр вернул местное управление в Царстве Польском, попытались впоследствии отомстить за отсутствие у евреев польского патриотизма, затеяв несколько таких дел; рисовались и выставлялись на всеобщее обозрение картины, изображавшие, как именно евреи пьют христианскую

кровь. Российский Сенат неизменно отменял решения местных судов.

Некоторые молодые евреи участвовали в восстании Костюшко. Они были захвачены идеями французской революции и верили, что революционная Польша порвет со средневековым прошлым. Нет сомнения, что сам Костюшко и его сподвижники были искренними борцами за права человека. Но погромные традиции живучи.

Таковы факты, на которых основана вымышленная история девочки, увезенной из Борисова, чтобы спровоцировать погромный навет. Этой истории нет в документах, но без нее картина была бы неполной.

На косвенных источниках основан и отказ еврейской общины преследовать виновных. Евреи диаспоры на опыте убедились, что воздавать злом за зло опасно: месть вызывает месть. Для хасидов это было не только расчетом. История XX века сохранила молитву цадика, погибшего в гитлеровском лагере:

«Да перестанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию. Преступления переполнили чашу, человеческий разум не в силах больше вместить их. Нечислимы сонмы мучеников... Поэтому не возлагай их страдания на весы Твоей справедливости, Господи, не обращай их против мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе... Прими во внимание добро, а не зло. И пусть мы останемся в памяти наших врагов не как жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе за искоренение разгула их преступных страстей. Ничего большего мы не хотим от них...»

Молитву цадика цитировал митрополит Антоний Блюм в одной из своих проповедей и не раз на нее ссылался. Дух прощения, близкий к ней, разлит и в повести Мазуса. С поразительной мягкостью рассказывает он о судебной ошибке, жертвою которой стали его герои, об адмирале Чичагове, подписавшем приказ повесить невинных людей, и о честном чиновнике, без колебаний выполнившем приказ. Эта мягкая скорбь чувствуется и в послесловии, в

рассказе о современном Борисове, из которого бегут последние евреи. Нет никаких громких слов. Не сказано, что вынужденный отъезд евреев из России — общая трагедия двух народов, разрушение сложившегося порядка. Нет никаких попыток напомнить, почему люди уезжают. Перечислять обиды — верный способ разжечь взаимную ненависть. А это безумие. Самое печальное в истории, рассказанной Мазусом, и в истории человечества — то, что злые дела творят вовсе не злые люди. Убивает уверенность в своей несравненной правоте. И если повесть поколеблет хотя бы одного из таких людей, она выполнит свою задачу.

ЛЮБОВЬ КРАНДИЕВСКОГО К АЛИСЕ

Маленькая повесть

Посвящается Д.

1

Мужик напротив, поглядев на него, вынул финку. В вагоне они были одни. Крандиевский, и сам крупняк, откинулся на сиденье с внезапным тошнотворным чувством страха, его трясло и бросало из стороны в сторону вместе с вагоном, и, сглатывая вязкую слюну, он запоздало и неуместно вспомнил, что все пятнадцать лет московское метро снилось ему устойчивее и мягче... *Конь рыжий и пегий, бледный и вороной* скакали в его снах наперегонки, сминая зеленую траву, с треском ломая сухие бурые заросли, разбрызгивая грязь и морозные снежные брызги, словно брызги шампанского, и чем ближе было к концу, тем слаще, задышливее и больнее хотелось жить, хотя в начале он впарывался в такие ситуации и такие страсти, что

**Ольга
КУЧКИНА**

— родилась и живет в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в «Комсомольской правде» обозревателем. Как прозаик печаталась в журналах «Знамя» и «Сура», в альманахе «Чистые пруды»; в «Континенте» (№68) была опубликована маленькая повесть «Бес глаздый». Стихи печатались в «Новом мире», «Дружбе народов», в альманахе «День поэзии»; пьесы в журнале «Театр» и «Современная драматургия». Автор нескольких сборников прозы, книги стихов и сборника пьес.

одержать победу или умереть было едино — жизнь стоила все либо ничего... Откуда же, какими тайными переходами подползло это скупердьяйство, эти жалобы турка, словно оставалось что-то еще неизведанное, ради чего стоило проливать липкий пот страха?..

Мужик принялся вскрывать финкой металлическую коробку монпасье.

Крандиевский засмеялся.

Мужик взглянул на него и залился краской. Краска была не гневная, а детская.

Крандиевский, подхватив сумку, вдруг пересел к нему и спросил, где брал леденцы. Нарочно, как в старые добрые времена. Это не леденцы, ответил красный мужик и выскочил. Была остановка. Может, на самом деле ему требовалось сойти, а может, это глупый поступок Крандиевского смутил или даже, в свою очередь, испугал его — кроме известного и видимого пугает неведомое и необъяснимое, а рывок здорового господина с дорогою дорожной сумкой, в шуршащем графитовом, до полу, плаще, в темных очках и с хитрой, нагловатой усмешкой на полных розовых губах, мог быть истолкован как угодно, включая преследование, приличное или неприличное. Было бы смешно, если б Крандиевский выпрыгнул вслед за ним. Ради шутки. А вдруг тогда мужик использовал бы нож по прямому назначению? На расстоянии от опасности, тем более возраставшем, эта мысль не ужасала, а лишь обостряла воображение. Он увидел себя со стороны все еще молодым, сильным и ловким, все еще баскетболистом, и в это мгновение на него загляделась девушка, которая вошла на остановке, где выскочил мужик. Крандиевский хотел пристать к ней. Но не пристал. А подумал — что это со мной, сперва к мужику, теперь к девице, неужели все вернулось и я счастлив? И внутри у него что-то задрожало юношеской дрожью ожидания.

Поезд выбрался на поверхность, обнаружив прерываемую редкими фонарями темень забытого Измайловского парка. Стало совсем легко и празднично. Крандиевский пошел, пересчитывая Парковые, в которых и прежде путался. Алиса жила на Шестой.

Последние несколько лет Крандиевский проводил отпуск у друзей в Больцано-Новарезе, крохотном городке между Новарой и Варезе, на границе Ломбардии и Пьемонта, где можно было бродить по узким улочкам или громадному хозяйскому парку в девять гектар и не встретить ни души. Хозяин уезжал на работу в Милан. Его жена, американка, жила с ребенком у отца в Штатах. Крандиевский оставался один в старинном каменном доме, изнутри также отделанном под старину, валялся на диване, читал, разжигал камин, слушал музыку, изредка смотрел старые фильмы по «видику». В холодильнике стояло красное вино, припасенное специально для него, он наливал стакан и отпивал по глоточку, чтобы не огорчать друзей, считавших, что так он помогает своему лейкозу. Нет, конечно, — своему организму в борьбе с лейкозом. Что бы ему и впрямь могло помочь, так это московская водка. Не сама по себе, а вкуче с тем, что ее сопровождало, на кухнях, дачах, в бане, в пивной. Но ничего этого сто лет не было в помине, и водка не пилаась.

Грубые неровные черные брусья поддерживали беленый неровный потолок, так же неровно белены были стены, тепло желтел деревянный пол, в простом интерьере хорошо смотрелась старая дубовая мебель, большие напольные керамические вазы с домашними деревьями и букетами сухих цветов, декоративное серебро, свечи в серебряных же подсвечниках и, как водится, уйма осветительных приборов — от настольных матерчатых, черных и белых, больших ламп до маленьких, необыкновенно ярких галогеновых лампочек у стен и под потолком. На круглом столе, накрытом белой вышитой скатертью, в рамках из дерева и опять-таки серебра располагались фотоснимки: открытый альбом итальянца. Крандиевский любил рассматривать этот блестящий парад чужой жизни: поцелуи, объятия, свадьбы, сморщенные мордашки новорожденных и буколических старушек, изящные позы прелестных женщин, какой-нибудь футбол мужественных мужчин, сад, ресторан, море — сияющая, умопомрачительного цвета естественная неесте-

ственность мига, приостановленного в расчете на вечность: так просто решен фаустов вопрос!..

В эти тихие, недвижно стоящие, а не летящие часы Крандиевский успокаивался. Механистичность жизни отпускала. Он даже исписывал несколько больших страниц блокнота своим крупным корявым почерком. Ему казалось, что времени еще много. А главное, он еще сумеет прийти к Богу очистившимся от скверны.

Он слышал мелодичный перезвон колоколов и шел в маленькую церковь на горе и ставил белую свечу, атеист, не знающий молитв, но втайне надеющийся, что Бог, или Всемирный Разум, или Нечто, что осуществляет в невидимом мире связь всего со всем, заметит и его, как замечает компьютер любой вводный, то есть введенный знак, и он будет введен, или уже введен, в общий лист, и длительная его борьба со злом в себе еще обернется воздаянием — минимумом страданий при уходе. Это было, собственно, единственное, чего ему оставалось желать для себя, — не считать же эти страницы в большом блокноте, хоть их снова набралось до полусотни. Но даже если их количество увеличится и они станут еще одной книгой, это ничего не изменит. Жизнь есть только то, что сейчас, сегодня, сию минуту. А не то, что потом, — скажем, при выходе книги, с презентацией, шампанским, репортерами, телекамерами или без них, разницы никакой. Будущее, с его загадками, больше не манило его. Он знал цену настоящему. И полагал, что Бог или Нечто знает его когда-то бешеные, страстные, а после все более терпеливые и покорные поиски гармонии, и ожидал великодушия с Его стороны.

Он возвращался из церкви, чувствуя себя совершенно здоровым, с удовольствием поглощая взором знакомый пейзаж: широкие гравиевые дорожки, кусты розовой гортензии слева и голубой справа (номинально розовой и голубой, нынче, в октябре, сохранилось всего несколько розовых и голубых пятен среди пепельно-серой массы, но и в этом бывшем, почти умершем цветении заключалось странное великолепие); далее шли грушевые, сливовые, персиковые деревья, пальмы, каштаны, остролистые американские клены, пинии, и — о, Господи — дубы и березы,

что так остро кольнули душу в первый раз. Лужайка с отменно сохранившейся свежей травой казалась полосатой: машина, которой ее подстригали, шла туда и приминала траву туда; обратно — и траву приминала обратно, это создавало эффект специально обработанной поверхности. Неужели и этот великолепно организованный мир ждет Конец Света? — пришло ему на ум невесть откуда взявшееся и нелепое здесь и сейчас: *И взял я книжку из руки Ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем...*

Он входил в дом, садился в удобное кресло и ставил диск с Вивальди. Семнадцатый век в эти минуты был ему ближе двадцатого. Он жил иначе. Не раньше, про то он не думал, а теперь. Они жили среди сугубого модерна. Жена Юля набросилась на сугубый модерн. Он предоставил ей эту сторону жизни. Она не успела полюбить старые вещи, полюбив сразу новые. Тоже неплохо. И тоже удобно. Пока не возникало другое, с чем можно было сравнить. На самом деле он запретил себе сравнивать и привык к этой привычке с тех пор, как сравнения перестали оказывать возбуждающе-созидательное действие, а начали — сокрушительно-разрушающее. Сравнение — соревнование. У него уже не было сил соревноваться.

Он начал ездить в Больцано-Новарезе, когда от него неожиданно ушла Сивилла. Не то, чтоб искал утешения. Так совпало. Жила-жила, лет двенадцать жила — и исчезла.

* * *

Вторую (официально) и последнюю жену, восемнадцатилетнюю девчонку по имени Юля, Крандиевский подхватил в Сочи, почти тотчас, как оставил Алису. Немедля требовалась любая другая душа, которая закрыла бы своим телом ту дыру в теле его души, откуда хлестало уходящее, исчезающее бытие.

Оно начало хлестать до югов, куда умчался, как гонимый ветром, из Москвы. Городская терпимая слякоть делалась

нетерпимой за городом. Лило целыми днями, прокисшая почва издевательски чавкала, сглатывая последние блески летней уверенности в себе, облезлый лес не оставлял надежды, низкое, плотное небо не давало воздуха. Что-то случилось с его восприятием, словно в одночасье выключили в мозгу волшебный фонарь, освещавший для него окружающее и Алису. Алису он внезапно увидел не такой, какой любил, а такой, какой она была: костлявой, с провалившимися глазами в темных подглазьях, с корнями непрокрашенных волос, оканчивающихся фальшивой белокуростью, с верхней челюстью, слегка нависшей над нижней, отчего шепелявила; но хуже всего было не то, что снаружи, а что внутри, ее беспомощно-привязчивый, клейкий, якобы слабый характер, а в действительности властный, только все не явно, а тайно, тяготно-изошренно. Обволокла серебристым, жемчужным, ни на что не похожим туманом серых глаз, замкнула на горле тонкие пальцы, клацнула белыми зубами, всосалась змеиным язычком, а в итоге горечь, как от больной печенки. *И она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее...* Работай, милый, все тут твое, все вещи, и я твоя вещь, когда понадобится, возьмешь, нет — нет, поехала, буду ночевать в городе, если захочешь, позвони. Это она ему свою дачку уступила, как бы для работы. Дачка была ничего себе, на каменном фундаменте, теплая, с удобствами, но всюду поотвалившаяся, поотбитая, с просевшими стенами, посеревшим потолком, покривившейся верандой. Ничего не делай, как стояла тридцать лет, так еще простоит, занимайся своим. Перед тем показала невеликий участок, на котором росли заброшенные яблони и вишни, дорогу к магазину, где продавался хлеб, а заодно пивнушку в двух шагах. Но я привезу и вино, и водку, если тебе надо, ты только дай знать, ну пока, проводи до порога. Никуда она не уехала. Провожая до порога, прислонился и уже не оторвался, обцеловал все ее длинное тонкое тело, чуть не откусив маленькие и почему-то ужасно сексуальные уши, позднее никогда не мог смотреть на них при людях, так было стыдно, что все их видят, наверняка разжигаемы тем же желанием, что и он. После, однако, исправно уезжала, и

ему нравилось, что она так скромна, претендуя на самое крошечное место в его жизни, огромное — оставляя работе, хотя едва она добиралась до дома или до службы (если был день), как он тут же звонил: приезжай, я соскучился. Она послушно все бросала и радостно летела обратно. И он воображал себя хозяином положения.

Алиса была старше Крандиевского. Он увидел это, войдя в кабинет, где она сидела напротив вонючего Диомидова. Воняли его дешевые сигареты, воняли влажные ботинки из худой замши, вонял пропотевший пиджак. Как она терпела, бедная и интеллигентная? Впрочем она тоже курила, закурила, именно чтоб спастись этим, а еще тем, что открывала и летом, и зимой настежь окно, которое Диомидов тут же аккуратно закрывал. Так они пребывали в тесной каморке, обреченные на дурное сожительство, без любви и дружбы, как многие и многие советские люди, накапливая неясное раздражение, головную боль и тоску. Потоптавшись у порога и заранее наливаясь мучительной злобой, Крандиевский все же выбрал его, а не ее. Он был очкарик с вислым носом, редкой шевелюрой и большими добрыми глазами. Она — красавица, мельком взглянувшая на посетителя и сейчас же отвернувшаяся к окну, в которое так и глядела, подперев щеку узким кулачком, в течение всего времени, пока Диомидов, отвлеченный Крандиевским от растворенного окна, вынужден был с ним беседовать.

Вы, конечно, не станете это печатать, грубо, с вызовом произнес Крандиевский, бросая на стол Диомидову толстую синюю папку с рукописью романа. Диомидов, привыкший за многолетнюю службу в журнале ко всему, тактично промолчал. Разговор захлебнулся, не успев начаться. Крандиевский понимал, что зашел не с той стороны, но не знал, как отступить и начать сначала. Диомидов ему помог. Тут антисоветчина, спросил он мягко, с пониманием. Моя проза вне этих категорий, гордо отозвался Крандиевский. А в чем тогда дело, кротко осведомился Диомидов. В том, что это моя проза, подчеркнул Крандиевский, не похожая ни на кого из тех, кого вы в Советском Союзе печатаете и издаете со страшной силой. Победно

провозгласив это, Крандиевский захохотал. Воспитанная Алиса бровью не повела. Хоть бы вышла, все легче, с натугой подумал Крандиевский и выложил оба тяжелых кулака на диомидовский стол. Диомидов с любопытством на них покосился и сказал ласково, как ребенку: вы оставьте, мы почитаем. Ну уж нет, неожиданно взбеленился Крандиевский. Из носу у него потекло. Проклятая аллергия. За отсутствием платка и свободных рук он громко шмыгнул и потянулся за синей папкой. Диомидов наложил на нее руки со своей стороны. Крандиевский стал дергать папку. Диомидов не давал. Это было смешно, особенно если учесть, что молодой писатель должен поступать наоборот, а опытный редактор — тоже наоборот. Но никто не смеялся. И тут Алиса, развернувшись со своим стулом к Крандиевскому, предложила: дайте мне вашу рукопись, пожалуйста. Она слегка шепелявила, и это примирило Крандиевского с ее красотой. Он враз успокоился и убрал кулаки. Диомидов протянул папку и, в результате освободившись, ринулся закрывать окно, в которое, и правда, тянуло предвечерней сыростью.

Крандиевский сознавал, что ведет себя по-дурачки, но ничего не мог с собой сделать. Это было пятое место, куда он притащил свою синюю папку, везде отказы, разнообразно-однообразные, как клубки ниток, из которых его тетка плела нескончаемые цветные кружева на круглый стол, на трюмо, на телевизор, под телефон, считая, что это украшает быт, а по существу копя нескончаемую пыль, от которой Крандиевский исправно чихал и кашлял. Тетка говорила, что у него аллергия не на пыль, а на Сивиллу, на ее шерсть. Сивиллу она терпеть не могла и всячески норовила от нее избавиться. Но здесь Крандиевский стоял насмерть. Он скорее мог тетку задушить, нежели позволить волосу упасть с головы любимой кошки. Они, правда, падали. В соответствии с природой. Однако Крандиевский, размышляя в таком духе, естественно, имел в виду насильственные действия. Тема насилия занимала его, и это было в романе. Он обожал Сивиллу. Она была большая, розовая, голубоглазая, с сумасшедшей пластикой. Она сидела в кресле, оба смотрели друг другу в глаза, Крандиевский

напитывался каким-то восторгом, хватал бумагу и ручку и начинал лихорадочно выбрасывать из себя слова, образы, грандиозные постройку мыслеформ, аналогов которым не знал, он был единственный, уникальный архитектор возводимых им сооружений. Его собственный жизненный маршрут Алешки—Киев—Москва, плен отца и возвращение через десять лет из лагеря, безумие матери и ее генеалогическое древо, чудным образом восходившее к Пестелю, сам Пестель с его перемешанными идеями демократии и тирании, его, Крандиевского, исторические изыскания, включавшие скотоложество Сталина, за что тот был изгнан из семинарии, чудом сохранившаяся связка писем некоей Елизаветы жениху, так и не ставшему мужем, зато ставшему дедом Крандиевскому, первые секретные хождения с бабкой в синагогу в Киеве, первая постель с одноклассницей после комсомольского собрания, на котором его вычистили из комсомола, а она его утешала и утешила, музыка Сашки, споры с Андреем, дикая ссора с Эрнстом, попытка самоубийства в метро, когда случилось с Антоном... все, все входило и выходило, преображенное, для иной плотности, иного состава, иного дыхания той же реальности. Даже то, что случилось с Антоном. Даже это, ненавидя себя, мокрый от страха, он написал.

Он написал этот роман-эпопею, роман-репортаж, роман исторический и современный, роман любовный и проклинающий, философский и наивный, как ребячий пересказ кино. Он вбил в него четыре года жизни в теткиной квартире, уже после Анны, после всего — четыре года отказа от любых прельщений; он спасался им и знал ему цену. Или, по крайней мере, думал, что знал. Когда он читал первую главу дома у Никиты, девки хлюпали носом, мужики сидели молча, без обычных кретинских шуточек, и хотя, отвалив ему звенящих восклицаний и признательных колотушек по спине, вскоре, за водкой, о нем забыли, но он-то помнил все, уловленное чутким ухом и боковым зрением. Он мог бы и не читать им. Он не был тщеславен. Во всяком случае, тем дешевым тщеславием, каким наделены девятьсот девяносто девять из тысячи. Он был тысячным. А может, иногда думал он, миллионным. Он знал, что

обрушит на издателей чужое, неудобное, непривычное, созданное с той степенью свободы, что будет освоена нескоро, как сашкина музыка, к примеру, но он зачал и выносил свое дитя, и его рождение, его явление людям должно состояться, так полагается для всякого плода, чтоб он не сгнил в родильном месте, затронув продуктами разложения самого родителя и весь объем вокруг. Потому он обязан был проложить дорогу роману, сделать так, чтоб о нем заговорили, — и Крандиевский принялся с расчетливой настойчивостью являться там и здесь, не тщеславясь, а делая необходимую работу, и только убедившись, что Москва стронулась с мертвой точки, что слава уже побежала впереди него, пошел в журналы. Побежала, да не до каждого, видать, добежала. Москва — громко сказано. Всего-то и надо взять в оборот десять-двадцать-тридцать лиц, не задрипанных, а желательного попервое, и также желательного, чтоб не из завистников, ибо в этом случае проделанная работа — не просто зазря, а с обратным знаком, из зависти могут что угодно придумать, какую угодно утку пустить, следовало быть осторожным и точным. Крандиевский таким и старался быть, а все ж не однажды лопухнулся. Последний раз явился в мастерскую к Володе.

Володя был уж пьян, три штучки вились вокруг него, тоже поддатые, но все еще с ясными хищными личиками. Были и Коля, и Вадим, еще кто-то. Крандиевский не собирался так уж сразу вынимать синюю папку, все свое ношу с собой, в защитной холщовой сумке. Водка еще имелась, подсел, опрокинул одну рюмку, вторую, а до того не поел, с голодухи развезло, на одну из трех девиц положил глаз, уволок в заднюю комнату, но там, вместо того, чтоб завалить, не справился с собой и начал читать ей финал. Там, где он раздваивается и видит себя голым ребенком на голой земле, а солнечная жидкость льется и обтекает его толстые плечи и толстые детские ноги, он ловит эту сияющую влагу открытым ртом и поднятыми вверх толстыми руками, пока черная туча внезапно не закрывает от него небо, и тогда он кричит уже не ребенком, а взрослым: *Элои, Элои! ламма савахвани... Божее мой! Божее мой! для чего Ты*

меня оставил?.. Когда он кончил, девушка, возбужденная и взволнованная, сделала попытку отдаться ему, однако он спиной почувствовал присутствие другого человека, обернулся, в дверях стоял Володя. Я все слышал, зловеще заявил тот. Не видел, а слышал, неприятно отозвалось в черепной коробке Крандиевского. Отправив пренебрежительно подругу к двум другим, Володя, квадратный, короткий, чуть не вдвое ниже верзилы Крандиевского, встал перед ним, наклонив мужицкую, стриженую под горшок голову, пружинисто расставил крепкие ноги, словно собираясь бить гостя, и действительно — стал бить его, но не кулаками, а оскорбительными, унижающими словами. Я все слышал, повторил он, весь твой словесный понос, всю кощунственную блевотину, с которой ты носишься, как с (тут он нелогично произнес матерное слово) наперевес, а сам циничен до мозга, ни во что не веришь, ведь не веришь, ты спекулянт, заводишь сам себя, а на деле просто кальку-ли-руешь, инвентари-зи-руешь (он произнес оба слова твердо, но вразбивку), ты же счетчик, наблюдатель, от этого все клеклое, мякинное, непропеченное, ты ботало, пустое ботало, вообразившее себя Шекспиром (почему Шекспиром, когда речь шла о прозе), мозгляк, эпитеты твои говенные, метафоры говенные, глаголы и те говенные. Он продолжал, перемежая матом и просто грубостями неожиданные филологические обороты, словно был заправский критик, а не художник. Крандиевский протрезвел. Слушать говорившего ему было больно, местами нестерпимо, но он слушал, почти наматывая на ус его замечания, пока вдруг Володя не упал замертво, как подкошенный, и не уснул мгновенно, поскольку был вдребадан.

Крандиевский встал, расправил плечи. Бред мертвецки пьяного человека. Он облегченно вздохнул. И напрасно. Володя, где мог, поносил бездарного хвастуна и импотента Крандиевского, так что в конце концов Крандиевский не выдержал и набил ему морду. Их растащили, но Володя успел выбить Крандиевскому зуб. Крандиевский искал причин и не находил. Не девица же была причиной. Спустя время случайно узнал, что Володя, оказывается, писал концептуалистскую прозу, которую, надо же случиться

такому совпадению, читал в тот же вечер в мастерской. Проза не прошла. Слушали из вежливости. Переглядывались, скрывая зевки. Кончилось тем, что Володя перетрахал слушательниц по очереди, однако ранка не затянулась, зудела, а тут как раз явился-не-запылился Крандиевский со своим романом. Володину прозу Крандиевский прочел вполне равнодушно: неинтересно, не о чем говорить. Но он говорил о ней — резко и плохо, вплоть до самого своего отъезда, не в силах забыть и простить зависти бывшего приятеля, око за око, зуб за зуб. Между прочим, Крандиевский слышал об одном мужике, который ради успеха книги сразу по окончании ее покончил с собой. А книжка оказалась слабой. Получилось глупо.

В четырех журналах имя Крандиевского было на слуху: бабы млели, делали сладкие потягушечки, на что-то намекая и что-то обещая, мужики тянулись вместе покурить, поговорить за жизнь, тоже обещая. Дальше разговоров дело не шло. Ничего не выходило. Они были ничтожны. От них не зависело. Им это было известно, но они принимали вид, даже для самих себя, и старания их были почти всамделишные. Все в этом государстве принимали вид, все натурально старались, производя подобие жизни. Если вам сказать всю правду о вас, вы ж повеситесь, объявил в четвертом журнале Крандиевский, как гвоздь заколотил в крышку гроба. И лицо у редакторши впрямь сделалось похожим на покойническое. Он не стал ее жалеть, хоть это было не по-мужски, а ушел, говоря себе: при чем тут мужчины и женщины, когда это особая порода, выведенная советской селекцией, бесполоая, бесхарактерная, безлика, фантомы, а не люди, и обиды их фантомны, и боль фантомна, вроде отрезанной ноги, которая ноет, а ее нет. Крандиевскому оставалось только презирать их.

В пятом журнале он очутился отчего-то на новенького, а ком обид уже сбился и покатил сам по себе, почти неконтролируемый, отсюда неадекватное поведение. Правду сказать, он частенько вел себя неадекватно. Он разрешал себе так себя вести. Он был ни на кого не похож... Но ведь мы точно не знаем, каковы внутри другие, так же не зная точно, как мы выглядим внешне. Даже в зеркале мы видим

себя по-другому, нежели люди видят нас. И родинка на левой щеке располагается справа. Мы считаем такие подробности исчезающе малыми, а не исключено, что они-то как раз велики в той системе зеркал, что скрыта от нас. Эти мысли стали приходить в голову Крандиевскому, как ни странно, лишь после встречи с Алисой. Куда вам позвонить, спросила Алиса. Крандиевский дал теткин телефон. Как хорошо, что он решил в конце концов познакомиться с родной сестрой отца, чего из гордости не сделал раньше, появившись в Москве. Сестра вместе с властями осудила брата за плен и, пока он не вышел из лагеря и не скончался, не общалась с его семейством. Что-то стало происходить с ней лишь к старости, она сделалась не добрее, но умнее. Она написала в Киев жене брата примирительное письмо, мать лежала в психушке, листки с бисерным почерком прочел Крандиевский и направил холодный ответ. Тетка, не оскорбившись, прислала еще письмо, на которое ответа не последовало. Адрес Крандиевский, отправляясь сдавать экзамены в Московский университет, на всякий случай взял. Он пригодился через десять лет. Бездетная тетка приняла племянника, как сына, при этом ей хватало такта не лезть в его жизнь, и себялюбия — ни в чем не ущемлять свою жизнь. Так что они умудрялись жить почти без ссор. И все же, съехав на дачку к Алисе, Крандиевский задышал полной грудью.

Выползая по ночам из своей (алисиной) дачки и бредя окраиной поселка, где горели редкие полуслепые фонари, а дальше сразу начинался лес, обдумывая алисины героические деяния, заключающиеся в том, что, преодолев все и вся, она положила-таки на стол главному редактору синюю папку и не отстала, пока не прочел (всего через месяц), и заставила пойти в ЦК (кто ж еще, кроме литературоведов ЦК, может оценить талант), а там тихонечко отправили папку в КГБ (исходя из того, что литературоведы КГБ будут посильнее литературоведов ЦК), и все это время Крандиевского звали то в одну, то в другую компанию ласкать, а он ехал или не ехал, смотря по настроению, плюя на самом деле и на главного редактора, и на ЦК, и на КГБ, этих монголоидов, этих татаро-монгольских игоистов, навис-

ших подобно ворогам своими монголоидными аббревиатурами над русским языком; злясь и внезапно остывая, Крандиевский как чудную игрушку бережно извлекал из памяти самое первое: звонок Алисы к тетке и алисин приезд. Он до сих пор радовался этому как ребенок.

По телефону она скреблась, как старая жесть, голос был сух и неприятен. Скажите ваш адрес, я к вам заеду, скребанула она. Он нехотя сказал. Она приехала. Он открыл дверь и испугался. Она потеряла красоту, нос заострился, углы рта опущены вниз, глаза без блеска, словно ее настигла болезнь. Он провел ее к себе в комнату. Молчал. Ни о чем не спрашивал. На сердце поместилась тяжесть. Можно курить, спросила. Курила, отвернувшись к окну. Потом вымолвила: так случилось, что вы сломали мне жизнь. Он молча подвинул пепельницу, чтоб не стряхивала на пол. Да, да, вся моя жизнь кошке под хвост, хрипло засмеялась она. Он поморщился. Он не любил, когда кошек употребляли всуе. Все, что я напечатала и еще гордилась кое-чем, все чепуха, реникса, если по Чехову. Ваша вещь, если положить с ней рядом остальное... На этой фразе сердце у него, наконец, подпрыгнуло. Он понял. Сделалось необыкновенно легко. Он подошел и неожиданно для самого себя поцеловал ей руку. Прежде подобные светские жесты были ему чужды. Рука показалась ледяной. Но почему? Этот скрипучий голос — словно ключ в замке, запирающий сарай с ненужной рухлядью. Этот заострившийся, как перед смертью, нос — остановка жизни после обесценивания того, чем жила, и страх перед иной жизнью, которая, скорее всего, не получится? Так? Тут были пропасти, которые не встречались ни у хлюпающих подруг, ни у рычащих друзей, и он прямой виновник. Алиса из Зазеркалья. Милая, сказал он ей, милая, погодите, все будет хорошо. Ничего не будет хорошо, она вырвала у него руку и ушла. Он слышал каблучки, сбегавшие вниз по лестнице, и думал, что задохнется от переполнявшего его чувства жизни. А говорите, сударь, что на читательский отклик вам на...ть, заметил вслух и пошел к Сивилле, которая сидела запертая.

Ему нравилось вызывать этот эпизод в себе. Не просто в памяти, а как бы в чреве своей сущности. Все горячело в

нем при этом вызове. Эпизод был свернут в крохотную точечную спиральку. Спиралька выпрыгивала, раскручивалась, в один момент становилась гигантской, распирая счастьем.

Он выходил на крыльцо, мощно втягивал ноздрями волглый воздух. Ни насморка, ничего. Дышалось чисто и сильно. Пейзаж ночью тянул его. Земля лежала одинокая, всеми оставленная. Почему при свете дня пейзаж утешает, а ночью, без человеческого света и знака, заставляет цепенеть? Он шел по дороге и видел землю без зданий, без поездов, без электрификации всей страны. Перед ним лежала пра-земля. И он был на ней единственный, пра-человек. Мурашки бегали по его спине. Он резко поворачивался и цеплялся взором за одно-два окна, светившихся во тьме, за мутные пятна нескольких фонарей на столбах, в которых висели капельные облака ночного тумана, дальше шло беззвездное небо, надвигалась кромка знакомого леса, и ему становилось веселее. Он любил и окна, и тех, кто за окнами. Но особенно одинокую, покинутую землю он любил и жалел до такой степени, что ему становилось тяжело. Он и топал своими сапожищами по безлюдной местности, может быть, для того только, чтоб подать земле знак, утешить ее, шепнуть ей на ушко, один на один: милая, милая, погоди, все еще будет хорошо.

Он любил в эту счастливую весну, счастливые лето, осень и зиму. Он любил всех, как никогда прежде, и силушка играла в нем. Он отнял от себя роман, как кормилица отнимает от груди младенца, и не беспокоился о нем больше. Есть Алиса, она пусть хлопочет, это делает содержательной ее жизнь. Сам же немедленно приступил к новому роману, и это сделало содержательной его жизнь. Пружина еще действовала, грудь распирало, он чувствовал себя все могущим. Энергия провинциала-завоевателя, постоянно бушевавшая в нем, нашла свое русло и лилась сильно и целенаправленно. Он шел к столу и писал. Или звонил Алисе и ждал ее приезда. Больше он ни в чем не нуждался. Ни в прежних друзьях. Ни в прежних попойках, что сопровождались нескончаемыми разговорами: прерывающая жизнь, они ее заменяли. Когда Алиса являлась, его

нежной страсти не было конца. Я люблю тебя, Алиса, смертельно, ты моя женщина, говорил он. Она — свежая, красивая, ничего от того ходячего трупика, что, в отчаянии от свалившейся любви, захлопывал за собой дверь теткиной квартиры, — приникала хрупким прохладным телом к его могучему горячему торсу, и они уходили вдвоем туда, куда уходят исключительно вдвоем. Если только один из двоих не становится соглядатаем. Со временем он стал им. Было обидно и стыдно, но он знал, что эта позорная штука, наблюдение, суждена ему и в любви, он приговорен и обязан подчиниться.

2

Все оборвалось через два года, дождливой осенью, аккуратно после истории в местной пивнущке. Незначительной, а вот поди ж ты.

Как-то незаметно он стал туда заходить. Сперва редко. Потом чаще. Балаболит с завсегдатаями — рванью, как правило. Говорил больше сам, нежели выслушивал как писатель. Потому ли, что закончил кусок или, наоборот, потому, что кусок не выходил, но тянуло выговориться. Он видел лица дебилов, слышал реплики дебилов, из которых умел, однако, сделать заключение о человеческом, общем и ему, зная в эту минуту, что он такой же, ничуть не лучше и не умнее, страсти и пиво уравнивали всех. Да и Клавдия, по прозвищу Золушка, безобразная буфетчица с вытекшим в результате супружеского конфликта глазом (когда супруг еще наличествовал), не давала развиваться неравенству, не доливая всем одинаково, прямо-таки с прецизионной точностью, несмотря на отсутствие глаза. Клавдия слыла женщиной легендарной. Легенда состояла в том, что лет двадцать пять назад заезжий режиссер увлекся ее сказочной внешностью и предложил ей ни много ни мало роль Золушки в одноименном фильме, сначала, по общепринятой модели, ее обрюхатив, а так как живот рос скорее, чем подвигалась подготовка к съемкам, из затеи ничего не вышло. То ли режиссер взял другую

актрису, то ли стал снимать другое кино, то ли вообще был не режиссер. В существовании появившегося на свет парнишки сомневаться не приходилось, так как в свободное от работы время он молчаливо помогал матери в пивной. Клавдия-Золушка хвасталась, что отец устроил-де его работать на «Мосфильм», но в эту легенду мало кто верил, а проверить ее и вовсе было трудно.

Новый роман не шел, и Крандиевский, хлопнув три или четыре кружки кряду, на равных информировал собрание о том, какие засранцы бывают лучшие друзья. Запустив пятерню в свои смоляные кудри, он излагал давнюю историю о том, как, прозябая по обыкновению без денег, настрочил за бабки для близкого знакомого сценарий, получилась недурная вещичка, а когда пришло время расчета, знакомец отслюнил какую-то ерунду и — привет. Собрание гневно выматерилось, сдвинув кружки в едином порыве и переживая за товарища, безотносительно к социальным или каким иным различиям. Беда заключалась в том, что то был не конец истории, а ее середина. Конец выглядел совершенно иначе: разозлившись на подлеца, а в этом случае Крандиевский пер, как танк, он и попер, как танк, подав в суд, упорно ведя дело и — тут внимание, тут просто чудо немыслимое — суд выиграл, а вся киностудия злорадствовала. Народ, продолжая по инерции материться, остывал на глазах. Горячую поддержку оказал один золушкин сын. Я знаю эту историю, заметил он вдруг, убирая пустые кружки, знаю, с каким режиссером вы судились, об этом и правда вся студия говорила. Так неожиданно сын был идентифицирован как действительный работник студии, в связи с чем оба пожали друг другу руки, а растроганная Клавдия-Золушка налила Крандиевскому пива с таким верхом, какого никто из посетителей сроду не видел. Забыл Крандиевский, что не любят в святом отечестве удачников, особо тех, кто выигрывает судебные процессы и кого выделяют в пивном зале, наливая неодинаково с остальными. Пивные градусы пригугпили в нем спасительное чувство такта. Пожалуйся он — совсем иной вышел бы колер, а расхвастался — пеняй на себя. И все равно такой он был удачник, что еще продолжалось в его пользу, еще

хотели дать ему шанс. Небось, еврей режиссер, бросил кто-то из компании спасательный круг. Так и я еврей, правдиво откликнулся Крандиевский. Жид жида видит издалека, донеслось до него со слабой тенью угрозы. Вы, друзья, эти антисемитские штучки бросьте, мирно попытался завершить вечер Крандиевский. Однако тот же глухой голос сообщил ему, что все легкие и денежные должности заняли жида, в частности, адвокаты, зубные врачи и киношники, потому русский человек без зубов и без прав, а русская женщина, то бишь Золушка, без глаза и с приплюснутым; что Сталин (оказывается) хотел правильно убрать всех евреев, оставшихся от Гитлера, а помешал грузинский еврей Берия (оказывается), а также, что евреи (оказывается) споили русских. Это я тебя споил, сифилитик, заорал Крандиевский, охотно теряя контроль над собой. Ты уж споишь, отвечал алкаш с подозрительно проваленным носом, от тебя дождешься, ты засудишь, до тюрьги другого доведешь, а своего не отдашь. Задохнувшись от обиды, Крандиевский двинул ему в челюсть, тот упал. Тотчас несколько кулаков мелькнуло перед носом Крандиевского, один попал в цель, из носу потекла кровь. Крандиевский, отвечая ударом на удар, пошел крушить противников. Пивнушка загудела, быстро образовались партии, но до матерой злобы дело не дошло. Одни понаскакивали, как петухи, на других, те потаскали за грудки этих, но скорее исполняя заведенный ритуал, чем всерьез. Крандиевского странно оставили в покое. Как чужого. С ним никто не хотел связываться. Он постоял-постоял, слегка протрезвев, и, почувствовав вдруг невыносимое одиночество, стал пробираться к выходу. Сами начали, сами и виноваты, буркнула ему вслед справедливая Золушка, и крыть ему было нечем.

Вернувшись на дачку, Крандиевский лег, не раздеваясь, и мгновенно уснул. Проснулся часа через три, обнаружив полную темень. В том смысле, что волшебный фонарь окончательно угас. Зацепиться было не за что. Он был один на одинокой земле. Алиса больше не составляла ему пары. Алиса, Ева, Лилит, мать твою за ногу. *На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не*

нашла его. Он потрогал распухший нос и застонал от горя. Во всем ощущался привкус нелюбви, неприличия, непорядочности. Привкус пошлости и скуки, Сциллы и Харибды его существования. И талант его был, коль он был, порожден потребностью увернуться, спастись. И уворачивался, и спасался. А так и так неизменно впарывался в ловко расставленные силки: от пивной стойки до кабинки для голосования, от кухонных бесед до... до того, что случилось с Антоном.

Про Антона не надо.

На кухне Андрей протыкал ладонью воздух: ты говоришь, свобода. Хотя Крандиевский ничего не говорил, а слушал. Ты говоришь, ее не может быть много или мало, продолжал Андрей, она либо есть, либо ее нет. Но ведь это трюизм, который вы не хотите признать за таковой, а хотите считать доказательством — чего? Я уж не говорю, что твоя свобода ограничена моей свободой, это такой же трюизм, потому что ты свободно хочешь выпить мою водку, а я хочу выпить ее сам, и что тогда? Воспитание не позволит? Но воспитание уже ограничение, а я не позволю — драка. Природа сама ограничивает свободу человека. Он пожелал летать, но у него нет крыльев, он придумал летательный аппарат, но умирает раньше, чем воплощает мечту в жизнь, за него достраивает кто-то другой, человек взлетает, но разбивается из-за дефекта — все несвобода, в которой нет виноватых. И цивилизация ограничивает свободу, любая, капиталистическая или коммунистическая. Да, западные правила игры кажутся привлекательнее восточных, но при чем тут свобода? А как же тогда Христос с его заветом? Завет — значит наказ, назидание, то есть опять правила, которые надо соблюдать. Так что не называйте вашу борьбу с тупыми чиновниками борьбой за свободу. Они негодяи, но избавившись от их правил, вы сейчас же повяжете себя другими. Нет, друг, что бы ты ни говорил, суть в нюансах, а они сами по себе таковы, что могут сотрясти миры. Крандиевский молчал. Молчал тогда, молчал и сейчас, не понимая, почему его башка набита этими подобиями умственной деятельности, да еще чужой. Тара-

барщина, от которой веет тою же пошлою скукой, что и от всего остального. Но такую же скукой, должно быть, веет от его романа, поскольку там нет и не может быть ни одной крупной мысли, ни одной мысли, помимо этих, общих всем, ни одной его мысли, Володька, сволочь, прав, он компилятор, собиратель чужого, и про насилие, про которое он думал что-то сказать, он ничего не сказал.

Крандиевский встал, пошел попить воды из-под крана, жажда томила. Два года практически он висел на шее у женщины, практически за счет женщины, пользуясь возможностью попользоваться (о, какая бездарная тавтология) телом, душой и безоговорочным служеньем, как бы в благодарность за читательский отзыв. Подонок. Как он смеет что-то писать, когда ему рта открывать не должно, чтоб оттуда не вылетела черная жаба. У Алисы есть новый план. Пропади он пропадом. Ну не бывает, не может такого быть, чтобы стоящая вещь, а ни один редактор или издатель не дрогнул. Похвалы людей не при должностях не в счет. Они ни за что не отвечают, потому им легко болтать языком. Дело не в издателях — дело в романе. Пора сказать себе правду. Пора-пора-пора, запел-заныл он, теряя окончательно почву под ногами и то ли залезая в перевернутую реальность с потрохами, то ли вылезая из нее. *Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на каких-то там горах.*

Он врал себе. Врал отчаянно. Только не помнил — сейчас или прежде. Писательские свойства — производное от человеческих свойств, а тут похвастать, как в пивнушке, было нечем. Жить дальше было невозможно.

Он походил по дачке, собирая вещи. Разбросанные бумаги, пишущую машинку, майки, свитера, джинсы, носки, платки, подумал и взял магнитофон, подарок Алисы ему на день рожденья, если делать низости, так делать их. На глаза попался фотоаппарат. Третьего дня попросил Алису: сделай ноги козочкой. Она села в кресло и подняла на него глаза, полные слез. Прежде балдел от этой ее позы, когда она ставила свои стройные ножки параллельно, чуть наискосок, слегка переплетая, сердце щемило, и он знал, отчего. От предстоящего чувства утраты. Так хрупка и беззащитна

была эта женщина в опадающей позолоте возраста, увядающего и терпкого, ей далеко за тридцать, чтоб не сказать к сорока, ему двадцать девять. Вскинул камеру, наставил на нее. Зачем? Она уже была некрасива, уже поблекли блестящие прежде белокурые пряди волос. Забрал и фотоаппарат с пленкой внутри, все отнес в «жигуль». «Жигуль» тоже куплен на алисины деньги, с добавлением заимствованных у тетки, но записан на него: считалось, что расплатится с обеими, получив за роман, когда выйдет. Больше Крандиевский не верил, что он выйдет. И Алиса тоже. Потому сказала: давай передадим на Запад. Это было у Малколма, у которого сидели в гостях с полмесяца тому. Алиса тогда выглядела отлично, старалась, хладнокровный швед увяз в ее прелести, но, разумеется, в дипломатических рамках. Крандиевскому вновь пришла на ум мысль, которую гнал от себя, что, быть может, давно он не цель, а средство для Алисы: вместе с ним она оказалась в кругах, какие раньше ей были недоступны. Уж слишком оживленной, по контрасту с домашней рассеянностью, делалась она в гостях, куда все чаще таскала его. А он все чаще злился. Он не ревновал, нет, для ревности было чересчур поздно, или рано, или никогда. Он почти сознательно растревлял себя нечистыми подозрениями, формулируя теперь прежние ее связи так: стелилась под всех. Для чего-то ему надо было это.

Едва рассвело, он завел мотор. Никакой записки, ничего. Только ключ под половиком. Он сразу решил, что поедет в Сочи, отогреться под южным солнцем, в морской соли растворить промозглую московскую осень, от которой продрогли его плоть и дух. Но прежде он хотел попрощаться с Сивиллой.

Сивилла была высшее создание, как удивленно и преданно думал о ней Крандиевский. Сивилла попала к нему котенком при загадочных обстоятельствах, на другое утро после того, как его поперли из университета. Начинался славный февральский денек. Солнце всходило в бело-молочном тумане, посверкивал схваченный морозцем снежок, выпавший накануне и прикрывший позорную городскую грязь, воздух казался чистым и свежим. Кранди-

евский, не пробуждаясь, как обычно, отвел Антона в сад и так же механически побрел в университет. Не доходя нескольких шагов до пересечения Герцена с Моховой, он внезапно вспомнил, что больше не студент, и остановился в раздумье у дверей клуба МГУ. Двери были заперты (он нарочно потом подергал их), но именно из них выкатился маленький комочек необычайного розового цвета, перебирая лапками дорогу, направился к Крандиевскому, будто это решено было загодя, молниеносно вскарабкался по брюкам и куртке на плечо и преспокойно устроился там. Крандиевский удивился. Засмеялся. И так и отправился гулять по Москве с котенком на плече. Прохожие обращались. Котенок, не обращая ни на кого внимания, включая Крандиевского, лежал на нем как воротник и, кажется, подремывал. Как интересно, думал Крандиевский, когда попросили из комсомола, подвернулась Соня, человек, когда из университета — котенок, откуда еще должны попросить, чтоб появилась рыбка или птичка или какое трогательное насекомое для утешения? Котенок соскочил с плеча сразу, едва Крандиевский вошел в дом, и сразу забрался на диван как на привычное место. Антошка, воротившись из детского сада, заорал: у нас кот Василий! Его стали звать Василий, пока Анна, антошкина мать, не обнаружила, что он не Василий, а Василиса. Крандиевский, однако, Василису отверг, а из тех же букв сложил Сивиллу, будучи к тому времени уже увлечен ею страстно, видя в ее поведении одни мистические знаки и согласуя с ними свои намерения и поступки, то есть, по мнению Анны, целиком свихнувшись.

Свойство это, в более слабой степени, было замечено Анной с первых дней знакомства. Более того, кабы не оно, не стать им мужем и женою. Ну, высокий, ну, баскетболист, так Анна и сама такая. Познакомились, кстати, на площадке. Он первокурсник, она пятикурсница, у нее жених, с которым собиралась расписываться, Крандиевский — вымахавший гадкий утенок, и вдруг не то чтоб в один миг лебедь прекрасный, но такое обаяние принялся излучать, что девки стали падать как подкошенные, а точнее виснуть на нем, как медом приклеенные. У спортсменов принято в

случае победы обниматься-целоваться без зазрения совести, потому девки висли согласно традиции. Мужская сборная, опять ободрав противника, принимала на грудь сборную женскую. Повисшая Анна не отлипала от Крандиевского и десять секунд, и двадцать, и полминуты, и тут оба заподозрили, что что-то не так. Ты меня любишь, что ли, шепотком спросила Анна. Молчи, задыхаясь (ну уж не от игры, конечно), отвечал Крандиевский и, полуобняв, прошествовал с ней прямо в темное место под лестницей. Нацеловавшись там до одури, но так и не переступив черты, Крандиевский замотал башкой, прогоняя беса, и вымолвил: ну вот и счастье, и спасибо тебе, родная, а теперь иди домой, у тебя жених, а моя безумная провинциальная мама в дни просвета учила и на мою голову обучила меня порядочности. Какая порядочность, какая порядочность, завопила Анна, смеясь и плача, ты что, полный, да, полный, что ты со своей порядочностью в этом Вавилоне собираешься делать, повесь ее в рамку, как школьную грамоту, и любуйся, если дурак, а если умный, погляди, что ты со мной сделал, я как до тебя спала, так и после буду, ничего от меня не убудет, и жениху свое останется...

Однако чего хотела, того она не добила. Крандиевский оттолкнул ее и ушел. Уже было известно, что он писатель и пишет по ночам, а потом спит на лекциях, хотя на тренировках бодр, и за это, за физическую культуру, его и приняли быстренько в университет. Но Анна, которую по-прежнему бешено тянуло к нему, тоже оказалась не из одних мускулов составленная и однажды, прильнув на университетской скамейке, попросила прочесть какой-нибудь отрывок, и он прочел: *теперь можно было свободно облокотиться о нижний край черной ночи; он дышал так громко, что самого себя оглушал, и уже далеко, далеко были крики за дверью, но зато яснее был пронзительный голос, вырывающийся из окна спальни; после многих усилий он оказался в странном и мучительном положении: одна нога висела снаружи, где была другая — неизвестно, а тело никак не хотело протиснуться; рубашка на плече порвалась, все лицо было мокрое, уцепившись рукой за что-то вверху, он боком полез в проему окна; теперь обе ноги висели наружу, и надо*

было только отпустить то, за что он держался, — и спасен; прежде чем отпустить, он глянул вниз; там шло какое-то торопливое приготовление: собирались, выравнивались отражения окон, вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты...

Он что, сейчас выбросится из окна, твой герой, спросила бледная Анна и без паузы добавила, что с женихом кончено, замуж она больше не идет и свободна. Это меняет дело, засмеялся Крандиевский, тогда давай наоборот, мы поженимся, но как честный человек я должен сказать, что это вовсе не я, а Набоков, и его герой действительно сейчас выбросится из окна. Тогда, проходя свои университеты, он, как многие, бредил Набоковым, позднее, отлюбив, никогда к нему не возвращался, выработав свой стиль, как ему казалось, жесткий и простой. Какой Набоков, не поняла Анна и, не слушая ответа, потому что ей было не до Набокова, положила крандиевскую ладонь себе на грудь: слышишь, как стучит, поехали куда-нибудь, хоть к нам, хоть к тебе в общежитие, больше не могу. И все же он не тронул ее, пока не поженились, такой был чудак. А она, по дурасти, изменила ему чуть не на следующий день, как бросила кормить Антона. Думала, извращенка, что этим крепче привяжет его к себе. Тяжело пережив случайную и пустяковую измену Анны, Крандиевский закусил удила. Все надломилось и затрещало. Теперь их связывал только Антон. Когда случилось несчастье — ушел, как был, в брюках и рубашке, ничего с собой не взяв, кроме Сивиллы. Обезумевшая Анна, исцарапанная Сивиллой в кровь, кричала вслед, что ни сын ему не был нужен, ни жена, одна кошка. А Крандиевский не мог отделаться от жуткого и несправедливого убеждения, что сын погиб по вине Анны.

Попрощавшись с Сивиллой, а заодно и с теткой, Крандиевский спустился к «жигулю» и обнаружил, что его обчистили. Унесли все. Магнитофон, фотоаппарат, машинку, нехитрый скарб. Получалось, что он остался голым. Голым человеком на голой земле. Но в «жигуле». Унесли даже папки с рукописями. Он представил себе, как его

страницы пускают на раскурку или растопку, и в гневе треснул кулаком по лобовому стеклу, разбив его. Трещины вмиг расползлись паутиной. Одно к одному, подумал он, прокусив губу до крови, и махнул на юг, глядя на дорогу сквозь стеклянную паутину. Хорошо, деньги и документы оставались с ним в бумажнике. Встреченная им в Сочи девушка Юля была вкусненькая и пухленькая, как сдобная булочка, и тут же попала в его паучьи сети.

3

Надо терпеть, надо терпеть, говорила себе сильно исхудавшая, но все еще привлекательная большеглазая Алиса, удерживая готовые закипеть слезы. Я совок, стало быть, мое дело терпеть. Ее толкнули сзади, потом сбоку, потом вся очередь, сбившаяся в одно кривое, безобразно-членистоногое тело, стала перебирать-перебирать своими членистыми сегментами, чтоб как можно быстрее разорваться, разделить надвое, да так, чтоб передние части очутились впереди, но и задние тоже; множество глоток закричало, давясь: да соблюдайте же порядок, куда вы прете, не взвешивайте, убери руки, ты тут, гад, вообще не стоял, вот сука. Это появилась вторая продавщица, и люди устремились ко второму прилавку, оттого произошла свалка. Магазин был шикарный когда-то. В мраморе и бронзе. Но все давно грязно, побито, покарежено. В залах — невыветриваемая вонь. Выкинули, по бессмертной советской терминологии, помидоры и баклажаны, и Алиса, встав в хвост, рассчитывала: лук у меня есть, отстою час, зато сделаю аджаб-сандал, это моя коронка, он не знает, вот удивится, ему понравится, там уж точно этого нет. Она не готовила раньше, теперь научилась. Но час перевалил за два, подходили отошедшие, очередь толстела и уставала, однако неустанные отважные пионеры, требовавшие вторую продавщицу, наконец, победили, она вышла ко второму прилавку, скучающая, с высокой замысловатой прической, выщипанными тонкими бровями и грубыми руками с крашеными ногтями, под которыми чернела полоска гря-

зи, поглядела на толпу как на пустое место, дикая толпа на нее прикрикнула, она так же дико прикрикнула на толпу, они были свои, они были в одной связке и, поурчав, успокоились. Алиса нервничала. Она не успела перебежать во вторую очередь, не успела и не стала, считая, что эта укоротится. Очередь, действительно, несколько укоротилась, но унижение, испытанное при этих страстных расчетах, вдруг превысило пределы, и она сделала порывистое движение выйти из игры, уйти, убежать, куда глаза глядят, но прервать, переменить состояние, в котором больше не могла пребывать. Она вздохнула прерывисто, как всхлипнула, и осталась. С порывами было кончено. Она больше не имела на них права. Надо терпеть, повторила себе привычное, и через сорок минут помятые баклажаны и на удивление приличные помидоры перекочевали с прилавка в ее сумку.

Сумка была тяжелая, и Алиса натрудила руки, но радовалась и тяжести, и усталости. Она, как и все кругом, была не покупательница, не обыкновенная жительница обыкновенного города, а добытчица, и добыча удалась. Полки магазинов скоротечно пустели, цены скоротечно поднимались, но до настоящего опустошения первых и сумасшедшего подъема последних было еще несколько месяцев, а пока что кончался август, и после пережитого страха все с новой надеждой думали, что как-нибудь сладится, переждемся, не может быть, чтобы не перемоглись. И Алиса думала. Странная штука: раньше она чувствовала свою особость, отдельность от других, сейчас она думала об этих других с нежностью и заботой и сама стала, как они, ничуть не отдельно и не индивидуально. Крандиевский учил ее когда-то этому, а она не научалась, но нынче ей казалось, что это он себя учил, больше, чем ее, а вот это пришло само собой и стало естественно, а у него было неестественно. Она продолжала говорить с ним и спорить, и думать за него и за себя, это сделалось ее привычкой. Однако возможность (и необходимость!) озвучить эту безмолвную жизнь уже сегодня вечером внезапно ошеломила.

Она даже приостановилась, поставив свои тяжеленные сумки на тротуар, чтобы передохнуть. Ее зрение обрело

необычную остроту, как будто это она, а не он, так долго отсутствовала. Она видела облупленные стены домов, пыльные стекла, ямы и выбоины на асфальте, замусоренный, заброшенный город, и ей было больно. Боже мой, во что все превратилось, как же так, когда тлен и запустение успели так поживиться добычей, мы добываем на жизнь, а нас добывают на смерть, кто скорее, усмехнулась она.

Лифт в их доме дребезжал, как старый трамвай, пусть дребезжит, дребезжи, дребезжи, миленький, сколько хватит сил. У Алисы было такое чувство, что если он сломается, то это уж навсегда, потому что в стране никто ничего не чинит и не починит и не построит, если только это не офис, не отель или еще что валютное. В нынешнем августе это отупляющее, обессиливающее чувство, переменившись на абсолютную подавленность, буквально через три дня еще раз сменилось полным, всепроникающим облегчением. И это окрашивало каждый тяжелый шаг надеждой. Наладится, сказала себе Алиса, как сказали многие, надо только потерпеть.

Она открыла дверь в квартиру, в свой дом, свою крепость, как это называлось в том мире, из которого, как снег на голову, свалился в Москву не бывший в ней пятнадцать лет Крандиевский.

* * *

Накручивая пятнадцать лет назад телефонный диск, Алиса сломала ноготь. Так. Почесав коленку, зацепила обломанным ногтем новые колготки, в которые вырядилась неизвестно зачем. Так. Пошла в ванную поискать пилку для ногтей, забыла, зачем пошла. Встала, бессмысленно уставившись в свое зеркальное изображение. Вот тебе, милая, возраст, вот тебе состояние, вот никому не нужная твоя жизнь. Его нет. Совсем. И не будет. Никогда. Его нет полтора года, и какая разница, где он, в Сочи или Москве, или в Вене, куда отправляется сегодня из Шереметьево-2 его самолет, как донесли доброжелатели. Он ушел. Он умер. Мертвое быть не может. Зачем же ломать

ноготь, рвать колготки, идти в ванную вешаться на гибком резиновом шланге от душа, если не повесилась сразу? Если не повесилась сразу, если вынесла, значит лошадка выносливая, здоровье лошадиное, была, есть и будешь, здравствуй, бесценная Алиса, а ты, Крандиевский, расхожий медный пятак, прощай. Вот этого не надо было говорить, это ошибка, за нее придется расплачиваться. Расплатимся, расплачемся, что слезы женские, вода, она течет и течет из глаз, неужто не залила еще весь шестой этаж, всю Шестую Парковую, прощай, Крандиевский, ничего ты не медный пятак, ты золотой грош, золотой мальчик, лучший из мальчиков, лучший, талантливейший поэт нашей эпохи, какая привязчивая формула, и зачем ему надо было вставлять в роман про скотоложество этого скота, грубо и наверняка вранье, следовало настоять, чтоб пожертвовал этим и еще кое-чем, тогда, возможно, не пришлось бы отдавать рукопись — Малколму, Крандиевского — сдобной булочке Юле, собственную жизнь — кошке под хвост.

Он не любил это ее выражение. Он любил кошку Сивиллу. Может, это была единственная его любовь. Он не хотел ничем жертвовать. Жертвы, говорил он, из вашего лексикона, обратная сторона героизма, баррикад и тому подобной чуши, которой я сыт по горло, я хочу пить по утрам крепкий кофе, дышать свежим воздухом и знать, что я свободен. Так он говорил и был убедителен. Он вообще был очень убедителен. Такое убедительное существо, в котором все убедительно. Настолько, что, к примеру, ты и твоя жизнь становились вдруг ужасно неубедительны и второстепенны, а его — всегда первостепенна. Но так и бывает с талантами. Он тысячу раз был прав: ни эта жертва, ни другие ничего бы не изменили, они все равно не напечатали бы роман. Они не понимали, откуда исходит опасность, но чуяли ее своим собачьим чутьем. Нет-нет, он был талантлив, подумала она о нем в прошедшем времени и удивилась, почему как будто уговаривает себя. Он был прав, когда не хотел пожертвовать никаким куском, в любом случае это означало бы расчлененку, разве можно требовать от человека, чтоб он стал палачом тому, что сам

породил? Он породил в ней любовь и убил ее. Боже, при чем тут она! Он говорил, что его привлекает тема насилия, но как может быть привлекательным насилие... Мысли ее путались, она путала одно с другим и была неправа, он был прав. Она держалась за его правоту как за спасение, назначив его заведомо героем, а себя жертвой. Но жертве противостоит не герой — жертве противостоит палач... Эту мысль она тоже отбросила. Нет. Она раз и навсегда признала за ним право уйти, оставить ее, когда понадобится, и когда понадобится, не сломалась, продолжала жить, как будто ничего не случилось, неужто сломается сейчас, когда ломаться нечему, потому что все давным-давно переломано, и что делает резиновый шланг в ее руке?..

Течет вода. Алиса моет голову. Сейчас вымоет и опять начнет накручивать диск, чтоб узнать, когда улетает самолет. Ну узнает, ну поедет в Шереметьево, что она ему скажет, что он скажет ей, он тысячу раз мог позвонить за эти полтора года, с юга, севера, востока, запад не исключение, зачем напяливать новые колготки и мыть голову, и крутить телефонный диск... пока не поздно, пока не пересек государственной границы... понимая и не понимая, яснея сознанием и проваливаясь в бездну, ломая ногти и пальцы, траченная молью, тридцативосьмилетняя старуха, скелет одиночества...

В дверь позвонили.

Открыла, с мокрой головой.

Крандиевский стоял за дверью. Постаревший на полтора года.

Сцена была немая-немая-немая. Долго немая. Пока Алиса не вернулась в реальность. Прошепелявила: заходи.

Он снял куртку, прошел в комнату, сел. Она узкой ладонью отжимала наполовину белокурые, наполовину отросшие пегие волосы, как будто у нее было свое занятие.

— Я уезжаю.

— Я знаю.

— Откуда?

— Кто-то сказал.

— Как ты?

— Хорошо.

- Ты на меня обиделась?
- За что?
- Вообще.
- Вообще да.
- Но ведь все и так было понятно.
- Да.
- Значит не сердишься?
- Нет.
- А спросить ничего не хочешь?
- Не знаю.
- А сказать?
- Нет.
- У тебя кто-нибудь из близких умирал?
- Мама, когда мне было одиннадцать, я говорила.
- А у меня Антон, сын.
- Ты говорил.
- Я сейчас чувствую то же самое.

Она метнулась к нему, закрыла ладонями его лицо, мокрое от слез. Она сделала единственное, что может сделать женщина: утешила его своею любовью. Его мокрое лицо уткнулось в ее мокрые волосы, он мог плакать не стыдясь.

Потом он сказал, что хочет есть, и она накормила его картошкой с селедкой, единственным, что у нее было, там он всегда вспоминал эту последнюю русскую картошку с селедкой, которую ел у любившей его Алисы. Теперь была ее очередь плакать. Он ел, а она смотрела на него, улыбаясь сквозь слезы, объясняя неверным голосом, что просто крантик сломался. Ты говоришь, будто у тебя кто-то умер, продолжала она, а у меня наоборот, и я плачу от счастья, прости меня, я такая эгоистка, но я ничего не могу с этим поделать, я тебя ждала и дождалась, и даже то, что ты уезжаешь, ничего больше не изменит, потому что ты вернулся. Сивиллу беру с собой, вдруг хохотнул он. Лучше бы меня взял вместо Сивиллы, хохотнула она в ответ, вытерла слезы и уже вполне буднично спросила: как ты будешь там жить? Не знаю, пробормотал он, как все живут. Но ты хоть что-то узнал про условия, как, где, что? Послушай, это неинтересно. А что интересно? Он взял ее за плечи. Он

крепко прижал ее к себе, поцеловал сильно, до боли, резко оттолкнул и ушел.

Она осталась одна. Волосы ее высохли. Какой ужас, сказала она себе, он снова ушел, и это хуже смерти, смерть уже была, и я ее перенесла, теперь я сойду с ума или задушу себя резиновым шлангом.

Не сошла, не задушила, и вообще ничего с ней не случилось, потому что она была уже защищена новой жизнью, которая пошла в ней отсчитывать такты, она была беременна и через девять месяцев родила Тимошу.

* * *

В квартире была немыслимая чистота. Так он баловал ее только на юбилей. Все пропылесосил. В кухне и ванной вымыл пол. Обе раковины надраил до блеска. Вот на уборную его нехватило. Но тут не пытайся, не упросишь. Тут брезговал.

Быг, налаженный и разделенный с Тимошей, не тяготил, а организовывал ее жизнь. Кто б мог подумать! Гадалка разложила перед потерянной Алисой карты: последней выпала червонная дама. Редкая карта, прокомментировала гадалка, в себе найдешь утешенье. Тоскливо сделалось Алисе. Брошенная Крандиевским, она тайно изо всех сил желала, чтоб пришел другой и отбил память о нем. Не знала, как жить без любви.

То ли научилась, то ли любовь переменяла обличье. Другой не пришел.

На кухне Алиса выгащила две сковороды, растительное масло — хорошо, еще полбутылки есть, — почистила синенькие, порезала помидоры, покрошила лук и принялась колдовать на обеих сковородках сразу, все успевая, ничего не пережаривая, доводя до нужного золотистого цвета, упоенно вдыхая вкусные ароматы. Надо же, любила есть, когда не стало еды. Другие вздыхали: надо что-то и для души. Ей лишь изредка надо было что-то и для тела. Душа заведовала. Душе принадлежало все. Мама в детстве говорила: она у нас святым духом питается. Дух оказался

не святой, а грешный. За то и наказана. Реальная жизнь разбила в пух и прах ее идеализм. И все равно, знала она, если бы его не было, то и ее бы не было. Была бы другая, а не она. Ее путь был ее путь. Пусть даже на этом пути терпение и добыча. И страх. самого страшного страха на этой земле она не застала. Когда тюрьмы, ссылки и расстрелы. В свое время боялась зубного врача, какой-нибудь мымыры в жэке, у которой надо было взять справку, любого хамства. А теперь? Теперь самый страшный страх был только за Тимошу — особенно, когда его долго не было из обычной и художественной школы. Она ходила его встречать и почему-то все время вспоминала при этом историю про Пушкина и Натали, которую когда-то ей рассказали, — как он ехал на дуэль, а она по своим делам, их кареты случайно встретились, но она была близорука и не увидела мужа. Эта история в свое время поразила Алису, и всякий раз думая о ней, погружаясь в нее, Алиса надеялась, что все еще изменится, Натали узнает Пушкина, крикнет ему, он услышит и останется жив.

Позвонила Таня. Как нарочно. Что ты, что Тимоша, мы с тобой месяца три не разговаривали, что новенького, ой, а у меня лучше не спрашивай, как обычно, только еще хуже, ходить совсем не могу, еле доплелась вчера до собеса, а сегодня отстояла три часа в очереди, за рыбой, купила, притащила домой, а она тухлая, понесла обратно, пока взяли, опять почти столько же отстояла, еле уговорила, спина отламывается, легла и лежу и не встану больше, ой, ну конечно, встану, Ирку надо кормить, да что ты, она куска хлеба сама не возьмет, неделю как из больницы привезла, губит со страшной силой, ну нет, невозможно нам разъехаться, она же токсикоманка, руки на себя два раза накладывала, она не может одна, я знаю, что она меня губит, и что умру, знаю, я смерти жду, как избавления, вот тогда пусть, как хочет, а сейчас не могу, и здоровья у меня нету меняться, на днях хотела себе холодильник привезти от Беллы, они же уезжают и продали мне холодильник, так ничего не получилось, машин нет, людей нет, заказы не принимают, а налево брать, сумасшедшие деньги, я в собес пошла узнать, не добавят ли компенсации мне или Ирке,

она же третий раз за год в больнице, нет, Алиса, это все безнадежно, что она в эти три дня учудила, двадцатого вышла из дома, решила поехать в центр посмотреть, как там история вершится, час ночи, нету, два, нету, три, я литр валерьянки выпила, в четыре заявляется, растерзанная, рот разорван, глаз в кровоподтеке, говорит, они мне рот затыкали, чтоб я не орала, а когда промахивались, давили на глазное яблоко, чуть не выдавили, хрен с ними, говорит, в депрессию из-за этого я впадать не буду, так что не вздумай санитаров вызывать, то есть, понимаешь, ее изнасиловали, а она хочет завтра проснуться как ни в чем не бывало, ну и проснулась, злая, как собака, видишь, якобы ее краски и кисти пропали, пока ее не было, и навесила замок на дверь своей комнаты, как в амбаре, представляешь, она забыла, что я все ей в больницу перетаскала, она рисует там, а у нее все воруют, но несколько картонов она домой принесла, и я скажу тебе, Алиса, что она гений...

Ирка была танина дочь, а Таня — школьная подруга Алисы. Кожа — светящийся персик, брови шелковые, глаза голубые, нос точеный, зубы как сахарные, такова была Таня. И сейчас такова, невзирая на кучу любовников, болезней и несчастий, взявшихся разрушить, сокрушить и доконать это почти что совершенное создание природы и неизменно отступающих перед ее стойкостью. Танька-птица-Феникс, звала ее Алиса, не переставая изумляться мелодичному, звонко льющемуся голоску, ровно описывающему собственный рак, суицидные попытки больной дочери, а теперь еще и изнасилование. Вот они, страхи московских женщин. Но у Алисы страхи психологические, а у Тани реальность.

— Таня, ты знаешь, Крандиевский приехал.

— Да ты что?! И ты молчишь?!

— У тебя такое, а я буду...

— Это у тебя такое, а у меня обычные дела.

— Таня, я ловлю себя на мысли, что не понимаю, где обычное, а где бред и ужас, прости...

— Сам позвонил?

— Сам.

— Виделись?

— Сегодня увидимся.

— Ну и чего твой Крандиевский достиг? Шумит о нем мир? Чего-то не слышно. Все они тут сверкали. На сером фоне. А когда фон зеленый, синий, голубой, вот тут наши советские облезают, как...

— Таня, я все это знаю. Я много чего знаю, много чего поняла за эти пятнадцать лет, но это все уже не имеет никакого значения. Просто я его люблю.

— А Тимоша знает?

43. — Что?

— Вообще все.

— Вообще все Тимоша давно знает.

— А ты не думала?..

— Тань, у меня там на плите горит.

— Подожди. Попроси Ирку подарить вам какую-нибудь ее работу, Тимоша любит, как она рисует, а она Тимошу любит, только не говори, что я сказала, а то психанет и не даст. Пока.

— Давай, пока.

Ничего у Алисы не горело. Не хотела она с Таней обсуждать то, о чем пятнадцать лет думала, а в эти дни окончательно додумала. Не хотела и не могла. Она б и раньше додумала, да все говорила себе: еще не вечер.

Вечер приблизился. И Алиса пекла и жарила и была почти спокойна.

* * *

Первое, что Крандиевский сделал по приезде, отправился на старое Немецкое кладбище. Пятнадцать лет назад это было последнее, что он сделал. Антон был похоронен там, рядом с дедом и бабкой Анны.

Едва Крандиевский решил ехать в Москву, едва решилось — как с ума сошел. И уже непонятно было, отчего столько лет потерял, не оборачиваясь даже, не глядя в эту сторону после того, как не по своей вине сжег мосты и они так и оставались сожженными в то время, как уж были наведены железнодорожные, морские и воздушные, и лю-

ди ехали, плыли и летели, туда и обратно, а он, сначала коротко и бурно модный, вскоре полузабытый, а затем и вовсе замолчавший русский писатель, изменивший судьбу и профессию, вставший во главе небольшой издательской фирмы в Лондоне, не процветающей и не загнивающей, он все еще чикался, все еще проводил вакации в Италии, а не в России. И вдруг внутренний обвал: туда, туда, туда, и наплевать, что не зовут, когда уж всех позвали, не вспомнили, когда всех вспомнили (вот оно, sic!). Он вспомнил. Его позвало. Этот зов, эту память, прежнее живое и горячее чувство, явившееся на место привычной полубесчувственности, не с чем было сравнить. Он давно оставил привычку гореть и волноваться. Жизнь сложена. Что было, то было. Что минуло, то минуло. Выполнил ли он назначенное или оказался жидковат, свернув какие-то там усилия, не имело значения. Как не имела, по сути, значения вся его благопристойная и в целом удачная английская жизнь, которой он научился, в которой были его издательское дело, упорядоченные скупые отношения с парой-тройкой семей и бывшая сдобная булочка Юля, ныне английская леди Джулия, правда, не по общественному положению, а по домашней кличке. Он загнал себя в эту жизнь, как в стойло (иначе откуда лейкоз), отбегав по зеленым лугам и долам. Сердце задрожало, вдруг открывшись, распахнувшись при одной мысли об этих лугах и долах, в которые превратились для него не полудеревенские просторы Алешек, не спуски и подъемы древнего Киева, а кривые и прямые запыленные московские улицы, Герцена, Никитский бульвар, Моховая, Большая Коммунистическая аудитория в университете, интересно, как они сейчас ее называют, может, Средняя Капиталистическая, алисина дачка, пивнушка, где царил Снегурочка-Клавдия, нет, ее звали не Снегурочка, а Золушка, старое Немецкое кладбище, туда, туда... О, конечно, ему надо будет привезти с собой кучу подарков, кучу своих проспектов, кучу книг, обязательно взять свои книги, показать их всем, кому можно, походив по их издательствам и журналам, то есть нашим журналам и нашим издательствам, они (мы) ведь сейчас так падки на все, что ими (нами) пропущено и упущено, что могло бы стать и их и

его славой, то есть... то есть что, все сначала?!.. Нет, нет, просто туда, на эти улицы, в ту жизнь, все остальное не имеет уже почти никакого значения...

Он вытер пот внезапной дурноты и слабости с лица: кажется, в самолете «Аэрофлота», каким летел из экономии, отключилась вентиляция...

Крандиевский нашел могилу не сразу, хотя Анна, у которой он побывал, начертила целиком маршрут, не надеясь на его память. Она предложила пойти вместе с ним, он сказал, что хочет сам. Могила оказалась не слишком ухоженная, но посаженный ими тополек вымахал и зеленел. Крандиевский сел на скамеечку, с которой облезла краска, смотрел на гранитную плиту и вокруг, потом прикрыл глаза.

Он хотел вспомнить и вспомнил — не как это было, это он знал только в пересказе, в десятках моментальных пересказов Анны, когда она не могла умолкнуть, крича и рыдая, и все заводила и заводила одно и то же, и тогда он ушел от нее и бросился в метро под поезд, но неудачно, машинист успел затормозить, его выгнали, это было отвратительно и стыдно, впрочем, он плохо соображал, сообразил только, что Сивилла, с которой он бросился, тоже жива и так и сидит у него на руках.

Он вспомнил не это — а как он писал это.

Он начал ранним утром, живя уже у тетки. Он написал луг, озеро, купанье десятилетнего мальчика, до одури, до изнеможения наплававшегося вперегонки со своим другом-сеттером, сеттер был хозяйский, у кого они снимали дачу, мальчику все было мало, и он бросался в озеро еще и еще и не заметил, как с востока стала подбираться иссиня-черная кромешная туча, тем более, что мать его не останавливала, задремав на солнце, которое еще долго оставалось в западной части неба. Она проснулась от внезапного озноба, верно, ветерок пробежал по разогретой коже, сеттер стоял между нею и мальчиком, все еще бултыхавшимся в теплой воде, и тревожно смотрел то на мальчика, то на нее. Анна глянула вверх, охнула и закричала мальчику, чтоб быстро вылезал, сушился и бегом

домой. Он послушно вылез, однако сушиться уже не было времени, темнело с каждой секундой все больше, и он побежал, как был, в мокрых плавках, через луг, сеттер впереди, Анна за ними, подхватив полотенце и сумку с вещами. Молния сверкала, небо дважды или трижды разломилось от грохота прямо над ними. У Анны от неведомого страха вдруг пропало зрение, она споткнулась и чуть не упала, сумка с вещами отлетела в сторону, она нагнулась за нею и в ту секунду, как разгибалась, увидела еще одну ярчайшую вспышку и сразу следом — как сын упал. Она поняла, что он тоже споткнулся, подбежала, чтоб помочь подняться, сеттер тоже подскочил. Повизгивая и поскуливая, он прыгал вокруг мальчика, как бы желая лизнуть его в лицо с закрытыми глазами, которое быстро чернело, но не лизал. Анна дико закричала, и пёс тотчас завыл.

Молния убила мальчика.

Кого прокляли небеса, как встарь, хотя на дворе XX-й век?!

Крандиевский дописал эпизод к полудню и, вставая из-за машинки, грохнулся в обморок.

Больше детей у него не было.

* * *

Мама, сказал ломающимся баском Тимоша, входя в кухню, мама, я все обдумал, сделаем, как ты сказала, я согласен. Сердце у Алисы упало и разбилось, она подобрала осколки, провела рукой по характерным смоляным кудрям своего высоченного, в отца, сына, и спокойно уронила: ну вот и молодец, когда он придет и когда вы познакомитесь, мы все это ему и скажем. Накануне она целый вечер проговорила с Тимошей. Он как упрямый бычок мотал головой: нет и нет. Ее это изумляло. Кругом ребята только и мечтали о загранице, разговоры о поездках, о валюте не прекращались. Тимоши это словно не касалось. Тимоша знал, кто его отец. Он играл в баскетбол (как отец), занимаясь живописью, одновременно пробовал писать (как отец), слушал Вивальди (как отец) и, зная и не зная этого,

продолжал естественно жить естественной для него жизнью. Алиса обожала и уважала его за это. Ты выучишь язык, получишь хорошее образование, в конце концов, ты будешь нормально питаться, это важно в твоём возрасте, уговаривала она его, а когда захочешь, вернешься, или я буду к тебе приезжать, мы не расстанемся насовсем, ни в коем случае, только на время. Она рыдала про себя, с сухими глазами, а Тимоша не отвечал. Почему ты не хочешь? Здесь мои друзья, наконец, сказал он. Никуда твои друзья не денутся, приедешь, они будут на месте. Они изменятся. Ну и что, все люди меняются. Я не хочу, чтоб они менялись без меня. А если здесь будет гражданская война? Тогда тем более.

И вдруг согласился. Только не спрашивай, почему я согласился, предупредил он готовый сорваться с ее губ вопрос, потому что я и сам этого не знаю. Просто я думал-думал и решил пойти тебе навстречу. Навстречу, эхом отдалось в сознании Алисы.

* * *

Крандиевского убили на переходе от Четвертой Парковой к Пятой. Забрали дорожную сумку со всем содержимым, бумажник с фунтами стерлингов, содрали графитовый плащ и темными очками не погнушались. Тело, не слишком и заботясь, бросили в кусты. *Тогда каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча...*

Наутро припозднившийся мотылек, похожий на лимонную капустницу, с двумя темными симметричными горошинами на крылышках, как бы присыпанными в уголках пеплом, долго вился над тем, что еще недавно было Крандиевским.

Слышал ли он, чувствовал ли этот последний привет?

ПОБЕДИТЕЛЬ

От автора

В очерке «Победитель» автор использовал фактические материалы, накопленные историками за долгие десятилетия. В том числе и добытые им самим и частично опубликованные в книге «Герман Лопатин, его друзья и враги» (М., 1984).

Однако, как известно, ни одно историческое исследование нельзя считать законченным, «закрывающим тему». Истекшее время не столько прибавило к данному сюжету факты и документы, сколько навело на новые мысли, анализы и сопоставления, независимые от недавно господствовавшей идеологии.



Во Владимирской губернии таких карет не видывали — столичные кареты, дворцового ведомства. Путешествовал наследник. Сын второго Александра воочию ознакомился с наследством. Теперь вереница карет направлялась в село Иваново. То самое, которое иногда называли русским Манчестером.

**Юрий
ДАВИДОВ**

— родился в 1924 г. в Москве. Участник Отечественной войны. Учился на историческом факультете МГУ. В 1949 г. был репрессирован по политической статье («за антисоветскую пропаганду»). Известный автор исторической прозы — рассказов, повестей, романов: «Глухая пора листопада» (1975), «Соломенная сторожка» (1987), «Синие тюльпаны» (1995) и др. Лауреат Госпремии, премии им. А.Д. Сахарова, премии «Триумф» 1995 года. Живет в Москве.

Теплым июльским вечером 1863 года кучера в алых шелковых рубахах и черных суконных жилетах осадили лошадой у купеческого дома, отведенного для высоких гостей.

В свите цесаревича находился профессор-юрист К.П. Победоносцев. «На площади, перед домом, поставили музыку, и сюда собрался весь народ на гулянье и на праздник, — писал Победоносцев. — Заиграли «Боже, царя храни», и потом завелись хороводы, затянулась русская хоровая песня... От времени до времени звуки песен прерывались громким: «Ура!», потом снова запевал голос: «Как по морю, морю синему» — и сотни голосов, подхватывая, заводили хоровод, и снова раздавалась из конца в конец дружная песня, смешиваясь с говором и веселым смехом гуляющего народа».

Писал Победоносцев и о народе негуляющем. В 94 ивановских фабриках клокотали паровые машины по 380 лошадиных сил; сил человеческих действовало без малого 4 тысячи; обороты здешних воротил исчислялись миллионами. Короче, золотое дно. Впрочем, не без пятен. Поэтические проселки в «первобытном жалком состоянии». До станции железной дороги 60 верст по хлипким гатям. На 15 тысяч обывателей одна частная и две приходские школы. Больничка «не в блестящем состоянии», а «дворцы ивановских купцов-магнатов» перемежаются длинными рядами кособоких избушек. Да и вообще «полное отсутствие чувства опрятности, чистоты и того комфорта, который бывает потребностью всякого развитого и зажиточного общества».

Надо отдать должное профессору — он путешествовал не в розовых очках. Но его зоркости недостало на то, чтобы из 15 тысяч ивановцев выхватить тщедушного, узкоглазого, насупленного юношу — Сергея Нечаева.

Нет, не разглядел его Победоносцев. Оно и понятно: требовалось ясновидение. Но мы-то разглядеть должны: в нашем распоряжении письма, мемуары, некогда таинственная тетрадь, делопроизводства полицейское и дипломатическое.

Коль скоро село Иваново издревле принадлежало Шереметевым, следует, обнажая корни, заглянуть в вотчинные документы богатейшей дворянской фамилии.

Эти бумаги не раз изучали историки. Усердные раскопки произвел К.Н.Щепетов*. На многих страницах его монографии возникает Иваново с ивановцами: барщина и оброк, надель и рекрутчина, помещичий суд и расправа... Цифровой материал

* *Щепетов К.Н.* Крепостное право в вотчинах Шереметевых. М., 1947.

неотразимее обид, пусть и очень пылких, рассуждений о крепостном ярме. И вместе с тем он ясно указывает: мужик драл три шкуры с мужика.

Ивановские фабрики поднял ивановский крестьянин. Не только оборотистый, но и грамотный. Свидетельство тому и выразительное, и неожиданное. Когда шибко пошла распродажа карамзинской «Истории», автор в частном письме указал: «Я писал для русских, для купцов ростовских, для крестьян Шереметева». Карамзин адресом не ошибся. Когда же полтора века спустя его «История» была переиздана, писатель В. Распутин зело возрадовался: мол, вся матушка Русь всколыхнулась... Пальцем в небо! Не Карамзин «колыхал» матушку, а В. Пикуль.

Да, крестьянин, оборотистый и грамотный, поднял ивановские фабрики. И стал тем, кого называли «капиталистым».

Рабы Шереметевых, они платили им громадную дань и, однако, не скудели, а матерели. У одного Бутримова ходили в работниках 106 душ. Обок с Бутримовым — конкуренты: Гарелины, Грачевы, Зубковы. «Капиталисты» не замораживали капиталы. Увеличивали и совершенствовали выделку тканей. Оставаясь крепостными, покупали крепостных. Не десятками — сотнями. Щупальца «капиталисты» присасывались и к окрестным мужикам. Эти, увязнув в долгах, отбывали поденщину на пашнях, поставляли дрова, прислуживали «при доме». Новоявленные господа, стриженные под горшок, без стеснения подвергали «своего брата» жестоким телесным наказаниям. Листаешь в архиве штрафную книгу Ивановской вотчины — волосы дыбом.

К.Н. Щепетов прав: основная масса шереметевских крестьян находилась в двойном ярме, под двойным угнетением — помещика и зажиточного крестьянина. И не только на фабриках, но и в обыденной, повседневной жизни.

Такова «почва», на которой в 1847 году родился Нечаев.

Крепостным он не был — отец и мать получили вольную. О его детстве и отрочестве до недавнего времени судили по источникам косвенным да по письмам к беллетристу-народнику Ф.Д. Нефедову*. Потом к ним присоединились автографы, найденные ленинградским историком Л.Я. Лурье. Он же указал и на сходство Сергея Нечаева с персонажем одного из рассказов В.А. Дементьева. Этот литератор, как и Нефедов, знал совсем еще молоденького Нечаева. Указание историка многозначительно: в натуре

* Нефедов Ф.Д. (1838—1902) происходил из шереметевских крестьян. Фамилия Нефедовых встречается в вотчинных бумагах села Иваново.

юного ивановца отсутствовала сентиментальность и присутствовала жестокость.

Однако — по порядку.

Читатель, очевидно, еще не успел забыть о приезде в Иваново знатных путешественников. Они побывали на фабриках, а затем, говорит Победоносцев, наследник престола пожелал «лично посмотреть производство кустарное, которое хотя и держится еще, но которому скоро придется, вероятно, пасть в неравном бою с машинами и фабриками богатых капиталистов». Осмотр состоялся. Мы видели, говорит Победоносцев, «последние минуты старинного производства».

Не каждое лыко в строку. Но тут — в статье С. Бутова, опубликованной сравнительно недавно в «Правде», еще большевистской, а не греческой, — тут и «старинное производство», и Нечаевы. Когда нашему герою Сергею Нечаеву было семь лет от роду, другой Нечаев получил высочайшую аудиенцию в Зимнем и вручил Николаю I замысловатые часы «в дар от народа российского». В статье Бутова указаны несколько Нечаевых, в том числе по отчеству и «Геннадиевичи», и все они названы «сильными отростками могучего дуба». Жаль, однако, что в газете, основанной Лениным, Сергей Нечаев не назван его предтечей. Придется нам говорить об этом, но только позже, а покамест при «последних минутах старинного производства» он живет в дедовом доме на Балагановской. Дед держал малярную мастерскую. Житье было сносное.

Историк Л.Я. Лурье полагает, что Нечаев создал миф о своем нищенском детстве. Да, горазд был Сергей Геннадиевич на «мифотворчество», об этом мы еще скажем. Но что правда, то правда: на его детстве и отрочестве лежала мрачная печать «последних минут», вернее, «последних времен»: тянул предгрозового ветер разорения, и душа ремесленника трепетала, как окрестные осины, обреченные смерти в фабричных топках.

Нечаев в малолетстве потерял мать. Дед и бабка жалели сироту. Учитель — тоже, но при том дивился Сережиному упорству, памяти, цепкости. Впрочем, случалось, что и пожимал плечами, чувствуя в мальчике нечто дремучее, неуловимое.

В архивной рукописи, подписанной псевдонимом «Земляк», приведены «показания» сестры Нечаева и его сотоварища, с которым Нечаев еще в солдатики играл. Отзывы тождественные: впечатлительный, горячий, настойчивый, злой, упрямый.

В юношеских письмах Нечаева к Нефедову нет ничего элегического, так и прыщет неприятие житейской, бытовой покорное-

ти, спячки, апатии. Сергей называет родное село «чертовым болотом». А там-то, в болотах, и заводятся черти.

Но Бакунин еще не писал о тождестве крамольника-бунтаря с чертом. Но Нечаев еще не помышлял о тайном сообществе бунтарей-крамольников. Сидя в «чертовом болоте», думал не о «Народной расправе», а об элементарном учительстве.

Сперва следовало обзавестись аттестатом зрелости, засим держать экзамен на звание народного учителя. Гимназий в Иванове не было. Нечаев — один в поле воин — самоучкой штурмовал гимназический курс. Он готов был поглощать книги в часы дневные и в часы ночные. Дневные же приходилось частенько убивать на другое. У отца заказов было хоть отбавляй — малевал вывески; Нечаев-младший помогал. Отец взялся за дело бойкое — учредитель и распорядитель вечеринок, пикников, новоселий, свадеб; Нечаев-младший прислуживал.

Купецкие застолья приводили его в ярость. Из этой ненависти не рождалось сочувствие оскорбленным и униженным. Сострадание — удел дворянчиков, марающих стишки. Нет-с, судари мои, пусть мироеды вкупе с чиновниками нещадно гнут простолюдина, тем грознее грянет буря... Примечателен мазохистско-провокационный мотивчик, не так ли?

Ради аттестата зрелости Нечаев уехал в Москву. Обитал на Дмитровке, в номерах, где воняло варевом и дешевым табаком. Короткое время жил у земляка Дементьева, о чем упомянуто в рукописи историка М.П. Погодина, хранящейся в одном из архивов. В белокаменной начал, и притом успешно, сдавать экзамены за гимназический курс, а закончил столь же успешно в Петербурге. С весны 1866 года, надев скромный мундир, учительствовал в приходском училище.

Один из тех, кто близко наблюдал тогдашнего Нечаева, характеризовал его так: «Первое впечатление, которое производит Нечаев, неприятное, но остро заманчивое; он самолюбив до болезненности, и это чувствуется при первых встречах, хотя Нечаев и старается сдерживать себя; он много читал... и потому знаний у него много, хотя в ссылках на разных авторов он и бывает весьма недобросовестен; в спорах старается какими бы то ни было уловками унижить противника; диалектикой он обладает богатой и умеет задевать за самые чувствительные струны молодости: правда, честность, смелость и т.д.; не терпит людей равных, а с людьми более сильными сурово молчалив и старается накинуть на этих людей тень подозрения. Он очень стоек в убеждениях, но по самолюбию, которому готов жертвовать всем. Таким образом,

главная черта его характера — деспотизм и самолюбие. Все речи его проникнуты страстностью, но желчной. Он возбуждает интерес к себе, а в людях повпечатлительнее и поглупее просто обожание, существование которого есть необходимое условие дружбы с ним... Он часто заговаривал о социальных вопросах и ставил коммунизм как высшую идею, но вообще понимал этот коммунизм весьма смутно, а на мои соображения об естественном неравенстве сил человеческих говорил, что возможна юридическая система, которая заставила бы людей быть равными».

Автор, цитированный выше, А. Купуцинский, учительствовал в «чертовом болоте», встречался с Нечаевым и на ингерманландских болотах, среди которых вознесся Петербург. Штрихи нечаевского характера обозначены чрезвычайно рельефно. Но главным мне представляется вот эта корневая, кряжевая народная мечта не о равенстве, а об уравниловке, которое не грех и силком внедрить, как картофель. Нельзя не признать, что мечта эта осуществилась наиболее полно и выразительно в системе ГУЛАГа.

Насчет «обожания» Нечаева, может, и преувеличение, но действительно возникала магнетическая тяга к нему, желание подчиниться его диктату. Не впечатлительность, присущая молодости, не опрометчивость, спутница молодой впечатлительности, определяли тягу к Нечаеву, а то, что был он «из мужиков». Грубость Нечаева, переходящая в цинизм, казалась прямотой, его жажда знания — жаждой простонародья; умение довольствоваться малым — не столько привычкой, сколько аскетизмом рахметовского толка, воспринятым от интеллигенции.

В студенческой среде Нечаева многие слушали и слушались. Но задушевные привязанности, надо полагать, отсутствовали. Ближе всех был ему Г.П. Енишерлов.

Не раз отмечалось, как сильно «оттиснулось» на Нечаеве влияние одного из идеологов революционного народничества Петра Ткачева, сторонника заговорщических методов борьбы, не признававшего никаких «общечеловеческих ценностей» и кончившего свои сумрачные дни в психиатрической лечебнице. Ленин, это известно, хвалил р-р-революционность Ткачева и тоже, кажется, был на пороге психушки.

Из работ, посвященных Ткачеву, монография Деборы Харди (Лондон, 1977) примечательна для нас сравнительной характеристикой заглавного героя и Нечаева. Взгляды первого, пишет г-жа Харди, вполне определены; второго — весьма эклектичны. И заключает: масштаб личности Ткачева крупнее, нежели масштаб личности Нечаева. Ой ли? Это уж с какой «кочки» глянуть. С

книжной, из-за письменного стола — тогда уж, конечно, Петр Никитич. А ежели живое дело? Ежели практика? Ежели фанатизм и последующие страдания в одиночном заточении? Тогда уж Никитич далече отстал от Геннадиевича.

Здесь, однако, нас не столько интересует теоретик Ткачев, сколько упомянутый выше Енишерлов. Н.М. Пирумова, историк, ярко высветила из тьмы забвения этого духовного близнеца Нечаева.

Тетради Енишерлова, частично опубликованные Н.М. Пирумовой, наводят на мысль, что не Енишерлов был нечаевцем, а Нечаев — енишерловцем. Однако, как говорится, осторожнее на повороте. Затруднительно определить, кто из них кому приходился вторым «я».

Как и Нечаев, Енишерлов приехал в Питер из провинции. Как и Нечаев, поступил вольнослушателем. Только не в университет, а в Технологический институт. Как и Нечаев, вооружился принципом вседозволенности. Абсолютной честности нет, быть не может, утверждал Енишерлов. Есть честность кружковая, «партионная». Нечаев соглашался с Енишерловым. Нет ничего аморального для блага дела, утверждал Нечаев, никаких «церемоний» с инакомыслящими. И Енишерлов соглашался с Нечаевым.

Это уж потом, когда Нечаев беспощадное слово претворил в беспощадное дело, Енишерлов казнился: «Нечаев, Сергей Геннадиев, народный учитель, мог жить, сколько ему угодно; легендарный Нечаев не должен был существовать. Все, кто — сознательно или бессознательно — способствовали созданию этого Квазимодо, виновны перед Россией, и я в их числе не последний». Пособивших «этому Квазимодо» — и материально, и нравственно — мы еще назовем. Наперед скажем, люди — благородные, искренние и честные. Однако никто из них не сознавал свою вину столь громадно, столь трагически, как Енишерлов. Вину не перед каким-нибудь революционным движением, тем паче не перед подпольным кружком, эмбрионом партии «нового типа», нет, перед Родиной.

Но это, повторяем, потом, позже.

Были у Нечаевы друзья, были и недруги. Не надеясь на близость судного дня Революции, они отвергали заговоры. Признавая, что без участия масс не решить социальные задачи, настаивали на «пропагандаторстве», на изучении экономики.

Разномыслие стратегическое и тактическое сливалось с эмоциональным неприятием личности Нечаева. «Оппозиционеры» не усматривали ничего уникально-покоряющего в том, что он —

из низов. Он был чужд им своими деспотическими ухватками. И самомнением самоучки, презирающего то, чего он не знает, и тех, кто знает то, чего он не знает.

Недрузи принадлежали к лопатинскому кругу. С самим Германом Нечаев разминутся; его, Лопатина, как бы замещал М.Ф. Негрескул.

«Человеком весьма замечательным» называл Негрескула знаменитый юрист Спасович, а он выдвигал на своем веку людей крупного калибра. Негрескул, соединявший горячую нервность с холодной основательностью суждений, противостоял Нечаеву. «Помилуйте, да он просто шарлатан!»

Нечаев сознавал хрупкость лидерства без легендарности лидера: призраки, завораживая душу, повелевают разумом. Енишерлов в автобиографии верно указал на легендарность Нечаева, отметив и свою причастность к упрочиванию легенды. В еще большей степени миф самолично творил Нечаев. Горячее время тому способствовало.

В 1868 году кипение студенческих сходок достигло силы вулканической. Первый раскат раздался на Выборгской стороне, в Медико-хирургической. Власти захлопнули двери академии. Студенты воззвали к солидарности. В университете они подали ректору бумагу, корректную по тону, по сути — ультимативную: дозволить сходки в аудиториях, дозволить кассу взаимопомощи, не дозволять шпионство инспекторов, выслушивать выборных депутатов. В храме науки зазвенели шпоры... Чуть ли не день в день произошло то же самое в огромном здании на углу Забалканского и Загородного проспектов — в Технологическом институте.

Четверть века спустя об этих днях рассказывал бывший студент-технолог:

— Было две партии. В одной — Нечаев. Это были крайние, предлагавшие чуть ли не идти на улицу и строить баррикады. Теперь мы уже знаем, что такое был Нечаев, и имеем большое основание думать, что его во всяком случае на баррикадах бы не было. Не потому, чтобы он был трус, — он доказал противное не однажды, — но потому, что он презирал всех, считая себя нужным для организации, считал, наверное, баррикады глупостью, нужной лишь как демонстрация, для которой достаточно и увлекающихся дураков.

Главное, как видите, ввязаться в драку. Знакомый призыв! И столь же знакомое презрение к «человеческому материалу». Отмечена, правда, и личная храбрость, что и убеждает в правдивости мемуариста.

Волнения, вскоре достигшие Москвы, Киева, Харькова, казались Нечаеву прологом общенародного восстания, и он силился убыстрить ход вещей.

«Маниловщиной, — кричал — заниматься поздно, черт с ней, с казенной наукой, если она готовит студентов на службу самодержавному бесправию, создаст насильников права и свободы. Подлецы пусть изучают эту науку, а мы, честные люди, чуткая молодежь, отстранимся от зла и сотворим благо, пойдем всем гуртом и громко скажем подлецам, что они подлецы, что наука их, одобренная III отделением, не наука, а подлая мерзость, которая учит подлому холопству, унижающему и профессоров и студентов. Наша задача — всеми средствами бороться за свою свободу, за свободную науку, за свободное студенчество»*.

И вдруг он исчез...

Разнесся слух: таскали, мол, Сергея Геннадиевича в канцелярию обер-полицмейстера. (Судя по некоторым данным, так оно и было.) Потом один из земляков Нечаева сугубо таинственно показывал студентам записку, якобы выброшенную арестантом из окошка тюремной кареты по пути в Петропавловскую крепость. Записка призывала «продолжать борьбу».

Минули месяцы. И вдруг раскатилось майским громом: Нечаев-то, оказывается, бежал из крепости! Это уж было геройством неслыханным.

Шептались восхищенно: исхитрился надеть генеральскую шинель да и покинул твердыню власти роковой.

Вееной 69-го, еще ладожский лед, сплывая в залив, колотился о невский гранит, а Сергей Нечаев уже был в Швейцарии. Объявил эмигрантам с порога:

— Господа! Мужичья Россия на пороге восстания.

— !?!!

— В мире есть царь, этот царь беспощаден, голод название ему.

Огарев радостно написал Герцену об «одном студенте», бежавшем из приневской крепости в приозерную Женеву. Маститые старики, Огарев и Бакунин, оказались доверчивыми, как желторотые питерские студенты. Старики раскрыли объятия щуплому молодому человеку. Он был их радостью. Не то чтобы негаданной. Напротив, давно чаемой, давно.

Нечаевский побег отметили и газеты. (См., например, «Московские ведомости» от 24.V.69 г.) Это сообщение никто не принял

* Корш Е.В. Отзвуки далекого прошлого. — Русская старина, 1918, май-июнь, с. 63—64.

за «дезу», как выражаются нынешние разведчики и контрразведчики. Дезинформация еще не числилась в арсенале спецслужб. А то, что утку мог подпустить сам «беглец», — эдакое новаторство никому и в голову не приходило.

Огарев, Бакунин, эмигранты радовались. Молодой человек рвется к живому, практическому делу? Превосходно, время слов минуло! Нуждается в материальной поддержке? Ежели откажем, это будет позором. Бакунин ликовал — вот он, «беспардонный юноша!» (В том же, 69, году Бакунин скажет: «Я верю единственно в мир мужицкий и грамотный мир беспардонных юношей». Кто же, как не Сергей Геннадиевич, был воплощением и того и другого? Мемуарист «Земляк» рассказывает: «К 1865 году относится весьма редкая карточка Нечаева. Он изображен на ней в виде белокурого юноши с пышными волосами, грубоватыми чертами лица, но без признаков отталкивающего выражения. Кажется понятным, что именно в этом виде он мог понравиться М.А. Бакунину»).

Но вот Герцен...

Современник рассказывал, будто Нечаев вломился к Герцену в армяке и сапогах и, зажав ноздрю, высморкался на ковер. Александр Иванович «ошалел: народная сила идет в революцию», «и Нечаев слупил с него за эту комедию 20 000 рублей».

Шарж? Возможно. Но так и шибает нечаевской манерой козырять мужичеством в расчете на умиление «кающегося дворянина».

Деньги он и вправду «слупил», этот налетчик от революции. Герцен — не без нажима Огарева — дал; правда, меньше, нежели указывает мемуарист. Но, в отличие от своих старых друзей, Герцен не кинулся обнимать Нечаева. Спросил почти брезгливо: «Что это у вас, Сергей Геннадиевич, все резня на уме?» А домашним сказал: у него змеиный взгляд.

Гипнотизм Нечаева отмечали многие. Жена Негрескула и друг Лопатина, Мария Петровна, женщина отнюдь не робкая, не кисейная, чуть ли не полвека спустя писала: «Я помню его глаза, я понимаю, что люди могли рабски подчиняться ему». Один из тех, кого сам Нечаев считал человеком отважным, солдат-стражник Алексеевского рavelина, попавший под суд (об этом рассказем позже), на вопрос, отчего он, нарушая присягу, подчинился арестанту номер пять, то есть Нечаеву, отвечал: «Да они так взглянут... Попробуй-ка не исполнить!»

Философ Э. Фромм в статье, само название которой несколько созвучно нашему сюжету — «Некрофилы и А. Гитлер», приво-

дит верное наблюдение: «У людей с сильно развитым нарциссизмом наблюдается специфический блеск в глазах, создающий впечатление сосредоточенности, целеустремленности и значительности». Ей-ей, в точности наш малый из русского Манчестера!

Не Герцен произнес крылатое: грядущий хам. Но Герцен этого хама почуял. Не Герцен вчистую отвергал революционное насилие. Но он отвергал криминальную идею **р а с п р а в ы**. Вспоминается горестная замета Радищева — пугачевцы, мало помышляя о созидании, увлеклись возмездием. Герцен не ради красного словца говорил, что Нечаев — «воскресший мститель», то бишь тот **ВОРОН**, коего сулил грядущим временам Емельян Пугачев. Да ведь и то сказать, Нечаев-то скоро, очень скоро начнет создавать конспиративную «Народную расправу». Право слово, ему, в отличие от иных возмутителей спокойствия, не откажешь в прямоте суждений и лозунгов; без нужды ему иностранно-туманное.

Впрочем, один «и з м» прельщал Нечаева. Не «Былое и думы» были у него настольными. И тем паче не «Капитал». Нет, только что изданная в переводе с немецкого монография Т. Гринингера «Иезуиты». Нечаев читал ее, так сказать, выборочно: антииезуитские высказывания добропорядочного немца обходил, пропускал, питая жадный, пристальный интерес к практике ордена, созданного Игнатием Лойолой. Мы еще увидим, как это отзовется в делах и днях Нечаева. Он ведь, пусть и вскользь, но убежденно и серьезно сказал однажды старшей дочери Герцена: «Иезуитчины нам не хватает».

Что же до Огарева и Бакунина, то наши народолюбцы находились в состоянии как бы второй молодости, второго дыхания. Еще бы! Россия на пороге великих потрясений, а «беспардонный» есть воплощение мужицкого устремления к свободе. Друзья умучали больного Герцена: дай еще денег Нечаеву, позволь нам с Нечаевым возобновить издание «Колокола».

Герцен повторял пророческое: **НЕЧАЕВ ЕЩЕ НАДЕЛАЕТ СТРАШНЫХ БЕД**.

Он умер в январе 1870-го.

В апреле вышел первый номер нечаевского «Колокола».

Не Герцен разбудил Ленина. Ленин родился в апреле 70-го, его пришествие в мир возвестил нечаевский «Колокол».

Теперь речь пойдет о документе, подобном метательному снаряду, — «Катехизисе революционера».

Изъятый впоследствии полицией, расшифрованный и опубликованный, «Катехизис» проповедовал:

— революционер разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями нравственности этого мира;

— все нежные чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою, холодной страстью революционного дела;

— на революционеров 2 и 3 разрядов, т.е. на не совсем посвященных, должно смотреть, как на часть общего революционного капитала, отданного в распоряжение революционера 1 разряда;

— наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Соединимся с диким разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу — вот вся наша задача, конспирация, организация...

Автором «Катехизиса» долго и прочно считался идеолог анархизма Бакунин. Высказывалось мнение и об авторстве Нечаева. Историк Н.М. Пирумова считает, что последнему следовало бы разделить лавры с Енишерловым.

Сославшись на строчку из бакунинского письма, сравнительно недавно найденного в Париже: «Помните, как Вы сердились на меня, когда я называл Вас абреком, а Ваш катехизис катехизисом абреков», — нам тоже очень хотелось бы лишить Бакунина авторских прав в пользу Нечаева. Но есть загвоздка — она в бумагах Нечаева, доставшихся после его ареста революционерам-эмигрантам. Среди этих бумаг, по свидетельству М.П. Сажина, в особом пакете находился «Катехизис»... написанный рукой Бакунина. Правда, почти весь нечаевский архив был сожжен. Сохранилась лишь краткая опись. У нас, стало быть, нет возможности проверить это указание очевидца. Но почему бы и не поверить Сажину, правоверному бакунисту до конца его долгих дней? А может, Нечаев ради вящей сакраментальности уговорил Бакунина svoеручно переписать текст?..

Признавая вопрос окончательно не выясненным, мы склонны держаться середины, пусть и не золотой: «Катехизис революционера» — плод совместных усилий Нечаева, Енишерлова, Бакунина.

Но вот что бесспорно, так это авторство мандата. Мандата, выданного Бакуниным Нечаеву: «Податель сего есть один из

доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза».

Каждое слово в капошоне заговорщика-мистификатора. «Всемирный революционный союз» — намек на Интернационал, на Международное товарищество рабочих, к коему Нечаев не принадлежал; «русский отдел» — фикция; внушительный номер документа — 2771 — опять намек и опять фикция: внемлите, какая мы силища...

Так и веет самозванством, так и насвистывает хлестаковщина. Вспомните декабриста Дмитрия Завалишина. Яркий был человек. Но каков лжец, черт его дери! Уверял Рылеева, уверял всех, кто «на челне», — я, братья, эмиссар международного тайного революционного сообщества... Ну, что тут скажешь? Никакого мандата не было у А.И. Хлестакова, а хлестаковщина бессмертна. Был мандат у С.Г. Нечаева, а и нечаевщина бессмертна.

Он не собирался погрязать в «рутине эмиграции». Он готовил свое явление народу. Он задал работу почтовым ведомствам и Швейцарии, и России. Вообразите, лишь в Петербурге так называемые «черные кабинеты» перлюстрировали 560 нечаевских пакетов, адресованных 387 лицам — знакомым, полузнакомым, вовсе неизвестным. Этот агитационный сельф, вытекая из женеvской типографии и канализуясь в почтовых каналах, достигал множества российских городов, в том числе и родимого «чертова болота», одарившего нас впоследствии первым в мире советом народных депутатов... Эта энергическая деятельность горланаглаваря сравнительно недавно рассмотрена в содержательной статье И. Желваковой и М. Куна. Выясняется, в частности, что наш пострел везде поспел — среди черновых бумаг Нечаева, в его дневниковых записях на русском, немецком, французском, множество адресов политиков европейских, как правых, так и левых, в том числе и Маркса. Между прочим, Нечаев, будучи впоследствии в Англии, Маркса не посещал, причина мне неизвестна.

В пакетах, отправляемых Нечаевым в Россию, были прокламации, были и деловые поручения, опасные и полуопасные, были и просьбы, больше похожие на требования, о денежной поддержке революционного движения.

Одни адресаты попадали «под колпак», другие прямоком — в кутузку. Последнее несколько не беспокоило отправителя: тюрьга, согласно методу Нечаева, считалась отменным средством ревзакалки. Любопытно, что некоторые, закалившиеся именно

таким способом, именно, что называется, с подачи Нечаева, вспоминали о нем благодарно и восхищенно.

Осенью 1869-го Нечаев вернулся в Россию; он избрал своей штаб-квартирой не Петербург, а Москву. Он, вероятно, рассчитывал на большую активность москвичей. Там, действительно, знал он нескольких, готовых в бой хоть сейчас. Рекруты были в университете на Моховой. Но главные силы квартировали в подмосковном Петровском-Разумовском, в Земледельческой и Лесной академии, где в ту пору было четыреста с лишним слушателей, будущих агрономов и лесничих.

В жандармском документе академия названа весьма энергично — котел ведьм. Можно понять почти мистическую оторопь охранителей империи, читая реалистическую характеристику очевидца: «В общине «петровцев», напоминающей собой Запорожскую Сечь, все равны... Изучая вопросы земли, «самые насущные интересы страны и народа», они как бы невольно наталкивались на великую идею долга интеллигенции перед народом. Эта идея, что называется, висела в воздухе петровской атмосферы. Нужды и потребности земледельческого класса находили в них болезненно-чуткий отклик и формировали в них идеалы, отражающие эти нужды»*.

В Москве Нечаев сперва ютился на 1-й Мещанской, дом 3, у молодоженов Успенских. Петр Успенский, настроенный резко революционно, служил приказчиком книжного магазина; у него часто собирались радикалы. Завязав первые узелки «Народной расправы», Нечаев поселился в студенческих номерах Петровско-Разумовского.

Слово «комитет» в смысле некоего директивного органа он сакраментально произносил еще в Петербурге, при студенческих волнениях. Но ни тогда, в Питере, ни теперь, в Москве, ни одна душа не ведала, кто, кроме Нечаева, состоит в этом комитете. И никто знать не знал, какова численность «Народной расправы», или, как ее еще называли, «Общества топора».

Советский историк Ю.А. Бер, апологет Нечаева, отдавая должное энергии его партстроительства, считает, что под хоругвь этого лидера собралось до 400 человек, главным образом, студентов Петровско-Разумовской. Ей-ей, через край хвачено! В Земледельческой о ту пору было ровнёхонько 400 студентов...

* *Вартапянц В.* Петровская академия как выразительница традиций. Тифлис, 1900, с. 30.

Вообще же надо сказать, поразителен сам по себе «захлеб» не с луны свалившегося кандидата наук пред фигурой Сергея Геннадиевича. Ну, точь-в-точь как в годы военного коммунизма. Однако восторг Ю.А. Бера вызвал отпор людей не только знающих факты, но и обладающих «внеклассовой» нравственностью. Наиболее обстоятельно полемизировал с профессиональным жрецом Клио вологодский журналист В.В. Есипов (см. «Вопросы истории», 1990/11)...

Пусть не 400, пусть меньше, пусть и «топора», но общество имело организационные принципы: пятерки, подчиненные отделению; отделения, подотчетные комитету; полная подчиненность комитету; никаких ни «наводящих», ни «исходящих» вопросов, не соотносящихся с делом, тебе порученным; ежечасный всепроникающий надзор друг за другом, род круговой поруки.

Нечаев, полагал Короленко, мечтал осуществить «русско-якобинскую» теорию: охватить всю Россию крепко спаянной сетью ячеек, растущих в геометрической прогрессии, и железной дисциплиной, подчиненной таинственному центру. По приказу из центра в один прекрасный день вся страна сразу переходит к будущему строю*.

Короленко полагал, а мы располагаем настольной книгой Сергея Геннадиевича. Выше она упоминалась мельком. Речь идет о монографии Теодора Гризингера «Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени». В переводе с немецкого ее издал известный тогда Маврикий Вольф. В Москве она продавалась на Кузнецком мосту и на Большой Лубянке. В книжном магазине Черкасова (там же склад нелегальной литературы) служил приказчиком Петр Успенский. Тот самый, у которого квартировал Нечаев, человек идейно или, если угодно, безыдейно, очень Нечаеву близкий. Если же еще и еще потянуть топографическую ниточку, то и выясняется: впоследствии в этом вот доме — Большая Лубянка, 18 — чекисты завели типографию и, не покладая рук, тискали ордера на аресты, необходимые для народной расправы над врагами народа...

В духе мыслителей конца века (нашего распроклятого) можно учуять серный запах — именно на Лубянке узкоглазый коротышка и обзавелся настольной книгой, посвященной ордену иезуитов. Нет, нет, не меченосцы, как уверял тов. Сталин, служили примером; хотя

* *Короленко В.Г.* История моего современника. М., 1965, с. 814. Далее мы также пользуемся этим изданием, отлично комментированным покойным А.В. Храбровицким.

и они куда как хороши, но до Игнатия Лойолы со товарищи им далековато.

И партстроительство, и многое в катехизисе скалькировано с соответствующих выкладок и практики отцов иезуитов. Приведем несколько выписок из монографии Гринингера: единственный из монашеских орденов, в котором был обет безусловного повиновения; отрицалась созерцательность (читай: размышления) и устанавливался примат действия; каждый член ордена отрекался от собственной воли; навсегда расторгал родственные и дружеские узы; Лойола «был убежден, что общество только тогда что-нибудь сделает, если проникнется о д н о ю в о л е ю»...

Нечаев мечтал о «переходе к будущему» строю не по «русско-якобинской» теории, как думал Короленко, а в отсветах давнего парагвайского опыта. Об этом — несколько позже.

Покамест следует объяснить, отчего на печати нечаевской «Народной расправы» красовалась четкая дата всенародного восстания: «19 февраля 1870 г.».

Заглянем в официальное «Положение 19 февраля 1861 г.»: крестьянину, избавленному от крепостной зависимости, отводится полевой надел для выполнения обязанностей перед правительством и помещиком. Крестьянин не смеет отказаться от полевого надела в течение первых пореформенных д е в я т и лет. «Это запрещение, — подчеркивает известный историк П.А. Зайончковский, — достаточно ярко характеризовало помещичий характер реформы: условия «освобождения» были таковы, что крестьянину сплошь и рядом было невыгодно брать землю. Отказ же от нее лишал помещиков либо рабочей силы, либо дохода, получаемого ими в виде оброка»*.

Д е в я т ь урочных лет истекали весной 1870 года. Нечаев — и, конечно, не только он — прекрасно понимал, что помещики полезут из кожи вон, лишь бы удержать мужика на полевом наделе. А мужик схватится за топор.

До весны оставались месяцы. Нечаев счел бы преступлением не подойти к этому рубикону со своей дружиной — «Народной расправой». Почин был сделан. Один занялся сбором средств. Другой — устройством явок. Третий — вербовкой уголовных, ибо разбойник-то, по мысли Бакунина, и есть коновод грядущего мятежа.

В Петровской академии хлопотал Иван Иванов: старшина студенческой кассы взаимопомощи, выборный администратор

* Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968, с. 125.

студенческой кухмистерской, неустанный сборщик пожертвованных «на дело».

Нечаев радовался такому соратнику. А потом... Потом завязался тугой узел, разрубленный кошмарным насилием. Коль скоро имя Ивана Иванова обретает значение и звучание едва ли не символическое, нужно рассказать о нем подробнее.

Подробнее? Попробуйте-ка отыскать об Иванове какие-либо сведения в монографиях или статьях. О да, Нечаев интересен, о Нечаеве рассуждают, а вот жертва Нечаева, она, знаете ли, словно бестелесная тень, не имеющая фигуры. Восстановить его биографию не столько необходимость... ну, скажем, диссертационная, сколько для пишущего эти строки потребность нравственная.

Испытываешь признательность к А.И. Кузнецову, историку Сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева (бывшей Петровской): в архиве Московской области нашел он дело «О стипендиате Иване Иванове». Его сообщение о находке было весьма кратким, но оно было и путепказующим.

Мы тоже обратились к делу «О стипендиате». Затем заглянули в областной архив Петербурга. А потом и в официальные справочные издания, словно бы заснувшие в стародавних библиотечных фондах. Нет, мы вовсе не претендуем на полноту собранных сведений. Напротив, они обрывисты, иногда загадочны... Короче, делимся лишь тем, чем располагаем.

Иван Иванов происходил из местечка Кейданы Ковенской губернии. «Собственного состояния никакого не имеет», — бесстрастно сообщает казенная бумага. Что такое литовское местечко Кейданы? Сорок семь верст от губернского города; пять тысяч обывателей; имение графа Чапского с заводами тонкорунных овец. И гимназия. Ее попечителем был этот самый Чапский, ее учеником — Иван Иванов. Пытаясь узнать, каков был гимназист, мы тотчас сели на мель: ни в архиве Каунаса (бывшего Ковно), ни в архиве Вильнюса не сохранились фонды Кейданской гимназии.

В 1865 году Иванов сменил литовское местечко на Петербургский университет. «Воспитывается за счет шурина», — информирует казенная бумага, указывая, что благодетелем Иванова был некий подпоручик Мазурин. А ведь сам жил, должно быть, жалованьем, то есть в обрест.

Из тех же университетских документов явствует: зимой и весной 1865 года Иванов посещал лекции приват-доцента О.Ф. Миллера по «русской народной литературе», а после летних каникул перешел

на математический факультет. Миллер не ходил в первых звездах науки, но важнее другое — фольклор привлекал Иванова. А математический он избрал, очевидно, покоряясь распространенной тогда демократической тяге к точным наукам. (Заметим в скобках: в тот же год вольнослушателем Петербургского университета был и Сергей Нечаев. Кто знает, не встречались ли?)

Лишь два с половиной месяца продержался Иванов на математическом. В середине ноября забрал документы и покинул Питер. А в январе 1866-го слушал речь директора Петровской: «Академия должна рассматривать слушателей не как юношей, еще не знающих, к чему они способны, и нуждающихся в ежедневном надзоре, а как людей, сознательно избирающих для себя круг деятельности и вполне знакомых с гражданскими обязанностями».

Представив «свидетельство о бедности», Иванов «покорнейше просил» стипендию. Дали. Согласно правилам могли и лишить, если бы Иванов не успевал в науках. Не лишили. Стало быть, учился усердно. Не обращаясь к ведомственным источникам, легко определить «жизненный уровень» стипендиата — скромное скромного. Он нашел уроки в семействе Сабаниных. Весьма возможно, тех самых, к которым принадлежал А.Н. Сабанин, известный впоследствии своими трудами по сельскому хозяйству.

В архивном деле «О стипендиате» — 33 листа. Билеты на право жительства, билеты на право посещения лекций, результаты экзаменов... Ничем не примечательная документация, отражающая обыкновенное студенческое житье-бытье. Недоумеваясь, однако, читая прошения «о выдаче мне отпусока». Все они — летние и зимние 1867—1869 годов — указывают, что проситель поедет не в родные ему Кейданы, а... в Рязанскую губернию. Кто привечал Иванова на Рязанщине? Неизвестно.

Еще загадка. За несколько месяцев до появления Нечаева в Москве Иванов берет десять дней на поездку в Петербург. Любопытна ли Невой, Исаакием, петергофскими фонтанами? Вряд ли. А не ради ли переговоров с участниками студенческих «беспорядков»? Такие поездки практиковались с целью выработки единой линии, единых требований. Ведь и питерские коллеги ездили в Москву, бывали у петровцев. Все это представляется вполне реальным, если не упускать из виду темперамент Иванова — горячий, отзывчивый, деятельный.

«Порядочный человек», — говорил о нем З. Арборе-Ралли, петербургский студент, посетивший Петровское-Разумовское. «Человек энергический», — констатировал известный юрист К.К. Арсеньев. «Прекрасный человек», — писал В.Г. Короленко.

И посему вроде бы нет причин удивляться сообщению мемуариста: Иванова еще в 1866 году судили по процессу каракозовцев, уготовили ссылку в Сибирь, да по младости лет ограничились высылкой из Москвы, а потом дозволили вернуться под сень наук*.

Но если мемуарист не обязан не доверять своей памяти, то следовательно от истории обязан проверять мемуариста.

В стенограммах каракозовского процесса действительно встречаешь фамилию Иванова. Встречаешь дважды. Да только оба не Иваны и оба не из Земледельческой академии, а из Московского университета.

В списке студентов академии, где числился Иван Иванов, указан и его тезка, Сниткин. Тут-то и обнаруживается ниточка крепкая.

Этого Сниткина навестила однажды замужняя сестра. У самовара собрались товарищи ее брата. «Разговор зашел о литературе, — вспоминала впоследствии Анна Григорьевна, — студенты разделились на две партии: поклонников Федора Михайловича и его противников. Один из последних стал с жаром доказывать, что Достоевский, выбрав героем «Преступления и наказания» студента Раскольникова, оклеветал молодое поколение... Загорелся тот молодой спор, когда никто не слушает противника, а каждый отстаивает свое мнение. В горячих дебатах мы не заметили времени, и вместо часа я пробыла у брата более двух. Я заторопилась домой, и все мои собеседники обеих партий пошли провожать меня до подъезда**».

Можно предположить, что в тот зимний морозный день был у Сниткина и Иван Иванов: они дружили. Три года спустя именно Сниткин много и часто рассказывал об Иване Иванове — какой тот умный и сердечный, какая у него твердая воля, как поддерживал его, Сниткина... Рассказывал и сестре, и шурина, и племяннице.

Шурином Сниткина был Достоевский.

Осенью 1869 года писатель жил за границей, в Дрездене. Читая газеты, а он читал их насквозь, Федор Михайлович заключил, что в Петровской академии вот-вот вспыхнут политические волнения. И посоветовал жене поскорее вытребовать брата в Дрезден. Сниткин послушался.

По словам дочери Достоевского, Иванов торопил «своего молодого товарища» и, зная его «несколько нерешительный ха-

* Козлинина Е. За полвека. М., 1913, с. 208.

** Достоевская А.Г. Воспоминания. М., 1961, с. 144—145.

рактер», сам просил директора академии предоставить Сниткину отпуск. Иванов хлопотал и о скорейшей выдаче заграничного паспорта, на вокзал проводил, словно бы тоже беспокоился, как бы Ванечка не попал в «историю», хотя Сниткин не только не состоял членом «Народной расправы», но даже и не подозревал о ней. Потому, видать, и торопил, что не желал аполитичному Ванечке во чужом пиру похмелья*.

Стало быть, в октябре, то есть месяца два спустя после возвращения Нечаева из Женевы в Россию, «Народная расправа» уже существовала. Но как раз тогда же и обозначились разногласия Ивана Иванова с Сергеем Нечаевым.

Сперва частные, а вскоре и существенные. Сперва по поводу того, что Иванов не желал зря рисковать единомышленниками, а Нечаев, как недавно в Питере, настаивал на «крайностях»; потом — по вопросу важному, первостепенному для «Народной расправы».

Если последним доводом королей были пушки, то Нечаев любой спор нокаутировал возгласом: «Так приказал комитет!» Иванов же все больше сомневался в существовании комитета. Эта настороженность, эти сомнения были, вероятно, следствием ишутинской истории.

Есть свидетельства знакомства Иванова с Николаем Ишутинным. В 1863—1866 годах последний возглавлял московское революционное сообщество. Ишутин уверял, что его организация — «мировая, многочисленная», оказалось — горсть: опять ложь, родимое пятно едва ли не всех заговоров, а ежели брать шире — политических комбинаций.

Воспоминание об этом, вероятно, и внушало Иванову сомнения в реальности нечаевского комитета. Больше того, Иванов однажды заявил, что и комитету не подчинится, если сочтет распоряжение неразумным. Это уже был, как говорится, бунт на корабле. Наконец, он высказался в том смысле, что Нечаев-то, очевидно, есть псевдоним комитета или наоборот. Даже мандат, выданный Бакуниным Нечаеву, не поверг Иванова ниц. Это уж был, что называется, удар в солнечное сплетение.

Если верить нечаевцу П.Г. Успенскому, Иванов замыслил расколоть «Народную расправу» и создать свою организацию, от Нечаева независимую, но на тех же основаниях. А это означало бы утрату монолитного единства.

* В ту пору в Петровском учился и шурин Бакунина, брат его жены Антонины, Иван Квятковский. Но, насколько известно, великий бунтарь нимало не тревожился за своего родственника.

Какими-либо указаниями на идейные разногласия между нечаевцами и Ивановым мы не располагаем. Вот разве что в мемуарах А.Г. Достоевской. По ее словам, брат Ванечка, И.Г. Сниткин, покидая Петровское, убедился в том, что Иванов коренным образом изменил свои убеждения*.

Начнем с того, что Иванов не стал бы откровенничать с Ванечкой: и молодым, и старым Сниткин чурался политики, социальные вопросы ничуть его не занимали. Далее. Если Сниткин что-то и слышал о столкновениях Иванова с Нечаевым, то это уж по пословице: слышал звон, да не знает, где он. Наконец, об изменении взглядов Иванова (да еще коренным образом) нечаевцы известили бы городу и миру. Однако нет. Ни тогда, ни позже, нигде и никогда.

Капитальное — не в самом по себе конфликте между Нечаевым и Ивановым, а в способе разрешения конфликта. И тут опять

* См.: *Достоевская А.Г. Воспоминания*, с. 200.

Там же сообщается, что беседы со Сниткиным навели Достоевского и на замысел «Бесов», и на то, чтобы «одним из главных героев взять студента Иванова (под именем Шатова)». «Зыбкая» фамилия персонажа возникла, вероятно, потому, что Сниткин толковал о перемене во взглядах И.И. Иванова.

О значении информатора для Достоевского см.: *Карякин Ю.* Зачем хроникер в «Бесах»? — Лит. обозрение, 1981, № 4.

В современных отзывах на «Бесов» многие критики сходились на том, что герои романа целиком выхвачены из стенографических отчетов нечаевского процесса, публиковавшихся в «Правительственном Вестнике». Мнение легковесное. Достоевский не отпирался: да, газеты, газеты, газеты. То бишь факты. Но... «В пораженном уме моем, — писал Федор Михайлович, — создавалось воображаемое лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству». В том-то и соль: т и п! Прибавим штрих, весьма характерный для типа. Монографию Гризингера об иезуитах Нечаев не только штудировал, но и пропагандировал в студенческой среде. Не догма, а руководство к действию. Вероятно, ее и Сниткин листал. Как нам указал Ю.Ф. Карякин, в черновиках к «Бесам» кратко помечено: «иезуиты», «иезуитство». Петр Верховенский не слепок с Сергея Нечаева. Жена нечаевца Успенского, отлично знавшая нашего героя, негодуя отвергала их сходство. Когда в Камергерском, на сцене Художественного, давали «Ставрогина», она усмотрела в Верховенском «глупую и нелепую карикатуру» на Нечаева.

Н. Бердяев не столь резок. Но и он, сделав знак равенства между Верховенским и Нечаевым, говорит: автор «Бесов» неверно изобразил последнего — «настоящего аскета и подвижника революции». Однако, заключает философ, «поставленная Достоевским проблема очень глубока». Да ведь потому и глубока, что не фотка отщелкнута, а выведен т и п.

следует заглянуть в настольную книгу Нечаева: «всего строже поступал Лойола с теми, кто не повиновался немедленно его приказаниям или обнаруживал намерения подвергать приказания его разбору». Поступал строго... Но, очевидно, у генерала ордена, избранного пожизненно и обладавшего абсолютной властью, была одна мера строгости; у лидера же «самоназначенца», которому надо было утверждать и подтверждать свой абсолютизм, — другая, сказать по-нынешнему — высшая.

Нечаев — именем комитета! — объявил Иванова предателем, шпионом тайной полиции. Нечаев — именем комитета! — потребовал убрать Иванова. Крови потребовал, смерти.

В монографии В. Базанова читаем: «На участников «Народной расправы» легла густая тень Нечаева, и она заслонила личности, индивидуальности, в ряде случаев очень яркие»*. Примером взяты Петр Успенский и Иван Прыжов: первый — незаурядный поэт, неопубликованные стихи которого должны быть изучены; второй — талантливый этнограф, самобытный литератор.

Прибавим третьего, тоже не нуль: Алексей Кузнецов, натуралист. Впоследствии его встретил в Сибири известный революционер Феликс Кон, отозвался восторженно: «Высокоразвитый, благородный, полный самопожертвования, торопящийся на помощь всякому, кто только в ней нуждался, Кузнецов вскоре после прибытия в Нерчинск завоевал всеобщее уважение».

Четвертый — совсем юный Николай Николаев — не в счет: он весь так и светился обожанием своего кумира.

Исключая Николаева, к нечаевцам можно отнести те строки из частного письма автора «Бесов», где он отнюдь не всех и каждого из них причислял к «идиотическим фанатикам».

Вот этим-то людям в середине ноября 1869 года Нечаев и объявил о предательстве Иванова, этих-то и обязал — именем комитета — ликвидировать его. Будь они «идиотическими фанатиками», можно бы положить дело в криминалистическую папку. Но тут если и патология, то не медицинская.

Итак, перед четверкой встал роковой вопрос. Пятый — он же первый — решил его загодя. При этом от участия в расправе не уклонялся: он был не из тех, кто загребает жар чужими руками, а сам остается в сторонке.

Повторяем, Николаев не в счет, спрос с него мизерный. Нас занимают «личности, индивидуальности»: энергичный и начитан-

* Базанов В. Русские революционные демократы и народознание. Л., 1974, с. 398.

ный Петр Успенский; талантливый Иван Прыжов, возрастом всех старший; Алексей Кузнецов, человек, по свидетельству современников, мягкий, впечатлительный, мечтавший о «трудоднях» в какой-нибудь вольной земледельческой ассоциации.

Рассудительный Успенский впоследствии повествовал спокойно: «Нечаев говорил, что подобных Иванову людей нужно устранять от общества. Я ему заметил, что мы не имеем никакого права на жизнь человека; но он, устранив этот вопрос, поставил другой, таким образом, чтобы устранить встречаемые препятствия. Надо заметить, что это не был разговор, которым бы решалась участь Иванова, — здесь выражался только взгляд с чисто теоретической точки зрения на человека, который, раз согласившись с какой-либо мыслью, не доведет ее до конца; таким образом вопрос об устранении Иванова был теоретически предрешен в положительном смысле и мы не могли решить его иначе».

Какая, однако, прости Господи, переключка с архибольшевистским высказыванием Юрия Пятакова, расстрелянного в годину Большого Трора именно потому, что он вослед Ленину созидал партию, для которой не было ничего недопустимого! Слушайте: «Суть партии в том, что она не связана никакими законами, что она постепенно расширяет сферу возможного, пока невозможное не сжимается до нуля. Для нее нет ничего недопустимого или неосуществимого. Ради такой партии настоящий большевик готов раствориться в коллективе, в партии, усилием партии оторваться от своих собственных мнений и убеждений и честно соглашаться с партией; вот отличительный признак настоящего большевика. Для него жизнь вне рядов партии немыслима; он охотно сочтет белое черным и черное белым, если того потребует партия. Чтобы слиться с этой великой партией, он готов отдать ей всего себя, принадлежать только ей».

Именно так и происходило с нечаевцами. «Я» растворилось в «МБ». Растворение избавляло от личной ответственности. Над каждым простер совиные крылья Комитет. Комитет отождествлялся с Нечаевым. Цель оправдывала средства. Отсюда было рукой подать до исторической необходимости. А групповая ликвидация Ивана Иванова получала оттенок жертвоприношения. А вместе и способствовала возникновению круговой поруки. То был род присяги, клятвы, писаной кровью.

Местом действия был назначен запущенный, пахнущий тленом, старинный грот в лесу Петровского-Разумовского. Укромные полуруины были сподручны «технически». Но угадывается и тень

Игнатия Лойолы. Поначалу у него в адептах числилось столько же, сколько у Сергея Нечаева. Сурово-фанатичный испанец заставил их присягнуть на верность Ордену в подземной часовне на Монмартре: голые камни, плесень, мрак. По преданию там некогда обезглавили вероотступника. Присягали лойоловцы на Евангелии. Атеист Нечаев такую клятву не принял бы. Иезуиты клялись жить «для вящей славы Божьей». Нечаевцы — во имя Богоносца.

В какой бы России ни жить — в монархической ли, коммунистической или посткоммунистической, да и впредь (ежели демократия проклюнется) — в какой бы ни жить, а ведь чертовски опасно усомниться в мессианском предназначении этого Богоносца. От него не требуют никакого духовного напряжения, долговременного и плодоносного. И не то чтобы полагаются на авось, нет, просто-напросто оттого тверда вера, уверенность, доверие, что просто-напросто русским и русскому естественно-этнически присущ мессианизм; неспроста же, господа и дамы, Царь небесный именно всю Русь, а не какую-нибудь там Польшу или Литву, исходил, благословляя. Ну, так как же не быть и з б р а н н о с т и ?..

Народник боготворил Мужика; марксист — Пролетария. Толстой утверждал: народ таков, каковым его представляет себе каждый из нас. Из последних по времени «представлений» — одно из самых эмоционально-выразительных и, во всяком случае, заслуживающих внимания принадлежит недавно умершему актеру Андрею Болтневу. Цитирую в записи журналиста Дм. Быкова: «Я никогда не питал иллюзий по поводу нашего народа. В массе своей бездарного, ленивого и подловатого, как всякая масса. Исключительная, особая трагедия и загадка России заключается только в гигантской пропасти между двумя соседями — Петровым и Ивановым. Иванов — образчик высочайшего гуманизма, бескорыстного милосердия, сострадания и доброты, не говоря о его милом лице и врожденной интеллигентности. Рядом на лестничной площадке живет нелюдь, ленивая и бездарная мразь. Вот эта вилка и есть специфическая русская черта».

Есть над чем призадуматься. Не так ли?

События развернулись стремительно.

21 ноября 1869 года в лесу, в старинном заброшенном гроте Петровского-Разумовского, где, может быть, некогда амурничали кавалеры и барышни, Нечаев и его соумышленники убили Ивана Иванова. 25 ноября студенты академии опознали труп. 26 ноября в квартире П.Г. Успенского на 1-й Мещанской был произведен

обыск. Обыск, «запланированный» раньше трагического происшествия в Петровском, выявил документы, указывающие на роль «Народной расправы» в гибели Иванова. Жандармы изъяли и «Общие правила организации», и книжечку на «неизвестном языке» — шифрованный «Катехизис революционера», весьма скоро дешифрованный в Третьем отделении.

Грянули аресты. Подручные Нечаева попались один за другим. Хватали и тех, кто вовсе не принадлежал к «Народной расправе». Полиция действовала старой методой — чем больше загребаешь, тем внушительнее выглядишь. Государь, сановники высшего ранга действовали методой новой — кропить кровью Иванова крамольников и скопом, и каждого в отдельности; публикацией «Катехизиса» вымазать радикалов, как дегтем.

Следственная комиссия проливала семь потов: восемьдесят обвиняемых. В Петропавловской крепости — в куртинах Екатерининской и Невской — клацали засовы. Петенционный застой сменился суетой: прилив арестантов заставил перестраивать старинные «помещения». А потом и начать постройку цивилизованной тюрьмы в Трубецком бастионе. Той самой, с которой невдолге спознались цареубийцы, а также и те, кто, никого не убивая, жег глаголом.

В июле 1871 года открылись заседания особого присутствия Петербургской судебной палаты по делу о заговоре, направленном «к ниспровержению установленного в государстве правительства». Если бы стенографический отчет процесса превратили в типографический, он составил бы громадный том в шестьдесят с лишним печатных листов.

Нечаева не было на скамье подсудимых. И быть не могло: он благополучно улизнул из России.

Надо заметить, что немалое число судебных приговоров отличалось мягкостью. Но четверых подручных лидера «Народной расправы» приговорили к долгосрочной каторге, и это вряд ли сочтешь жестокостью царского режима.

В судьбе Петра Успенского была как бы заложена идея возмездия. В этом отмщении свистел бумеранг. Но об этом, как и об участи несчастного Ивана Прыжова, — позже.

Следы недоумка Николаева я не нашел. Что до Алексея Кузнецова, то он, отбыв каторгу, поселился в Сибири, февраль 17-го встретил в Чите, после Октября, пенсионером, членом Общества бывших политкаторжан, свековал век в Москве, на Б.Дмитровке, в квартире, помнится, трехкомнатной, где и умер в 1928 г. почтенным 83-летним старцем. Нечаева он никогда ни в

чем не укорял, ни в чем не осуждал, и это было созвучно ленинскому отношению к Нечаеву.

Огарев и Бакунин, известившись об арестах в России, очень беспокоились. «Наш бой», «наш мальчик», «наш тигренок», — ласково и тревожно повторял Бакунин. И вот Нечаев — цел и невредим. Бакунин сам о себе сказал: «Так прыгнул от радости, что чуть не разбил потолка старою головою».

Один из тех эмигрантов, кто хорошо знал еще «петербургско-го» Нечаева, «нашел его совершенно неизменившимся: все тот же худенький, небольшого роста, нервный молодой человек с горящими глазами, с резкими жемами».

Нет, его не преследовала тень Ивана Иванова. А если бы кому-нибудь пришла охота морализировать, то Сергей Геннадиевич презрительно отмахнулся бы. Впрочем, никто, кажется, и не морализировал. Все было ясно: глава «Народной расправы» убрал шпиона... И даже Герцен, многое угадывая в Нечаеве, не предполагая убийства из «принципа», пожал плечами и нехотя согласился, что ликвидация агента тайной полиции — это, пожалуй, дозволено.

Затаенный восторг перед Нечаевым как перед сильной личностью (при неведении об объекте приложения силы) — это, скажем осторожно, еще куда ни шло. Но вот ведь какая штука: в Петровской-то академии мало кто верил в измену, тем паче во шпионство Ивана Иванова. И что же? Покойный литературовед А. Храбровицкий, знаток рукописей и доброжелатель разыскателей, указал нам на неопубликованные отрывки повести Короленко «Прохор и студенты». В одном из отрывков приведено письмо студента-петровца к приятелю, живущему в деревне. В нечаевской истории, восторгается автор письма, личность проявлена грандиозно, «берет на себя великое дело».

Еще примечательнее, если не сказать — ужаснее, заявление Кузнецова, участника убийства: «Несмотря на то, что Нечаевым было поругано и затоптано то, чему я поклонялся, несмотря на то, что он своей тактикой причинял огромные нравственные страдания, — я все же искренне преклоняюсь перед Нечаевым как революционером». Геркулесовы столпы? Или море тьмы за геркулесовыми столпами? Алогичная, вроде бы модернистская логика, позволяющая усматривать в убийстве трагедию убийцы, а не трагедию убитого...

Что до женевских эмигрантов, то они знать не знали Ивана Иванова, знали одно — предатель. Не восторгаясь, все же испытывали скрытую оторопь перед тем, кто «отворил» кровь. Правду

сказать, и в этой оторопи было что-то близкое восторгу перед «сильной личностью».

Огареву же с Бакуниным важнее всего было то, что «наши тигренки» в столь краткий срок сотворил и комитет, и организацию. Уверенность в том подкрепляли и русские газеты, и иностранные. Особенно последние: во всех университетах России возникли-де тайные общества; в лесах притаились вооруженные отряды, готовые к действию; в империи началось движение, цель которого — уничтожение самодержавия и «создание самостоятельного коммунистически организованного общества».

Задолго до знакомства с Нечаевым Бакунин подчеркнул: «мы не абстрактные революционеры», а «русские, живущие только для России и ощущающие потребность в беспрестанных свежих отношениях с живою, деятельною Россиею, без которой мы давно бы выдохлись».

Как же не обнимать Нечаева? Правнук и внук крепостных — уже это одно прельщало народолюбцев дворянского происхождения. Огарев с Бакуниным наверняка согласились бы со Львом Толстым: «в поколениях работников лежит и больше силы, и больше сознания правды и добра, чем в поколениях баронов, банкиров и профессоров». Хотелось бы знать, не «классовый» ли это подход?!

Глядя на Нечаева как на энергичного представителя молодой России, «не абстрактные революционеры» не могли взять в толк, что нечаевский комитет всегда был абстракцией, а нечаевская «Народная расправа», и прежде-то немногочисленная, стала абстракцией. Лучше всех знал об этом сам Нечаев.

Зато журнал «Народная расправа» фикцией не был. Первый номер Бакунин с Нечаевым выдали в свет прошлым летом; второй — теперь, зимой 1870-го. И приложили арестную хронику. Весной того же 1870-го Нечаеву дали ударить в «Колокол», зазвучавший хотя и не по-герценовски, но с участием Огарева.

Дорожа Бакуниным, Нечаев держался настороже. И, едва обнаружив «поползновения» лопатынского кружка, тотчас ошетинился. Он взял перо и бланк с грифом «Бюро иностранных агентов русского революционного общества «Народная расправа»:

«Русскому студенту Любавину, живущему в Гейдельберге.

Милостивый государь! По поручению Бюро я имею честь написать вам следующее. Мы получили из России от Комитета бумагу, касающуюся, между прочим, и вас. Вот места, которые к вам относятся: «До сведения Комитета дошло, что некоторые из живущих за границей баричей, либеральных дилетантов, начинают эксплуатировать силы и знания людей известного направле-

ния, пользуясь их стесненным экономическим положением. Дорогие личности, обремененные черной работой от дилетантов-кулаков, лишаются возможности работать для освобождения человечества. Между прочим, некто Любавин завербовал известного Бакунина для работы над переводом книги Маркса и, как истинный кулак-буржуа, пользуясь его финансовой безвыходностью, дал ему задаток и в силу одного взял обязательство не оставлять работу до окончания. Таким образом, по милости этого барича Любавина, радеющего о русском просвещении чужими руками, Бакунин лишен возможности принять участие в настоящем горячем русском народном деле, где участие его незаменимо. Насколько такое отношение Любавина и ему подобных к делу народной свободы и его работникам отвратительно, буржуазно и безнравственно и как мало оно разнится от полицейских штук — очевидно для всякого немерзавца...»

Закрыв кавычки, то есть перестав цитировать самого себя, Нечаев указывает от имени того же комитета, то бишь опять-таки от своего имени:

«Комитет предписывает заграничному Бюро объявить Любавину: 1) что если он и ему подобные тунеядцы считают перевод Маркса в данное время полезным для России, то пусть посвящают на оный свои собственные силенки, вместо того чтобы изучать химию и готовить себе жирное профессорское место; 2) чтобы он (Любавин) немедленно уведомил Бакунина, что освобождает его от всякого нравственного обязательства продолжать переводы вследствие требования русского революционного Комитета».

И заключил, как налетчик: в противном случае, мсье, мы обратимся «к вам вторично путем менее цивилизованным».

Нечаев действовал искренне? От такой искренности, как и от подобной праведности, шибает пыточным застенком. О чем и дал ясно понять человек, умевший пользоваться не только средствами почтовой связи, что он и доказал, устранив Ивана Иванова. Знал ли Бакунин об этом письме? Ответим: впоследствии утверждал — нет, не знал.

Современный читатель, скорый на скуловороты вчерашним авторитетам, умученный этими авторитетами на вузовской скамье, обязанный цитировать основоположников даже в диссертации о влиянии менструации на мастерство женских баскетбольных команд, — такой читатель, пожалуй, дружески пожал бы мозолистую руку Сергея Геннадиевича. И в охотку зачислил бы «Капитал» в разряд «галиматии», как это махом произвел автор журнала «Знамя» В. Свинцов.

Но мы, оставаясь в координатах времени, о котором пытаемся рассказать, мы должны указать на сверстников Нечаева, которые исходили из того, что благие изменения социальных, экономических, политических условий безусловно требуют их научного постижения и столь же безусловно отрицают самозабвенное шаманство.

Об одном из этих молодых людей скажем сейчас. То был Михаил Негрескул, вскоре сожженный чахоткой. Негрескул, видимо разминувшись с Нечаевым, побывал в Женеве в том же 69-м. И пытался объяснить Огареву и Бакунину, что это за личность, Сергей Геннадиевич. От Негрескула отмахнулись, как от докучливого доктринера. Но его деловое посредничество Бакунин принял. Негрескул и его друзья, молодые люди, в том числе и Герман Лопатин, имя которого вот-вот возникнет в лобовом столкновении с Нечаевым, — все они придавали важное, весомое значение рабочему вопросу. И давно замыслили перевести на русский язык «Капитал». Теперь, в Женеве, Негрескул предложил Бакунину взяться за это. Бакунин согласился. Негрескул немедленно списался с Любавиным, находившимся тогда в Петербурге. Любавин снесся с издателем Поляковым. Поляков объявил: тысяча двести за все, триста рублей вперед. Задаток был прислан через Любавина.

Однако дело не заладилось. Об этом Бакунин не раз упоминал в своей переписке. Приходят на память сетования Герцена, который в свое время тоже предлагал Бакунину литературную работу: «Иль он откажется, или не сдержит слова».

Любавин, получив грозную директиву комитета за номером и на бланке, опротестовал ее письмом к Бакунину. Тот лучше выдумать не мог, как надуться: от перевода отказываюсь, аванс верну.

Инцидент исчерпан не был. Повисев черной тучей, он слился с другой, еще более мрачной, и этот грозовой фронт быстро двинулся в сторону Женевы.

Но покамест гром не грянул, завершим если не портрет, то абрис Нечаева.

Революционер или реформатор, сколь бы ни был он повседневно-циничен, все же ищет нравственную опору в мечтах и мыслях о светлом будущем. (Ни умственную гольгтбу, ни прохиндеев, ни ту мразь и нелюдь, о которой сказал, как сплонув, покойный актер А. Болтнев, мы в расчет не берем.) Так вот, если «Катехизис революционера» устанавливал организационные принципы и моральную беспринципность, то статья «Главные основы будущего общественного строя», опубликованная уже после «мокрухи» в тухлом гроте, а точнее, в следующем, 70-м году, статья эта...

Нам уже случилось высоко отозваться о журнальной публикации вологодского журналиста В. Есипова, посвященной Нечаеву. В этой же статье находишь замечательно-точную оценку нечаевских рассуждений о светлом будущем:

— Пожалуй, первое и притом весьма яркое изложение исходных принципов авторитарно-деспотического строя, долженствующего установиться в России.

Согласен. Но позвольте привести формулировку еще более краткую, принадлежащую Марксу и Энгельсу:

— Прекрасный образчик казарменного коммунизма.

Все так. Но задаешься вопросом: каков источник, каковы составные части нечаевского устройства светлого будущего?

Сочинения утопистов? Может, Чернышевского? Или нечто марксо-энгельсовское? Ни первое, ни второе, ни третье!

Если В. Есипов точен, то Маркс и Энгельс наиконкретны. Так, словно бы заглянули в Москву, на 1-ю Мещанскую, 3, и там во дворе с дымящейся помойкой, в тесно-нечистой квартирке четы Успенских, где пахло ситником и спитым чаем, застали Нечаева вдвоем с Гринингером... И вот, пожалуйста, не в бровь, а в глаз: ежели принять нечаевские основания будущего общества, то оно превзойдет Парагвай преподобных отцов иезуитов.

Не скажу, читал ли Маркс-Энгельс монографию Теодора Гринингера. Не знаю, попадалась ли им «История Парагвая», изданная в Париже в 60-м. Но вот что было наверняка известно: работа младшего сподвижника Поля Лафарга «Поселение иезуитов в Парагвае». И работа Карла Каутского, писавшего на ту же тему и озаглавившего броско: «Государство будущего в прошлом».

И тот, и другой обозначили основные черты парагвайского государства отцов иезуитов, существовавшего вдвое дольше, нежели государство Ленина-Сталина, — черты, хронологически принадлежавшие 1637—1768 годам, но дьявольски знакомые каждому, кто прозябал под эгидой политбюро ЦК КПСС. Сколь ни странно, Лафарг и Каутский не усмотрели в парагвайских широтах ничего коммунистического, сочли преподобных отцов капиталистами, а индейцев — рабами. Однако, как уже сказано, преподобные отцы марксизма усмотрели в нечаевском прожекте образец военного коммунизма.

Нам, однако, важен источник, к которому припадал Нечаев, томимый духовной жадной. Гринингер в своей монографии, конечно, не умолчал о государстве иезуитов и тоже обозначил, как нынче говорят, его параметры.

«Собственность ордена, — писал историк, — была, по крайней мере, вдвое обширнее, чем вся Италия». Конечно, не одна шестая, но все же... Отдельно взятая страна изобиловала лесами, полями, водами, зверями, злаками. Иезуиты начали агитацией и пропагандой, обращенной к простым людям, т.е. к индейцам, и объясняющей, что белые люди (читай: помещики) относятся к ним жестоко, а надо относиться по заповедям Божиим и жить не по лжи; после чего следовали пространные и живописные разъяснения, очень они приходились по сердцу индейцам, несомненно имевшим в душе коммунистические задатки. Совершенно устранив светских (т.е. беспартийных) колонистов от дел, иезуиты стали объединять маленькие деревушки индейцев в большие селения-редукции (читай: совхозы). Редукциями управляли священники, вроде бы парторги, а при них вились викарии, точнее сказать — шпионы. Частная собственность упразднилась вчистую. Весь урожай, как и все ремесленные изделия, поступал в иезуитские склады, отсель распределялся каждому по труду. Зрелища отнюдь не запрещались. Напротив, поощрялись как здоровый отдых после здорового труда. Танцы, музыка, что-то вроде футбола или хоккея. И что же вы думаете? По свидетельству очевидцев, «грубые индейцы ничего лучшего не желали». Да и что же вообразишь как лучшее, если отдельно взятая находилась в крепкой изоляции. Ни индеец оттуда не выбежит, ни европеец туда не вбежит. Точь-в-точь железный занавес.

Таков был иезуитский образчик для светлого будущего по Нечаеву. Ради такого будущего, чтобы уж, значит, ничего лучшего народ не желал, можно было убить не только Ивана Иванова, но и великое множество иванов*.

Вольтер и от историков требовал соблюдения литературных канонов: завязка-кульминация-развязка. Но историки похерили заветы фернейского старца. Так и в нашем очерке. Вы сейчас узнаете, что в Женеве Нечаев был развенчан Германом Лопатыным. Тут вроде бы и кульминация, за которой должна следовать быстрая развязка. Но... Во-первых, прошу заметить, что развен-

*Как тут опять не вспомнить Достоевского? Перечитайте главу «Великий инквизитор» в романе «Братья Карамазовы». Ну, вот это, например: «Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками [...] и они будут любить нас, как дети, за то, что мы позволим им грешить». Сомнения нет, Ф.М. Достоевский отлично знал, что такое «парагвайщина».

чание было личное, только самого Нечаева, а не нечаевщины. Стало быть, и развязка наступила сугубо личная, оттого, правда, не менее трагичная. А во-вторых, Герман Лопатин известен не только столкновением с Нечаевым и его изобличением, хотя именно об этом столкновении и пойдет речь.

Итак, в Женеву приехал нелегальный Герман Лопатин.

Один последователь Нечаева как-то изрек, сопроводив свое замечание небрежным жестом: у старых революционеров есть только одно «достоинство» — то, что они старые. Лопатин так не думал. Он думал, как Герцен.

Об Огареве, больном, страдающем запоями, Герцен говорит: Николай Платонович разрушил себя, «но остатки грандиозны». О Бакунине, с которым нередко и далеко расходился, говорил: «Слишком крупен, чтобы о нем судить бесцеремонно». И предупреждал молодых: не полагайтесь на то, что каждое новое поколение лучше предыдущего.

Лопатин вовсе не намеревался бить стекла. Единственное, чего он желал, и желал страстно, это изобличить Нечаева. По твердому убеждению Лопатина, нечаевское «катехизисное» слово, как и нечаевское дело, были явлением глубоким и страшным, его следовало обозначить на штурманской карте освободительного движения. И выставить сигнальный, предупреждающий огонь.

Но все это требовало борьбы с теми, кто был трепетно дорог Лопатину. Часто повторяют: «...истина дороже». И еще чаще истиной поступаются. Лопатин не поступился.

Опережая ход событий, сообщим два факта. Они несомненно рассуждений о благородстве Лопатина.

Много лет спустя, в 1913 году, когда уж Бакунин давным-давно был погребен на чужбине, старик Лопатин поехал в Тверскую губернию, в Прямухино, родовое бакунинское гнездо, о котором Бакунин, помирая, вспоминал щемяще-печально; поехал, постоял у речки Осуги, побывал в старом доме — в огромной кадке была такая рослая красавица пальма, что для вершины ее прорубили потолок; большая светлая столовая, гостиная, там столики ломберные, альбомы с дагерротипами, засушенные кленовые листья, рисунки, стихи... Прислушайся. Услышишь «музыку старых русских семейств» (Блок). И старик Лопатин слышал. Потом отдал поклон своему давнему недоброжелателю. Нет, о Бакунине никогда не думал Герман Александрович «бесцеремонно». И не поддакивал вслух доктору Марксу, когда тот костил почем зря г-на Бакунина, хотя нередко и был мысленно согласен с доктором Марксом.

В том же, 1913 году Лопатин прочитал мемуары Г.Н. Вырубова. Лопатин знал, но не уважал этого философа. Его воспоминания «взбесили» Германа Александровича; в особенности «гнусные клеветы по адресу Нечаева». Интересно, что же именно? Берешь журнал «Вестник Европы», находишь: Нечаев «ловкий шарлатан, чрезвычайно низкой нравственности». Гм, это, что ли? А разве Лопатин думал иначе? На той же странице — Нечаев «эксплоатировал революцию для своих личных целей». И опять недоумеваешь... Но, может быть, Герман Александрович предполагал в натуре Нечаева нечто от Макиавелли? Не «макиавеллизм» в нарицательном смысле, как определение политики, пренебрегающей нормами морали (Нечаев как раз пренебрегал), а внутренние диссонансы, мучившие итальянского средневекового мыслителя при столкновении благородной цели (справедливость, благо народа) со средствами, избранными для ее достижения. Или — как знать? — не поместил ли он Вырубова на место Нечаева, приговоренного к двадцати годам каторги, не вообразил ли кабинетного чистоплюя в каменном мешке Алексеевского равелина, а поместив, увидел фигуру трагикомическую? И вознегодовал на безапелляционность вырубовских суждений? Так или не так, важно то, что старик Лопатин ничуть не обрадовался уничтожению своего противника.

Но все это почти полвека спустя, а в мае 1870 года здесь, в Женеве, молодой Лопатин бурно атаковал и Нечаева, и Бакунина с Огаревым. Сражаясь с Нечаевым, сражался за нечаевцев: оглянитесь и одумайтесь. Сражаясь с Бакуниным и Огаревым, сражался за Бакунина и Огарева: да отверзятся ваши очи.

Незадолго до смерти, отклоняя юбилейные «величания», Герман Александрович писал, что вовсе не робеет даже в людных аудиториях, но лишь в том случае, если убежден в необходимости высказаться: «Тогда я весь — огонь и натиск».

На женевских встречах он как в штыки ходил.

Нечаев бежал из Петропавловской крепости? Невозможность физическая.

Нечаев выбросил из тюремной кареты записку с призывом к студентам? Ложь! Из тюремной кареты ничего не выбросишь. И крепость, и эта записка, написанная вовсе не под арестом, — все ложь.

Письмо Любавину? Тот же подлый прием, что и объявление шпионом несчастного Ивана Иванова!

Нечаев создал мощную организацию? Обман! Нечаев создал комитет? Комитета не было. Иван Иванов предатель? Нет, свой, убитый своими.

Лопатин подвел итог: реальный Нечаев создал легендарного Нечаева. Все это было бы смешно, когда бы не было так гнусно.

Лопатин питал отвращение ко всякому культу личности, ко всему, что содействует суеверному преклонению перед авторитетами. И, в сущности, это он, Лопатин, подготовил материал для оценок Нечаева и нечаевщины, которые были представлены конгрессу I Интернационала.

Герцен говорил о Бакуине: «Его былое дает ему право на исключение, но, может, было бы лучше не пользоваться им».

Последуем совету Герцена.

В былом Бакуина были баррикады, австрийские и саксонские тюрьмы, ожидание смертной казни, крепости Петропавловская и Шлиссельбургская.

Былое — было, были и думы: обширная «Исповедь», адресованная из рavelина Николаю Первому, плюс прощения, адресованные из каземата Александру Второму.

«Исповедь» мечена царским карандашом; пометки большей частью одобрительные. Николай сказал: Бакунин «умный и хороший малый, но опасный человек... Его надобно держать взаперти».

«Опасного человека» держали три года в Алексеевском рavelине и столько же на острове в истоке Невы. Там, в Шлиссельбурге, он перенес жесточайшую цингу, всех зубов лишился. Но «хорошего малого», автора «Исповеди», одарили милостями: ни в рavelине, ни в Шлиссельбурге никому от века не давали свиданий; Бакуину давали, и притом продолжительные. Вот союзник его, польский патриот Валериан Лукасинокий, тот не был «хорошим малым», сидел в Светличной башне почти сорок лет. Цари сменялись, Лукасинский оставался в крепости, где и скончался. А Бакуина вскоре после воцарения Александра Второго отправили в Сибирь. Не в рудники — на поселение, и не в улусе, а в городах. И разрешили навестить проездом родовое гнездо Прямухино Тверской губернии.

Из Сибири Бакунин писал в Лондон — Герцену. Упомянул и о своей рavelинной «Исповеди». Именно упомянул: «Я подумал немного и размыслил, что перед жуго*, при открытом судопроизводстве, я должен бы был выдержать роль до конца, но что в четырех стенах, во власти медведя, я мог без стыда смягчить

* Суд присяжных (англ.)

формы...» И далее: «Исповедь» была написана «очень твердо и смело».

Если смелостью считать хулу Запада вообще, немцев в частности, то смелость была. Если твердостью считать призыв к русскому царю возглавить славянство, то твердость была. И опять смелость: «Буду говорить перед Вами, как бы говорил перед самим Богом, которого нельзя обмануть ни лестью, ни ложью». И опять твердость: «Потеряв право называть себя верноподданным Вашего Императорского Величества, подписываюсь от искреннего сердца кающийся грешник Михаил Бакунин».

Вот такие пассажи отречения от своего бывшего обернул он ватой «смягченных форм». И это тот, над бурным ликом которого Блок начертил одно слово: «Огонь»?!

Десятилетия тюремная «Исповедь» Бакунина хранилась в особом пакете в кабинетном шкафу шефа жандармов. После революции, в самом начале 20-х годов, она была опубликована.

Тотчас на память — пушкинское: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как и мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе».

Не будучи постным моралистом, все ж не очень-то охотно приемлешь это — «иначе». Но сейчас не о том. Отнюдь не все, далеко не все, читавшие «Исповедь», злорадно хихикали. Нет, одни усматривали в «Исповеди» рецидив дворянского смирения перед первым дворянином империи; другие — исповедь, но без покаяния; третьи — потрясающие, почти предсмертные эмоции узника, жаждущего движения, жизни, борьбы; четвертые — исповедальную прозу, не уступающую шедеврам Руссо и Толстого.

Если ж миновать оттенки, полутона, оговорки, то черное и белое обозначилось так: «Исповедь» — измена идеалам и самому себе; «Исповедь» — военная хитрость: вырваться в Сибирь, а из Сибири — в Европу. Или компромисс. Примерно такой, о котором у Салтыкова-Щедрина: где-нибудь в уголку, где-нибудь втихомолку испросить на коленках прощение и получить за это возможность исподволь, но неотразимо напакоstitь врагу.

Допустим. Но если ты пакостишь врагу, то и враг пакостит тебе. Бакунин бежал, Бакунин «пакостил». А враг с таким камнем за пазухой, как «Исповедь», помалкивал. Правда, публикацию ее, насколько известно, готовили, и тем, несомненно, наповал подсекли бы апостола анархии. Однако нет, не опубликовали. Почему? Что за притча? Может быть, согласиться с версией Жака

Дюкло, вождя французских коммунистов? Царское правительство не трубило о бакунинской измене революции, дабы помочь ему изнутри взорвать борьбу европейского пролетариата. Ох, ты Господи, спаси и помилуй! Царское правительство не отличалось ни столь изощренным хитроумием, ни столь тонкой осведомленностью о разногласиях Маркса с Бакуниным. А последний мог быть кем угодно, но только не диверсантом-двуручником, засланным иностранной разведкой в пролетарский стан. Дюкло мыслил стереотипом сталинской выделки.

Но что верно, то верно: еще будучи редактором «Рейнской газеты», Маркс первым публично обозвал Бакунина русским шпионом (последний — долг платежом красен — пустил слух, что Маркс — агент Бисмарка) и никогда не подумал извиниться. Энгельс говорил, что Бакунин, как и многие русские, настроенные социалистически, готов использовать любые средства для достижения своих целей. Маркс ошибался. Энгельс не ошибался.

После «Исповеди» Бакунин прожил четверть века. Мы уже говорили: он эластично упомянул об «Исповеди» в своем иркутском письме к Герцену. Исповедь Руссо, по замечанию Лермонтова, имела «уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям»; исповедь Бакунина этого недостатка не имела. Зато его переписка с друзьями наводит на некоторые размышления и по поводу «Исповеди». Останавливаешься на строках, адресованных Огареву (как раз в те средние ноябрьские дни 1869 года, когда Нечаев, обладатель бакунинского мандата, рещал участь Ивана Иванову): «Ты, мой друг, напрасно предаешься унынию и, ковыряя в своей душе, находишь в себе разные гадости. Нет сомнения, что всякий *без исключения*, кто захочет в себе ковырять таким образом, найдет много неприличного».

«Без исключения» подчеркнуто Бакуниным. Великодушие? Не тужи, мол, Платоныч, все мы, брат, грешные люди. А может, глужое признание «неприличия» и «гадостей» в собственной душе?*

Цитирую воспоминания философа Н. Лосского: «Только однажды кто-то из товарищей задал мне несколько неясный вопрос,

* М.А. Бакунин словно бы догадывался (или знал?), что какие-то сведения, для него неслестные, просочились, выскользнули и дошли до его бывшего друга М.Н. Каткова, в ту пору влиятельного идеолога самодержавия. Совсем немного времени минуло после бакунинского письма Огареву, как в катковской газете «Московские ведомости» появилась статья, замеченная К. Марксом. Последний сообщил Ф. Энгельсу, ссылаясь на «Московские ведомости», что Бакунин обращался к императору Николаю с письмом в высшей степени верноподданническим. Энгельс ответил, что разоблачения такого публициста, как Катков, стоят немного.

думаю ли я, что копаться в проблемах личной нравственности (таких людей называл он «нравственными свиньями») и заботиться о ней полезно, или я полагаю, что личная нравственность не имеет значения в сравнении с общественными проблемами. Я решительно стал протестовать против пренебрежения личной нравственностью, и товарищ мой замолчал. Думаю, что это был единственный случай, когда я столкнулся с умонастроением, ведущим на путь Петра Верховенского или Нечаева».

Каков, однако, счастливец: «единственный случай»! А мы-то, читатель, отжили более полувека в ядовитой атмосфере презрения к л и ч н о й нравственности, словно бы она — вид частной собственности.

Белинский не умел выразить своего чувства к Бакунину иначе, как «любовью, которая похожа на ненависть, и ненавистью, которая похожа на любовь». И ещё так: «чудесный человек и бессовестность с недобросовестностью». Это перекликается с Энгельсом: «Одним из его главных принципов является утверждение, что верность своему слову и тому подобные вещи — просто буржуазные предрассудки, которыми истинный революционер в интересах дела должен всегда пренебрегать». Да, так! Истинный революционер, вождь пролетариев всех стран Ленин В.И. такие понятия, как «обязательство» или «благодарность», называл «глупостью».

Вероятно «Исповедь» свою, уже окутанную флером времени, Михаил Александрович искренне считал продуманным маневром в единоборстве с медведем-самодержцем, перед коим «дрожат миллионы». И все же той стороной души, которая была «чудесной», он вряд ли не ощущал ее «неприличие» и «гадость».

«Но зачем предаваться излишнему ковырянию своего прошлого, своей души?» — спрашивает Бакунин Огарева (и себя) и отвечает Огареву (и себе): «Ведь это также занятие самолюбивое и совершенно бесполезное. Раскаяние хорошо, когда оно может что изменить и поправить. Если же оно этого сделать не может, то оно не только бесполезно, а вредно. Прошедшего не воротишь».

Без «Исповеди», без невеселых замечаний Белинского и Энгельса, без письма к Огареву не понять позиции Бакунина в «нечаевской истории». Не понять медлительности его отступления перед на-

На наш взгляд, много стоит другое. Маркс, борясь с Бакуниным за влияние в Интернационале, каждое лыко в строку ставил. А тут эдакое лыко-то! Энгельс противостоял не столько Бакунину, сколько бакунизму. И противостоял рьяно. Однако он, как видите, не желает пользоваться свидетельством враждебной газеты, свидетельством идеолога самодержавия, пусть и пореформенного. Маркс подозрителен. Энгельс доверчив.

тиском Лопатина. Не понять, наконец, и послания (отчасти тоже исповедального) к «беспардонному юноше», чей словесный портрет после убийства Иванова был опубликован в только что упомянутых нами «Московских ведомостях»: довольно густые, но недлинные, зачесанные назад каштановые волосы; узкие, глубоко провалившиеся глаза с бегающими зрачками; тоненькие подкрученные усики с просветом под носом; жиденькая бородка и баки; профиль довольно правильный, но en face широкий лоб и скуластость делают лицо квадратным и придают Нечаеву вульгарный вид.

Огромно и бурно это послание, ревет водопадом. Бакунин писал не отрываясь. Не заботился о композиционной стройности. Не перемарывал. Спокойствия не было. Но «любезного друга» просил спокойно обдумать «свое и наше, общее положение».

Что же следовало обдумать Нечаеву?

Выворотим капитальное, из капитального — противоречивое.

Признавая программную солидарность с Нечаевым, Бакунин порицает нечаевский иезуитизм, нечаевские инсинуации. Порицает, стало быть, средства. И это он, Бакунин, в борьбе готовый на все? Да, но не тогда, когда это «все» оборачивается против Бакунина. «Вы обманули меня», — негодует патриарх. — «Вы предали во мне «индивида», советы и знания которого могут пригодиться, не более». «Вы смотрели на меня, как на опытное, на 3/4 слепое орудие». И все же он, Бакунин, убедился и до сих пор убежден — именно такие, как Нечаев, и представляют «единственное серьезное революционное дело в России». Какие такие? «Самоотверженные изуверы», объятые «высоким фанатизмом».

И Бакунин вдохновенно-поэтически всматривается в багровый лик Революции. Очаги бунтов сливаются в единое всероссийское пламя, зарево делает небо медным, осуществляется святая мечта, живущая в коллективном сердце каждой мужицкой общины, — захват не только помещичьей, но и «крестьянско-кулацкой» земли. (Заметьте: «и кулацкой», считает Бакунин задолго до большевиков.)

Но он, Бакунин, не уповает теперь на близость всероссийского мятежа. И, возвращаясь к мысли о заговоре, подобном «Народной расправе», признает: нужна «продолжительная и терпеливая подземная работа по примеру Ваших (т.е. Нечаева — Ю.Д.) друзей-иезуитов». Хитрость и обман необходимы, опутывание врагов — тоже. А с друзьями — доверие и честность. (Не правда ли, благие наставления для убийцы Ивана Иванова?) Имя убитого ни разу не упомянуто в длинном послании. Сказано: вы, мол, Нечаев, увлеклись игрой в иезуитизм.

Но есть и другие наставления: о дисциплине, о принципах подпольного общества. Принципы венчаются надеждой: вы создадите штаб революции из людей безусловной нравственности и безусловной преданности народу. Однако «чистоплотничать нечего», «кто хочет сохранить свою идеальную и девственную чистоту, тот оставайся в кабинете, мечтай, мысли, пиши рассуждения или стихи. Кто же хочет быть настоящим революционным деятелем в России, тот должен сбросить перчатки».

Не старается ли Бакунин перекричать самого себя? И еще кого-то другого? Нет, не Сергея Нечаева, беспардонного и бесперчаточного, а тех, кто не остался на кабинетном диване. Бакунин называет Германа Лопатина. А-а-а, кричит Бакунин, я знаю, я знаю, нам не по пути, я знаю... Голос срывается, дрожит: да, было тяжело, невыразимо тяжело... Последняя поездка, пишет Бакунин Нечаеву, имея в виду поездку в Женеву (он жил в Локарно), «совершенно потрясла мою веру в честность, правдивость Вашего слова».

Далее про Лопатина:

«Он торжествовал. Вы перед ним пасовали. Я не могу Вам выразить, мой милый друг, как мне было тяжело за Вас и за самого себя. Я не мог более сомневаться в истине слов Лопатина. Значит, Вы нам систематически лгали. Значит, все Ваше дело прониклось протухшею ложью, было основано на песке. Значит, Ваш Комитет, это Вы, Вы, по крайней мере, на три четверти, с хвостом, состоящим из двух, 3—4 человек, Вам подчиненных или действующих, по крайней мере, под Вашим преобладающим влиянием. Значит, все дело, которому Вы так всецело отдали свою жизнь, лопнуло, рассеялось как дым, вследствие ложного, глупого направления, вследствие Вашей иезуитской системы, развратившей Вас самих и еще больше Ваших друзей. Я Вас глубоко любил и до сих пор люблю. Нечаев, я крепко, слишком крепко в Вас верил, и видеть Вас в таком положении, в таком унижении перед говоруном Лопатиным было для меня невыразимо горько».

И еще: «Лопатин удивляется, что я Вам поверил, и в учтивой форме выводит из этого факта заключение, не совсем выгодное для моих умственных способностей. Он прав, в этом случае я оказался круглым дураком. Но он судил бы обо мне не так строго, если бы он знал, как глубоко, как страстно, как нежно я Вас любил и Вам верил!»

И раскат: «Всего этого довольно, Нечаев, — старые отношения и взаимные обязательства наши кончились. Вы сами разрушили их... Итак, я объявляю Вам решительно, что все до сих пор прочные отношения мои с Вами и с Вашим делом разорваны».

Казалось бы, и баста? О нет, продолжает:

«Но разрывая их, я предлагаю Вам новые отношения на иных основаниях». Эту строку Бакунин подчеркивает. Потом пишет: «Лопатин, не знающий Вас так, как я Вас знаю, удивился бы такому предложению с моей стороны после всего, что между нами случилось».

Предложенные Нечаеву «иные основания» разбил надвое: личные и общие.

Личные касались отношений Нечаева с теми или другими эмигрантами; сверх того Бакунин настаивал на том, чтобы Нечаев прекратил «опутывание» друзей Лопатина — Даниельсона и Любавина.

Общие основания насчитывали девять пунктов. Важнейшим был второй: «Вы извергнете из вашей организации (надо понимать: будущей — Ю.Д.) всякое применение полицейско-иезуитской системы, довольствуясь ее применять (так в тексте — Ю.Д.), и только в мере самой строгой практической необходимости, а главное разума, только в отношениях к правительству и ко враждебным партиям».

Бакунин, неисправимый бакунист, заговорщик-романтик, требовал от Нечаева, неисправимого нечаевца, заговорщика-реалиста, невозможного: перестать быть самим собою.

Заканчивая разговор о Бакунине, хотелось бы привлечь внимание к интересному наблюдению философа Э.Ю. Соловьева, нашего современника. По его мнению, нечаевская история оказалась весьма существенным событием в биографии Бакунина: началась полоса «запоздалого, творчески непродуктивного раскаяния». Кризис завершился духовным упадком. «Жизнь Бакунина не просто поучительна, — пишет Соловьев, — она исторически симптоматична: в ней как бы уже проиграна общественная судьба анархистского, бунтарски-революционного мировоззрения».

Наш современник рассуждает верно, но как бы отстраненно от предмета своих рассуждений. Читая другого философа, младшего современника Бакунина, читая воспоминания Г. Вырубова, теплешь сердцем. Можешь не разделять его выкладки, не можешь не разделять его чувства.

«Бедный Бакунин!.. Богато одаренный, с неистощимым запасом энергии, он мог бы совершить многое, — и ничего не совершил. Как белка, с большими усилиями вращающая свое проволочное колесо, воображая, что бежит, он в продолжении сорока лет неустанно работал не над реальными явлениями, а над продуктами собственной фантазии. Он извел свои необычайные

способности и истратил свои колоссальные силы на постройку здания, у которого не было фундамента, потому что не существовало почвы, чтобы его установить; он упорно замыкался в призрачный мир отвлеченных идей — оттого он и не оставил никакого осязательного, конкретного дела. Виною такого несоответствия между талантом и его приложением — не Бакунин, а слепая судьба. Он родился слишком полувека позднее и не там, где следует: ему место было во Франции 1792 года, — он был бы там Дантоном, Маратом, Бабефом; он умер бы на эшафоте или на баррикадах, но, по крайней мере, способствовал бы созданию тех плодородных зачатков, из которых вырос мало-помалу современный умственный и политический строй. Но не то выпало ему на долю... А какой это был, помимо своей революционной мании, добрый и симпатичный человек!»

На компромиссы идти Нечаев умел (пробовал стакнуться с Лопатиным), подчиняться — не умел. И Бакунин вскоре порвал со своим «тигренок». Да и то сказать, старик-то был отыгранной картой. Если в чем-то Нечаев и нуждался, так это в безопасности.

Как раз в мае 1870 года, когда начались сражения с Лопатиным, Нечаев имел случай убедиться, сколь настойчиво разыскивают его царские агенты и швейцарские полицейские, — был арестован один из русских эмигрантов, потом его выпустили: извините, обознались*.

Петербургские власти вовсе не горели нетерпением покарать Нечаева за убийство Ивана Иванова. Нет, бери, что называется, выше. Программа «Народной расправы», ставшая известной после ареста нечаевцев, предрекала особам царствующего дома, как и особам первого класса, казнь «мучительную, торжественную перед лицом всего освобожденного черного люда, на развалинах государства». Отсюда понятна персональная заинтересованность в аресте Нечаева. И тут уж сил не жалели ни глава Третьего

* То был А.Е. Голубев. Его рукопись — «Знакомство с Нечаевым и арест "вместо" Нечаева» — находится в Симферопольском архиве, о чем нам любезно сообщила журналистка А. Вассерман.

Розыск Нечаева освещают документы Женевского архива. Там же документы и о сотрудничестве швейцарской республиканской полиции с российской имперской: донесения агента из Швейцарии некоего Горлова — см. ГА РФ, ф. 109, о. 1, д. 415. В этих архивах ни раньше, ни теперь нам не удалось поработать: раньше сидели по горло в застое и туда, за рубеж, вояжировали, как говаривал Лесков, особливые люди; теперь нет ни приглашения, ни спонсора.

отделения и корпуса жандармов граф Шувалов, ни заведующий агентурой Филлипеус, ни Роман, бывший боевой офицер, а затем удачливый шпион, осевший в Швейцарии, среди эмиграции, ни полковник Никифораки, весьма неглупый и энергичный штаб-офицер.

Нечаев скрывался. Его прятали друзья Бакунина. Но темперамент Нечаева не принимал покоя. Ему были необходимы новые люди, новые связи, новые, как тогда говорили, конспирации, поездки нужны были, города и встречи.

Был он в Лондоне. Там жил тогда его заклятый враг. Судьба свела их на берегу Темзы, но не свела лицом к лицу. Да и зачем? Вряд ли Нечаев и Лопатин нуждались в обмене новостями. «В последнее время я получил из России, — писал Герман Лопатин старшей дочери Герцена, — показания некоторых товарищей Нечаева и признания, сделанные друзьям некоторыми из соучастников его в убийстве Иванова. Эти признания бросают еще более мрачную тень на все это печальное дело».

К этому сообщению Лопатина у меня нет комментария. Должно, однако, признать, что именно он сыграл главную роль в том, что Нечаев, утратив капитал, обрел кайнову печать. Дочь Герцена получила на сей счет письмо от Петра Лаврова, которым очень дорожил ее покойный отец. «Нечаев потерял, наконец, всякий кредит в нашей эмиграции, — радовался автор письма. — Не знаю его лично, но думаю, что это был один из наиболее вредных элементов среди наших изгнанников». «Как я слышал, — мельком замечает Лавров, — он даже оставил Швейцарию».

Да, верно, оставил. Был в Англии. Потом приехал в Париж. Приехал не позднее середины сентября 1870 года; позднее не попал бы — прусские войска осадили столицу Франции, шла франко-прусская война.

Парижский период в жизни Нечаева освещен тускло. Правда, этот период краткий, несколько месяцев. Да ведь какие месяцы! Не в Париже рантье и спекулянтов жил Нечаев, а на рабочей окраине Бельвиль, в том самом предместье, где собирали деньги на артиллерию, из-за которой позже возник острый конфликт, в сущности, положивший начало Коммуне. Там, в Бельвиле, Нечаев дружил с Генри Бриссаком, будущим коммунаром и каторжанином.

С Фабром, душителем Коммуны, он, конечно, не дружил, но адрес записан. Зачем, для чего понадобился? Ответа нет (у меня). Но вот что примечательно: этот Фабр был очень и очень недоволен русской политической эмиграцией: от нее все беды, напасти,

зло. А петербургские фабры указывали перстом в сторону Парижа — оттуда-то и прет зараза, от французских «коммуналистов». Дни Парижской коммуны совпали с днями петербургского процесса, участниками которого были и пятеро нечаевцев-убийц.

Что же до фабров, как западных, так и восточных, то в известной мере правы были и те, и другие. Тучи, заряженные революционным электричеством, всегда наплывали с Запада. А русские, зарядившись сим электричеством, бросались в европейские бучи.

Если прямое участие Нечаева в опытах «коммуналистов», каковые, сомненья нет, пришлось ему по сердцу, не выявлено, то старик Бакунин, плконув на телесные недуги, встрял в Лионское восстание. Минувя других россиян, вспомним своенравного, раздражительного бакуниста Сажина, Михаила Сажина. Он сражался на баррикадах в том самом квартале Парижа, где жил Нечаев. Однако в воспоминаниях Сажина это имя не встречается.

Но вот узелок, доселе не развязанный. Историки журналистики не сопоставили Нечаева с безымянным автором «Сцен из жизни в осажденном Париже», опубликованных в «Неделе»*. Между тем, в мемуарах современников находишь упоминание о сотрудничестве Нечаева в этом радикальном петербургском издании. Посредником между ним и редакцией был, очевидно, его земляк и товарищ, уже упоминавшийся нами Ф.Д. Нефедов; в те годы Нефедов печатался на страницах «Недели» под псевдонимом Н. Оврагов.

В конце января 1871 года было подписано перемирие. Многие, натерпевшись голода, пешим ходом покидали Париж. Нечаев благополучно миновал прусские контрольные пункты; у него был документ на имя серба Стефана Гражданова**.

Один из друзей Лопатина писал: Нечаев в Цюрихе «устраивает свой лагерь и, о удивление, еще находит честную молодежь, соблазняющуюся его фокусами!!!»

Там же, в Цюрихе, свой «лагерь» давно устроила и русская агентура. В разгар лета 1872 года туда прибыл осанистый господин в отличню сшитом сюртуке-визитке и модном «умеренно высоком» цилиндре. Не осмотрев достопримечательностей и не полюбывав-

* Ежедневная литературно-политическая газета (1866—1901).

** Некоторые (впрочем, не очень-то весомые) основания позволяют предположить, что Нечаев оставил Париж уже после Коммуны. Позднее, находясь в Алексеевском равелине, он написал роман «Жоржетта», один из героев которого гибнет на баррикадах, как некогда тургеневский Рудин.

шись на Альпы, майор Николич-Сербоградский имел рандеву с Адольфом Стемпковским.

Лет десять назад этот не первой молодости человек, одетый с той бедностью, которую называют опрятной, участвовал в польском восстании; по некоторым сведениям входил в подпольную группу «Товарищество». Разгром выбросил Стемпковского на берега Женевского озера, а потом и Цюрихского. Обремененный семейством, он пробавлялся изготовлением уличных вывесок и бедствовал, пока не был завербован Третьим отделением.

Стемпковский считался «блестящим агентом». Донесения он отправлял в Варшаву, редактору «Варшавского дневника» г-ну Поливанову, женатому, сказать кстати, а может, в данном контексте, и не кстати, женатому, говорю я, на Анне Сергеевне, урожденной Пушкиной. (Возможно, впрочем, что в редакции служил уже не зять «солнца русской поэзии», а племянник.) Из Варшавы донесения Стемпковского отправляли в Петербург, на Фонтанку, 16, в Третье отделение. Ныне «стукачество» Стемпковского — в ГА РФ, ф. 109.

Почти ни один агент не объясняет свое сотрудничество материальными выгодами, и Адольф заявил петербургскому начальству, что им движет горячее желание заслужить помилование и вновь увидеть милую Варшаву. Может, и вправду им владела ностальгия, но в тоске по родине изнывали многие бывшие повстанцы, однако стемпковскими не были.

С приездом Николича-Сербоградского, адъютанта шефа жандармов, Стемпковскому выпал билет убить двух зайцев: получить и амнистию, и куш в пять тысяч золотом.

Стемпковский познакомился с Нечаевым недавно. Крайне нуждаясь, тот просил работенку по части изготовления вывесок — пригодились навыки, приобретенные еще в селе Иванове. Стемпковский приискивал. И потому мог в любой день пригласить Нечаева под вполне благовидным предлогом. Правда и то, что через Стемпковского Нечаев налаживал связь с польскими революционерами.

Так вот, Стемпковский назначил Нечаеву свидание. Они поговорили и разошлись. А неподалеку, опираясь на трость, разглядывал витрину осанистый господин. Он опознал Нечаева: фотографию майор держал при себе.

Не мешкая, Николич нанес визит шефу цюрихской полиции. Обходительный г-н Пффенингер, предупрежденный президентом республики, обещал помощь «живой силой». На другой день в распоряжение Николича поступили майор Нетцли и восемь жандармов.

На исходе 1869 года Нечаев заманил Иванова в парк Петровского-Разумовского. В августе 1872 года Стемпковский заманил Нечаева в пригородную харчевню «Muller Cafe Haus». Полицейские в штатском дежурили на тихой улочке; другие прятались в саду, рядом с харчевней.

Стемпковский пришел в начале второго. Жандармский вахмистр (конечно, в цивильном) сидел за одним из столиков. Ровно в назначенный Стемпковским час пришел Нечаев. Загасив сигару, ротмистр попросил Нечаева выйти «на два слова». Нечаев вопросительно взглянул на Стемпковского, тот неопределенно, но спокойно пожал плечами.

Мгновение спустя послышался яростный крик Нечаева. Еще мгновение — и руки скручены цепью. Выхватить револьвер он не успел.

Арестованного доставили на гауптвахту. Там уже пил кофе начальник цюрихской полиции. Сербоградский шепнул ему, чтобы он следил за выражением лица арестованного, и произнес громко, внятно, веско:

— Здравствуйте, господин Нечаев, наконец-то я имею случай ближе с вами познакомиться.

В архиве Третьего отделения есть документация почти коммерческая: «О расходах по доставлению Нечаева». Восемнадцать тысяч рублей золотом ухлопали на арест и препровождение Нечаева в Россию соединенными усилиями полиции цюрихской, баварской, прусской и русской. Из других документов ясно участие в этом деле чиновников дипломатической службы.

Судили Нечаева в Москве.

Подсудимый не признал суд правомочным. И не признал себя уголовным преступником. Снисхождения не просил. Объявил: «Долой деспотизм!»

Его приговорили к двадцатилетней каторге. Император ужесточил приговор: повелел заточить н а в с е г д а в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.

Мужество Нечаева в стенах суперсекретного равелина, в который даже высшие чины корпуса жандармов не смели заглянуть без высочайшего дозволения, тюремное мужество Нечаева — пример невероятной стойкости духа.

Позвольте, однако, сделать небольшое отступление, ибо дух веет, где хочет. Полагаю, многие эски изъяснились бы прозой или стихами, если бы им давали бумагу не только для жалоб прокурору по надзору за местами заключения. Нечаеву от времени до

времени разрешали пользоваться письменными принадлежностями. Я уже, кажется, упоминал, что он писал роман. Да, это так.

К великому сожалению, рукописи горят — нечаевские пожрал камин в сумрачном служебном кабинете департамента на Фонтанке. Утрачен громадный материал: психологический, графологический, биографический. Не исключая — и литературоведческий. Прелюбопытно было бы исследовать тексты Главного Беса. Но есть и аспект, табуированный в советской историографии; имею в виду сексуальный. А тут... Во-первых, тюрьма даже в пламенном революционере воспламеняет плотский голод. Во-вторых, романистика предполагает романтическое. Весьма вероятно, прояснились бы интимные отношения равелинного автора со старшей дочерью Герцена. (Их переписка была уничтожена сразу же после ареста Нечаева в Швейцарии.) А еще вот что: вдруг бы да и приоткрылась завеса над строками, не раз опубликованными, но, если не ошибаюсь, ни разу не комментированными; имею в виду строчки Б. Пастернака о нигилистах, которые —

Шли на казнь
И на то,
Чтоб красу их подпольщик Нечаев
Скрыл в земле,
Утаил
От времен, и врагов, и друзей.

Тут много неточностей. Или, что называется, поэтических вольностей. Но почему именно Нечаев-то избран в покорители и потребители красоты нигилистов? Если знатоки жизни и творчества Пастернака оставят вопрос открытым, то уж беллетристы (постсоветовые), переоценивая всё и вся, вольны воспользоваться предложением весьма неглупого и весьма ироничного А.М. Романова. В своих воспоминаниях великий князь Александр Михайлович советовал тем, кто занимается героями освободительного движения, обратиться к работам по половой психопатологии.

Итак, тюремные рукописи Нечаева были сожжены. Хорошо еще, что в кануны кремаций их внимательно прочитывал чиновник Третьего отделения. Этот синемундирный читатель, аналитик недожиданный, так определил черты и свойства сочинителя, запертого в каземате номер пять: все достоинства и недостатки самоучки, вплоть до неумения опличить софизмы от верных умозаключений; только себя и своих клеветов признает истинными друзьями народа, остальных — уничтожить; ему присуще самоуслаждение в созерцании своей ненависти к этим другим... Поразительное

совпадение с умозаключениями людей и несхожих между собою, и антиподов должностному лицу сыскного ведомства. Известный адвокат Спасович разглядел в Нечаеве нарциссизм. Не менее известный Энгельс выразился энергично и исчерпывающе: «Форменный революционный людоед».

Как бы ни было, а может, и как раз в силу указанных особенностей, десятилетнее поведение Нечаева в каземате, похожем на склеп, уникально не только степенью нестигаемости узника, но и степенью сгибаемости тех, кто призван был не сводить с него глаз.

День за днем он точил сердца своих стражников. Внушал, что «страдает безвинно, за правду, за мужиков», что «такие же люди, как он, произведут переворот», что «его сообщники отберут землю от помещиков и раздадут поровну между крестьянами, фабрики же и заводы станут принадлежать рабочим».

С помощью солдат узник связался с петербургским подпольем. Казалось бы, ему думать о собственном спасении, о себе, о своей ужасной участи. Вряд ли даже самый непримиримый противник Нечаева попрекнул бы его за подобный «эгоизм». Так нет — опять поразительное свойство натуры — он озабочен практическим, повседневным революционным делом, которое продолжается за стенами крепости.

В зашифрованной записке, изъятой в 1881 году у арестованной Софьи Перовской, Нечаев писал: «Кузнецов и Бызов порядочные сапожники, следовательно, они могут для виду заниматься починками сапогов рабочих на краю Питера, близ фабрик и заводов. В их квартире могут проживать под видом рабочих и другие лица; к ним могут ходить нижние чины местной (Петропавловской — Ю.Д.) команды. Колыбина можно сделать целовальником в небольшом кабаке, который был бы притоном (тогда еще не говорили — «явкой» — Ю.Д.) революционеров в рабочем квартале на окраине Питера. Тот, кто приобретет на них влияние, может вести их куда хочет, они будут дорогими помощниками в самых отважных предприятиях. К ним же надо присоединить и Орехова (Пахома), который первый с вами познакомился».

Такие же записки узника были обнаружены и у арестованного Андрея Желябова. Кстати сказать, в одной из них Нечаев указывал на своего друга-земляка Ф.Д. Нефедова, как на человека верного.

Однако Нечаев не был бы Нечаевым, если бы оставил за воротами крепости свою неискоренимую приверженность к мистификациям и моральному террору.

Покоряя рavelинную охрану, он как бы вскользь, а вместе и настойчиво внушал солдатам, что за него, Нечаева, стоит горой наследник престола и, стало быть, всем, кто помогает ему, узнику номер пять, воздастся сторицей.

Одновременно он страшал, запугивал тех, кто бросал в его каземат луч света (записки, свежие газеты), тех, кто был готов, рискуя головой, отворить темницу: хоть на волос послушайте, хоть на вершок колебнитесь, мигом сообщу зрителю о вашем ко мне доброхотстве.

Из Алексеевского рavelина, этой крепости в крепости, из рavelина, куда воспрещался доступ прочим служителям Петропавловской крепости, никто никогда не бежал. (Да и вообще из Петропавловки.) Нечаеву, вероятно, удалось бы невероятное. Его предал некто, обозначенный в секретном документе коменданта крепости буквой «М». То был заключенный террорист Л. Мирский.

Солдат караульной команды судил военный суд*. Три унтер-офицера и девятнадцать нижних чинов угодили на несколько лет в штрафные батальоны, потом — в ссылку.

Никто из осужденных, потерявших все, не поминал Нечаева лихом. Нечаев, читаем в мемуарах, «точно околдовал их, так беззаветно были они ему преданы. Ни один из них не горевал о своей участи, напротив, они говорили, что и сейчас готовы за него идти в огонь и воду».

Что это — «святая простота»? Всепрощение, якобы свойственное народной душе? А не вернее ли так: готовность идти в огонь и воду не за него, а з а н и м ?

В.Г. Короленко называл Нечаева железным человеком, циником и революционным обманщиком. В якутской ссылке Владимир Галактионович беседовал с солдатом-«нечаевцем». Отметил: тот рассказывал о лукавстве Нечаева. Заметьте: л у к а в с т в е ! Чуткий Короленко не написал — рассказывал-де о нечаевской лжи, нечаевских мистификациях и т.п. Нет, что слышал, то и написал.

Суть не в добродушии, а в тайном мужицко-солдатском отношении к нечаевским эживокам. Оно, право, сродни отношению пугачевцев к Пугачеву: э-э, батюшка, кем ты ни назовись, кто бы ты ни был, лишь бы дело сделалось. Тут встречное, ответное лукавство. А нечаевское — от «лукавина», как прозывали в народе беса-соблазнителя. Но вот о чем несправедливо было бы умол-

* Подробнее см.: ЦГИА (Петербург), ф. 1280, о. 5, д. 219 — О беспорядках в Алексеевском рavelине.

чать: соблазняли и самого соблазнителя. Народовольцы предлагали ему побег. Говорили, впрочем, напрямик, что на устройство столь сложного и опасного предприятия потребуются все силы и средства, а это отложит покушение на Александра II до греческих календ. Никакой позы не принимая, никакой мелодрамы не учиняя, Нечаев отказался — просто и твердо отказался.

Уже после убийства царя, в преддверии коронации его сына Александра III, полулегальная монархическая Священная Дружина, нащупав связь с подпольем, предлагала: если до торжества в Успенском соборе не произойдет террорных актов, от правительства последуют «блага»; и как бы в залог и подтверждение своей искренности Священная Дружина обещала добиться освобождения из заключения любого осужденного революционера. И хотя за решеткой уже находились многие члены Исполнительного комитета «Народной Воли», их товарищи назвали одно имя — имя Нечаева. Все это я говорю к тому, что избобличение, произведенное Лопатиным, громы и молнии Бакунина, все это словно бы было забыто. Или, по крайней мере, не отнимало у Нечаева репутации «горного орла» революционного поднебесья.

Если бы Нечаев действительно вышел из крепости... Нет, нет, историки, негодуя, отвергают все и всяческие «если бы».

Из ворот крепости он не вышел. Он умер 21 ноября 1882 г., в день тринадцатой годовщины злодейского убийства Ивана Иванова.

Нечаевцы пережили Нечаева.

Петр Успенский на суде не вилял. Рассудительно и как бы даже кафедрально обосновал он необходимость «мокрухи» в Петровском-Разумовском:

— Мы понимали очень хорошо, какая громадная сила находится перед нами и как ничтожны те средства, которые мы могли противопоставить ей. Чем же мы могли заменить эти недостающие средства, как не нашей преданностью, нашей волей и нашим единодушием? Зная, как много прежние общества теряли от игры личных самолюбий, от разных дрязг, имевших в них место, мы старались скорее умалить собственную личность, чем дать повод думать, что мы свое «я» ставим выше общего дела. Иванов ничего этого не понимал. Господин прокурор говорит, что я посовестился бросить тень на Иванова. Совершенно справедливо. Мне было бы чрезвычайно неловко говорить дурно о человеке, который уже мертв и не может защищаться. Но я вынужден высказать о нем свое мнение, и уж, конечно, я не стану идеализировать его, я не

выдам похвального листа его ограниченности, не поставлю на пьедестал и не поклонюсь его тупости... Да, он был человек тупой и ограниченный. Не Нечаев к нему относился враждебно, а он к Нечаеву. Он никак не мог перевернуть мысли, зачем нужно повиноваться, когда приличнее самому повелевать. Вам говорят: «Он защищал свободу личности». Из чего это видно? Не из того ли, что он хотел устроить свое общество, но на тех же самых правилах, то есть на правилах безусловного подчинения ему? Вам говорят: «Он был искренний демократ». Не потому ли, что он свое самолюбие ставил выше общего дела? «Он был бедняк», «он не ел по целым дням горячего». Может быть. Но что же это чисто внешнее обстоятельство прибавляет к его нравственным качествам? Я имел возможность быть убежденным, что Иванов, не ставивший ни в грош общество, когда затрагивалось его самолюбие, мог легко, под влиянием своего несчастного, раздражительного характера, предать все это дело в руки правительства...

Всего замечательнее это «МОГ». Ключевое словечко, черт дери. Оно отвергает презумпцию невинности. И утверждает революционную целесообразность.

По прибытии в забайкальский острог Успенский поначалу сильно затосковал. Не то чтобы смирился со своей участью, а словно бы одеревенел. Но вот протекло две трети срока, протекло десять лет — и Петр Гаврилович ожил. Теперь уж, казалось, он дотянет до воли, то есть до поселения за острожными палями, в поселке, где его ждали жена и сын.

И дотянул бы, если бы не происшествие 1881 года. В тот год каторжане, задумав побег, приступили к рытью подкопа.

В тюрьме Успенский держался несколько особняком. От побега отказался — незачем рисковать, когда «до звонка» остается сравнительно недолго. Но как не помочь товарищам? Он работал в подкопе наравне с будущими беглецами.

День побега близился. И вдруг все прахом! Охрана обнаружила подкоп, дело сорвалось, острог затих, как в обмороке. Очнувшись, каторжане мрачно озирались: каждый подозревал другого, все искали измену, никто не допускал и мысли о случайности. Хотя именно так и было.

Впоследствии заключенные не могли припомнить, кто первым произнес: «Предал Успенский». Помнили другое — инициатором был Игнатий Иванов. И еще мнилось как бы мистическое веяние: этот невысокий, плечистый крепыш — мститель за своего однофамильца.

Киевский революционер Иванов был приговорен к повешению. Приговор заменили каторгой. Теперь он приговорил Успенского. О помиловании речь не заходила. Игнатий Иванов так же твердо уверовал в то, что Успенский мог предать, как сам Успенский верил в возможность предательства Ивана Иванова.

Была в остроге арестантская баня. Рубленая темная баня и в ней запечный угол. Когда-то Ивана Иванова заманили в глубь леса. Теперь Игнатий Иванов заманил в баню Успенского: надо, мол, потолковать секретно.

Успенского удавили. И уже бездыханного повесили. Расчет был прост — начальство не учинит дознания: явное самоубийство. Так и вышло.

Потом, позже, задним числом заключенные судили и рядили. Одни утверждали: «Кошмарное преступление». Другие смягчали: «Кошмарное несчастье»*.

Бывшие подручные Нечаева, сдастся мне, и в тюрьмах не клонились к покаянию. Вот разве Иван Прыжов, возрастом, повторяю, старший. Чудится иная духовная статья, иные, чудится, дрожат душевные струны.

Каторгу он отбывал в Забайкалье. Но не на Каре, каравшей по-черному, а в Петровском заводе, словно бы под сенью декабристов. До ареста Прыжов написал три книги: о нищих на Руси, о юродивых на Руси, о кабаках на Руси. Не думал, не гадал,

* П.Г. Успенский (1847—1881) был женат на А.И. Засулич (1847—1923), родной сестре известной горе-террористки, впоследствии не менее известной сподвижнице Г.В. Плеханова.

Несколько дней спустя после убийства Ивана Иванова жена Успенского, одного из убийц Иванова, благополучно разрешилась от бремени младенцем мужского пола. Кошмар в Петровском-Разумовском, участие в этом кошмаре ее мужа несколько не отразились на прекрасном душевно-телесном состоянии роженицы, ибо и для нее, как и для мужа, превыше всего на свете было дело освобождения народа.

Новорожденного нарекли Виктором. Вместе с младенцем А.И. Успенская, как и жена Прыжова, последовала за мужем-каторжанином в Сибирь. Жила на Нерчинском заводе и на Каре, служила акушеркой.

В.П. Успенский (1869—1919) — по образованию врач, депутат второй Государственной думы; выступал с резкими протестами по поводу истязания заключенных в Забайкальской каторге (1907 г.).

В 1983 г. в Москве, в жилом доме на Малой Бронной, были случайно обнаружены семейные документы Успенских; переданы в Исторический музей.

конечно, но обозначил три источника и три составных части революции на Руси.

Он был женат на Ольге Григорьевне Мартос. Говорили, что вольным Иван Гаврилович поглядывал на жену свысока. В Сибири, напротив, не фигурально, а буквально ножки целовал: она могла остаться в Москве, нет, не осталась. Кто-то из нечаевцев, кажется, Кузнецов утверждал, будто она была малообразованной женщиной. Гм! Ее рукописи, отосланные некогда на родину Ольги Григорьевны, в Киев, не пошли на папильотки — хранятся в Институте литературы украинской Академии наук. А рукописное наследие Прыжова тоже не съели мыши. В Сибири он написал прелюбопытное сочинение — «Собака в истории человека». Ежели прибавить это сочинение к трем указанным выше, то к истории русской революции прибавится предыстория Шариковых.

Сравнительно недавно из архивного фонда парижского происхождения мы извлекли два письма Ивана Прыжова. Оба датированы 83-м годом. В одном из них — горестное известие: «Ольга Григорьевна скончалась 15-го апреля, в великую пятницу, после четырехлетних ужасных болезней и неслыханных мук (ее лечили ядами, жгли), скончалась тихо, будто уснула. Убрав цветами и венками из олеандров эту великомученицу, мы ее погребли на погосте, между могилами декабристки А.Г. Муравьевой и декабриста Пестова. Тут вскоре улягусь и я».

Много позже, уже в этом веке, думал о Прыжове такой яркий философ, как Лев Шестов. И вопрос поставил, нисколько не мельче, нежели Бердяев, сравнивая Верховенского и Нечаева.

«Мы не знаем, каким путем шел Прыжов: «по Достоевскому или по Шекспиру», — раздумывал Шестов, — страдал ли он о своей погубленной душе, или страдал о душе, им погубленной. А может, страдал, так сказать, «вдвойне».

Полагаю, что вопрошатель не попадался на глаза журнал «Минувшие годы» за девяносто восьмой. Февральский номер опубликовал «Исповедь» нетипического нечаевца, насквозь русского в своих несчастьях, давно упокоившегося среди забайкальских сопок. «Исповедь», написанную в каземате Екатерининской куртины Петропавловской крепости. «Исповедь», отданную автором своему адвокату, а затем переданную последним московскому профессору-словеснику Н.И. Стороженко, задушевному и сердобольному другу Прыжова.

Рукописи, господа, горят. И хорошо горят: изжелта-белым пламенем с голубой каемочкой. Особенно хорошо в Москве горели по осени, когда варили варенья на зиму. А в доме Сторо-

женки сей процесс был долгим и основательным. Но нет, рукопись не сгорела, путь ее к типографскому станку доступен любопытному следопыту, если он обратится к архивному фонду литератора Р.М. Хин-Голдовской. Конечно, ее этническая принадлежность может смутить или возмутить истинных поборников русской истории, но тут я уж бессилён что-либо предпринять.

Итак, в мае девятьсот седьмого года она обратилась в редакцию столичного журнала «Минувшие годы» с таким письмом:

«Вы выразили желание поместить (одно слово неразборчиво — Ю.Д.) на страницах своего журнала «Исповедь» Ивана Прыжова. Считая себя лишь случайной обладательницей этого единственного в своем роде документа, мне бы хотелось сказать несколько слов о том, как он попал в мои руки.

Печальная судьба Прыжова известна немногим. Затянутый (очень точно — именно «затянутый», т.е. почти силком — Ю.Д.) в нечаевское дело, он был сослан в Сибирь. Пока была жива его жена, одна из тех неведомых русских героинь, жизнь которых представляет сплошное самоотвержение — Прыжов, несмотря на крайнюю нужду, еще кое-как держался. После ее смерти он окончательно пал духом, запил и умер на Петровском заводе (27 июля 1885г.) одинокий, больной, озлобленный не только против врагов, но и против своих друзей. О его кончине Николая Ильича Стороженко известил управляющий Петровским заводом горный инженер Аникин.

Прыжова Н.И. Стороженко очень «жалел» в том смысле, как понимает это слово народ. Он считал, что в лице Прыжова варварски загублена крупная научная сила.

Н.И. никогда не забывал Прыжова, старался, чем мог, облегчить его горькую долю, поддерживал с ним переписку, посылал ему в Сибирь книги, деньги и все собирался написать его биографию. Болезни, постоянная срочная работа помешали этому желанию осуществиться*.

Года за два до своей кончины Н.И. отдал мне старую, пожелтевшую тетрадь, исписанную характерным почерком, во многих местах перечеркнутую, кое-где протертую, полную вставок и сносок. Это и была «Исповедь».

— Сделайте из этого роман, статью, драму, что хотите, — сказал мне Н.И., — только не дайте моему бедному Прыжову пропасть бесследно.

* Письма И. Прыжова (1881—1884) к Н.И. Стороженке: ЦГАЛИ, ф. 1169.

Ознакомившись с этим материалом, я решила, что лучше всего исполню желание моего покойного друга, предоставив самому Прыжову поведать русскому обществу свою мученическую жизнь».

В то лето, когда Р. Хин писала о Прыжове, жила она в усадьбе Костино близ станции Лихославль. Усадьба была стародворянская: дом с флигелями, фруктовый сад (вишневый?) и пруд, само собой, задумчивый, и коровник, и птичник... А вокруг — и близко, и неблизко — вокруг...

«Заваривается такая истинно русская каша, — читаем в ее дневнике, — что и в 200 лет не расхлебашь. Нелепая страна, несчастный и нелепый народ. «Великий русский народ»... Глупое клише. Холопское самохвальство, которое при взмахе нагайки моментально переходит в холопское самоуничтожение и самоуничтожение. Скучно. Все устали. Одно хулиганство разрастается вширь и вглубь. Воровство, грабежи, пролетарские убийства по всякому поводу. (За одну неделю уколошили самым подлым образом человек 7 инженеров — и так, за здорово живешь.) Вешает и убивает правительство, стреляют рабочие, грабят и жгут мужики. Какой еще «борьбы классов?»»

Нелестные суждения, высказанные еврейкой, мы не осмелились бы цитировать, избегая тавра русофоба, если бы эти суждения не подтверждали горестные заметы русского человека Болтнева, приведенные выше (см. с. 24). Каждый из нас сто раз читывал: лучшие черты нации, лучшие черты народа и т.п. Да ведь ежели есть «лучшие», должны же быть и не то чтобы худшие (у великороссов их, конечно же, нет и быть не может), а, пардон, не совсем лучшие, недостаточно лучшие и т.п. Вот это соображение может хоть несколько примирить с литератором, которую в нашей интеллигентно-писательской среде непременно называли бы русскоязычной.

Что же до бедолаги Прыжова, то ему, разночинцу крестьянского корня, по его собственным словам, очень хотелось «догрызть дворянскую кость». Однако доживи Иван Гаврилыч до «генеральной репетиции», и он бы тоже обнаружил «глупое клише», но будучи человеком «из народа» и не претендуя на всемирноведущую роль, наш бедный Прыжов попросту пригорюнился бы. А впереди-то была Всероссийская Грызня, из костей которой возник «апофеоз» апофеознее верещагинского.

Еще при жизни Нечаева возникло что-то вроде мифа об его бессмертии. По крайней мере именно это можно было вычитать

в женевском издании журнала «Народная расправа». Речь шла не столько о брэнной плоти Нечаева, сколько о духе нечаевщины.

Народник В. Дебагорий-Мокриевич, вспоминая молодость, писал: «Один из важных принципиальных вопросов, возбужденных у нас показаниями и объяснениями Успенского, которые он давал суду, в частности, по делу об убийстве Иванова, был вопрос о средствах, допустимых или недопустимых, для достижения известной цели; и хотя мы отрицательно отнеслись к мистификациям, практиковавшимся Нечаевым, так как, по нашему мнению, нельзя было обманывать товарищей по делу, но в вопросе об убийстве Иванова, после размышлений, мы пришли к другому заключению, — именно: мы признали справедливым принцип: «цель оправдывает средство».

Современник событий, описанных выше, публицист М. Драгоманов, безошибочно утверждал, что болезнь нечаевщины сидит глубоко.

Настолько глубоко, позвольте заметить, что «болезнь» и до Нечаева давала о себе знать. Не только, стало быть, Нечаев первенец нечаевщины. В центре — одна, но пламенная страсть: во имя народа, это раз; во имя товарищества, коллектива, партии, подпольной организации, это два.

По делу о покушении Каракозова на цареубийство (1866) проходил и некий студент В. Федосеев. По предложению своих товарищей из тайного общества «Организация» он согласился отравить родного папашу, а наследство преподнести «Организации». Федосеев и рецепт имел аж в десяти экземплярах, и злые снадобья накупил в аптеках разных мест, т.е. изготовился к пресечению родительской жизни, но был случайно арестован. О, эти русские лобастые мальчишки!..

В год ареста Нечаева юный Николай Морозов, будущий апологет политического террора и многолетний узник Шлиссельбурга, а в советское время, глубоким старцем, почетный академик, — Морозов поместил в рукописном журнале воспитанников московской гимназии хвалебную статью «Памяти нечаевцев».

В конце века двое питерских гимназистов замыслили «поднять революцию по всей России». Перед тем, как «поднять», заманили третьего в лес и убили, стараясь же скрыть преступление... отчекрьюжили голову да и забросили в подлесок. Каковы мальчишки в гимназической униформе?!

Участник этого действия А. Еллинский, осужденный на каторжные работы, встретившись на Сахалине с журналистом Власом Дорошевичем, объяснил свой поступок «влиянием мозгового

увлечения». Дорошевич дал парню примечательную характеристику: способный, но как-то поверхностно; считает себя гением, любит порисоваться всем, даже своим преступлением...

Следственные документы по делу о зверском убийстве гимназиста Александра Мякотина — см. в ГА РФ, ф. 619, д. 982. Значительно больший интерес представляют воспоминания писательницы Т.А. Богданович. В ее мемуарах есть глава «История Саша Мякотина». Машинописная копия этой главы любезно передана нам дочерью писательницы Т.А. Пашенко.

Отбыв каторжный срок на Сахалине, вернувшись на материк, А. Еллинский отправился в Петербург. Кое-что из его рассказов было записано Т. Богданович. Опустим почти идиотические рассуждения о каком-то р-р-революционном стрелковом обществе, о каких-то переговорах с великим князем Владимиром, о множестве соучастников и в Петербурге, и вообще в России... Впрочем, это, пожалуй, и не столько идиотические рассуждения, сколько блеф в нечаевском духе. Причем блеф ради блефа, ибо дела-то давно минувших дней. Или так: ради придания самому себе большего веса. Ведь знает же, стервец, что изобличить его не стоит большого труда, ан нет, все-таки врет напрапалую. Но для нас важен эпизод без вранья, эпизод, до жути схожий с ликвидацией Ивана Иванова, каковым на сей раз был Александр Мякотин.

«Видите ли, — рассказывал Еллинский, — раз, когда мы все ночевали у Сапожникова, он встал рано утром, когда мы все еще спали, и поспешно ушел. Я проснулся, подошел к его постели и под подушкой нашел записную книжку со списком наших членов. Я быстро оделся и пошел за ним следом. Как я и догадывался, он пошел прямо в Департамент полиции. Я встал на другом берегу Фонтанки и стал ждать. Через несколько времени он вышел, с растерянным видом ощупывая свои карманы. Мы с Сапожниковым реплили, что его надо устранить, пока он не повторил своей попытки».

А далее — Т. Богданович: «Я смотрела на него с недоумением. Это опять был какой-то бред. Убить и изуродовать товарища, ничего не выяснив». А еще далее — бред самой Богданович: «Он тяжело искупал свою тяжкую вину». Никогда я и не слыхивал о подобном искуплении. Т. Богданович простодушно сообщает: «Он занялся покупкой и продажей дач в Финляндии». Спору нет, покаяние тяжкое.

Еще и еще раз диву даешься проницательности автора «Бесов»: он угадывал явление мальчиков по образу и подобию Витеньки

Федосеева и Шурочки Еллинского. Нет, не прирожденные злодеи, а успевающие в ученье, простодушные, пишет Достоевский, они могут обернуться нечаевцами. Господи, да что же это за наваждение такое?!

В первые годы перестройки там и сям зловеще посвистывало слово «сатанинство». Особенно возлюбили его обскуранты и писатели, вчерашние олениводы или парторги. Ничего этим самым «сатанинством» толком не объясняя, они пугали «простых людей». И повторяли: Бердяев, Бердяев, Бердяев... А между тем философ Н. Бердяев, несколько не шаманя, отчетливо обозначил доминанту нечаевщины: разрыв с гуманистической моралью и принципиальное требование жестокости.

Так-то оно так, да уж больно отвлеченно. Необходимо взглянуть пристальнее, конкретно-исторически. Нечаев, нечаевщина, революционное движение, революционные партии густо мечены родимыми пятнами вчерашнего крепостного права. Ему соответствовали навыки и привычки мысли. Они уживались в сочетании утробных позывов к бунту с нерассуждающим подчинением, каковое называли партийной дисциплиной.

В конце прошлого века Драгоманов констатировал: болезнь глубока. В начале нашего века некто «Земляк», уже упоминавшийся короткий знакомый выходца из «чертова болота», констатировал: появление типов, подобных Нечаеву, возможно: «тьма и гнет — вот два слова, ужас которых еще не исчерпан».

Примечательно, что в тот самый год, когда земляк Нечаева написал эти строки, был издан «Вопросник» по истории российского революционного движения. «Вопросник» не для студентов, а для офицеров, желающих поступить в корпус жандармов. Нечаев давным-давно покоился в безымянной яме окраинного Преображенского кладбища, но два пункта «Вопросника» посвящены именно Нечаеву: какова была его программа; каковы категории лиц, подлежащих, согласно этой программе, устранению. На первое — ответ: разрушение общественного строя; на следующее — лица высшей администрации военной и статской; капиталисты; «пишущие и рассуждающие по найму правительства». Вот прямота, вот откровенность; и никакого камуфляжа словарем иностранных слов; что называется, правда-матка.

Вопросы и ответы служебного пособия и хронологически, и по смыслу перекликаются с гневной отповедью Плеханова, адресованной партии «нового типа», то бишь ленинской: такая партия очень бы понравилась покойному Сергею Геннадиевичу.

Марксист Плеханов разглядел в марксисте Ульянове сколок Нечаева.

Нельзя не вспомнить и Достоевского. Его предположения, из каких мальчиков может, словно чертик из коробки, выскочить нечаевец.

Будущий вождь мирового пролетариата учился только на «отлично». Он учился в гимназии, которую сам же впоследствии называл «школой зубрежки», но нам — октябрятам и пионерам, коим велено было брать пример с миловидного раскудрявенького Володи Ульянова, нам и в голову не приходило счесть его зубрилой.

Впрочем, черт бы с ними, кондуитами и табелями с отметками за каждую четверть. «Вычисляя» мальчиков, потенциальных нечаевцев, Достоевский вроде бы пропускает такой фактор, как религия, религиозность. Да, согласно наметкам писателя, Алеша Карамазов, высоко, глубоко, чисто верующий, все же уйдет в революцию. Но, думается мне, в какую-то иную, не то чтобы стерильную, белоперчаточную, может, даже и в кроваво-террорную, а все же не в иезуитско-нечаевскую, не в нечаевско-бакунинскую с ее призывом-опорой на булатный разбойничий ножик.

Ну, да все это предположения. А что до такой разновидности нечаевского типа, как Ульянов-Ленин, то он — свидетельство однокашника — «был в отрочестве очень религиозным мальчиком». Слышите: о ч е н ь религиозным!

Причину сожжения кораблей попробуем объяснить позже, а сейчас, не прячась в окопах журнала «Наука и религия», призовем тень Нечаева — пусть зрит свое историческое торжество.

Когда гоголевский приказчик делал какой-либо промах, гоголевский купец серчал: да что ты, братец, вечно выше своей сферы, точно пролетарий какой... Парижский блузник хватил «выше своей сферы» и получил версальскую экзекуцию. Петербургский хватил — и получил... Диктатуру пролетариата? Дудки! Тот, кто диктует, тот, кто диктатор, тот у ж е н е пролетарий.

Но об этом сколь угодно могли талдычить интеллигенты, точнее, не сколь угодно, а покамест их так ли, сяк ли не извели, ударно заменив интеллигенцией трудовой, народной. Ленин любил сознательных пролетариев; и не любил сознательных интеллигентов. Отчитывал по-нечаевски: вас надо «держат в ежовых рукавицах»; «вы против всякой крепкой, связывающей интеллигентские капризы, организации»; «боязнь тирании отпугнет от нас только

дряблые и мягкотелые натуры», т.е., конечно, опять-таки интеллигенцию.

Да и черты его натуры, позвольте сказать, находились в альянсе с нечаевскими. Резко и точно их обозначил А.Н. Потресов. Ульянова он знал близко с середины 90-х, сотрудничали тесно; случалось, вступали в рукопашную, и опять сотрудничали. «Никто, — отмечал Потресов, — не умел покорять своей личностью, как этот на первый взгляд такой невзрачный и грубоватый человек, по-видимому не имеющий никаких данных, чтобы быть обаятельным». И далее, далее: «гипнотическое воздействие», «волевая избранность», «неукротимая энергия».

Отсюда понятна ленинская приязнь к Нечаеву. Ни абзаца, ни строки, ни слова в Собрании сочинений. Но и тут свидетельство человека, к Ильичу близкого: Вл. Бонч-Бруевича.

Из его журнальных публикаций (январь 1934-го) узнаем, что Ленин считал Нечаева «титаном революции»*, часто задумывался над его листовками, восхищался умением облачать мысли в «потрясающие формулировки, которые оставались на всю жизнь». Какие именно? Извольте. Владимиру Ильичу очень нравился «точный ответ» Нечаева на вопрос, кого надо уничтожить из царствующего дома? — «В с ю б о л ь ш у ю е к т и н ь ю». Бывший очень религиозный мальчик тотчас понял, о чем речь. Впрочем, и нерелигиозный тоже смекнул бы: в церкви, на великой ектинье поминали весь дом Романовых...

Писания Нечаева Ленин читал много позже, чем он перестал читать Св. Писание. Превращение в атеиста, притом в воинствующего, яростного, быть может, и не приключилось в одночасье, но тому много способствовала смертная казнь старшего брата — боль, не изжитая Ульяновым-младшим до гробовой доски.

Его гимназический однокашник, упомянутый выше, русский эмигрант, бывший симбирский помещик, рассказывал: а) известное — экзаменаторы постарались лишить родственника государственного преступника золотой медали, в чем и преуспели; б) малоизвестное, во всяком случае мною читанное впервые: на выпускном обеде, устроенном по обыкновению вскладчину, Ленин говорил, что «отомстит Романовым», что «они попомят его».

Нечаевская «потрясающая формулировка» — «большая ектинья» — была на уме, а может, и на языке кремлевского мечтателя, когда свершилась екатеринбургская расстрельная трагедия. В

* Ср.: «Форменный революционный людоед» (Энгельс); «Самоотверженное изуверство» (Бакунин).

статье, посвященной 50-летию гибели Романовых, Георгий Адамович пишет: по слухам, распространившимся тогда, один из кремлевских главарей, вернувшись из какой-то командировки, спросил в растерянности: «Как, — всех?» То был Троцкий. Он спрашивал, верно ли, что в расход пустили в с е х , от мала до велика? Спрашивал другого главара, «еще выше стоявшего». — «Ну, конечно, всех... В чем дело?» — с раздражением ответил тот».

Закончим, однако, с Бонч-Бруевичем. По его словам, почитатель «титана революции» помышлял о том, чтобы все, писанное Нечаевым, собрать воедино и издать. «Я думаю, — заключал Бонч-Бруевич, — что мы должны выполнить завет Владимира Ильича».

Эх, агитпроп, ах, партиздат, ведь так и не выполнили. Вероятно, променяли на адекватное нечаевским, однако, развитое до упора — на дополнительный тираж сталинских «Вопросов ленинизма». Но кто знает, не напомнила ли журнальная публикация января 1934 года о заветах Сергея Нечаева? Не был ли Сергей Киров, убитый в декабре того же года, двойником Ивана Иванова?

Суждения стержневые: Нечаев — Ленин уже давно воспринимались мною, и не только мною, прокрустовыми, недостаточными. Мнилась необходимость освоения другого исторического материала, иной философии, иных жестов эпохи, иного круга чтения, не вытоптанного поколениями советских научных сотрудников от младших до старших, которые и вовсе не научны. Нечаевы последующих поколений осознанно или подспудно испытывали стиль и веяние «конца века», нищезанятия, если угодно — Вагнера, модернизма... Самой по себе нечаевщины, говорил мне покойный поэт Давид Самойлов, «этого мало». Да так и в своих записках высказался*. Примерно тот же мотив выуживаешь из примечательной и, как всегда яркой, статьи М. Золотоносова «Очаровательнейшее вырождение»**.

Представление об исчерпанности любого исследования — иллюзорно. Не исключение и сюжет Нечаев — Ленин.

Известно и школьнику: впереди Двенадцати «легкой поступью надвьюжной» шел Иисус Христос. Известен и академический

* Д. Самойлов. Памятные записки. М., 1995, с. 449.

** «Московские новости», 1995, № 34, с. 19.

постулат: Блок признавал святость Революции. Но... но, может, Блок, как и П. Флоренский, замечал, что близость русского человека, русского сознания ко Христу трансформировалась в фамильярность со Христом. Тогда, значит, эти вот двенадцать человек по-приятельски и распорядились, кому идти впереди. Да и надвьюжность объяснима: Его несли в социализм на кончиках склоненных штыков.

Могут возразить: нечаевщина — отречение от Бога. Пусть так, да ведь Достоевский уверяет, будто Христос всегда рядом с русским преступником. Такая вот привилегия у преступника русского. Как интернационалист, награжденный орденом «Дружбы», и как молчаливый борец с привилегиями, я в этом непротестительно сомневаюсь.

Но здесь же необходимо сказать, что в канонический текст «Двенадцати» давно просятся строки Блока, написанные в минуту «генеральной репетиции»:

Мы в петлях раскачем тела,
Чтоб лопнули на шее жилы,
Чтоб кровь проклятая текла.

Какая экспрессия! Не оставляйте черновик — черновиком, и тогда уж «музыка революции» будет соответствовать ее скрижальям.

Подчеркиваю капитальное: уроженец Иванова, родины первого в мире совдепа, победил всерьез и надолго.

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ И ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ?..

Беседа с Президентом АБ «ИНКОМБАНК» В.В. Виноградовым

— Владимир Викторович, чуть более полутора лет назад Вы дали интервью в восьмидесятый номер «Континента» для подборки «Настоящее и будущее России», в которой вместе с Вами приняли участие М.С. Горбачев, Е.Т. Гайдар, Л.И. Пияшева и Т.И. Троянов. Эти полтора года для России — большие, наверное, чем десять или даже двадцать лет в иные времена. Как Вы считаете, с тех пор ситуация в стране — экономическая, политическая, социальная — улучшилась или ухудшилась?

— Улучшилась. Объективно. Субъективно — ухудшилась...

— Говоря «субъективно», Вы имеете в виду социальное напряжение в обществе?

— Я имею в виду и социальное напряжение, с одной стороны, а с другой — мне кажется, что те слои общества, те люди, расцвет биографии которых остался в прошлом, предпринимают сегодня последнюю и потому особенно ожесточенную, отчаянную попытку побороться за себя, вернуть это прошлое. Или, фигурально выражаясь, попробовать еще раз заставить Историю выйти за себя замуж. Что же касается объективного положения дел, то тут нужно иметь в виду, что 70% промышленной продукции в России производится сейчас на частных предприятиях. Да, объем производства упал. По данным статистики — на 50%. Но я считаю, что статистика врет в очередной раз — она собирает информацию только по очень крупным предприятиям, а мелкие, средние предприятия, мелкий, средний бизнес оказываются за пределами ее внимания. Думаю, что объективно объемы упали меньше, чем в два раза по сравнению с 85-м годом, — может быть, процентов на 30, даже на 25, все зависит от отраслей. Я считаю, что началось определенное оздоровление промышленности, потому что делается, в общем, то, что требуется рынку, а не абы что — груды железа, никому не нужного, оружия...

— Вы имеете в виду частные предприятия?

— А все предприятия практически стали уже в той или иной мере частными — ведь все же предприятия сейчас приватизированы, и государственными остались по-настоящему только пред-

прияття в оборонной отрасли. Ну и пусть остаются пока, скоро их станет меньше...

— Так что с этой точки зрения предстоящая «обвальная», как ее называют, приватизация второго или не знаю уж какого «этапа» пойдет нам только на пользу?

— Нет, ее допустить никак нельзя...

— Вы так считаете? Но ведь она вроде бы неизбежна — у государства нет денег, и ...

— Я считаю, что завершение приватизации по Чубайсу допустить ни в коем случае нельзя. Это будет национальная катастрофа. Да, у государства нет денег, но и от той приватизации, которую хотят сейчас провести — скоренько, быстренько, по-заячьи — денег особенно не прибавится. Потому что продают завод, грубо говоря, за двадцать миллионов долларов, а он стоит два миллиарда. Но ведь нельзя же продавать за двадцать миллионов то, что стоит два миллиарда! Ведь можно продать и за два миллиарда — тогда будет реальный, так сказать, доход бюджету и реальные деньги на социальные программы. Конечно, это уже так скоренько, как хочется, не сделаешь. Но не лучше ли потратить еще два года и продать за миллиард половину того, что пытаются сейчас продать за двадцать миллионов, а половину оставить себе? Оставить или государству, или продать частным инвесторам, или, не знаю, отдать коллективу в управление — как угодно, можно механизмы разные придумать. Поэтому я считаю так: то, что было сделано, было, при всех издержках и ошибках, полезно и нужно. По ускоренной схеме пройден этап от коммунистического к посткоммунистическому обществу, и теперь назад возврата уже нет. Каждый директор предприятия стал собственником — может быть, нецивилизованным собственником, но все равно собственником, и теперь он будет бороться за свою, пусть даже и не полную еще собственность до конца, до последнего, так сказать, патрона. И это очень важно, это — при всех «но» — самая большая, просто гигантская заслуга и Чубайса, и всех «розовых» демократов во главе с господином Гайдаром. И большое спасибо нашему Президенту за то, что он осмелился на такой революционный шаг. Но сейчас воля Президента должна состоять в том, чтобы не допустить последнего этапа приватизации по намеченной схеме. Нужно продавать оставшуюся государственную собственность только стратегическим инвесторам, только на стратегических торгах — и не столько в целях получения быстрых доходов для бюджета, сколько и прежде всего в целях реального и ускоренного развития нашего производства, в целях совершен-

ствования управления предприятиями. Нужно, чтобы на предприятие пришел нормальный стратегический инвестор, действительно заинтересованный во всем этом. У нас нет десятков лет, чтобы обучать наших советских красных директоров и их окружение современному управлению предприятием в условиях рынка. Пусть придет нормальный стратегический инвестор и принесет новую культуру менеджмента. Если он вложится в предприятие крупно, на миллиард, то он будет заниматься им тщательно и досконально — от и до, по-честному. Потому что миллиард — это большие деньги и их, извините, нужно «отбить», как выражаются сейчас в полукриминальной среде. А на банковском языке — вернуть с определенной рентабельностью...

— *Хорошо. Что касается Вашего понимания сегодняшней экономической ситуации в России, в чем она, с Вашей точки зрения, изменилась за эти полтора года и чего сегодня объективно требует, то это — в общих чертах, конечно, — Вы обозначили более или менее ясно. Но есть еще вот какая сторона дела, чрезвычайно, мне кажется, важная, — в прошлом году мы ее тоже с Вами касались. Если я только верно понял то, о чем мы тогда говорили и что я читал и знаю о Вашей деятельности, Вы — безусловный сторонник экономического либерализма. Да, собственно, сторонником какой еще иной экономики и может быть руководитель такой мощной финансовой структуры, как «ИНКОМБАНК»? Но в нашем обществе — в результате того правового беспредела, того государственного бессилия, в условиях которого проводились так называемая либерализация цен и связанные с нею реформы, — у нас господствует, увы, совершенно превратное представление о том, что это такое — экономический либерализм. Бытует представление, что либеральное государство (то есть государство, управляющее страной, хозяйственная жизнь которой основана на принципах экономического либерализма) — это, по определению, государство слабое, почти аморфное, поскольку оно призвано не вмешиваться в экономику и не должно управлять ею и направлять ее. На самом деле, конечно же, все как раз наоборот: либеральное государство — это очень жесткое, очень сильное, мощное государство, которое, да, не вмешивается в свободную игру экономических сил, совершающуюся по правилам, в параметрах и в соответствии с доктриной экономического либерализма, но четко задает эти правила игры. И с неукоснительной строгостью следит за их соблюдением. Проблема преступности, кстати, это тоже ведь как раз одна из тех проблем, которые именно в настоящем либеральном государстве только и могут найти — в реально доступных пределах, разумеется, — наиболее*

удовлетворительное свое разрешение. Как мне представляется, одна из самых главных сегодняшних бед наших как раз в том и заключается, что у нас все еще нет именно такого вот, действительно либерального государства — нет государства, которое не лезло бы руководить экономикой, а предоставило бы свободным рыночным отношениям развивать и совершенствовать экономическую структуру, но при этом очень жестко следило за тем, чтобы все это происходило строго в рамках установленных законом правил. И неотвратимо и беспощадно боролось бы со всем, что этому препятствует — со всем, что угрожает нормальному существованию, благосостоянию и благополучию людей, участвующих в этом процессе и вообще живущих в стране...

— Вы очень четко изложили наши принципы...

— Да? Но в прошлый раз, когда мы беседовали с Вами на эту тему, Вы, помнится, настаивали на том, что с самого начала либерализации цен было необходимо гораздо большее государственное регулирование этого процесса. Вы говорили, например, что нельзя было отпускать сразу все те цены, которые были отпущены, и т.д. — то есть настаивали все-таки на необходимости государственного вмешательства в экономику. Как это совместить с Вашей, как Вы только что подтвердили, принципиальной и безусловной верностью принципам экономического либерализма? И что изменилось с той поры в Ваших взглядах? И в какую сторону? В сторону ли меньшей приверженности принципу государственного регулирования экономики и предпочтения большей жесткости государства именно и только как «ночного сторожа», если воспользоваться известным символом экономического либерализма? Или все-таки и сегодня еще Вы по-прежнему не готовы отказаться от принципа государственного регулирования и по-прежнему считаете, что государству следует вмешиваться в экономику — что-то там поощрять, что-то сдерживать, направлять и т.д.?

— Вы знаете, я вот для себя вывел следующее правило, основанное на реальных наблюдениях, на реальном опыте: очень хорошо работают лишь как бы автосистемы, у которых четко налажена обратная связь, как положительная, так и отрицательная. Поэтому я думаю, что административные принципы из работы государства должны непременно уходить по мере того, как будет создаваться нормальная законодательная база. Прежде всего нормальная законодательная база в области экономики...

— И это самый главный процесс?..

— И это самый главный, самозамкнутый на себя процесс: создается база нормальных законов — и государство во все большей

степени становится «ночным сторожем». Потому что «нормальными» в области экономики могут быть только законы, соответствующие давно уже выработанным и научно обоснованным, давно апробированным мировой практикой, проверенным многолетним опытом самых разных стран принципам либеральной экономики. Но в отдельных сферах — таких, как оборона, как разведка и контрразведка, как социальное обеспечение, командно-административные функции у государства должны, понятно, остаться...

— Это, действительно, понятно и вряд ли у кого может вызвать возражения...

— А в области экономики — да, умный «ночной сторож», который не дремлет. И поэтому по мере того, как пишутся, принимаются и обкатываются нужные законы, административные функции должны, повторяю, у государства опадать. Но пока нет таких законов — они должны быть. Иначе все просто развалится...

— Это тоже понятно. Но вот что интересно: признавая временную, тактическую, так сказать, необходимость государственного участия в экономике, а стало быть и необходимость какого-то сотрудничества с государством на этом переходном этапе со стороны существующих рыночных структур, ИНКОМБАНК что-то не очень, похоже, стремится к подобного рода сотрудничеству. Тем более никак не пытается срачиваться с государственными структурами, внедряться в них. А ведь, вообще говоря, такой путь у нас не только вполне возможен, но даже может быть и весьма выгодным для участников — срачивание крупного финансового капитала с государством, возникновение мощной финансово-промышленной инфраструктуры некоего нового, так сказать, российского госкапитализма... Но я смотрю вот и вижу — хотя, конечно, я что-то здесь, может быть, и не понимаю, потому что я, в общем, профан в этих вопросах, — так вот, я смотрю между тем и вижу, что ИНКОМБАНК явно не выказал тем не менее никакого особого желания участвовать, например, в том содружестве банков, которое государство призывало к себе, чтобы наладить с ними контакт, под их кредиты что-то им там продать или заложить, — словом, сотрудничать с ними. Хотя первоначально ИНКОМБАНК вроде бы и числился среди приглашенных кандидатов. Но — отказался войти в эту структуру, а Вы к тому же и во встрече банкиров с Президентом не приняли участия, хотя вроде бы тоже были в числе приглашенных. Потом в прессе, помнится, было сообщено, что Вы находились в этот момент в командировке в Америке. Но ведь, как у нас говорят, и ежу понятно, что Владимиру Викторовичу Виноградову, если бы это было ему нужно, ничего не стоило оторваться

от своих заграничных дел на день-полтора, прилететь в Москву на встречу с Президентом, а потом улететь обратно, не так ли?.. Впрочем, если Вы не хотите касаться этой темы, мы можем исключить ее из нашей беседы...

— Нет, почему же? Мы ничего не собираемся скрывать, мы всегда действуем открыто...

— Ну что ж, прекрасно. Так вот, я вижу во всем этом какое-то явное Ваше нежелание срачиваться с государственными структурами — или, если угодно, слишком тесно сближаться с ними, как это, вообще говоря, происходит нередко на наших глазах не только в области экономики, но даже, например, и в Церкви. Вот и на ОРТ Вы не пошли, не захотели вступить здесь в какие-то тесные взаимоотношения с государственным ТВ, которое, конечно же, все равно таким по существу и останется. Мне эта Ваша тенденция как раз очень симпатична, и, это, как я понимаю, продуманная тенденция. Это происходит, как я понимаю, именно потому, что Вы сторонник как раз того жесткого государства, которое не вмешивается в...

— ...в частную работу компаний и не срачивается с ними. Да, это так. Но я бы хотел добавить к этому следующее. За всеми нашими шагами стоит всегда еще нормальный, здоровый прагматизм. Вот, например, что касается ОРТ. Я задал вопрос людям, которые выступали инициаторами создания такой структуры: а есть ли у вас технико-экономическое обоснование этого проекта? Они сказали — старик, там будет реклама и там столько будет наличных бабок, что всем хватит! После этого я понял, что здесь делать нечего.

— Ясно. Если люди за этим идут...

— Конечно... Теперь второй проект, под названием — консорциум. Я в принципе не против консорциума. Но он же создается нецивилизованно! С бухгалтерской точки зрения выдача кредита государству и списание его тут же под залог акций неправильны. Потому что списание должно произойти только после того, как доказано в арбитражном суде, что заемщик разорился. Государство — тем более в государственном арбитраже — не может быть объявлено банкротом. Оно может быть объявлено таковым другими государствами, оно может быть банкротом в отдельной какой-то области, в отдельном предприятии. Но в целом все государство банкротом не может быть объявлено, потому что в руках у государства Центробанк и оно в Центробанке всегда может нарисовать столько нулей, сколько нужно, выбрав привычный инфляционный путь. Поэтому я подумал хорошо и

пришел к выводу, что такая нецивилизованность нам никак не подходит. Ведь мы предлагали как раз цивилизованный путь, мы предлагали схему нормальной сделки геронт, на что руководители консорциума сказали мне: старик, люди в нашем правительстве не знают слова геронт и тем более они не понимают, как будет организована такая сделка. И ты их лучше не пугай такими вещами. Давай вот проще: кредит под залог. Но ведь когда смотришь по этому кредиту, то получается, что как только ты выдал кредит, так сразу же должен его и списать под сомнительную задолженность, понимаете? Механизм реализации акций неясен, механизм фондирования кредита тоже неясен. И я понял, что этот кредит применяется просто для того, чтобы какая-то группа чиновников смогла приватизировать часть самых выгодных, самых аппетитных кусков нашей экономики в своих собственных интересах. Причем, я думаю, за счет тех же самых государственных денег, которые поступили по закрытым каналам узкому кругу банков, участвующих в этом консорциуме. Зная, что мы всегда очень критически к таким делам относимся, нас, конечно, в такой круг «посвященных» никто никогда не возьмет и не взял бы. Поэтому я решил, что мы своим именем прикрывать не совсем легитимные действия не будем. Я официально объявил об этом, и мы вышли. Вот и все...

— Значит, я правильно все-таки увидел в этих Ваших шагах и некую принципиальную сторону? Вы ведь никак вот не желаете переступить через принципы, которые Вы связали сейчас с понятием «цивилизованности». Но ведь что еще и следует, в сущности, подразумевать под этим, если не те же все давно апробированные и всемирно признанные принципы и механизмы, а если угодно, то и этику свободной рыночной экономики — то есть экономического либерализма?.. А поскольку эти принципы никак не противоречат здравому смыслу — а, стало быть, и здоровому прагматизму, — постольку в следовании им и этот здоровый прагматизм вполне может служить путеводительным маяком, разве не так?

— Разумеется. Ведь в экономике всегда в основе лежит простой расчет. И тут в том как раз и было дело, что именно по бухгалтерским правилам вся эта затея выглядела просто неприлично, противоречила элементарным международным стандартам. Мы вроде бы идем к ним, стараемся делать все, чтобы соответствовать таким стандартам. Так пора прекратить, в конце концов, порочить имя великого государства и имя его Президента, какой бы он ни был. Потому что такого рода действиями, которые с цивилизованной экономической точки зрения выгля-

дят как абсурд, мы просто портим себе репутацию. Нас перестают понимать в мире. Когда я рассказал зарубежным экономистам с широким опытом международной банковской практики, как должна была осуществляться эта сделка, они просто схватились за голову. И сказали — действительно, ты прав...

— Да, насколько и я могу судить со своей непрофессиональной точки зрения, Вы действительно, по-видимому, правы. И это побуждает меня перейти к следующему блоку вопросов, очень для меня значимых. Если одна из фундаментальнейших наших проблем, действительно, состоит именно в том, чтобы у нас сформировалось сильное либеральное государство, недремлющий «ночной сторож», то это значит, очевидно, что пути решения этой проблемы, как, впрочем, и многих других, пролегают сегодня прежде всего через область политики. Потому что формирование такой государственной структуры, создание соответствующего законодательного кодекса, в том числе и требующегося свода «правил экономической игры», — все это зависит прежде всего от того, какая у нас будет законодательная власть, на что она окажется способна. Так вот: как Вы смотрите с этой точки зрения на сегодняшнюю политическую ситуацию в России? Видите ли Вы среди всех этих многочисленных политических движений и партий, принимающих сегодня участие в предвыборных бегах, партию, на которую Вы могли бы в этом отношении положиться, которую стоило бы, с Вашей точки зрения, поддержать и программа которой действительно выражала бы реальное и трезвое понимание исторических задач, стоящих перед Россией, — в том числе и задачи построения в стране мощной свободной экономики и сильного либерального государства?

— Нет, сейчас не вижу. Потому что самая сильная и самая организованная партия, нынешние коммунисты во главе с Зюгановым, это все-таки партия уходящая, партия умирающая и разлагающаяся. Я думаю, что скоро здоровая часть ее преобразуется в социал-демократов, все остальные, в конечном счете, обречены. Но до того, как уйти со сцены, они могут много навредить...

— Вы знаете, я с Вами одновременно и огласен, и не согласен. У меня вообще такое ощущение, что вся эта игра, которая происходит сейчас перед нами на политической сцене, в громадной степени есть всего лишь игра масок, за которыми скрываются совсем другие и, в сущности, очень похожие друг на друга лица...

— Конечно...

— На самом деле это одна и та же поколенческая генерация — не только в чисто возрастном, но прежде всего в социально-психологическом отношении. Кто сегодня стоит у власти? Люди, кото-

рые вышли из коммунистической номенклатуры со всеми характерными для этого слоя привычками, замашками, образом мыслей и подспудными прагматическими интересами. Но ведь и те, кто борется сегодня за власть, коммунисты те же самые, оставшиеся демократы, даже жириновцы, — все это ведь на самом деле генетически тот же самый слой с теми же самыми интересами, тем же самым менталитетом, всего лишь замаскированным снаружи какими-то иными, рассчитанными на больший успех у населения идеями и лозунгами... Вот почему так часто и вспоминают сегодня о Моисее и о понадобившихся ему сорока годах возведения евреев по пустыне...

— Вы знаете, я только что записывался для немецкого телевидения и тоже сказал, что, пожалуй, Россия имеет шанс стать цивилизованной страной только лет через сорок...

— Вот-вот... Поэтому, когда меня пугают сегодня — вот придут коммунисты или там жириновцы, я как-то не очень уж и пугаюсь, хотя голосовать за них вовсе, разумеется, не намерен. Кто бы сегодня ни пришел к власти, коммунисты, некоммунисты, все равно, мне кажется, будет то же самое, разве лишь с какими-то косметическими поправками для очередного одурачивания электората — в порядке мелких ему подачек. А принципиально ничего не изменится, потому что не изменятся основные цели стоящих у власти людей — людей, которые к этой власти так возжеленно рвались, наконец дорвались и теперь, конечно же, в соответствии со своей психологией прежде всего постараются воспользоваться всеми теми превосходными возможностями, которые она открывает перед своими носителями именно в ситуации сегодняшнего правового беспредела и сплошной коррумпированности... Поэтому я лично если на что-то и надеюсь, так это на то, что сформируется, должны же сформироваться, наконец, какие-то новые слои, новые поколения общественно активных людей, обладающих другим жизненным и психологическим опытом, другой исторической памятью, другими интересами, другим профессионализмом, наконец. Помните, Вы говорили в прошлый раз, что одну из главных ошибок Горбачева Вы видите именно в том, что он не позаботился о новых кадрах, не отправил, подобно Петру, в массовом порядке людей на учебу за границу?..

— Молодежь...

— Да, молодежь. Но это просто частный пример, речь идет о процессах более широкого плана, о подготовке и появлении на общественной арене нового поколения активных людей, способных уже понять, что даже забота о самом себе требует одновременной заботы о всей стране, о других...

— А на этот счет, Игорь Иванович, я могу сказать Вам так: наверное, государству сейчас и посылать-то уже никого не надо. Мы сами уже посылаем. Мы уже сами в частном порядке учим сотни и сотни своих сотрудников. Плюс к тому эти же люди получают практическое образование и набираются реального опыта на конкретных живых примерах, работая у нас, в наших структурах, у наших клиентов — там тоже в большие полугосударственные корпорации пришло сегодня много молодых людей. Просто должно пройти какое-то время, и какая-то часть из них непременно выделится и примет участие в политических процессах...

— *Вот тут как раз мы приближаемся к вопросу, который мне давно хочется Вам задать, но чтобы быть верно понятым, я позволю себе начать это приближение с несколько неожиданной, может быть, стороны. Знаете, вот когда умер Володя Максимов, это произошло в марте нынешнего года, ко мне постоянно стали подходить разные люди, знакомые, полужнакомые, даже, как ни странно, иной раз друзья, вроде бы более других осведомленные о делах «Континента», и все в один голос сочувственно интересовались — как же вы будете теперь существовать? И когда я недоуменно спрашивал — а что, собственно, вы имеете в виду, мне отвечали: ну как же, Максимова теперь нет, значит, поддержки какой-то финансовой с этой стороны у вас больше не будет... Я говорил им: какая финансовая поддержка? Вы что — думаете, он нас как-то подпитывал из своего кармана? Да ни копейки мы у него не брали, когда он передал журнал в Москву, под мое редакторство, и это естественно, потому что ни на каких других условиях, кроме полной нашей независимости, в том числе и финансовой, я бы журнал просто не взял. Иначе бы я был несвободен, зависел от него, а зачем мне это нужно? Мы друзья, новый «Континент», в общем, продолжил дело старого, парижского, но он стал его преемником в новых условиях, и у нас своя программа, свое представление о том, как нужно делать такой журнал, свое, в конце концов, имя... И надо сказать, что Володя Максимов это прекрасно понимал и был всегда предельно, крайне деликатен и щепетилен во всех контактах со мною, как с редактором, — никогда ни о ком не просил, ничего и никого не «продвигал» на страницы журнала, а если помогал когда в нужных случаях советом, поддерживал нас в каких-то наших заботах, используя свое влияние, то всегда совершенно, так сказать, бескорыстно и безвозмездно. Но объяснить это иным не очень близким знакомым было порой трудновато — я видел, что мне не очень как-то верят. И я понял, что мне приходится иметь тут дело с привычным для нашего, так сказать, советского менталитета*

стереотипом мышления, как бы подтверждаемым постоянно тем, что на титуле «Континента» всегда можно было прочитать имя Максимова как основателя журнала и Президента парижской Ассоциации друзей «Континента»: как же так, раз заявлен на титуле, значит, «командует», а раз «командует», значит, есть для этого основания, деньги дает... Мы на этой почве — в связи с одной журнальной публикацией еще в «старом», «максимовском» «Континенте» — чуть даже не поругались окончательно с Синявскими, чуть до суда дело не дошло — тоже никак все не могли они поверить, что мы в своих действиях совершенно не связаны какой-либо финансовой зависимостью от Максимова... Теперь другой пример: тут недавно я получил письмо из партийной команды Е.Т. Гайдара — господин Виноградов, обращаемся к Вам как к видному российскому предпринимателю...

— На стандартном бланке, наверное...

— Ну да! И не смейтесь, пожалуйста. Тут ведь тоже угадывается привычная логика: ну как же, журнал спонсируется ИНКОМБАНКом, к тому же, с чем не раз мне приходилось сталкиваться, нас с Вами — благодаря тому, что мы однофамильцы, — молва часто объединяет...

— ...как родственников?..

— Ну да, как родственников — из одного, так сказать, семейного клана...

— Ну что ж — это хорошо, это работает на наш общий имидж!..

— Вот Вы шутите, смеетесь, а мне каково, когда ко мне на этом основании обращаются уже и за финансовой поддержкой, не говоря уж о многочисленных просьбах замолвить перед Вами словечко?! И тут тоже нет ничего удивительного, ход мысли очень понятный, привычный, логика знакомая, ввевшаяся так, что убедить в обратном бывает порой не так легко. Как и в том, что мы, хотя ИНКОМБАНК наш генеральный спонсор, в содержательном плане существуем тем не менее совершенно независимо от него, что он в наши дела никак не вмешивается, ни о чем не просит, а действительно обеспечивает именно нашу полную независимость. В это многие люди тоже никак не могут поверить — по закоренелой советской привычке. Как же так — деньги дают, содержат, можно сказать, и чтобы ничего взамен? Так никогда не бывало и не бывает, и какая разница, люди мне говорят, — раньше журналы зависели от государства или там от ЦК КПСС, которые их содержали, теперь от банков. Ну и так далее...

— Хозяева поменялись, а принцип остается прежним?..

— Да, вот именно. И тут ничего не поделаешь — стереотип этот существует и будет еще долго существовать, тем более, что

и практики, его подтверждающей, вокруг сколько угодно. Но к чему я все это говорю? Ведь наши с вами отношения строятся на совершенно другой основе, и для меня — и, думаю, для Вас также — это момент решающий, центральный, без которого сотрудничество наше было бы не нужно ни вам, ни нам. Ни мы не находимся в такой зависимости от вас, о которой говорят: «Кто платит, тот и музыку заказывает», ни вы не хотите от нас ничего подобного. Мы просто совместно делаем одно общее дело в рамках русской культуры, каждый вкладывая в это дело то, чем со своей стороны способен обеспечить его реальное осуществление...

— Те принципы, которые Вы защищаете, разделяем и мы...

— Да, и в этом плане опыт нашего почти трехлетнего уже сотрудничества и с Вами, и с Вашими сотрудниками, которые все тоже крайне точны, деликатны и щепетильны в наших отношениях, очень для меня важен и значим. Вот почему я только приветствовала бы, если бы такие беседы происходили у нас более или менее регулярно — хотя бы раз в полтора, может быть, или в два года. Именно потому, что Вы действительно обеспечиваете нам полную нашу содержательную независимость...

— Что ж, я полностью согласен с Вами и готов к более регулярным контактам — это действительно было бы, наверное, полезно...

— Так вот, — к чему я все это веду? А к тому, что вот та модель взаимоотношений, которая сложилась у нас с вами, это совсем иная, новая модель, чем была раньше, когда государство содержало журналы, ЦК «курировало» их, а мы в том же, например, «Новом мире» времен Твардовского всячески пытались из пут этого «курирования» вырваться и, по известной формуле, «протащить сквозь препоны и рогатки цензуры» свою крамолу. И эта новая модель взаимоотношений, сложившихся между нами, имеет, мне кажется, принципиальный характер — я вижу в ней залог нашего будущего не только в области культуры, гарантом подлинно независимого существования и развития которой сейчас является уже не государство, а все больше становятся частные, коммерческие структуры, руководство которых сумело подняться до понимания этой новой исторической своей ответственности за ее будущее. Хотя, конечно, примеров и обратного порядка сегодня сколько угодно — гораздо больше, чем таких, как у нас с вами. Но они есть, и вот, размышляя об этом, я и думаю — а не пора ли таким структурам, как ваша, уже осознавшим эту новую историческую свою ответственность за судьбы русской культуры и, главное, уже доказавшим это реально, на практике, принять на себя такую же ответственность и в более широком плане, в сфере политики — за

судьбы страны в целом? Ведь должна же, наконец, появиться у нас реальная политическая сила, которая действительно способна будет думать о стране, способна понимать действительные потребности ее сегодняшнего исторического развития, видеть действительные пути ее превращения в свободную, богатую, сильную страну великих духовных традиций, великой современной культуры и высокой цивилизованности, обеспечивающей каждой личности ее неотъемлемые гражданские права и надежную социальную защиту. Вы и Ваши коллеги, возглавляющие современные частные экономические структуры, — люди уже совсем иного исторического поколения, иной психологической закваски, и я не случайно спрашивал Вас в прошлый раз о возрасте...

— Не из списка ЦК КПСС...

— Да, и Вы не случайно говорили мне тогда о том отвержении, с которым проработали когда-то короткое время на комсомальском поприще... Вы люди других ориентаций, других жизненных целей, другого менталитета — так почему до сих пор я не вижу вас на политической арене? Вот Вы в прошлый раз говорили: директора наши, новые наши собственники, — вот подождите, они придут в политику, возьмутся за дело. Но что-то не видно, чтобы они действительно проявили себя как реальная и способная вызвать доверие к себе политическая сила. Ну, может, где-то там еще зреют, дозревают пока... А где вы — не те «новые русские», от которых порядочные люди только шарахаются, а те новые русские, которые действительно способны обновить страну и уже доказали это? Извините, я говорю так резко и так прямо, потому что придаю этой проблеме чрезвычайное значение. И как бы не получилось так, что тот реальный исторический шанс, который предлагает вам сейчас наша ситуация, вы просто проморгали... Вы не имеете на это права — его упустить...

— А мы всегда об этом думали и давно стараемся делать все, что можем, чтобы такой шанс не упустить. У нас же есть наши профессиональные союзы и ассоциации, они постоянно включены в эту работу, они выдвигают от нас депутатов в законодательные структуры, в ту же Думу — там даже два депутата наших есть...

— Но все это какие-то локальные, частные инициативы, а я говорю о более широкой, масштабной инициативе...

— Но ведь это, Игорь Иванович, очень трудный процесс. Здесь ведь многое зависит не только от каких-то финансовых, скажем, наших возможностей, но и от личностей, на которые действительно можно поставить. И не только как на кандидатов, например, в Президенты или Премьеры и в его заместители, от которых

в реальной практике тоже очень много зависит, может быть, даже больше, чем от Президента, но и как на людей, способных плодотворно участвовать в современных процессах на депутатском, скажем, уровне. Таких людей вовсе не так просто найти. Идет поиск, идет тяжелый поиск. И вот эти наши профессиональные союзы и ассоциации — это и есть как раз те структуры, в которых идет такая прикидка, идет притирка интересов, процессы консолидации, выработки общих программных позиций, поиск лидера. Но пока вот еще не посчастливилось, не выдвинулся такой лидер. Может, не нашлось такого банкира, который сказал бы — гори оно синим пламенем, все это мое банкирское дело, пойду на политическую ниву, сил нет больше терпеть...

— *А Вы сами не хотите попробовать?..*

— Сам я не хочу по очень простой причине. У меня, я считаю, очень серьезная социальная ответственность, потому что на моих плечах лежит три процента российской экономики. А если быть откровенным, то и банк еще не настолько стабилен и не настолько еще обеспечен кадрами на двести лет вперед, что уйди любой и все будет отлично. Лет через пять это, может, будет и так, мы работаем над этим и во имя этого напряженно каждый день. Мы совершенствуем нашу организационную структуру, мы подтягиваем новых людей, мы готовим новые решения, учим молодежь. Через пять лет будет более стабильная ситуация, возможно и я созрею к этому времени или кто-то еще другой в моем аппарате... Я считаю, что это просто вопрос времени, вопрос преодоления вот этого временного разрыва между номенклатурным поколением и людьми новой формации. Эта новая формация еще не созрела, но, понимая свои интересы, кучкуется, консолидируется, пытается найти и выдвинуть своего лидера. Кого-то отстреливают, кто-то погибает, кто-то не выдерживает испытания огнем, водой и медными трубами, но процесс идет, и лет через пять, я думаю, он начнет давать свои результаты...

— *Значит, лет через пять, Вы говорите? И тогда можно будет надеяться, что через сорок лет мы станем, наконец, цивилизованной страной — богатой, сильной и свободной? Ну что ж, будем надеяться и ждать. Спасибо Вам за беседу, но в процессе этого ожидания мы, конечно, с Вами еще встретимся и тогда проверим, как сбываются Ваши ожидания. Вы согласны?*

— Конечно. Спасибо и Вам за беседу. И передайте мой привет и самые лучшие новогодние пожелания читателям «Континента».

Беседу вел Игорь Виноградов

Яков КРОТОВ

ИСТОРИЯ ПОПА АНДРЕЯ

1

Весна 1985 года. Было объявлено начало перестройки. Только мало кто догадывался, что это начало чего-то, действительно, необычного. Очередной пленум ЦК КПСС — мало ли их было? Очередной — третий за короткий срок — генсек. Очередные занудные речи, которые сознание привычно отпихивало. В обычной жизни всё и шло, как обычно...

Именно весной 1985 года в Архиве древних актов, где хранятся документы древнейшей российской истории, милиционер задержал на выходе хорошо знакомого ему архивиста и стал просматривать бумаги, которые тот нёс в папке. Архивист проходил каждый день с этой папкой, никто его никогда не останавливал, а тут вдруг...

В папке было всего несколько листочков: на обороте машинописного текста какой-то научной статьи убористым почерком было что-то написано. Милиционер посмотрел на архивиста и чужим голосом сказал: «Запрещено выносить из архива без пропуска машинопись». Это, действительно, было запрещено, только кто же вспоминал подобные запреты? В этом архиве не хранилось машинописных документов — древние ведь акты. Видно, случилось что-то необычное. Более того — милиционер отказался даже

**Яков
КРОТОВ**

— родился в 1957 году в Москве. Окончил исторический факультет МГУ. Автор статей по истории Церкви и актуальным проблемам религиозной жизни, публиковавшихся в журналах «Новый мир», «Новая Европа», «Истина и жизнь» и в зарубежных изданиях. Живет в Москве.

вернуть листки, чтобы можно было оформить на них пропуск! И — закрутилось дело...

На обороте старого машинописного черновика скверным почерком было написано эссе о взаимоотношениях Церкви и большевистского государства. Ничего приятного для государства сказано не было; людей сажали и за меньшие провинности. Здесь же все обошлось мягко. Директор архива (известная, кстати, тем, что еще в середине 1950-х годов её, тогда совсем юную, коллеги поймали на доноситељстве и заставили уволиться; спустя годы она вернулась в новом качестве) просто предложила архивисту уйти по собственному желанию. Листочки даже обещала вернуть (разумеется, обманула — они давно были у кого надо). Архивист ушел. И вот тут оказалось, что есть замечательные способы наказать человека без всякого шума и суда: его просто не брали нигде на работу.

По знакомству, с огромным трудом, ему удалось устроиться в Звенигород — в музей, расположенный в бывшем Саввино-Сторожевском монастыре. Каждый день из Москвы на электричке, два часа езды туда, несколько экскурсий, два часа езды обратно. А впрочем — могли бы ведь, не дай Бог, и посадить, могли выгнать из аспирантов, да мало ли что могли бы!.. Когда же начальство разрешило раз в неделю заниматься в архиве, изучая историю монастыря, — какое же это было облегчение! До архива идти всего полчаса! Мимо Новодевичьего монастыря до любимого, несмотря ни на что, здания на Пироговке; прийти, сесть, привычно проглядеть опись. По указателю найти заголовки, в которых упомянут монастырь... Да вот одно, навскидку: «1744 и сл. годов. Дело по доносу священника Андрея Шапкина на противозаконные поступки в Саво-Сторожевском монастыре, а также показания его на разных лиц. СПб. Государственный архив М.И.Д.» Огромнейший — четыреста листов том из архива знаменитой Тайной канцелярии. За четверть тысячелетия бумага так истлела (дело, видно, валялось где-то в сырости), что от некоторых листов осталось буквально по сантиметру. Вот первый: от первой строчки осталось лишь слово «Указ» — но о чем, неизвестно. От следующей строчки и того меньше: «вел» — это, понятно, от титула императорского «великия России», «лярию» — ясно, «канцелярию» — в канцелярию адресована бумага, «поук» — это не искаженное «паук», а «по указу». Но в какую именно канцелярию, зачем, остается совершенно неясным, и что надо было «по указу» сделать, тоже неясно. Но уж верно что-то пауچه.

Неудивительно, что каждый лист «ламинирован»: вклеен в тончайшую прозрачную бумагу. А все-таки поздно — едва ли не

поддела в дырах. Хотя второй лист читается вполне разборчиво и объясняет название, ибо лист этот — доношение в Святейший правительствующий Синод от наместника Савина монастыря иеромонаха Матфея. 2 августа 1744 года он доносил:

«Минушаго апреля 19 дня 1744 году при указе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА из оного святейшаго правительствующаго синода прислан в Савин монастырь, которого велено содержать в монастырских друдах (так!), не допуская до священнодействия, бывшей в лантмилищком валуйском полку поп Андрей Левонтьев сын Шапкин, а сего 1744го года августа 1 дня помянутой поп Шапкин сказал за собою ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА СЛОВО И ДЕЛО, и оной поп Шапкин послан в святейший правительствующий синод с праводником при сем доношении».

2

Надо бы фототипически воспроизводить такие документы: все в дырках, так что от названия синода осталось только «тейший правительствующий». Надо увидеть, как написано «ея императорского величества»: каждая буква в два раза больше всех остальных, и расстояние между буквами побольше, так что в целом все похоже на древнеегипетский барельеф из школьного учебника истории, где большой фараон вечно делает шаг вперед среди маленьких чиновников и совсем крошечных рабов. Почерк этого доношения (как и всего дела вообще) самый обычный для своего времени и совершенно необычный сегодня, хотя читается он легко: крупные буквы, не связанные друг с другом, где все очертания напоминают одновременно и церковный устав семнадцатого века, но уже несут в себе и намек на скоропись века девятнадцатого.

На поле доноса ни к селу ни к городу две буквы: «Ми». На следующем листе «хай», на третьем «ло», и так по слогам тянется: «Михайло Хрущев». Это и есть «скрепа», по отношению к которой наши металлические и пластмассовые штучки и заслуживают лишь уменьшительного: «скрепка». Эта скрепа должна была держать бумажки мертвой хваткой, чтобы ни один листик не пропал. Из пачки бумажек, скрепленных металлической скрепкой, можно вынуть лист и подменить. Эта невесомая скрепа, роспись на каждом листе, не даст ничего подменить, сохранит все в изначальном порядке.

За «накладной» на арестанта следует допрос.

«И августа в 3 день 744 года в Тайной канцелярии присланной из Святейшаго синода бывшей в лант-милицейском валуйском полку поп Андрей Шапкин принят и о чем надлежало расспрашиван. А в роспросе сказал. Сего де августа 1 дня будучи он в Савине монастыре Сторожевского ея императорскаго величества слово и дело за собою сказывал для того:

в нынешнем де 714м году мая 29 дня означенного монастыря ризничей иеродиакон (а имени его не знает) при окончании в том монастыре понахиды по благоверной государыне царевне и великой княжне Феодосии Алексеевне, где надлежало воспомянуть «во блаженном успении вечныи покой подаждь, Господи, усопшей рабе Своей царевне Феодосии Алексеевне», а вместо того воспомянул «благоверной государыне императрице Елисавете» и потом вскоре воспомянул же «по благоверной государыне царевне Феодосии Алексеевне. [...] Да как де он Шапкин сего августа 2 числа везен был из помянутого монастыря в Москву в святейший синод под караулом и в то время едучи дорогою того монастыря отставной салдат Степан Кухарев наодине сказывал ему Шапкину, как он Кухарев в том монастыре держан был под караулом и во время де учинения по возшествии ея императорскаго величества на всероссийский престол присяги он Кухарев просил вышеозначенного намесника иеромонаха Матвея, чтоб он ево Кухарева для присяги и подписки ис под караула свободил. Токмо де оной намесник ис под караула ево Кухарев не свободил и к той присяге ево не допустил. И после того он Кухарев у той присяги не был».

Двести пятьдесят лет прошло, а так всё знакомо и близко! Кажется, что встретил соседа и собрата по несчастью. И он, взыскуя правды, обличал, за что и очутился в Звенигороде. И он видел дивный монастырь, и тоже тащился назад — правда, не на электричке, а на телеге. Да и домик, где поп Андрей сидел под караулом (как и Кухарев), — он тоже ведь, пожалуй, сохранился, это прямо у северных ворот монастыря, хозяйственных. Правда, по большевистскому обычаю, парадные ворота монастыря как раз забиты наглухо, и экскурсанты ходят именно через «чёрный ход», а в том домике сидит какая-то секретная часть: монастырь достался санаторию Министерства обороны, и у входа, натурально, разместили что-то вроде караульной, только что с какими-то электронными устройствами вместо печалей...

Это мгновенное, подсознательное чувство сродства, наверное, и заставило меня разобрать дело внимательнее, чем было бы нужно для истории монастыря. Что скрепы! Все это канцелярская утопия, и ничто никогда нельзя сохранить в идеальном порядке. Первый лист — вовсе не первый, и название дела, данное по первому листу (и то сказать, не читать же канцеляристу с грошовым жалованьем четыреста полуистлевших страниц), совершенно ошибочно. Дело заведено не по доношению наместника Сторожевского монастыря и заведено не в 1744 году, а намного ранее. В начале следуют листы, которым место в конце. Несколько страниц — листы из какой-то ужасной, словно обёрточной, бумаги, с буквами чуть ли не в пядь высотой; потом из дела выяснится, что они были найдены в нужнике Тайной канцелярии. Кажется, что разобраться во всём этом решительно невозможно, но — вот радость — на 263 листе запись:

«Февраля 26 числа [1746] [...] поп Андрей Шапкин просил, чтоб ему дать бумаги и чернил, о чем де к ея императорскому величеству он просился и желал объявить, о том де он напишет своеручно, чего ради ему попу Шапкину дана бумага и чернила. И сперва оной поп писал своеручно начерно, а потом переписал набело и, написав по пунктам, приложил руку. А в том своеручном написании оной поп Андрей Шапкин написал».

Сохранился текст «своеручного написания»! Правда, сохранилась копия (и в пересказе канцеляриста-переписчика), да и она неполна, но зато в деле есть и вторая, и третья копия с этого мемуара, и они помогают заполнить пробелы в первой. Надо знать, как мало осталось мемуарных документов от незнатных обитателей XVIII века вообще (а мне довелось писать работу именно о приходском духовенстве этого столетия; на ловца и зверь бежит), чтобы оценить находку. Это настоящий, не стилизованный под «осмнадцатое столетие» язык. Он и грубее, и проще, в нём нет тех отчаянных архаизмов, к которым вынуждены прибегать стилизаторы, даже такие талантливые, как Лесков. Шапкин не просто рапортовал о своем деле, он живописал, воспроизводил диалоги, иногда и от первого лица. Комментариев к этому документа почти и не нужно, нужны только знаки препинания, которые и расставлены.

«В прошлом 1739м году апреля в 13 день из святейшаго правительствующаго синода он поп Андрей отправлен в лант милицкой Валуйской полк для священно служения, в котором де был 1740 году по сентябрь месяца».

На самом деле, в «своеручном» оригинале, конечно, было написано: «я, поп Андрей, отправлен» (и кое-где канцелярист всё же забывал изменять «мое» на «его попа Андрея»); это и напоминает про то, как был составлен оригинал). Не было и «де», которым канцелярист сигнализирует, что перед читателем именно пересказ документа. Вот это «де» (оно и в рукописи пишется крохотным росчерком над строчкой) дальше всюду убрано, чтобы не раздражать читателя, а уж «он» вместо «я» пришлось оставить: перед нами всё же лишь копия, может быть, с какими-то искажениями. Кстати, в XVIII веке точек и запятых в канцелярских документах решительно не признавали и паузы обозначали разве что бесконечными «и», «а»...

5

Андрей Левонтьев сын Шапкин был священником в селе Морозове Дмитровского уезда. Правда, он сам и все окружающие говорили не «священник», а «поп» — такая уж неделикатная эпоха. Лишь в середине XVIII века вышел указ, по которому изменили все географические названия, содержавшие в себе матерные слова, а было их немало. Слово же «поп» замечательно тем, что оскорбительность в нём нарастающая, в сущности же, оно означает просто «папа», как и «abba», «аббат». Можно обязать людей говорить «священник»; но если кроме обязательности ничего не будет в человеческой душе, то скоро и слово «священник» станет бранным и придётся и его на что-то заменять.

В 1732 году у Шапкина родился сын Илья. В 1735 умерла жена. Обычай вообще-то требовал от вдового священника пострижения в монахи, и Шапкин вроде бы даже дал соответствующий обет. Но в монастырь ему не хотелось, и он нашёл неплохой выход: устроился полковым священником в «ланд-милицию», то есть в своеобразное казачество, сторожившее южные окраины России и одновременно их же пахавшее.

Неизвестно, проявлялись ли как-либо особенности характера отца Андрея в бытность на приходе, но 1739 год, когда он пристроился к полку, стал последним мирным годом в его жизни. Началось всё с малости, с совершенно ничтожного. Началось всё с полтинника.

«И того 740го году в сентябре месяце при доношении оного ж Валуйского полку от капитана Ивана Богданова (якобы он поп Андрей во оном Валуйском полку детей своих духовных многих людей

грехи открывал) отослан в Белгородскую духовную консисторию. И по следствию о том деле того не нашлось.

А в том следствии явилось, что он поп Андрей по умертвии дочери своей духовной маркиганта Харитона (а отечества ево он поп Андрей не упомянул) жены ево Матроны по приказу ее на исповеди, ежели де она Матрена умрет, то б он поп Андрей у помянутого мужа ее Харитона на поминовение взял пятьдесят копеек, у которого он поп и требовал. И оногò капитана Богданова доношение с следствием явилось несходно. А показал ложно (как о том во оной консистории в деле значит). И ему капитану Богданову за ложное на него попа Андрея доношение по указом ничего не учинено, от которого он поп Андрей и с ним же показанным сыном своим пришел в самую скудость и великое разорение».

Если к этим словам добавить уцелевшие доносы, то всё объясняется просто. Шапкин был честный человек, а капитан Богданов относился к солдатам совершенно по-русски: они ему помогали по хозяйству, поправляли у дома его крышу, работали на огороде. Газет, которые бы разоблачали коррупцию в армии, тогда не было, зато был Шапкин, который один стоил нескольких газет. Он и сказал приподно капитану в лицо: «Вор» и написал на его «воровство» донос. Был бы тогда «Московский комсомолец», написал бы, наверное, туда; и напечатали бы.

Усмирить священника, прямо капитану не подвластного, было делом не лёгким. Богданов поступил с хитроумностью, достойной лесковских подьячих. То, что Шапкин просил мужа покойной маркигантки дать храму завещанное покойницей, было представлено как разглашение тайны исповеди. Для следствия протоиерей Григорий Миргород повёз Шапкина в Белгород. Выяснять, собственно, было нечего, и поездка могла бы остаться простой прогулкой, но здесь в первый раз (для нас) проявилась неспособность Шапкина спокойно пройти мимо самомалейшей неисправности. В местечке, где служил отец Григорий, их застал указ о присяге новому повелителю России двухмесячному Иоанну Антоновичу (8 ноября 1740 года он был провозглашён императором с опекуншей Анной Леопольдовной). Миргород, взяв с собой Шапкина, пошёл в церковь приводить народ к присяге, а потом и сам, взяв печатный лист с её текстом, положил его на алтарь, чтобы расписаться. Что тут началось!... Отец Андрей не придумал ничего лучше, как начать поучать собственного начальника, поучать, словно мальчишку в приходской школе: для чего он на престол кладёт светскую бумагу?..

«Или тут канцелярию учинил! Не токмо на святом престоле писать, но и во святой алтарь надлежит войтить с великим страхом. И мимо святого престола идучи по церковно чиноволожению с великим страхом и достодолжное поклонение воздати подобает, для того что тут божественныя святыя пречистыя небесныя безсмертныя животворящия страшныя христовы тайны совершаютца. И не токмо во святом алтаре и на святом престоле писать, но по святому писанию и, в церкви Божии стояще, стояти на небесимни. И то весма богопротивно.

На которые мои слова он протопоп сказал мне:

— Что ты мне указываешь?...

И посадил меня паки в канцелярию».

6

Отец Андрей был безусловно прав. Алтарь — не канцелярский стол. Другое дело, что надо быть архиереем, чтобы позволить себе делать такие замечания, — а Шапкин был, наоборот, подчинённым Миргорода. С одной стороны, это его характеризует как персону бесстрашную, с другой — как персону неосмотрительную.

Миргород привёз Шапкина в Белгородскую консисторию в самом начале января, когда империя просыпалась после рождественского загула. Шапкин начал знакомство с того, что подал официальный донос на протопопа в осквернении престола. Миргород, улыбаясь в бороду, написал объяснительную, смысл которой сводился к тому, что он клал на престол не какую-нибудь бумажку, а присягу самому императору, который тогда вполне официально считался главой Церкви, входил, между прочим, в тот же алтарь через царские врата, как священник, и причащался в алтаре. В общем, никакого осквернения престолу от соприкосновения с монаршим титулом быть не может, ибо Церковь и монархия едины. Миргород ещё подпустил цитату из апостола Павла, приложив к императору слова, апостолом сказанные обо всех христианах: «Их же предустави, тех и избра, а их же избра, тех и оправда, а их же оправда, сих и прослави».

Секретарь консистории Илья Булгаков дружелюбно сказал отцу Андрею: *«Протопоп Миргород умен, он де говорил, что он принц Иоанн прежде рождения освящен. А ты де говоришь, на что лист на престол он протопоп клал! И он де в том прав».* В переводе на современный русский: *«Что ты гонишь волну? Люди знают свое дело, а ты с наскоку хочешь их свалить!»*

Мы должны вспомнить, что Шапкин писал всё же не совсем мемуар для потомков, а объяснительную записку для следователей Тайной канцелярии, причем писал не в 1741 году, а пять лет спустя, когда обстоятельства резко изменились, во всяком случае, для императора Иоанна. Тогда, в январе 1741 года, протопоп Миргород победил Шапкина просто: не отрицая своей вины (да, клал лист на алтарь), пропел дифирамб воцарившемуся императору, применив к нему величественные слова апостола Павла из послания к Римлянам (8, 30). Такой император уже почти святой; присягая ему, можно и на алтаре расписаться. Теперь же, в 1746 году, правила свергнувшая Иоанна Елизавета Петровна, Иоанн был в заключении, имя его было ненавистно императрице, даже бумаги, изданные от его имени за год правления, именовались «дела с известным титулом», последовательно собирались и уничтожались. Шапкин и подчёркивал, что Миргород хвалил Иоанна, в надежде, что следователи всполошатся и вернуться к тому старому инциденту. Авось притянут протопоба к ответу за государственную измену! Но следователи не спешили заводить дело. В 1741 году вся Россия присягнула Иоанну, все говорили высокаторжественные речи, всех можно было бы посадить за измену нынешней правительнице. Надо, однако, знать меру. Шапкин её знать не хотел.

Канцелярия оправдала протопоба Миргорода, а с доносом Шапкина на капитана поступили и вовсе просто: разорвали и выкинули. В конце концов, воровство было умеренное: ну, починили солдаты крышу, ну, вскопали огород. Было бы из-за чего огород городить! Впрочем, и Шапкина не стали наказывать за разглашение тайны исповеди. Вот истинно справедливый суд: всех оправдать!

Более того, канцелярия даже позаботилась развести Шапкина с его врагом. Отца Андрея сняли с «капелланства» и направили в небольшой сельский приход в Чюраево, в храм Михаила Архангела. Там, конечно, было скудно жить, и Шапкин время от времени наезжал в Белгород просить себе новое, более хлебное место. В нём копилась усталость и тоска. С ними он однажды и стал свидетелем рядовой по тем временам сцены. Он приехал в консисторию взять расписание «о высокаторжественных викториальных днях ея императорскаго величества» — когда служить молебны по случаю императорских побед.

«И в прошлом 742м году апреля в первых числах во оной же Белгородской консистории подьячий Алексей Золотарев уездного церковника (а которого села и церкви и как его зовут, того он поп

Андрей не упомянул) учел по щекам бить. И он поп Андрей стал говорить, что:

— Подьячему церковника безвинно бить не подлежит.

Которые ево попа Андрея слова оной подьячей Золотарев услышав бросился к нему попу Андрею и говорил:

— Я тебе кишки выпущу вон!

И он поп, убоясь того, сказал имеет дело государево. При том же он поп Андрей говорил:

— Для чего у них в консистории при указе ея императорского величества другой лист подобием указа с титулом принца Иоанна на стене рядом в близости поставлен?

И в вышеписанных ево попа Андрея словах на другой день той консистории капрал Козма Седелской во оную консисторию писменно извет подал».

7

«Сказать слово и дело» означало обвинить кого-то в государственной измене, в оскорблении чести императрицы. Практически это означало, что человека должны были сразу послать в Москву. Дело переходило совсем в другое ведомство, словно из МВД в КГБ. Что подьячий бил кого-то по щекам — это уголовное дело, что указы с именем свергнутого Иоанна Антоновича висели открыто, да еще рядом с указами свергнувшей его Елизаветы — это политическое преступление. Маленькое, с нынешней точки зрения, но серьёзное с точки зрения тогдашних беспощадных законов. Шапкин и сам оговорился, что закричал «слово и дело» — «убоясь». Если бы не раздражение и злость от нищеты, он бы не стал ввязываться в историю. Всего-то он и знал про указы и лихорадочно начал припоминать, что ещё слышал такого, что можно было бы выдать за государственную измену. Так выдал он еще одно обвинение: подьячий консистории берёт взятки с духовенства только за то, чтобы дать им подписаться на присяжных листах. Конечно, это было преступление: брать деньги за присягу! Но, во-первых, Шапкин сам свидетелем взяточничества не был, он просто услышал что-то об этом от какого-то игумена Серапиона, а во-вторых, хоть бы и видел всё собственными глазами: как доказать-то? Тогда денег метить радиоактивными изотопами не умели...

Шапкину было страшно. Особенно было страшно то, что в Тайную канцелярию должны были в первую очередь отправить

его самого, доносчика. Эта мера сдерживала поток доносов. Правителям России было ясно, что если действительно следовать букве изуверского законодательства, то в тюрьме окажется вся держава. Ясно это было и всякому начальнику, и никто просто так закона не исполнял, если была хоть малейшая возможность обойтись домашними средствами.

«И она консистория, а наипаче секретарь той консистории Илья Булгаков ево, попа Андрея, в правительствующий сенат или в святейший правительствующий синод или в белгородскую губернскую канцелярию надлежало отправить, не отсылали.

И по вышеписанному капрала Седелского извету помянутой секретарь Булгаков ево попа Андрея спрашивал же:

— Что капрал Седелской подал про указ принца Иоанна, по которому ты поп Андрей говорил, что ему не надлежит при указе ея императорскаго величества стоять, и ты то говорил ли?

На которые ево слова он поп Андрей сказал, что:

— Оному листу, якобы «указу», с указом ея императорскаго величества стоять не подлежит.

И он секретарь Булгаков, на него попа Андрея покивав головою, сказал:

— Что тебе он помешал...

И велел он секретарь ево попа Андрея посадить в хлебню под караул. И был дней з десять в великой нужде. И того ж апреля 18 числа о всем вышеписанном он поп Андрей слово и дело государево сказал. О чем того ж числа той консистории салдат Дмитрией Смолин оного секретаря Булгакова репортовал, потом и вышепоказанной капрала Седелской ево Булгакова репортовал же.

По которому репорту оной секретарь Булгаков прислал дому архиерейского детей боярских несколько человек к нему попу Андрею и били-ево всячески смертно, от которых побой едва ожил. И оные побои знать были долго, о чем он поп в доношении в белгородскую губернскую канцелярию между прочим писал».

Секретарь консистории избрал самый простой путь: положить дело под сукно, ходу никаким доносам не давать, в Москву доносчика не посылать, заставить Шапкина взять все обвинения назад и замолчать. Это было разумно: если бы доносам дать ход, то скольких бы людей без особых (и с нынешней точки зрения, и с тогдашней) причин стали бы тягать на допросы. Могло дойти и до наказания. К сожалению, для Шапкина это означало очень неприятное времяпрепровождение: ево начали смирать в чисто российском духе.

«И того ж числа из оной хлебни оные дети боярские, ево попа Андрея едва жива притаща, бросили в тюрьму. Да с ним попом

Андреем посадили колодника, вотчины белгородского архиерея села Гойворона подданного черкашенина Петра (а как его отчество того он поп Андрей не упомнит) и заперли. В которой [тюрьме] телесною нуждою и испражнялись, от которого смраду едва не померли.

И того ж апреля 19 дня вышеписанной капрал Седелской пришел к тюремному окну и, призвав его попа Андрея, говорил ему:

— Вчерашнего числа ходил он Седелской к секретарю Булгакову о сказывании тобою слова и дела государева репортовать. И он секретарь за оной репорт бил его Седелского. И волосы едва не все выдрал.

И, ис кармана вынув, немало волос выданных секретарем Булгаковым показывал. И отказал оной секретарь Булгаков ему Седелскому от кансистерии. А на его де Седелскова месте приказал быть сыну боярскому Андрею Сербику. И при том объявлении он Седелской ему попу Андрею говорил же:

— Ежели тебя куды возмут к допросу и что б он поп Андрей о вышеписанном объявил бы».

8

Здесь воспоминания отца Андрея обрываются, и продолжение их отыскивается на полсотни страниц ранее.

«И того ж апреля 24 дня 1742 году услышал он поп Андрей, что будет наутро, то есть апреля 25 числа милостию и помощию всеильного Бога всепресветлейшей державнейшей великой государыне нашей императрице Елисавет Петровне самодержице всероссийской святое помазование и коронование».

Кто знает, каким было 24 апреля в 1742 году на юге России? Уж верно, погожим и теплым днём. Шапкин дрогнул сам и понадеялся, что, может быть, дрогнет и сердце кансистерского секретаря. Он позвал караульного и попросил сходить к Булгакову, взять разрешение сводить арестанта в церковь помолиться. Увы, Булгаков был категоричен: пусть в тюрьме молится! Мирное настроение Шапкина сразу же пропало, и он ринулся в атаку.

«Он поп Андрей желает ко всеобщему бедению в церковь, которая на архиерейском дворе от кансистерии и от оной тюрьмы не более десяти сажень отстоит. И чего ради в церковь не отпущает?! Хотя бы он поп и по вине какой содержался, и для такой высокой радости вины отпущаются. А хотя б и не ради такой высокой радости, и тут бы какого нибудь колодника не подлежит ему секретарю над христианами нехристиански ругатца и взаперти мучителски содержать и на умор морить, что так и над скотом не чинитца».

Булгаков выслушал всё это хладнокровно, Шапкина никуда не пустил, да еще издевательски послал ему с караульным псалтирь — мол, если ты такой молитвенник, молись. Шапкин взъелся и пустил в ход ту же логику, что и в первом своём доносе: молиться вообще-то можно везде, но молиться об императрице — лишь в приличных местах (как и указам с именем её не всюду можно висеть). Неужели его карцер можно назвать «приличным местом»? Ведь тут же параша стоит. «А ныне для чего в такой скверности, где испражняютца, он секретарь Булгаков о здравии ея императорскаго величества всенощное бдение кроме других чистых мест служить заставляет».

Служить молебен об императрице в карцере, превращённом в нужник, — это, действительно, непочтительно к императрице. Если бы Булгакова хотел посадить какой-нибудь начальник, это был бы несомненный повод. Но закон могло использовать именно начальство; снизу же дергать за веревочку было нехорошо. В сущности, Шапкин попал в обычную ловушку правозащитника: он требовал неукоснительного соблюдения скверного закона, причём сознавая, что ему наплевать на сам закон и что все знают, что это лишь формальность и повод для бузы. Нравственно, однако, он не имел и того оправдания, которое отличает правозащитника от бузотера (и которое не желали признавать официозные гонители правозащитников): бескорыстия и уверенности в том, что правовое сознание такая хорошая вещь, что стоит некоторых спекуляций...

9

...До этого момента Андрей Левонтьевич Шапкин вызывает мало симпатии. Не вызывает к себе симпатий и начальство, которое травит Шапкина в ответ на его обличения, но начальство и не претендует на какую-то чистоту и честность. Однако Шапкин явно человек больной и обращаются с ним, пожалуй, даже лучше, чем в том же веке обращались с сумасшедшими. С людьми, подобными отцу Андрею, сталкивались все; от столкновений этих тошно. Только в жизни черно-белых положений не бывает, и 29 апреля 1742 года она уготовила Шапкину и исследователям его жизни трагический поворот. Прежде, чем дать слово Шапкину, надо еще раз напомнить, что перед нами подлинный документ, кажущийся слишком уж романно подробным. Однако речь идет о XVIII веке, когда память у людей была крепче, да и запоминал Шапкин не роман, а то, что произошло с единственным его сыном. Ничего удивительного, что запомнил он каждую деталь.

«И того ж апреля 29 числа пришел к тюрьме (в которой он поп Андрей сидел) сын его Илья (которой тогда был по десятому году) едва жив. И стал ему, попу Андрею, показывать у себя на спине побои, которая вся нехристиански прутьями збита до крови, что единого целого места нет, но вся кровь слилась.

И он поп Андрей стал его Илью спрашивать, кто бил. И он Илья сказал, что бил архиерейской певчей Матвей, да не только что бил, но и блуд над ним Ильєю насилно учинил. И он поп Андрей спросил его Илью:

— Каким случаем он тебя бил и блуд зделал, и что ему певчему до него, Ильи, дела?

И он Илья ему, попу Андрею, сказал:

— Вчерашняго числа пришел он певчей Матвей в хлебню (в которой он Илья остался после его попа Андрея, как его попа Андрея вышепоказанныя дети боярския помянутого апреля 18 числа в тюрьму посадили, о чем писано выше сего) ночью порою. И просил у клюшника Артамона квасу. И клюшник ему сказал: «Поди от меня прочь, не мешай спать! Ведаешь ты, в какую пору квас берут».

И он певчей Матвей и пошел вон. А он Илья да архиерейского дому малчик возрастом с него Ильєю (а как его зовут он поп Андрей не упомнит) во оной хлебне у печи на шеске огонь раскладывали, чтоб видно было, и грелись.

И как будет ночи часа с три оной певчей Матвей, паки в оную хлебню пришел, просил упомянутого клюшника Артамона квасу. И он клюшник ему по прежнему отказал же: «Что ты, приходя ночью, не даешь спать?!»

И он певчей Матвей сел на лавку и стал спрашивать у помянутого архиерейского малого об нем Илье: «Чей такии малый?»

Которой малой ему Матвею сказал: «Это попов сын, которой поп в тюрьме сидит».

И он Матвей стал его Илью к себе звать: «Поди сюды, малый». И он Илья к нему пришел. И стал его Илью спрашивать: «Что ты, выучен ли грамоте? И буде выучен, читай».

И он Илья сказал, что он бес книги читать не умеет. И он Матвей учал бить по щекам и стал принуждать, чтоб читал. И он Илья заплакал. И он Матвей сказал: «Надобно тебя, скурваго сына, розгами высечь, а розги у меня дома есть». И потащил его силно.

И он Илья закричал: «Артамон! Артамон! Не давай меня, певчей тащит его Илью незнаемо куда!»

И оной Артамон на тот его Ильи крик и голосу не отдал.

И оной Матвей привел его в свою квартиру. И, взяв прутья, и бил его нехристиански и збил ему всю спину в кровь. И по побоях

затворил дверь, и крючком заложил, и, положа на постелю, учинил над ним блуд.

И по учинении того блуда стал ему Илье говорить что: «Ты никому про это не сказывай, а ежели скажешь, то не так тебя высеку». И он Илья и пошел от него, и пришел в хлебню.

И как он поп, услыша от сына своего о вышепоказанном учиненном певчим богомерском деле, стал в дверь, которая заперта, говорить, чтоб доложили секретарю, дабы он поп взят был перед него, нужду великую имеет. И приказом ево секретаря сказано ему попу Андрею, чтоб он сидел в тюрьме, а не просился бы.

И он поп Андрей стал говорить, что над сыном ево немалая притчина певчим учинена, чтоб доложили.

И по докладу на те мои слова то ж сказано, чтоб сидел, топерь не вырвешься.

И он де поп Андрей сыну своему Илье, которой у тюремного окна стоял, велел ему рубаху с себя снять и казать людям, которые в кансистирию приходят и выходят. И сказывал он поп Андрей в окно тем людям, что:

— Просился он поп с сыном своим к секретарю, объявить о вышепоказанном деле и оной секретарь ево попа и с сыном ево Ильею перед себя не берет!

И чтоб оное богомерское дело уничтожено не было, стал он поп им людям оными великими побоями и что о том блудного насилного учинения насили он Илья ногами ходит засвидетельствовать.

И то услыша оной секретарь взял в кансистирию, а ево попа перед себя не брав, спрашивал. И по спрашивании, сыскав того певчаго Матвея, на очной ставке спрашивал же. И приказал ево Матвея сковать, которой был и скован, и содержан был во оной кансистирии под караулом. А сын ево Илья был в той же кансистирии под караулом же.

И после того спустя дни з два оной секретарь Булгаков с оного певчаго Матвея сняв железа ис под караула свободил. А сына ево Ильею ис кансистирии вон выслал и сказал ему, чтоб он на архиерейской двор и в кансистирию отнюдь бы не приходил, а ежели будешь ходить, то бить будет жестоко.

И он Илья к нему, попу Андрею, пришед о вышепоказанном сказал. И что ему Илье негде детца, стал о том плакать».

Прервем ненадолго отца Андрея. Вот она, слезинка ребѣнка, которая превращает канцелярский фарс в нечто серьезное. Ужас-

то в том, что в трагедии виноват не только дьякон, и не только начальство, но и сам Шапкин. Он притягивал несчастья к себе склочным, прямо скажем, характером, но ведь рядом с ним был и сын. Мерзок насильник, жалко ужасно и сейчас, двести лет спустя, Илюшу, и слышишь, как он кричал: «Артамон, Артамон» и как звякал крюк, когда дьякон запирает дверь, но жальче всего, что так все одно к одному и шло, чтобы случилось какое-то несчастье с тем, кто вовсе ни в чём не виноват — ни в склочности, ни в неуживчивости, ни в разврате. Более того, Шапкин так уж всё закрутил, что теперь, когда среди бумажных склюк вдруг взорвалось настоящее преступление, нельзя было начать наказывать действительно виновного дьякона без риска подвести под суд людей, в сущности маловиновных. Теперь все были заинтересованы в одном: замять дело. А Шапкин все более запутывался и уже не мог отличить важное от неважного, и писал всё путанее. Но как его за это упрекнуть — ведь писал, в тюрьме находясь. Но всё же страшная берёт досада и хочется достать чернил и переписать его челобитную, оставив про главное, про Илюшеньку (и, действительно, хочется вот так, по Достоевскому, назвать ребенка), забыв про всякие глупые бумажки, про клок драных канцеляристских волос, — и послать туда, в Белгород 1742 года...

«И он поп Андрей ему Илье сказал: ежели ево Илью никто не пустит, то б у консистории начевал. И просил он поп Андрей, чтоб доложили секретарю, дабы сына ево Илью, что ему негде детца, пустить бы к нему попу Андрею в тюрьму. Которой ему попу Андрею приказал сказать, что сыну ево попа Андрея квартиры нет у них.

И того ж дня белгородского архиерейского дому сын боярской Иван Ильин сын Зайкин велел оному Илье Бога ради к нему в дом прибегать. И того ж числа усмотрил он поп Андрей оного секретаря Булгакова, стал ему говорить:

— Для чего они правила святых апостол и святых отец и правы государственных разоряют и, не учиня резолюции за учиненное показанным певчим Матвеем мужеложное насильное дело, с оного певчева сняв железа, свободили, а оного Илью ис консистории вон выбили, тако ж и ныне попу Андрею в тюрьму ево Илью не пустил, что ему и детца негде?

И он секретарь Булгаков сказал ему попу Андрею:

— Сиди в тюрьме. Место тебе хорошо, не вырвешься».

Отец Андрей понял, что дело плохо; он только ещё не понял, насколько плохо, и, написав очередной донос, дал его сыну, Илющечке, и тот «пошел в Белгородскую губернскую канцелярию подавать». Но тот же Иван Зайкин, который дал Илье пристани-

ше, вовремя заметил, что мальчик куда-то пошёл, сбегал к Булгакову, и Илью просто задержали и, отобрав бумагу, тоже посадили под арест.

11

Потянулись томительные дни, недели, месяцы. В июле 1742 года Шапкин не выдержал и, завидев в очередной раз проходящего мимо его оконца Булгакова, подозвал секретаря и жалобно спросил: *«Долго ли мне еще в тюрьме сидеть и претерпевать великую нужду?»* Булгаков ответил ясно: *«Надобно тебе в кансистории подписку учинить, что ты поп Андрей в апреле месяце дело государево сказал. Ты что нибудь напиши, а нам бес того нельзя свободить. Однако же о тебе попе присутствующим доложу».*

Вот ещё один характерный момент. Секретарь Булгаков, который в глазах Шапкина был самым страшным врагом, бил его и морил в тюрьме не по злобе. Дело нужно было как-то так «закруглить», чтобы никто не пострадал. Правда, это означало, что придётся оставить без наказания и дьякона-растлителя, но уж так все слиплось в один ком, что либо всех надо отпускать, включая Шапкина, либо... Шапкину нужно было всего лишь написать какую-нибудь бумажку о том, что кричал «слово и дело», будучи пьян, и дело бы закрыли. Но отец Андрей пойти на такое не мог.

На очередном заседании Белгородской консистории Шапкин предстал перед начальством. Каково было ему обнаружить, что консисторию возглавляет протоиерей Филипп Артемьевич Булгаков, родной отец консисторского секретаря, настоятель Троицкого собора Белгорода!.. Какая уж тут справедливость, при такой родственности! Шапкину сказали просто: «Ежели чево нибудь не подпишешь, то паки поди в тюрьму».

Но отец Андрей не сдался! Ему пришла в голову гениальная и чисто русская мысль. Он слышал (заключённые только такими слухами и живут), что в Белгород приехал ревизор. Это, действительно, было так: на «линии» производилось следствие о злоупотреблениях драгунских офицеров. Вот если бы прорваться к этим, столичным следователям, не повязанным с местной номенклатурой! И вместо расписки в том, что он ни к кому никаких претензий не имеет, Шапкин пишет еще один донос, вспомнив старые счёты с ланд-милицией: мол, капитан Иван Богданов «заставлял государевых людей драгун и однодворцев ... собственную свою работу работать». Теоретически, с этим доносом его

должны были послать к ревизорам. Практически, Булгаков опять посадил его под арест.

«И того ж 742 году в июле месяце (а в котором числе того он поп Андрей не упомянет) возимел он поп Андрей намерение, чтоб о всем вышеписанном донести и в небытность караульных ушел и прибежав во оном Белгороде к бекету [казацъему караульному — Я.К.] и сказал дело государево, где и взяли его, попа Андрея, под караул. И по допросе из Белгородской губернской канцелярии с вышепоказанными секретарем Ильею Булгаковым, капралом Козмою Седелским, с сыном боярским Иваном Зайкиным да с сыном его попа Андрея Ильею в тайную канцелярию отправлены».

12

Здесь практически кончается копия «своеручного написания» отца Андрея. Он «бежал из-под стражи» чисто по-русски, без всяких подкопов или перепиливания решёток: караульные отлучились куда-то, и он ушёл. Наконец-то он добрался до гражданских властей, чая найти у них справедливость, которой не нашлось у власти церковной. Здесь его тоже первым делом посадили под караул, а затем быстренько сняли допросы со всех действующих лиц. Обличения Шапкина, самое что удивительное, подтвердились, но на все обличения у обвиняемых — и прежде всего, у Булгакова — нашлись объяснения. Он, оказывается, не посылал никого избивать отца Андрея — тот сам сопротивлялся солдатам, вот они и поколотили его (а что, чем не объяснение?!). Да, он не пустил Шапкина в церковь — «дабы от него впредь еще продерзостей произойти не могло». Виноват в своем безысходном сидении, таким образом, опять Шапкин. Арест певчего и суд над ним отложены до приезда архиерея — который, заметим, приехал лишь через год. Главное же: все, что Булгаков делал, он делал с ведома и по приказанию директора консистории и членов духовного правления...

13

Из Белгорода Шапкина вместе с протоколами допросов послали, наконец, в Москву, в Тайную канцелярию.

Страшное учреждение, ЧК-ФСБ восемнадцатого века, излюбленный объект исторических романистов. А работали в нём обычные русские люди того времени, которые вовсе не желали

себе лишней работы за такие деньги (неважно какие, всё равно казалось, что зарплата меньше хлопот) и которые прекрасно знали, что в стране порядка нет лишь с точки зрения абстрактной справедливости, а так все живут, перебиваясь, спасаясь взаимовыручкой и прощением грехов, и этим лишь укрепляют страну. Поэтому в Тайной канцелярии сочли, что Шапкин доносил напрасно, что никакого ущерба императорскому величию от указов, вывешенных не там, от молитв в нужнике и прочего, нет. В результате Шапкина с миром (но под караулом) отослали обратно в Белгородскую консисторию «для следствия» по его доносам на местных начальников.

Разумеется, в Белгороде никакого следствия производить не стали. Консисторские судьи просто объявили несчастному попу, что есть указ Тайной канцелярии, чтобы наказать его за ложный донос плетью (был указ в самом деле или нет — неясно; но кажется, что нет). Шапкин вспоминал:

«Той консистории судьи, призвав его попа Андрея, которых объявили словесно:

— За ложное твое попа Андрея доношение по указу тайной канцелярии велено тебя попа плетью наказать нещадно.

На что он поп Андрей им сказал, что он ложно ничего не доносил, а доносил сущую правду. И били его попа Андрея едва жива покинув плетью без милости и безвинно».

Шапкина выпороли и послали «на исправление» в Святогорский монастырь под Белгородом. Только в конце 1743 года ему удалось бежать. Вместе с сыном он отправился пешком в Петербург искать правду в Синоде.

Синод, по крайней мере, не отправил Шапкина назад. Но и в столице, видимо, быстро поняли, с кем имеют дело. И то сказать: стоило Шапкину увидеть в приёмной бывшего наместника Святогорского монастыря Иоасафа, и он тут же закричал, что знает за ним кучу преступлений (причем не сам видел, а слышал монастырские сплетни), и, сев за стол, написал очередной донос: мол, когда он был в Святогорском монастыре, он слышал (всего лишь слышал!), будто бы Иоасаф «немиловисто бил» монастырского казначея, а затем спровадил его на «пасику», а тот умер среди ульев. Правда, Иоасафу тоже пришлось несладко: когда вернулся архимандрит Святогорского монастыря Фаддей Кокойлович (бывший в Москве «для сочинения Библии», как выразился Шапкин, а на самом деле для участия в работе по совершенствованию перевода Библии), Иоасафу пришлось бежать от праведного наказания «ночною порою», «в отход под оградную стену».

А теперь Синод его назначил архимандритом Обоянского монастыря! Как не сообщить о такой несправедливости?! А заодно Шапкин ещё раз написал о собственных печалях — и про Булгакова, и про изнасилование сына.

Все сказанное Шапкиным тщательно записали, а до проверки дела (если собирались проверять) постановили послать его в Звенигородский Сторожевский монастырь.

14

Так, наконец, соединились концы. Вот как отец Андрей попал в Звенигород. Теперь, зная характер Шапкина, ясно было, как он умудрился за считанные месяцы набрать «компромату» сразу на нескольких монахов, почему закричал «слово и дело» (тут уж как с водочкой — первая апелляция к власти колом, а затем человек приучается и доносит, как пташечка), как он умудрился даже из дорожного разговора с караульным солдатом вывести донос. В черновике доноса московскому архиерею Шапкин бичевал всех:

«Был монастырь Саввы Сторожевского самый отличный, а ныне учинен своекоштным, что тут ссылаютца всякого чина люди и иные ссылошные».

Первая половина фразы отмечает тот известный факт, что при царе Алексее Михайловиче монастырь был придворным; тогда и был создан в нем великолепный архитектурный ансамбль, стоящий и до сего дня. Окончание же предложения содержит факт, ранее неизвестный: монастырь в XVIII веке опустился до положения карцера.

«Намесник, ризничий, уставщик в том монастыре дворец ея императорскаго величества уничтожили, и радения [не прилагают], кроме всякого бесчинства и ругания, что ни у последнего крестьянина от посторонних такова допущения к дому своему не имеется, то есть ко оному дворцу всякаго звания люди имеют испражнение телесное».

Эта витиеватая фраза оживляет сухие бухгалтерские документы того времени, из коих следует, что монастырские власти просили у казны десять тысяч рублей на ремонт дворца. Не отремонтировали его до сих пор, хотя денег за века было перекачано в монастырь много. Да и то сказать: «перестройка» означалась в Звенигородском монастыре тем, что директором музея назначили бывшего заместителя министра культуры Чеченской республики. Причем заместителем человек работал — по строительству...

19 апреля 1744 года поп Андрей прибыл в Сторожевский монастырь, а уже 29 мая он взял себе на заметку первую неисправность, о которой и писал в доносе: во время панихиды дьякон по ошибке провозгласил вечную память царствующей императрице. Надо знать монотонность православного богослужения, чтобы понять, насколько часты подобные ошибки. На следующий день не явился на панихиду по Петре Великом монастырский уставщик. Причём отец Андрей явно не таился и открыто заявил о замеченном безобразии; во всяком случае, уже 2 июня его заперли в караульной палатке. Власти, предержавшие обитель, недооценили Шапкина и в ту же палатку запирали и провинившихся монахов (фактически там был монастырский вытрезвитель). Так что Шапкин сочувственно выслушал сокамерника: тот-де кричал слово и дело полгода назад, а его не отправили в Тайную канцелярию, но просто выпороли кнутом в трапезной, на глазах у всей жующей братии. 28 июля уже на глазах самого Андрея другой узник закричал «слово и дело», и вновь его никуда не отослали, а выпороли. Тут уж закричал «слово и дело» сам Шапкин. Монахи — с явным, думается, облегчением — отправили его в Москву. По дороге и разговорился Шапкин с солдатом. В Тайной канцелярии он, не проявив ни змеиной мудрости, ни голубиной кротости, выложил всё начистоту. Истина, с его (и с закона) точки зрения заключалась в том, что чести императорского дома многожды нанесли ущерб: помянув императрицу за упокой, помешав присягнуть ей, погасив два возможных процесса об оскорблении величества.

В Тайной канцелярии выслушали старого знакомого и отослали в московскую консисторию, чтобы там провели следствие. Но проходит чуть больше месяца, и 23 сентября Шапкин вновь кричит «слово и дело», вновь отправляется в Тайную канцелярию. Теперь он обвиняет уже членов Московской консистории в лености и затягивании следствия. К тому же, сидя в консисторской тюрьме, поп Андрей познакомился с дьяконом Галактионом, не так давно ссылавшемся в тот же Сторожевский монастырь, и дьякон ему рассказал, как кричал «слово и дело», но был наказан плетьюми от наместника...

15

И вдруг в деле появляется весьма неожиданный документ: прошение от Шапкина московскому архиерею. Прощение написано на сложенном вполювинку листе, аккуратно и мелко; только,

судя по записям на оборотной стороне, прошения Шапкин не подал, а использовал его позднее в качестве черновика своего мемуара. В прошении всего-то четыре пункта (причём буквально, тогда была именно такая канцелярская форма, согласно которой Шапкин писал: «А о чем мое прошение, тому следуют пункты»): во-первых, я был в Звенигороде, во-вторых, я теперь в Москве, в-третьих, когда-то, овдовев, я хотел принять монашеский постриг, в-четвёртых, теперь я действительно прошу меня постричь в монахи. «Дабы то обещание мое не было втуне», Шапкин даже назвал монастырь, где бы хотел постричься: Богоявленский в Москве, что ныне как раз у одного из выходов станции метро «Площадь Революции».

В дело документ попал при рапорте караульного: арестантам просто так писать не полагалось. Впрочем, дойди прошение до адресата, вряд ли бы ответ был положительным. Пять лет таскания по судам — сомнительная характеристика. Все понимали, что отец Андрей не правдоискатель, а больной, склочник. Только не любят одинаково и тех, и других. Граница между болезнью и грехом, ненормальностью и нормой — зыбка; сторонясь, подчас бойкотируя правдоискателей, мы, возможно, боимся заразиться ненормальностью. Да и сам Шапкин, видимо, писал эту челобитную в минуту отчаянного просветления, чувствуя, как его засасывает бездушная и бессмысленная машина, и провидя, может быть, что не в тайных канцеляриях следует искать истину.

Впрочем, это было минутное колебание, и, уже сидя в каземате грозного ведомства, справедливец доносит на помещицу Рудакову, которую он и в глаза не видел, а только слышал, опять же от сокамерника, что она говорила, будто у императрицы есть любовник (честь государыни, считалось тогда, порочат не любовники, а только толки о них). Примечательно, что этот донос Шапкин уже адресовал непосредственно главе Тайной канцелярии — графу Ушакову. Ближайшей инстанции, секретарю Алексею Васильеву, он не доверял. И правильно: тот расследовал шапкинские доносы еще в 1742 году и представлял, с кем имеет дело. Васильев просто приказал караульным не пускать отца Андрея пред свои очи, как бы тот ни просился.

Не прошло и полугода, как допросили всех обличённых монахов Сторожевской обители. На все нашлись объяснения. Монахов, которые кричали «слово и дело», действительно никуда не отсылали и пороли, но наместник действовал по особой инструкции, которая разрешала не утруждать высшее начальство лицезрением алкоголиков, а просто пороть куражившихся спьяну

«доносителей». Бравый отставной солдат действительно, видимо, не присягал, но только теперь он уже от своих слов отрёкся и заявил, что потом всё же присягнул. Ведь наказали бы и его, если бы донос Шапкина подтвердился.

Правда, то, чему Шапкин сам был свидетелем, оказалось безусловной правдой. Монахи было заперлись, но очные ставки освежили им память. Объяснения были искренни. Императрицу помянули покойницей «подлинно нечаянно» — «прошибка» вышла, но тут же, «схватясь», её исправили. Пропустивший же панихиду по Петру Первому монах оправдывался болезнью, откровенно её описывая: *«Не был за животную балезию, понеже де от повредившегося у него живота выходят черви ... точно о том никому он простотою своею не объявлял».*

Тайная канцелярия решила, что за такой проступок довольно будет наказания от консистории (вряд ли оно было суровым), и в апреле 1745 года Андрей Левонтьевич Шапкин был возвращён в ту же консисторию для определения дальнейшей его судьбы.

16

Судьбе же продолжаться было особенно некуда. Решения от Синода всё не приходило, и Шапкин стал чем-то вроде бессрочного арестанта. Между тем, хотя на одной консистории поп Андрей уже обжёгся, но и в столичном заведении он по мере сил стал бороться с несправедливостью и беспорядками. Начал он на этот раз с доноса на сокамерника — вернее, на сокамерницу, потому что в консистории жену майора Засецкого, уличённую в супружеской измене, содержали с людьми духовного чина. Когда глава караула сержант Василий Зайцев объявил неробкой майорше указ об отправке её в Новодевичий монастырь на покаяние, та бесшабашно ответила: «Я этим указом гузно тру и того указу не слушаю».

Майор промолчал: все равно ведь отправят в монастырь, куда денешься; мало ли что скажет глупая баба. Шапкин же закричал «слово и дело» и в четвёртый раз отправился в Тайную канцелярию, где получил (в первый и последний раз) полное моральное удовлетворение: донос его признали верным, и Засецкую «за дерзкие слова били кнутом нещадно». Другое дело, что сержанту Зайцеву, который отказался свидетельствовать против Засецкой (якобы слов её не расслышал), поп Андрей объявил войну. Это было опрометчиво, ибо сержант состоял начальником караула, то есть главным для Шапкина тюремщиком.

Началось всё опять же с малого. Среди прочего мусора по камере валялись листы печатных указов, которыми в изобилии заваливала столица нижестоящие организации. Андрей Левонтьевич указал Зайцеву на беспорядок: ведь было напечатано царское имя, им не место в тюремной грязи. Зайцев отвёл возмущённого иерея к секретарю консистории, и тот в сердцах прямо сказал всё, что думал:

« — Из других колодников никто не доносит, ты везде поспел!»

Шапкин, однако, ничуть не смутился и парировал:

« — Разве я в том виноват, что указы прибрал, чтоб не валялись?»

В апереле же поп Андрей первый раз закричал «слово и дело» на Зайцева, его свозили в Тайную канцелярию, но быстро оттуда вернули. В делах осталось лишь упоминание, что кричал Шапкин, «осердясь на Зайцева, что тот его в баню не пускал».

В октябре неуёмный поп вновь заявил «слово и дело», в шестой раз отправился в Тайную канцелярию (обычно человеку и одного раза казалось много) и теперь застрял там на четыре года. Только на Зайцева он заготовил девять (!) доносов, пересказывать которые было бы утомительно, но которые, можно поклясться, все были справедливы и точны. Тут было и «уничтожение» доносов — и действительно, Зайцев не раз пропускал мимо ушей «слово и дело», когда их заявляли пьяные арестанты (колодничья паята не слишком напоминала позднейшие тюрьмы), и ограничивался внушением «тростью и шелепом» по спине. Наиболее впечатляет история некоего монаха Александра, которого Зайцев клал спать на железную дверь, а когда тот умер, забрал в свой карман деньги, собранные на похороны. И, конечно, жаловался Шапкин, что Зайцев «во многие времена бил ево, попа Андрея напрасно». Досталось и высшим чинам. Секретарь Донской не расследовал доносы Шапкина, отговариваясь тем, что «много колодников». Всплыла вновь история с попорванными указами. Главу консистории игумена Иова Шапкин обвинил в краже (точнее, принудительном изъятии) икон у купца-старообрядца Лажечникова, а заодно и еще написал доносик на Зайцева, что он об этих самых иконах донёс Иову. Был и совсем неприглядный донос на сокамерника, который поделился с правдолюбцем намерением бежать. Замечательно, что Шапкин вновь был абсолютно честен до такой степени, что предупредил товарища: «О намерении побега я объявлю».

Свежая порция доносов, по которой следовало допросить не один десяток человек, разбиралась больше года, а там нахлынули новые. Но Зайцева (не говоря уже о лицах выше его) Шапкин так

и не зацепил, хоть на время следствия и упёк в острог Тайной канцелярии вместе с собой. Караульные доносили, что вчерашние узник и тюремщик друг с другом «считались и между тем скверною бранью бранились». Но Зайцев «счёлся» легко, его объяснения были признаны вполне удовлетворительными. Заключённых он бил «по силе инструкции», денег ни у кого не отнимал и на железо никого не клал. Все колодники, сидевшие вместе с Шапкиным в консистории, отказались подтверждать его доносы, а двое даже подали донос на него самого, обвиняя в «дерзостных речах». «Справедливый человек» не завоевал расположения товарищей по несчастью. В каждом из нас спит правдолюбец; вот пускай и спит.

17

Документы, словно желая все же пробудить к Шапкину сочувствие, той же осенью 1745 года дописывают руками самых гнусных крючкотворов историю его сына. Илюша приходил в тюрьму к отцу, рассказывал, как устроился при монастыре в служках. Отец написал за Илюшу прошение о приёме в греко-латинскую школу, как вдруг контора Синода объявила наконец (три года спустя!) резолюцию — или, на нынешнем юридическом жаргоне, приговор по делу об изнасиловании. По букве закона оказывалось, что Илья, будучи жертвой изнасилования, оказывался нечист и для церковной службы не годен, а потому был отдан в солдаты. А дьякона-насильника «наказали», разрешив ему постричься в монахи, замаливать грехи. Протестовать было некуда. Шапкин по привычке всё описал в Тайной канцелярии, но там пропустили его доношение мимо ушей, как не входящее в их компетенцию.

18

Пообвыкнув в Тайной канцелярии, Шапкин, натурально, вступил в борьбу с царящими в ней непорядками, как боролся с непорядками в Московской консистории, Белгородской консистории, Валуйском полку. Борьбу эту можно было бы назвать дон-кихотской, если бы идеалы справедливости испанского гидальго и русского иерея не расходились в чём-то очень существенном. С точки зрения закона, Андрей Левонтьевич всегда был безупречен, и уж он-то не стал бы освобождать заключённых, хотя сам был заключённым уже много лет безо всякой вины. Он и начал опять с доноса на союзника, солдата Фёдора Устинова. Тот

не поладил в чём-то с часовым, поднялась брань, и родных матерей спорщики не жалели. Это всё было обычно. Шапкин встrepенулся, когда к витиеватому мату Устинов приплёл титул государыни: «Матерно лаял ея императорское величество». Честный Шапкин, как всегда, тут же сказал, что надо рапортовать в таком безобразии. Но Устинов, видно, вошёл в раж: «На меня хотите доносить?!» — звонил он и, не переставая материться, схватил доску и выгнал из казармы всех, и колодников, и часовых. «Вы на меня фискалите?!» — были его гневные слова, и ещё: «Я наг и бос, только мне по копейке на день идёт, помираю голодную смертью».

Устинова в конце концов усмирили и посадили на цепь. Караульные солдаты заявили, что узник не в своём уме, но Шапкин твёрдо возразил, что Устинов рассуждал и действовал вполне здраво, хоть противозаконно. И прав был, очевидно, поп Андрей! Он был прав, а милостив был всё тот же секретарь Алексей Васильев, который официально признал-таки Устинова сумасшедшим, избавив его от весьма прискорбной участи.

После этого, разумеется, и секретарь попал в число обличаемых в государственной измене. Поп наотрез отказался давать показания и ему, и другим служащим московской Тайной канцелярии, требуя доставить его в Петербург, в Синод или к самой императрице. Занозистый человек явно не был желанным гостем даже в качестве арестанта, и теперь уже караульные, озлобившись на доносчика, стали бить его доносами. В январе 1746 года, к примеру, они подали рапорт, согласно которому Шапкин говорил: «Для чево судьи меня перед себя не берут. Все воры!» Отец Андрей заявил, что слова его перевертали, но и в истинном виде они не услаждали слух следователя: *«Я офицерам говорил, чтоб меня представить перед секретаря, а меня по их докладам секретарь Алексей Васильев не берёт напрасно; он ворует».*

Ни в какой Синод, тем паче к императрице, Шапкина не посылали, а запросили из столицы указ: арестанту предписывали все рассказать в Москве, в противном случае грозили лишить священства и пытать. Делать было нечего, и Шапкин пишет обширную записку, тот самый мемуар, воспроизведённый выше, в котором так живо изображены все его несчастья. Особенно упирал он на грехи новоприобретённых врагов. Про Зайцева, который всё ещё сидел вместе с ним под следствием, был рассказан новый случай, до конца, по мнению Шапкина, обнаживший изменническое нутро сержанта:

«В то зимнее время в той же четвертой казарме колодник московской консистории сержант Василей Наумов сын Зайцов

говорила при иностранном человеке иноземце, которой звался Андрей Федоровым (что в той же четвертой казарме содержится):

— У нас де городов крепких нет, Санкт Питербурх можно взять с выборской стороны.

На которые ево Зайцова слова колодник Михайла Таболкин сказал, что:

— У нас города крепки, и Санкт Питербурх наипаче крепок и невозможно никак взять.

На которые слова оной Зайцов сказал:

— Что за крепок! и можно взять! А что город Ревель хто не знает, можно воду отнять и людей выморить.

И при том были колодники Михайла Таболкин и иноземец Андрей Федоров, Сава Поспелов. И о тех ево Зайцова злопроизносительных словах он поп Андрей просился многократно до секретаря Алексея Васильева, чтоб о том объявить, чего ради он Зайцов о Санкт Питербурхе, который многорачительными и нусыпными трудами блаженныя и вечностойныя памяти государя Петра Перваго императора и самодержца всероссийскаго строился и в котором вся императорское величество богахранимо и благополучно соизволил пребывание иметь, при иностранном человеке, что де «можно взять» и в безславие произносит, и кому взять и тайности российских городов как о том писано выше сего открывать смеет, и оной секретарь Алексей Васильев ево попа Андрея не допустил.

Вот это преступление: самую главную военную тайну выдать, что Петербург город некрепкий. Заклеймил Шапкин и секретаря Васильева (кажется, что он это уже делал как-то автоматически): он, видите ли, отказался выслушать донос на Зайцева, взял у какой-то помещицы безвозмездное принуждение, двух серых коней (это, разумеется, Шапкин выспросил у какого-то часового).

19

Чтобы разобраться во всём, не только читателю, но и правосудию требовалось терпение и время. Прошёл 1746 год, пошёл 1747, а дело всё решалось, свидетелей всё допрашивали. А свидетели-то всё арестанты да солдаты, которых успевали перевести, перевезти, сослать, и вернуть их в Москву было непросто. А караульные всё круче брали строптивца в оборот.

Вот в августе 1747 года часовой рапортует, что поп Андрей «бранил государыню». Тот, конечно, отрицает и, в свою очередь, честит караульных: он-де их просил доложить советнику Тайной канцелярии Казаринову ускорить решение его дела и, ради Бога,

перевести в другую казарму, где не так холодно зимой, не так душно летом, но в ответ получил только увесистое: «Где посажен, там и сиди».

Вот в феврале 1748 года, уже доведённый волокитой и тюремным бытием (сидел, вспомним, не как обвиняемый, а как обвиняющий), Шапкин бросается на часового и, «ударивши оземь, топтал ногами, приговаривая: «Я и лутче тебя бивал».

Вот в июне 1748 года Шапкин вновь дерётся с часовым, а когда его приводят к допросу, объявляет, что знает «слово и дело» за всеми часовыми, за начальником караула, за секретарём Васильевым, да кстати и за советником Казариновым. А потому требует везти его в Петербург, ибо и по тогдашним невесёлым законам обвиняемые не могли оценивать правоту обвинителя.

Вот в сентябре того же года отец Андрей вновь бьёт часового. Но на этот раз начальник караула имеет соответствующую инструкцию и рапортует чётко:

«В Тайную кантору от стоящаго на карауле подпорутчика Якова Колмогорского.

Репорт.

Сего сентября 8 дня репортовал меня состоящей со мною на карауле подпрапорщик Козма Королев, что у колодников пона Андеря Шапкина да у Федора Корзина имеются письма, которые читают. А какие, о том не известен. И для отыскания оных приходя я к ним в казармы, и одно письмо у помянутого Корзина нашол, кое и запечатал, а как пона Шапкина, оной стал обыскивать, то оной поп при обыске караульного салдата Костянтина Тимофеева причем и подпрапорщика Королева убил так; что подпрапорщик едва глазом смотрит, а меня притом называл разбойником и плутом. А как по силе данной инструкции тот поп Шапкин смирен был от меня шелепом, причем до битья говорил мне: ты меня шелепом не бей, а ежели будешь бить и за мною есть государево слово и дело, но меня и тайная кантора без святейшаго синоду бить не смеет, и о сем тайной канторе сим покорно представляю, а отысканное письмо у колодника Корзина запечатью ево при сем прилагаю.

Подпорутчик Яков Колмогорской.

Сентября 9 дня 1748 году».

Апофеозом шапкинского доносительства стала князу на ещё одного товарища по несчастью, судьба которого заслуживает особой справки.

Гирша, родившийся в еврейской семье в Белоруссии, рано остался сиротой, бродил по России, оказался в Москве, решил креститься. Крестного отца нашёл себе сановного: генерал-аншефа Иван Ивановича Библикова. Гиршу крестили, переименовали в Иоакима Ивановича Черноморского и послали в одно из имений духовного ведомства управляющим, но там он не удержался. Его просто выгнали крестьяне. Черноморский пустился опять бродяжить, потерял где-то паспорт, вновь оказался в Москве. *«Хаживал много для моления в Успенский собор, и ево по ночам лавливали и отводили в полицию; токмо от того моления ему пользы не было»*. А был арест и отсылка в Боровский Пафнутьев монастырь. Там он не ужился, его перевели опять-таки в Савво-Сторожковский монастырь. Он и там всем надоел и, доведённый до отчаяния, закричал без всякого смысла «слово и дело». Так он очутился в Тайной канцелярии в одном каземате с Шапкиным.

В Тайной канцелярии Черноморский скоро прославился. 1747 год был отмечен грандиозными пожарами в Москве. И вот Аким Черноморский сообщил караульному, что знает о пожаре заранее: видел-де на небе «планету жестокою» и, более того, по звездам же знает, что пожар скоро повторится. Астрология ещё не считалась лженаукой, и Черноморского доставили пред очи самого графа Шувалова, ставшего начальником Тайной канцелярии. Шувалов был не дурак и сразу понял, что имеет дело с полоумным. Черноморский, однако, остался при своём мнении и не раз повторял часовым: «Эти пожары преддверие... Это еще цветки. Эти пожары были ради меня, что меня здесь держат». Себя Аким считал персоной весьма важной и потому иногда путался, предсказывая погибель не Москве, а всей России, если только его не освободят. Караульный офицер даже забеспокоился: «Жид говорит, что будет на Россию какая-нибудь погибель, и надобно подать рапорт» о том! Но Шапкин офицера опередил.

Не столкнуться двум таким «антикам» (выражение Лескова) было невозможно. Шапкин был вооружён не только священством, но и правдолюбием. Черноморский был уверен, что *«имеет над собой неизреченную божескую милость, о чём в сенатской конторе дело имеется»*. Поссорились они, созерцая из тюремного окна очередную звезду. Черноморский заявил вдруг, что это знак прихода царя израильского. Поп Андрей *«при солдатах и колодниках во увещание говорил: горе тому человеку, им же соблазн приходит, а ты народ прелещешь. Уже царь израильский Господь наш Иисус Христос воплотился, ... а уже будет разве что антихрист»*.

На это Черноморский произнёс речь об антихристе:

«Я апокалепис читал. Это апостол ваш Иоанн Богослов, вымысла, наврал, написал. Написал же в нем оной апостол, что он то во сне видел и сну верить нечему. А о антихристе в ваших книгах написано: Симеон Богоприимец сказал, что ваш Христос родился на падение человеческое, а тои родится на восстание».

От интересной темы не могли оторваться даже вне камеры:

«И идучи ис казармы в нужник и из нужника говорил [Черноморский]:

— Этак вымыслили наврали наплутовали.

И он поп Шапкин тому жиду говорил, что:

— Напрасно ты не веруешь воплощению Сына Божия, понеже и пророки все о нем писали, так же и Исаия пророк написал се дева во чреве примет и родит сына и нарекут имя Емануил.

И оной же жид говорил:

— У вас неправда написана, у нас в библии написано «се роженица примет и родит сына».

Самым же замечательным аргументом Черноморского следует признать следующий:

«Я всех ангелов вижу на небеси, а твоего ангела не вижу, твой ангел с кобылицами пребывает».

Поп Андрей обиделся: *«Что ты врешь?»* На что Черноморский нашёл оригинальный, но солидный аргумент: *«А вот я скорее тебя из острога выйду».* — *«А вот я, — сообразил Шапкин, — завтра попрошусь и на тебя донесу».* И донёс.

Но прав оказался всё же Черноморский. В Тайной канцелярии рассмотрели донос попа и решили куда как милосерднее, что выкрест *«о христианской вере имеет сомнение для того, что он де всегда находитца в напастях и содержит ево многое время под караулом. ... Но оное все до рассмотрения в Тайной канцелярии нимало не принадлежит».*

Черноморский, действительно, вышел из тюрьмы раньше Шапкина и отправился в Петербург на суд Синода. А Шапкин задержался ещё на полгода.

Бог знает, сколько бы ещё сидел поп Андрей. К 1749 году все его доносы были рассмотрены и поставлены ни во что, и сидел он как бы по инерции. Секретарь московской Тайной канцелярии Васильев мог бы повторять за секретарем белгородской консис-

тории Булгаковым: «Сиди в тюрьме. Место тебе хорошо, не вырвешься». Но — не было бы счастья, да несчастье помогло.

Колодник Юдин объявил, что Шапкин готовит побег, и при обыске, действительно, нашли и верёвку, и свидетелей одной из попыток бежать. Нашли какие-то письма, которые Шапкин потребовал доставить вышнему начальству. Граф Шувалов из этих писем обнаружил, что цель побега касалась лично его сиятельства. Донесший на попа колодник, оказывается, хотел донести и на самого Шувалова как на заговорщика против наследника престола. Шапкин же хотел бежать, чтобы подать императрице (та летом 1749 года приезжала в Москву) челобитную с разоблачением клеветника, а заодно и с описанием своих несчастий.

Может быть, граф восчувствовал благодарность к избавившему его от лишних неприятностей правдоискателю, может быть, он просто увидел из дела Шапкина, что резонов держать его в Тайной канцелярии давно нет. Так или иначе, но в кратчайший срок поп Андрей был выпущен и отправлен в Петербург к синодальному начальству. Это было осенью 1749 года. Исполнилось ровно десять лет с начала поповской одиссеи: истории о полтиннике.

Синод тоже рассудил, что Шапкин ни в чём не виноват (и на том спасибо). Другое дело, что невинными были признаны и все те, кого он обличал десять лет кряду, что сына его из солдат не вернули, прихода Шапкину не дали. Его послали в Белгород. Там архиерей велел попу Андрею постричься в монахи. Он не протестовал и двинулся, куда послали, в Курский Знаменский монастырь.

Видимо, репутация отца Андрея была достаточно громкой. В Курске настоятель отказался его принять, и архиерей послал его в Святогорский монастырь, где некогда Шапкин уже сидел. Но и здесь настоятель выгнал правдолюбца, и Шапкин кончил самым логическим образом: «сошел в Москву нищенским образом». Жил он «у разных светских людей в домах для обучения детей». То есть нигде он долго не задерживался...

ЭПИЛОГ

Прошло семь лет, и вот 9 июня 1756 года мертвецки пьяного Шапкина подобрали на улице и со скандалом доставили в полицию, а оттуда, когда он заявил себя духовным лицом, в синодальную контору. Протрезвев, отец Андрей увидел себя в руках старых недругов и совершенно уже беспричинно, механически,

бездумно в который раз закричал «слово и дело» на всех (всех!) служителей канторы. Те незамедлительно сплавил его в Тайную канцелярию. Шапкин и здесь обвинил в государственной измене всех (всех!!!) сотрудников Тайной канцелярии, и был ими с видимой радостью отправлен в Петербург.

Тут кончаются документы, хотя нетрудно представить себе последующую судьбу отца Андрея: всё то же вздорное, а теперь ещё и пьяненькое, правдоискательство.

Это правдоискательство не будем осуждать уже потому, что благодаря ему можно заглянуть в XVIII век как бы «с чёрного хода», заглянуть через живую душу. Отец Андрей писал свой мемуар честно, а в диалогах, прямо надо сказать, даже искусно; после его текста уже невозможно читать Пикуля и иже с ним, тем более, — верить бесчисленным стилизаторам.

Правдоискательство Шапкина неуязвимо с точки зрения морали, ведь оно само — квинтэссенция морали, попытка свести всю жизнь к морали, попытка выводить мораль из совершенно аморальных ситуаций, положений безвыходных, жутких, о которых можно говорить лишь как о погоде. Что-то ужасно тесное открывается в российской жизни через такой, сугубо моральный, правдоискательский на неё взгляд, более тесное, чем сама российская жизнь. Худо-бедно на протяжении веков выработали какой-то способ жить на драконе государственности, словно на чуде-юде ките: построили избышки, вспахали нарощную грязь, подружились, повесили белье сушить. Закон отодвинули подальше, чтобы не оцарапаться о него ненароком. И вот появился, наконец, некто, жаждущий разбудить кита, жаждущий привести в действие огромную машину, и не имеет человек понятия, что если судить Россию по совести, по нравственности, по заповедям (не говоря уж о законах), то не останется ничего, лишь мокрое место...

Жалко человека, жалко его сына, жалко тех, кого из-за него пероли и таскали по тайным канцеляриям. Шапкин прав: лгут, крадут, насилуют, да еще и покрывают друг друга в своих безобразиях, причём не всех покрывают, а выборочно, вот ведь в чем самая подлянка. И человек ищет полной справедливости, справедливости для всех, справедливости любой ценою. Тут его правота и кончается, кончается и жалость к Шапкину. Ему невдомек (а нам слишком хорошо известно), что насаждение справедливости для всех и любой ценою ведет в ничто, что если безжалостно вырвать все сорняки, то остаётся пустырь.

Шапкин, конечно, сумасшедший. Это не ужасно. Ужасно, что бывают ситуации, которые нуждаются в безумцах: либо созна-

тельных — юродивых, либо в настоящих психах. Бывают столь крутые повороты истории, что ненормальное выносится наверх, побеждает норму, становится нормой. У Лескова есть примечательный очерк «Справедливый человек» о совершенно шапкинско-го типа правдолюбце (правда, XIX века), который возмущался тем, что Скобелевский марш есть, а Суворову марша нет, хотя Суворов более побед одержал. Различие, правда, в том, что лесковский герой был богач и буянил без всякого страха наказания, а Шапкин за свое правдоискательство заплатил сполна. Но ведь это частность, а в сущности, очерк-то лесковский из антинигилистических. История России после революции тем и страшна, что в революции победили не одни только мерзавцы, а и Шапкины, совершавшие суд над злом с позиций абсолютной справедливости, где не было места ни малейшему послаблению. Шапкин больной. Это означает, прежде всего, что им движет боль — настоящая, неподдельная. Эта боль двигала и тысячами нормальных людей, боровшихся за «народное счастье», обличавших тиранию и угнетение трудящихся масс. В Шапкине нет ничего от революционера, но в революционерах было нечто шапкинское. Они боролись за правду, но была ли в их борьбе правда? Как говорит Лесков, заключая свой рассказ: «Да была-то она была, только черт ли в ней». И теперь-то, пожалуй, после ГУЛАГа, видно — да, он рогатенький.

Все же самое страшное в Шапкине не то, что он потенциальный палач, не то, что таких потенциальных палачей много, а то, что в России быть палачом или быть жертвой как-то поразительно не от человека зависит, человек как бы истреблен заранее. Вновь вспоминается Лесков, его очерк о другом «антике»: «Бесстыдник». Бесстыдно обжирающийся и наживающийся на войне поставщик говорит, обсасывая осетрину, нахимовской выучки офицеру: «Мы, русские, как кошки: куда нас ни брось — везде мордой в грязь не ударимся, а прямо на лапки станем ... Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли в лучшем виде — вы сражались и умирали героями и на всю Европу отличились; а мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились и так крали, что тоже далеко известны. А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, вору, сражались и умирали, а вы бы... крали...». И тут лесковский офицер сдался. Отглядывая шапкинскую сагу, нельзя не увидеть краешком глаза, что Шапкин, будь он начальником Тайной канцелярии, себя бы показал... Страшна именно разлитая в

воздухе мемуара бесчеловечность, при которой каждый кем-то воткнут в должность и все свои соки гонит к тому, чтобы не быть, а исполнять предопределённое начальством и судьбою, так что блаженны оказываются не алчущие правды, а просто сохраняющие в себе нечто человеческое.

Есть нечто исконное и посконное в Шапкине, перекочевавшее и в девятнадцатый век, и в двадцатый, нечто неистребимо русское. В своём столетии, однако, Шапкин был исключением, а в двадцатом стал господствующим типом. Болезнь стала нормой. «Советский человек» был страшен и шапкинским ожесточением, решимостью строго соблюдать советские законы, не делая поблажек, давая ход каждому доносу, и готовностью ревностно осуществлять всё, что предписывала его месту система. Система страшна была именно тем, что в ней люди с энтузиазмом следовали закону, радостно пожертвовали возможностью и риском частного милосердия. Фраза о том, что свирепость законов российских умеряется их неукоснительным неисполнением, вывернулась наизнанку: не исполнялись даже те крошечные возможности доброты и пощады, которые предусматривались законом. В конце концов борцы с этой системой становились ее слепком; в диссидентстве сквозило шапкинское, как и в охотниках за диссидентами.

Самое же жалкое: что не в России дело, а и все человечество, пожалуй, прогрессивное и не очень, если его судить по закону и разуму, окажется лишь подлой и пассивной дрянью, которую лишь на помойку выкинуть, облить керосином, чтобы зараза не расплзалась. И надо судить, и нельзя судить, и не заслужили люди милосердия, а суровости они ещё больше не заслужили. Что ж это за бремя — знать, как должно жить людям, и знать, что нельзя их попрекать, и знать, что нужно как-то сказать про «должно», чтоб никому хуже не сделать, а больше всего, чтобы самому не погрешить против любви?!.. Знать и прощать, прощать и все же знать, — что же за иго такое фарисейское! Нет, пожалуй, не «выводить мораль», а отказаться от морали приходится, и шарахнуться от Тайной канцелярии и от всякой канцелярской и не канцелярской справедливости, и, придя в отчаяние от необходимости быть справедливым и от невозможности быть справедливым, выскользнуть из отчаяния через крошечную щелочку вечного Христова: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко»...

«ДА БУДЕТ ВСЕ ЕДИНО»

По материалам V Международной конференции памяти протоиерея Александра Меня

7—10 сентября 1995 г. в Москве в Библиотеке иностранной литературы прошла V конференция памяти о. Александра Меня. Ее девизом стали евангельские слова «Да будет все едино».

Среди многочисленных участников конференции были представители Русской Православной Церкви, Зарубежной Церкви, Православной Церкви в Америке, Католической Церкви Франции и России; священнослужители и миряне, видные религиозные и светские публицисты. Мы посчитали важным познакомить наших читателей с теми выступлениями, которые непосредственно перекликаются с постоянной проблематикой нашего журнала: Церковь и государство, Церковь и политика, Церковь и национальные проблемы, неофашизм и религия. На конференции эти темы были затронуты игуменом Вениамином (Новиком), публицистом Владимиром Илюшенко (Россия), политологом Ивом Аманом (Франция). По нашей просьбе они любезно согласились переработать тексты своих докладов специально для «Континента». Подготовленные ими статьи мы и предлагаем нашему читателю*.

Уверены, что читателям «Континента» будет интересно и важно ознакомиться и с сообщением депутата Госдумы России Михаила Меня, сына протоиерея Александра Меня, о ходе расследования убийства о. Александра.

* Редакция выражает особую благодарность Библиотеке иностранной литературы за предоставленные нам стенограммы выступлений игумена Вениамина (Новика), В. Илюшенко, И. Амана, М. Меня, что сделало возможным дальнейшую работу этих авторов в подготовке статей для «Континента».

КЕСАРИЮ КЕСАРЕВО, А БОЖИЕ БОГУ**К вопросу об отношениях между Церковью
и государством**

Среди многочисленных проблем, со всей актуальностью вставших сегодня перед нами, особенно значима проблема взаимоотношений между Церковью и государством. Недаром отец Александр Мень, всегда необыкновенно чуткий к духовным тревогам современного человека, написал еще в 1989 году большую статью «Религия, культ личности и секулярное государство», выделяя важность этой темы для общества, пережившего десятилетия коммунистической диктатуры и государственного атеизма. Размышляя о взаимоотношениях власти религиозной и светской, о.Александр отстаивал принцип секуляризации государства.

Вопрос о секулярной форме государства стоит и перед странами, которые не прошли через коммунистический тоталитаризм. Секулярное государство появилось относительно недавно, принцип же религиозной свободы получил широкое распространение вообще только в XX веке в результате длительного и сложного исторического процесса. Нормы, регулирующие положение ре-

Ив АМАН — родился в 1946 г. в г. Рен, Франция. Окончил Тулузский университет, где изучал русскую филологию. Позднее в Институте политических наук защитил диссертацию по теме: «Советская власть и русская идентичность». Доктор политических наук. Директор отделения славистики Парижского университета. Автор статей по национальным и религиозным проблемам в России, опубликованных во французских периодических изданиях: «Politique Etrangere», «France Forume», «Documentation catholique». Автор книги «Отец Александр Мень — христосвидетель в наше время» (французское издание — 1993, русское — 1994, 1995). Постоянно живет в г. Мезон-Ляфитт под Парижем.

лигии в гражданском обществе, сложились постепенно и до сих пор, надо заметить, редко где составляют стройную правовую систему¹.

Ставить вопрос об отношениях между религией и государством до появления христианства не имеет, с моей точки зрения, смысла. В древности государственная власть, религия и этнос были неразрывно переплетены между собой. Именно христианство ввело в эту область совершенно новые начала.

Иисус Христос совершил настоящую «умственную революцию», когда сказал: «Отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21). Этой евангельской фразой и был заявлен принцип разграничения духовной и политической сфер. Его же формулировал и апостол Петр: «Бога бойтесь, царя чтите» (1 Пет. 2:17). Однако возникает вопрос: вытекает ли из принципа «кесарю кесарево, а Божие Богу» моральное право властей предержавших действовать в своей области без всяких ограничений? Обратимся за ответом к посланию к Римлянам апостола Павла: «нет власти не от Бога» (Рим. 13:1). Здесь можно найти прямой отклик на слова Христа Пилату: «ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше» (Ин. 19:11). Новый Завет утверждает, что существование политической власти соответствует порядку, Богом установленному. Образное толкование этих евангельских слов мы встречаем у Оригена: власть дана от Бога, как слух и зрение — их можно использовать для добра и для зла. В Новом Завете можно найти и существенное уточнение положения о Божественной установленности земной власти. В том же послании к Римлянам апостол сказал: «начальник есть Божий слуга» (Рим. 13:4). Ясно, что правители несут на себе вполне определенную ответственность и обязаны использовать дарованную им власть по истинному назначению.

Новый Завет не связывает веру и с национальной принадлежностью. Церковь собирает жаждущих независимо от каких бы то ни было границ — государственных, социальных, национальных. «Нет уже Иудея, ни Эллина, нет раба, ни свободного... ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28).

¹ Тема эта еще мало исследована, автор может рекомендовать читателям сборник: *Le liberte religieuse dans le monde* [Религиозная свобода в мире], под редакцией Ж.-В. д'Онорно, Париж, 1991. Разумеется, в рамках краткого очерка автор вынужден несколько схематично подойти к анализу этой сложной проблематики.

Оба принципа, на которые я обратил ваше внимание, становятся возможными, потому что в Евангелии вера всегда выступает как свободный ответ человека на зов Господа. Христос призывает людей обратить свои сердца к Богу, но не оказывает на них никакого давления. Нельзя насильем привести человека к вере.

В первые три века христиане последовательно руководствовались этими принципами. Они scrupulously соблюдали законы Римской империи, лояльно относились к императору даже в годы гонений — молились за него — и шли на мученичество, когда от них требовали воздаяний языческому культу. Самой кровью своей они освободили духовную сферу из-под власти кесаря.

Положение существенно изменилось уже с принятием императором Константином эдикта о веротерпимости, и еще больше, когда при императоре Феодосии в 380 г. были запрещены языческие культы. С царем-христианином сложились совсем другие отношения. Естественно, он стал покровительствовать Церкви, и его покровительство нередко превращалось в прямое вмешательство в церковные дела. С другой стороны, и Церковь не отказывалась от помощи светской власти в борьбе с разного рода раскольниками и еретиками. Правда, когда император вставал на сторону еретиков, Церковь вступала с ним в конфликт.

После падения Римской империи отношения между Церковью и государством Запад и Восток выстроили по-разному. По-разному они были осмыслены и богословами западной и восточной традиций. При этом и те, и другие продолжали четко отличать царство от священства. Во всяком случае так было задумано в теории. На практике же все зачастую обстояло иначе: светская и духовная власть снова оказывались тесно переплетены. Основой для единства общества было христианство, в связи с чем религиозные диссиденты преследовались и в качестве политических: считалось, что они вносят в общество раздор, подрывают существующий порядок.

Протестантская реформация привела в этом смысле к противоречивым последствиям. Казалось бы, в Европе появился конфессиональный плюрализм. Но осуществлялся он не на личностном уровне. После длительных войн в Аугсбурге в 1555 г. был принят принцип «Чья земля, того и вера»: подданные должны следовать вере своего правителя. В случае разногласий, подданным разрешалось переехать в другое государство, согласно исповедуемой ими конфессии. Таким образом, связь между религией и государством укреплялась еще сильнее. В протестантских княжествах князья непосредственно возглавляли Церковь, римскому Папе

пришлось тоже сделать уступки католическим королям и предоставить им более широкие права в управлении местной Церковью (некоторые государства, правда, проявили относительную терпимость к подданным, исповедовавшим «негосударственную» религию; тем не менее на практике придерживаться иной конфессии означало превратиться в граждан «второго сорта», не пользующихся равными правами с основной частью населения).

Радикально изменила ситуацию французская революция. «Декларация прав человека и гражданина» провозгласила, что никто не может быть преследуем за религиозные убеждения. Одновременно с этим был изменен статус католической Церкви во Франции — государство стремилось установить над ней полный контроль. Большая часть духовенства не подчинилась этому решению. Начались гонения против Церкви. Новые власти вступили в открытую борьбу с христианством.

Тем не менее большинство революционных главарей считало, что государство не может обойтись без религии, и католицизм попытались заменить культом разума, «Высшего существа». Конец такой политике положил Наполеон, подписавший с Папой конкордат (хотя католицизм и не получил обратно свой дореволюционный статус государственной религии, а был признан лишь религией «большинства французов», также как и главы государства).

После провозглашения Третьей Республики в 1870 г. возобновилась борьба против Церкви. По мнению идеологов правительственных партий, наступила пора освободить общество от всякого религиозного влияния, вера должна была уступить место разуму и науке. Хотя в этом традиционном мотиве неприятия религии звучало и нечто новое: к тому времени религия уже не могла сохранить единства нации. Для решения этой и ей подобных вполне земных задач сначала был принят курс на секуляризацию школьного образования, потом власти денонсировали конкордат и приняли Закон об отделении Церкви от государства. Все эти реформы проводились в жизнь жестко и неизменно сопровождались эксцессами. Некоторые политические деятели и не скрывали, что их цель — дехристианизация страны. На несколько лет католическая Церковь оказалась лишенной всякой гражданской юридической основы. Во Франции конца XIX — начала XX в. секулярное государство не означало ни плюрализма, ни нейтральности. Такой откровенной, агрессивной антицерковной и даже антихристианской направленностью во многом объясняется и тогдашняя отрицательная реакция католической Церкви на идею отделения Церкви от государства.

После Первой мировой войны французские католики и правительство все-таки нашли обоюдный компромисс. Верующие получили право создавать культовые и епархиальные ассоциации с особым статусом. Именно в виде таких ассоциаций до сих пор существует католическая Церковь и другие религиозные организации во Франции. Юридически такое «особое» положение далеко от совершенства, но практически предоставляет Церкви достаточно широкие возможности. Тем более, что со временем несколько изменилось и само понимание секулярного государства. Хотя закон об отделении исключал финансирование Церкви за счет государственного бюджета, религиозные организации получают разные, прямые или косвенные, субсидии. А самые существенные изменения отмечены в области образования: частные школы — а подавляющее большинство из них католические — широко субсидируются государством — при условии, что преподавание идет в них по официальным программам.

В тех же европейских странах, где долго сохранилась государственная религия, эволюция шла другим путем. Начиная с XIX века, постепенно смягчалось отношение властей к гражданам-инноверам. Например, в Англии они были приравнены в правах к членам англиканской Церкви, в Швеции был отменен закон, запрещающий отречение от лютеранства, в России в 1905 г. был издан указ о веротерпимости и т.д.

В Европе законодательство, относящееся к религии, так или иначе развивалось в сторону большей терпимости. Этот процесс был остановлен в Германии нацистами, а в России — с захватом власти большевиками, которые принялись искоренять религию, подвергая верующих невиданным по своей жестокости и размаху со времен Диоклетиана преследованиям. Тяжелые испытания заставили христиан по-новому осмыслить принцип свободы совести. Как отмечал отец Александр Мень в той же статье, «страшный опыт диктатур XX века может послужить уроком и для нас, верующих. Он дает нам возможность увидеть со стороны облик духовной тирании. Этот опыт должен привести к отказу от самой идеи государственной религии».

Замечу, что к тому времени ни одна из европейских стран уже не могла считаться полностью однородной в религиозном отношении. Религиозный и конфессиональный плюрализм прочно вошел в жизнь, особенно после Второй мировой войны. Факты опровергли прежние убеждение в том, что без единства веры невозможна политическая организация общества.

К этим проблемам обратилась католическая Церковь на Втором Ватиканском соборе, созванном папой Иоанном XXIII. При

открытии Собора Папа заявил: «Люди научились на опыте, что насилие над другими, сила оружия и политическое господство отнюдь не содействуют благополучному разрешению тревожащих их тяжелых проблем». После долгих прений Собор принял важный документ о религиозной свободе — Декларацию «О человеческом достоинстве» (1965). В ней, в частности, говорилось: «Ватиканский собор заявляет, что человеческая личность имеет право на религиозную свободу. Она состоит в том, что все люди должны быть избавлены от всякого принуждения со стороны как отдельных людей, так и социальных групп или любой человеческой власти с тем, чтобы в религиозных делах никто не был принуждаем действовать против своей совести и никому не препятствовать действовать в справедливых пределах по своей совести, в частной жизни или публично, в одиночестве или совместно с другими. Это право основано на самой природе человека». Именно этот документ вызвал самую резкую критику со стороны тех католиков, которые не приняли решения Второго Ватиканского собора и впоследствии ушли в раскол. Они считали, что такой текст обеснует «право на заблуждение». На самом деле в Декларации о человеческом достоинстве уточнилось, что люди морально обязаны искать истину, прежде всего в отношении религии. Саму же эту обязанность они могут исполнять образом, соответствующим их природе, и при условии полной нсиологической свободы, без всякого внешнего принуждения.

Сегодня в большинстве западных стран Церковь отделена от государства, но отделение не понимается, как во Франции начала века, или, тем более, как в бывшем Советском Союзе. Религиозные меньшинства пользуются религиозной свободой без дискриминации. Церковь не вмешивается в государственные дела и, наоборот, государство не вмешивается в церковные дела. Отделение не исключает и сотрудничества между государством и религиозными организациями в некоторых делах.

В 1976 г. отделение Церкви от государства произошло в Испании, а в 1984 г. — даже в Италии, несмотря на исторически теснейшую связь итальянского государства с центром католической Церкви.

Государственных Церквей в Европе осталось немного: лютеранская Церковь в Норвегии, Швеции и Дании, англиканская Церковь в Англии. В Финляндии лютеранская Церковь наделена особым статусом. В конституции Греции православие признается преобладающей религией. На практике же положение Церкви в этих странах мало чем отличается от ее существования в государ-

ствах, выбравших режим отделения. Например, английская королева официально является главой англиканской Церкви, но должность ее скорее номинальная, на самом деле англиканской Церковью управляет религиозная иерархия. Тем не менее для принятия определенных решений, касающихся внутренней организации Церкви, требуется голосование в Парламенте. Таким образом, статус государственной религии, даже в смягченной современной форме, все же ставит Церковь в большую зависимость от государства.

В обстоятельствах современного мира именно секулярное государство создает предпосылки для разграничения сферы духовной от политической, избавляет Церковь от соблазна прибегать в делах веры к принудительным средствам и гарантирует религиозный плюрализм. Государство вполне способно обеспечить религиозную свободу, но при соблюдении определенных условий. Нейтралитет секулярного государства можно понимать по-разному. Существует узкое, так сказать, «оборонительное» понимание, когда государство считает веру частным делом, не препятствует гражданам исповедовать религию, но никак не способствует реализации этого права. Религиозная жизнь, в основном, уподобляется отправлению культа (кстати, так было при советской власти), а Церкви рекомендуется «не выходить из ризницы». Но государственный нейтралитет может быть и открытым, положительно активным. Тогда государство, не нарушая принципа гражданского равенства разных религий, помогает верующим реализовать свое право на религиозную свободу, признает за Церковью право участвовать в общественной жизни, согласно формуле: «Церковь отделена от государства, но не от общества». Ведь как религия и Церковь имеют некое определенное социальное измерение, так и общество имеет свое религиозное измерение. В свою очередь, Церковь защищает незыблемые фундаментальные нравственные принципы, на которых должно стоять общество, она служит все тому же обществу. Зачастую именно на этом стыке и возникают сегодня основные конфликты между Церковью и государством. Скажем, во Франции средства массовой информации нередко ополчаются против Церкви, напоминая о необходимости соблюдения этики в тех или иных вопросах жизни современного общества. Выступления Церкви порой расценивают, как недопустимое посягательство на светский характер государства. Но может ли государство существовать без нравственных основ? А если нет, может ли оно само создавать эти основы? И не происходит ли здесь опять смещение между

политическим и трансцендентным, не присваивает ли себе государство область, ему не принадлежащую?

Кажется, оптимальный вариант существования современного общества — секулярное государство, открытое к религии, признающее ее положительное общественное значение и сознающее ограниченность своей собственной, политической, сферы.

Париж

Игумен Вениамин (НОВИК)

ХРИСТИАНСТВО И ДЕМОКРАТИЯ¹

В России в настоящее время возникают новые социально-политические реалии, которых ранее не было: рыночная экономика, частная собственность, демократия. (Не будем здесь вдаваться в долгий разговор о том, насколько всего этого не было. Если что-то и было, то коммунизм основательно с этим покончил.) Начинают говорить о примате личности над государством, о правах человека. К сожалению, духовно-нравственных предпосылок для восприятия этих реалий явно недостаточно. Более того, у значительной части православных в России эти последние вызывают решительное

Игумен Вениамин (НОВИК) — родился в 1946 г. в Ленинграде. Там же окончил Политехнический институт, затем Духовную академию. Преподаватель Духовной академии, кандидат богословия. Автор статей на церковно-общественные темы, которые публиковались в журналах «Вопросы философии», «Континент», «Religion state and society» (США), «Pro Ecclesia» (США). Живет в Санкт-Петербурге.

¹ Сокращенный вариант статьи напечатан в газете «Русская мысль», № 4088, 27 июля—2 августа 1995.

неприятие. И понятно почему: до сих пор в нашем православном сознании в той или иной форме, иногда на уровне интуиции, живет известная уваровская парадигма: «православие, самодержавие, народность», т.е. некий симбиоз религиозного, государственного и национального факторов. Чего, конечно, не скажешь о православных на Западе: они давно поняли практически, что демократия не только не мешает религиозности, а наоборот — создает для нее относительно благоприятные условия. (Достаточно вспомнить, что писал о религиозной жизни в Америке архиепископ Иоанн Шаховской.) Возникает вопрос: так ли уж несовместимо христианство с демократией?

Самым сложным вопросом с метафизической, да и с практической точки зрения, была и остается проблема соотношения, взаимодействия двух уровней реальности: духовного и материального, Божественного и человеческого, а в этической плоскости: должного и фактического. Ясно, что то, что мы называем «духовностью», не проецируется в категориях «должного» на социум в виде соответствующих политических институтов. В Библии сказано: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36). И в этом смысле между религией и политикой есть непреодолимая дистанция. Сама религия, особенно в восточном понимании, есть усилие и направленность к трансцендентному, а не зримому, земному. В то же время христианский максимализм и универсализм требуют соответствующего осмысления всей полноты окружающей действительности, включая социально-политическую сферу, что предполагает и адекватное обращение и взаимодействие с ней. Мера этого взаимодействия и есть мера отношений двух уровней реальности.

Здесь известны две крайности: первая — устремленность к Божественному при игнорировании земного порядка. Это можно наблюдать в некоторых восточных религиях. Материальный мир здесь рассматривается как нечто недолжное, как следствие какого-то грехопадения в высших сферах. И поэтому материальный уровень всерьез не воспринимается. Ясно, что на этом пути развития цивилизация создаваться не может, хотя отдельные духовно развитые личности, святые могут быть. Этот подход можно назвать монофизитско-спиритуалистическим («чисто духовным»).

Вторая крайность — это устремленность к материальному при игнорировании высшего духовного начала. Философским обоснованием такого подхода является, соответственно, материализм, а его наиболее последовательной политической проекцией — комму-

низм, декларирующий заимствованные из христианства принципы свободы, равенства, братства, справедливости. Здесь дается санкция на не ограниченную ничем (по причине неизбежного атеизма) преобразовательную деятельность, в соответствии с одной стороне (человеческим разумом только) определенной концепцией «общего блага» («Мы наш, мы новый мир построим...»). Мир уже не рассматривается как творение Божие. Отсюда развивается конструктивистско-силовой подход к действительности. Очевидно, что подобное мировоззрение возможно лишь вследствие незаконного переноса закономерностей технического редуционистско-механистического мышления на общественно-политическую сферу, которая рассматривается как объект манипуляций. Возникает тоталитарный соблазн: создать идеальное общество-инкубатор, заповедник, управляемый определенными людьми, якобы познавшими закономерности исторического развития (а по сути дела их «отменившими»).

В результате во имя «светлого будущего» строится кошмарное настоящее общества, имеющего структуру концлагеря. (То, что немногие люди в этом лагере, который назывался «социалистическим», осуществляли, по недосмотру охранников, интеллектуально-духовную деятельность, не меняло сути дела.) Как известно, крайности сходятся: религиозное монофизитство приводит к игнорированию фактора человеческой личности, рассматриваемой лишь как частность, т.е. к деперсонализации, что создает основательную предпосылку для тоталитаризма как в виде древних восточных деспотий, так и в форме модернизированной деспотии — коммунизма. Монофизитская схема мышления сохраняется, она лишь наполняется иным, уже материалистическим содержанием. Модернизм коммунизма развивается именно по этой, западной линии. Архаический патернализм — по линии восточной. Не случайно коммунизм, в той или иной форме, иногда религиозно окрашенной, привился на Востоке: в Корее, Китае, Вьетнаме, Кампучии, в Албании и, наконец, России — главном рассаднике коммунизма по всему миру (перечень стран не отражает хронологию коммунистических режимов). Какими бы сложными путями это мировоззрение ни проникало и ни насаждалось в этих странах, все-таки предпосылки для его восприятия были. Христианская традиция, развитое правовое сознание предотвратили наступление коммунизма на Западе. (В России возобладало храмовое понимание христианства, а евангелизация самой жизни, осмысление применения библейских принципов к окружающей действительности были недостаточны.)

Здесь чрезвычайно важна отправная точка рассуждения: является ли человек лишь «совокупностью общественных отношений» (на практике такой социологический редукционизм приводит к тому, что, наоборот, общество начинает рассматриваться как совокупность людей-винтиков), или же человек ни к чему не «сводится», будучи сотворенным «по образу и подобию Божию»? Всегда ли целое больше своей части? Даже из математической теории множеств известно, что — не всегда. Так и количественные характеристики не всегда отражают действительность «общего блага». По образу и подобию Бога был создан человек, а не общество и не государство. То, что теперь описывается в нескольких фразах, обошлось человечеству в десятки миллионов человеческих жизней.

Вопрос в философском плане упирается в проблему свободы человека и неизбежно связанного с ней риска, что было с гениальной глубиной осознано Ф. Достоевским и Н. Бердяевым. Как совместить свободу человека с «общим благом»? Или в более точной постановке вопроса: как можно свести к минимуму неизбежное ограничение свободы людей в их общезитии? После краха коммунистического эксперимента стало особенно ясно, что теория общественного устройства должна исходить из адекватной антропологии, так сказать, снизу-вверх, а не наоборот. «От Бога» (сверху вниз) может строить царство только Бог, а мы не должны брать на себя Божественные функции и можем лишь исходить из человека как сотворенного по образу и подобию Божию.

Что есть человек? Тайна человека сегодня ощущается вновь и вновь. Согласно христианской антропологии, человек имеет двойственную природу, а точнее говоря, добрую природу, поврежденную первородным грехом. С одной стороны, человек создан по образу и подобию Божию, свободен, имеет в себе потенциальную бесконечность, призван к совершенствованию, а с другой — благодаря этой же свободной воле — способен двигаться в противоположном направлении — ко злу.

Следовательно, оптимальное общественное устройство должно быть таким, чтобы, с одной стороны, предоставлять человеку возможность свободного развития, а с другой — ограничить возможность определенных злодеяний. Причем решение о таком общественном устройстве должно быть принято самим обществом, а не навязано извне, пусть даже и очень умными людьми, у которых, конечно, не отнимается возможность легальными путями влиять на общество. Задача осложняется и процедурными вопросами. Сама процедура принятия решения должна соответствовать вы-

соте поставленной задачи. (Здесь, конечно, тавтологический парадокс: какова процедура определения «хорошей» процедуры? Из этого парадокса можно выбраться методом последовательных приближений, благодаря наличию принципа саморазвития общества с обратными связями.) Причем такие понятия, как «принцип разделения властей», «частная собственность», «права человека», следуют как предохранительные механизмы из главного принципа — уважения и доверия к человеку. Разделение властей предохраняет от узурпации власти, частная собственность ставит ограничения посягательствам государства на личность.

Понятно, почему с таким трудом строится демократическое общество: если для создания монархии нужна прежде всего сила, то для создания демократического общества необходим высокий уровень общественного сознания, определяемый прежде всего наличием в нем уважения к человеку. Вопрос о вере и мировоззрении вообще чрезвычайно сложен, здесь не может быть того, что мы называем «консенсусом», и именно это обстоятельство лежит в основе принципов: «религия — частное дело» и необходимости «отделения религии от государства». Что до сих пор иногда ошибочно полагают капитуляцией религиозности в обществе. Сколько едких слов было произнесено (например, К. Леонтьевым) относительно религиозности среднего буржуа! Никаких бури и натиска, грома и молний. Мол, тепловатая водица, а не вера. Так честное выполнение жизненного долга (семья, работа) эстетически проигрывает перед языческим по своей сути триумфализмом и ритуальным мистицизмом. А ведь Бог откровения может являться и в тихом дуновении ветра (3Цар.19,9-13). В христианстве примат внутреннего над внешним доводится до предела: нет почти никаких внешних признаков пребывания в истине (Лк.16,15). По героическим эпохам можно, конечно, тосковать, но нельзя их создавать. У истории есть свои возрастные категории, и с ними нужно считаться.

Много раз пытались сделать из христианства «программу», построить своими силами некое Царство Божие на земле. Пытались даже отождествить коммунизм с христианством. Мол, коммунизм есть не что иное, как демистифицированное христианство, и он ставит перед собой задачу построения «реального царства добра и справедливости» на земле. Но вместо Царства Божия получалось, как по какому-то наваждению, нечто иное, чаще всего — тюрьма; откуда-то выползал древний патернализм, новый чудовищный тип псевдосакральности и тому подобное, что уже достаточно описано

в литературе. Интересно отметить, что тоталитарные режимы не отказываются от демократической фразеологии.

Все титанические попытки христианизировать древнюю монархию также оказались безуспешными, т.к. монархия есть не что иное, как политическая египетская пирамида, языческая по своей сути. Так рухнули православно-имперские Византия, а затем — и Россия. Физически зримая пирамида-монархия (в лице сакрализованной фигуры царя) соответствует более внешнему (по сравнению с христианством) характеру языческой религии, представляющей Бога в виде объекта. Политической проекцией восточного язычества и является монархия-деспотия. «Только язычество, верящее в закон “вечного возвращения”, может мечтать о восстановлении монархии фараонов. Христианство не принимает идею вечного возвращения и утверждает необратимость времени, поэтому оно есть религия творчества и абсолютного обновления» (Б.П. Вышеславцев).

Могут спросить: а личностный характер христианства, доминирование внутреннего начала над внешним не приведет ли к полной анархии, когда у каждого будут свои представления о должном и недолжном? Ведь из христианской религии порой очень трудно сделать однозначные выводы по тому или иному вопросу. Но есть вещи очевидные и однозначные, выраженные еще в ветхозаветных заповедях (не убивай, не воруй, не лжесвидетельствуй), и именно здесь государство должно проявить полный контроль в соблюдении этих заповедей согражданами. Ясно также, что естественной границей свободы человека является свобода другого человека. Как пишет С.Н. Булгаков: «Право есть свобода, обусловленная равенством». В этом основном определении права индивидуалистическое начало свободы неразрывно связано с общественным началом равенства, так что можно сказать, что право есть не что иное, как синтез свободы и равенства. Понятия личности, свободы, равенства составляют сущность так называемого «естественного права». Далее Булгаков показывает, что «естественное право» на самом деле не так уж естественно, а имеет религиозную основу.

Возникает важный вопрос: почему законы, соблюдение которых подлежит отслеживанию, действуют в области внешнего (убийство, воровство), а в области внутреннего (вера, мировоззрение и даже мораль) демократическое государство не предпринимает никаких решительных действий? Разве зло не из сердца человека, согласно Евангелию, исходит? Это действительно так, но ни отдельному человеку, ни совокупности людей не дано

контролировать сердечные движения себе подобных. («Кто из вас без греха, первый брось в нее камень» — Ин.8,7). Область морали остается преимущественно прерогативой общественного мнения, а не судебных воздействий.

«Человек должен быть свободен потому, что это соответствует его человеческому достоинству; внешняя свобода есть средство, точнее, отрицательное условие свободы внутренней, нравственной, которая есть образ Божий в человеке» (С.Н. Булгаков). Четко разделяя внутреннее и внешнее, демократическая система если и не является политическим коррелятом христианства, то менее всего противоречит последнему. Голосованием, которое вызывает столько презрения у религиозных эстетов (ведь умные люди всегда в меньшинстве), принимаются решения не по мировоззренческим и религиозно-философским вопросам, а сугубо внешним: персональным (выборы), финансовым, управленческим и т.п., при общепризнанности фундаментальных прав и свобод человека, источником которых является не государство, а Бог. Демократическое государство не гарантирует людям духовного развития, которое может быть только свободным, но лишь честно пытается создать для него необходимые условия, причем прежде всего в области очевидного: скажем, декларируя право человека на жизнь, государство берет на себя обязанности полицейского, охраняющего его от преступников, и здесь силовое отношение к преступнику оправдано даже с христианской точки зрения. Но этот же полицейский уже не имеет никакого права принуждать вас к тем или иным взглядам, тому или иному мировоззрению, устанавливать цензуру, контролировать мысли и настроения. Область вероисповедания, мировоззрения остается принципиально неопределенной со стороны государства, и в этом проявляется, если использовать богословский термин, «кенозис» (самоумаление) демократического государства, которое знает свое место и не выдает себя за царство.

Согласно взгляду на государство как на служебное орудие, оно предназначено лишь для создания необходимых условий для достойной жизни людей, а на библейском языке — условий для раскрытия образа и подобия Божия в людях. Такой взгляд на власть находит веское обоснование еще в Ветхом Завете: отказ от теократии и желание израильского народа иметь земного царя (господствующий тип государства) рассматривается в Библии как возврат в язычество, отпадение от Бога (см. 1Цар.8). Известно также, что многие выдающиеся православные подвижники были сторонниками православной монархии, являющей собою как бы

некое отображение Царства Божия на земле. Но сейчас мы имеем такой исторический опыт, который не был ведом им, да и учение о православной монархии не может быть догматизировано.

На современном языке служебный тип государства и именуется демократическим.

Очевидно, что современная демократия по своим формальным признакам не имеет ничего общего с теократией, но важно заметить, что первая в силу своей принципиальной открытости не исключает возможность последней, которая — дело рук не только человеческих. (Под теократией здесь имеется в виду не клерикализм, а буквальное понимание слова: Боговластие. Представление о такой теократии дает Ветхий Завет.) Совершенствование, развитие может быть, как уже говорилось, только свободным, и не для того Бог наделил человека свободой, чтобы люди друг у друга ее отнимали.

Иногда демократию упрекают в том, что она якобы разрушает иерархическую структуру мироздания, делает его плоским, обвиняют ее даже... в атеизме. При этом не учитывается, что демократия принципиально не мистична, но не в том смысле, что она отрицает мистику как таковую, а в том, что она не имеет никаких претензий на глубинные уровни иерархической структуры мира. В том, что у некоторых людей исчезает ощущение глубины, иерархичности, демократия так же виновата, как и, например, наука — в том, что она якобы порождает атеизм. Ясно, что не научное знание как таковое является причиной атеизма, а психологический закон вытеснения, переключение внимания на содержание из другой сферы ведения. Если человек, например, всю жизнь смотрит в микроскоп, то ему со временем может начать казаться, что какой-либо иной реальности просто не существует.

И все же на протяжении истории возникает все тот же вопрос: если истина явлена в Откровении, то почему бы ей не «помочь» восторжествовать и в жизни? И вот здесь выясняется, что мы очень многого не знаем о закономерностях духовной жизни (особенно в ее общественном измерении), не можем в явной форме определить степень необходимого взаимодействия (управления) с социальной действительностью, что служит отрицательной философской предпосылкой для понятия «свободы совести».

Сторонникам моделирования государственной структуры по типу церковной следует помнить, что Церкви противопоказано применение силы, а государство не может существовать без

силовых структур. Важно понять, что отношения Церкви и государства чрезвычайно сложны из-за парадокса свободы, хотя эмпирически они могут казаться простыми. Вряд ли в земных условиях возможна знаменитая «симфония» Церкви и государства, и государство, помня о религиозном идеале, обязано позаботиться о фактическом, предотвращая прежде всего, как сказал В.С. Соловьев, преждевременное наступление земного ада. В этом состоит необходимая отрицательная функция государства. В конструктивном плане государство могло бы кое-чему поучиться у Церкви: демократию можно было бы рассматривать как секулярно-социальную проекцию «соборности» (от слова «собрание»), но этого не происходит из-за отсутствия у нашей Церкви современной социальной доктрины. На последнем Архиерейском соборе (Москва, 29/11—2/12-94) было принято решение о выработке последней.

Вероятно, в политике действует свой принципиально неустрашимый «принцип неопределенности». Например, в такой формулировке: возможно либо формальное детерминирование правовой системы при отсутствии посягательства на высший смысл бытия, либо содержательное детерминирование пути людей к высшему смыслу при отсутствии значимости правовых норм, рассматриваемых как нечто условное. Но поскольку второй вариант возможен лишь при теократии, которая практически не реализуется в земном плане (есть вещи, о которых можно только молиться), то очевидно, что предпочтителен первый путь. И тогда демократия остается если не лучшим, то оптимальным устройством общества.

Используя богословскую терминологию, можно сказать, что в демократическом устройстве общества находит свое отражение принцип апофатки (отрицательности), что, соответственно, позволяет говорить о социальной апофатике демократии. Или, проще говоря, в демократии наличествует сознательное самоограничение властных функций государства ради свободы, дарованной нам Богом. Монархия во главе с сакрализованной фигурой, конечно, возможна, а при выдающейся личности на престоле она может дать лучшие результаты, чем демократия.

Очевидно, что сильный яркий царь может вызвать большее вдохновение в народе, чем абстрактный принцип «разделения властей». Но в случае неудачной смены на престоле, монархию начинает лихорадить, она в результате дворцовых интриг и переворотов может ослабеть и рухнуть под натиском врагов, которые всегда найдутся. Чин помазания на царство не гарантирует от погрешностей и ошибок, как и, например, таинство крещения.

То есть, если использовать технический термин, политическая монархия неустойчива (хотя и долго может просуществовать благодаря силовым методам) — в противоположность своему физическому аналогу — египетской пирамиде. Если же попытаться законодательно исключить возможность явных злоупотреблений и ввести прежде всего принципы гласности и обратных связей, т.е. сделать систему динамичной и саморегулирующейся, то и получится демократическая система. В этом случае даже возможен монарх, играющий не столько властную, сколько духовно-символическую роль, как в северно-европейских странах.

Рассмотрим самый «страшный» довод против демократии: она якобы уравнивает в правах истину и ложь, добро и зло. Но так ли это? Есть очень простой критерий, по которому можно судить о степени развития государственности, ориентированной не на самое себя (тоталитаризм), а на благосостояние людей. Это — законы и их выполнение, это — роль судебной власти в обществе. А ведь уголовное и гражданское законодательство и практическое следование ему и отражают общественные представления о справедливости, о добре и зле. Достаточно сравнить статистические данные, отражающие судопроизводство и его правила в различных странах, чтобы многое стало понятным. За равнодушием к праву и законам стоит элементарное равнодушие к людям. Казалось бы — это очевидно. Но утопический тип сознания, лежащий в основе современного тоталитаризма, постоянно пытается подменить закон, всегда несовершенный, — моралью, которая пленяет наивных людей своей ясностью и совершенством декларируемого должного. (В этом основная причина живучести утопических и, в частности, коммунистических идей). Не случайно при всех тоталитарных системах так много говорится о морали, воспитании, сознательности, которую следует неуклонно повышать, и уж, конечно, — о благе народа. При этом полностью отсутствует понимание закона как гаранта прав личности, под законом вообще понимается лишь послушание государству, что приводит к подчинению судебной власти государственной идеологии. Высшую судебную власть в тоталитарных системах присваивает себе небольшая группа «посвященных», якобы познавших добро и зло (см. «Великого инквизитора» Ф.М. Достоевского). «Религиозная неправда мистической концепции самодержавия состоит в том, что она взваливает бремя свободы и ответственности на одного человека, снимая это бремя с христианского народа» (Н.А. Бердяев). В теории гражданского демократического общества ясно осознано, что никто не вправе присваивать себе Божественные

функции, а Церковь и священнослужители не должны обладать государственной властью. Власть «вязать и решить» (Мф.18,18), данная Христом апостолам, — не административная, а духовная, или, проще говоря, — нравственная. Понятия добра и зла как раз больше смешиваются не в демократическом, а в тоталитарном государстве, где обычные грешные люди присваивают себе свойство непогрешимости, начинают вещать от имени Бога, высшей справедливости или народа.

Понятно также, почему идея демократии (уже в большой степени скомпрометированной у нас) вызывает такое недоверие у религиозно настроенных людей в России. Им кажется, что если государство будет развиваться по пути демократизации, то религия может раствориться в чем-то «светском» и вообще исчезнуть. Посмотрите, мол, на Запад: в Европе много пустующих храмов, это будет и у нас. Там, правда, храмов намного больше, чем у нас. Степень христианизации общества следует оценивать не только посещаемостью храмов, но и наличием норм христианской этики в частной и общественной жизни. Не беда, если эта этика будет в большой степени совпадать с общечеловеческой, ведь Сам Господь повторил «золотое правило» нравственности, давно выработанное человечеством: «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф.7,12). Гораздо хуже, когда весь мир четко делится по-язычески на священное и профанное, а в современной терминологии: на «светское» и «духовное», а храмово-литургический тип христианства становится самодовлеющим, не имеющим особого отношения к жизни вообще. В целом, вопросы последних судеб мира, его эсхатологии выходят за рамки нашей компетенции, и в этом смысле мы должны жить сегодняшним днем, как заповедал нам Христос: «довлеет дневи злоба его» (Мф.6,34), и не торопиться отделять пшеницу от плевел (Мф.13, 24—30). Конечно, хотелось бы, чтобы люди ходили чаще в церковь, а не в супермаркеты. Но к этому можно лишь призывать, но не принуждать. Важным достижением науки об обществе является понятие «открытого общества», которое предполагает недетерминированность, готовность к изменению некоторых государственно-общественных структур. Короче говоря, «открытое общество» в чем-то принципиально не предопределено. Также важно, что именно религиозное мировоззрение принципиально открыто, открыто прежде всего Божественной благодати, а значит, и всему доброму. И только религиозное мировоззрение предотвращает порождение тоталитаризма из духа самодовлеющего рационализма, так как оно учитывает иную реальность — Божественную. Согласно Ветхозаветному закону в субботние и

юбилейные годы следовало отпускать единоплеменных рабов и прощать должников, что создавало новые стартовые возможности людям, которым в силу тех или иных обстоятельств не повезло (Лев.25,8-12; Втор.15,2). Можно представить, что применение этого закона могло вызвать временную дестабилизацию общества, которая компенсировалась более динамичным развитием последующего.

Меня могут обвинить в абстрактной постановке вопроса и в том же конструктивизме. Но, во-первых, общие (абстрактные) идеи имеют такое же право на существование, как и конкретные, а во-вторых, опасен не конструктивизм, как таковой, а тотальный конструктивизм, основанный на беспредельной вере в человеческий разум (рационализм), или на смешении Божественного и человеческого (комплекс «Великого инквизитора»). Возможно, конечно, и сочетание того и другого.

С богословской точки зрения вопрос об управлении государством должен сводиться к осмыслению проблемы меры. Черно-белое, утопическое мышление, для которого этой проблемы не существует, неизбежно будет строить очередную пирамиду или же будет отрицать верный принцип под предлогом его полной неприменимости к данной ситуации. В богословии существует принцип «неслиянности и нераздельности». Можно предположить, что политическим аналогом этого принципа является демократическая система: она, в отличие от тоталитарной, не пытается слиться со всей полнотой жизни, и она же нераздельна с обществом, которое не может существовать вообще без системы.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Булгаков С.Н. О социальном идеале//От марксизма к идеализму. Сборник статей. Спб., 1903.
2. Алексеев Н.Н. Христианство и идея монархии//журнал «Путь», Париж, 1927, № 6 (репринт, Информ-Прогресс, М., 1992).
3. Ильин И.А. Предпосылки творческой демократии//Наши задачи, Т.2, М., 1992.
4. Федотов Г.П. Основы христианской демократии//Полное собрание сочинений, Т.3, УМСА-PRESS, 1982.
5. Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии (глава 5, Проблема власти), М., 1994.

Санкт-Петербург

ХРИСТИАНСТВО И ЭТНИЧЕСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Христианство началось с проповеди Иисуса из Назарета, с Нагорной проповеди. Вначале оно было достоянием небольшой группы галилейских рыбаков, апостолов и учеников Христа, затем вовлекло в свою орбиту жителей Иудеи, Галилеи и Самарии. Никто не мог тогда и помыслить, чем оно станет. Но зерно было брошено: смерть и воскресение Христа дали невероятный по силе толчок, который, как некое духовное землетрясение, концентрическими кругами распространил христианство, подобно сейсмической волне, далеко за пределы его первоначального ареала. Очень скоро, по историческим меркам молниеносно, христианство стало вселенской, мировой религией. Те, кто доверился Духу Истины и Любви, понесли его во все концы света. Вопреки гонениям христианство не только выстояло, но и победило.

Все это азбучные истины, и если я начинаю с них, то лишь для того, чтобы задать вопрос: а действительно ли победило христианство — скажем, у нас, в России?

В духовном смысле, провиденциально, да, оно победило, и эта победа необратима. Но победило ли оно эмпирически, исторически, в душах людей? Христос имел право сказать: «Мужайтесь, Я победил мир», тот мир, который во зле лежит. А мы-то его победили разве?

**Владимир
ИЛЮШЕНКО**

— родился в 1932 г. в Москве. Окончил Московский историко-архивный институт. Старший научный сотрудник Института сравнительной политологии РАН. Председатель общества «Культурное возрождение» имени о.Александра Меня. Автор ряда статей по истории и политологии, опубликованных в журналах «Мировая экономика и международные отношения», «Голос Зарубежья» (Мюнхен), «Pro Armenia» и в «Литературной газете». Живет в Москве.

Разве не приходится каждому поколению вновь и вновь бороться за эту победу и при этом чаще всего терпеть поражение? Разве не прав о.Александр Мень, который говорил, что мы пока еще неандертальцы духа, что мы только в начале пути и что христианство — не столько религия настоящего, сколько религия будущего?

Быть может, прав и Пастернак, утверждавший, что «пораженья от победы ты сам не должен отличать». Но он все же говорил о другом: о самосознании частного человека, прежде всего поэта. Апокалипсис же, который всегда рядом и давно начался, Апокалипсис напоминает нам, что победа может быть лишь итогом непримиримой и мучительной борьбы двух полярных сил — добра и зла, не абстрактных сил, а вполне конкретных, воплощенных в наших душах. И чем дальше, тем сильнее напряжение этой борьбы, потому что оба царства возрастают в равной степени. Нужны невероятные усилия, чтобы мир не соскользнул в бездну, нужны жизнь и смерть праведников и святых, таких, как о.Александр, чтобы этого не случилось.

Иными словами, конечная победа христианства зависит от христиана.

Каждая мировая религия обращается к душе человека, каждая по-своему отвечает на вопрос о смысле бытия и несет высочайшие моральные истины. Но христианство — «не новая этика, а новая жизнь». Христианство решительно отличается от всех других мировых религий только одним. Об этом не уставал повторять о.Александр: «...Евангелия у них нет. Христа, Который является средоточием нашей веры, там нет. И это главное и, по существу, единственное отличие христианства от всех учений. Потому что в Нем Благовестие и Жизнь. Личность и Слово соединились воедино, потому что в Нем извечная Тайна, которая всегда волновала человека, она в Нем заговорила человеческим голосом и обратилась к людям». И Он не только обратился к нам, Он остался с нами: «Я с вами во все дни до скончания века».

Христианство — не только дело рук человеческих. Оно пришло к нам из другого измерения как преобразующая нас сила. «Ядро христианства — говорил о.Александр, — Христос и Евангелие». Радостная Весть — радостная, потому что она открывает путь спасения. Христианство со временем изменяется — не может не изменяться, но его ядро остается неизменным.

На протяжении веков многие воспринимали христианство как замкнутую систему, своего рода секту, формальная принадлежность к которой — единственная гарантия спасения. Но разве

Христос пришел только к христианам? Только их Он хочет спасти? Нет. Он обращается ко всем. Он пришел изменить жизнь всех и каждого. Другое дело, что на христианах лежит особая ответственность. Христианская Церковь — открытая система, по крайней мере таков замысел о ней.

Мы часто говорим об универсализме христианства. На чем он основан?

На единстве человеческого рода, на осознании его единой семьей — все мы дети Адама. На духовности как свойстве природы человека, связывающем его с высшим планом бытия. На универсальности, неповторимости и бесконечной ценности каждого человека — образа и подобия Божия. В центре христианства — личность, т.е. христианский универсализм основан на понимании глубокого единства человечества как **соцветия личностей**, и потому христианство персоналистично и иным быть не может. Христианство рассматривает человека как сотворца, соработника Богу.

И наконец, этот универсализм основан на том, что христианство — это **встреча навсегда**, встреча человеческой личности и личности Богочеловека — Иисуса Христа, вера в Которого, соединение с Которым несут спасение, жизнь с Богом, жизнь вечную. В конечном счете универсализм христианства обеспечен универсальной личностью Иисуса Христа.

У нас в России часто спорят, какой должна быть православная Церковь — национальной или интернациональной, вненациональной. Теперь, правда, едва ли не все говорят: только национальной. На самом деле — ни то, ни другое. Церковь — это **наднациональное единство**, в котором нации вовсе не аннигилируются, не растворяются, но в иерархии ценностей занимают отнюдь не первое место.

У коммунистов, так же как и у фашистов, — свой универсализм. Он основан на навязывании в качестве приоритетной ценности некоей внедуховной, но сакрализованной тотальности: государство, народ, нация превращаются в фетиши, в идолов, стоящих **над** человеком, противостоящих человеку. Поэтому, кстати, коммунизм и фашизм принципиально антиперсоналистичны.

Церковь не отделена от мира, а эти течения, эти идеологии, в особенности неофашизм, оказывают сильное воздействие на членов Русской Православной Церкви, включая ее клир и даже некоторых ее иерархов. Появилось то, что раньше трудно было себе представить, — **нацисты в рясах**.

Позволю себе несколько цитат — чтобы не показаться голословным: «Обличив заблуждения иудейских “законников” — книжников и фарисеев, Христос разрушил миф об их “бого-

избранности”, обличил сатанинские истоки безмерной гордыни самозванных претендентов на мировое владычество... Простить Ему этой правды “сионские мудрецы” не могли» (здесь и далее выделено мной — В. И.); «...глубокий кровотокающий след оставил в русской истории еврейский экстремизм. Сейчас в русском национальном самосознании происходит осмысление этого факта. Поэтому эмиграцию той части еврейской общины в России, которая считает для себя неприемлемыми новые реальности, надо признать вполне естественным процессом»; «Давно и упорно за кулисами мировой политики ведется активная деятельность по созданию международного наднационального центра управления — сверхправительства, которое должно сосредоточить в своих руках колоссальную идеологическую, политическую и экономическую власть над мировым сообществом... В рамках этого многовекового процесса планомерно и целенаправленно реализуется программа по уничтожению суверенных независимых государств, разложению национального самосознания народов, размыванию их религиозной и национальной самобытности...»

Идея мирового жидомасонского заговора — центральная в мифологии нацизма. Автор обосновывает эту идею всесторонне и многократно: «Одним из самых вредных и поистине сатанинских лжеучений в истории человечества является масонство. Масонство есть тайная мировая революционная организация борьбы с Богом, с Церковью, с национальной государственностью и особенно с государственностью христианскую... Под знаком масонской звезды работают все темные силы, разрушающие национальные христианские государства. Масонская рука принимала участие и в разрушении России».

Или еще: за тайной и древней «русоненавистнической силой», затеявшей «масштабную международную диверсию, получившую у нас название “перестройки”... стоит многовековая история и огромный опыт организации социальных катаклизмов в странах Европы и Азии, Америки и Европы. Ее духовной основой является воинствующее антихристианство, организационными структурами — многочисленные легальные, полулегальные и тайные международные организации, начиная с пресловутого масонства и кончая структурами Организации Объединенных Наций. Ее политическая мощь такова, что целые государства и союзы государств оказываются послушными исполнителями чужой воли».

Россия, как выясняется, — главный объект заговора таинственных и могущественных антихристианских сил, предполагающего «денационализацию русского сознания и российской госу-

дарственности, утрату нашей религиозной и культурной индивидуальности, “унификацию” русской жизни согласно “общемировым” стандартам и превращение страны в один из плацдармов создания “нового мирового порядка”, т.е. единого масонского мирового сверхгосударства».

Но если есть заговор, значит есть и враг — хитрый, коварный и опасный, обрекающий нас на деградацию, жаждущий нашего духовного и физического уничтожения. «Враг» — ключевое слово для православных деятелей подобного толка. Закомплексованное и, по сути, антихристианское сознание ищет универсального виновника. Ищет и находит: виновен «чужак», «не свой», «не наш». Это древний враг, кощунственный и глумливый, зараженный сатанизмом и антиправославием.

Эта манихейская картина мира не без успеха вдалбливается в миллионы голов: «Нужно осознать, что у Православной России есть враги, ненавидящие наш народ за его приверженность Истине, за верность своему религиозному служению, своим христианским истокам и корням... сегодня лишь слепец или провокатор может утверждать, что все ужасы и беды, терзающие нашу Родину уже много лет подряд, есть результат “естественного течения событий”...»

К числу врагов относятся иноверные и инославные.

Вот как характеризует их автор: «Пользуясь нынешним трудным положением страны, к нам — на Святую Русь — хлынули толпы новоявленных проповедников, лживо именующих себя христианами. Эти лжеучители и лжепророки, собравшиеся оболгать измученный и доверчивый народ, на деле есть дерзкие и наглые самозванцы, стремящиеся отравить чистые и животворные истоки православного вероучения мутным ядовитым потоком собственных измышлений... иудеи и мусульмане, католики и протестанты не брезгают пользоваться сложностями нашего положения в своих интересах. Глубоко чуждые русской душе, они лишь отвлекают ее от предстоящей великой задачи — возвращения, подобно блудному сыну, на родную православную почву».

Автор подчеркивает: Россия исторически сформировалась «как главный носитель христианских ценностей». И поэтому не случайно «пали в ересях и суетных соблазнах мира сего» два Рима. «Третий же Рим — Москва, государство народа русского, и ему всемогущим Промыслом Божиим определено отныне и до века хранить чистоту Православного вероучения...»

Стройную концепцию венчает постулат: «Русскому народу определено Богом особенное служение, составляющее смысл

русской жизни во всех ее проявлениях. Это служение заключается в обязанности (!) народа хранить в чистоте и неповрежденности нравственное и догматическое вероучение, принесенное на землю Господом Иисусом Христом. Этим русский народ призван послужить и всем другим народам земли, давая им возможность до последних мгновений истории обратиться к спасительному, неискаженному христианскому вероучению». Таким образом, русским усваивается статус богоизбранного народа. Избранничество иудейского народа, естественно, отменяется ныне и присно, и во веки веков, потому как «избранничество иудея есть и з б р а н н и ч е с т в о н а г о с п о д с т в о над окружающими людьми». В Библии, правда, ничего подобного нет, но стоит ли обращать внимание на такие мелочи?

Многие патологические идеи XX века восходят к одному источнику — «Протоколам сионских мудрецов». Не это ли подлинная Библия нашего автора, его настольная книга? На нее он ссылается многократно и настойчиво, на ней строит все свои «доказательства». Это кладезь премудрости, из которого он черпает свое вдохновение и материал для своих эсхатологических пророчеств. Безумный тайный план завоевания иудеями мирового господства, якобы содержащийся в этом «документе», принимается как неопровержимый факт. При этом автор вполне чисто-сердечно признается, что «...важно не то, кем они составлены, а то, что вся история XX века с пугающей точностью соответствует амбициям, заданным в этом документе», «мировая история, словно повинувшись приказу невидимого диктатора, покорно прокладывает свое прихотливое русло в удивительном, детальном соответствии с планом, изложенным на его страницах. Не миновала на этот раз общей участи и Россия».

Излагая содержание этого и подобных ему «документов», автор патетически восклицает: «Оглянемся вокруг: какие еще доказательства нужны нам, чтобы понять, что против России, против русского народа ведется подлая, грязная война, хорошо оплачиваемая, тщательно спланированная, непрерывная и беспощадная. Борьба эта — не на жизнь, а на смерть, ибо по замыслу ее дьявольских вдохновителей уничтожению подлежит страна целиком, народ как таковой — за верность своему историческому призванию и религиозному служению...» В такой борьбе, как вы понимаете, все средства хороши — она должна вестись до полного уничтожения «врага».

И, наконец, образчик антисемитской логики: «Что касается утверждения о том, будто “Протоколы” стали основанием для

уничтожения фашистами миллионов невинных людей, то оно для меня ново (?!). Этот аргумент рассчитан на эмоциональное, а не рациональное разумное восприятие и не имеет под собой достаточных оснований. Разве что предположить, что массовый геноцид, развязанный нацистами против народов России, являлся одним из элементов осуществления плана, описанного “Протоколами”, — там ведь предсказаны разрушительные мировые войны».

Любимые слова автора, предстающего в глазах читателей патриотом-государственником, — «держава», «державность», «державный дух». По его мнению, это краеугольный камень «русскости»: «Россия есть государство народа русского, которому Господь вверил жертвенное, исповедническое служение, народа-богоносца, народа-хранителя и защитника святынь веры»; «Церковь всегда была источником державного духа»; «державность — это государственное самосознание народа, добровольно принявшего на себя церковное послушание «удерживающего» (?)».

Кто и когда вверил русскому народу это «послушание»? Как и каким образом народ принял его? Разве неясно, что если бы народ был верен своему религиозному призванию, не было бы ни октябрьского переворота, ни последующих катастроф?

Нет, не жалко красок, чтобы изобразить бедственное положение России: «Ныне Россия почти разрушена... Русские земли опустошены, как после вражеского нашествия... В русской жизни — куда ни глянь — одни развалины да руины, следы “цивилизаторской” деятельности приверженцев “общечеловеческих ценностей”... волны откровенного или замаскированного сатанизма заливают русскую землю, губя и калеча человеческие души. А мы — спим?»

Речь идет именно о современной, а не о тоталитарной России, окутанной неким ностальгическим флером: «Вне всякого сомнения, последние десятилетия русской жизни — великое, героическое время», в частности, и потому, что мы «вопреки всему создали мощнейшую державу с развитой экономикой и непобедимой армией». Сейчас — другое дело, сейчас идет «экономическое разрушение и подавление русской национальной государственности», идет «процесс экономической (?) дехристианизации Руси, ее хозяйственного разорения и развала. Ревнителю этого коварного и безнравственного плана есть и внутри страны и за ее пределами».

Автор, видимо, не замечает, что воспроизводит чисто коммунистические (ныне «патриотические») клише великодержавного сознания, хотя и говорит о «богоборческой власти» коммунистов.

Нынешние власти — наследники «Гершеля Иегуды (Ягоды) и Минея Губельмана»: «Русофобия — врожденная болезнь нынешних хозяев жизни... Чужие голоса поучают нас по радио, чужие лица врываются в наши дома с экранов телевизоров... В России развязан оголтелый антирусский информационный террор, осуществляемый последовательно и целенаправленно...» Вывод напрашивается сам собой: необходимо возродить «русскую державную идеологию», необходимо создать «цельное, национально-самобытное и политически независимое информационное пространство».

Какой же должна быть эта идеология? В течение долгих столетий «русское национально-религиозное самосознание... опиралось на три фундаментальных мировоззренческих архетипа. Первый из них — архетип державности — в массовом сознании традиционно формулируется в качестве идеологии русского империализма, предполагавшей убеждение во вселенской миротворческой роли российской государственности... Второй архетип русского самосознания — архетип соборности — имеет форму идеологии русского национализма. Третий, самый главный, глубокий и древний архетип русского самосознания прочно связан с православной церковностью и мировоззренчески оформлен в идеологии русского религиозного мессианства... В основании такого мировоззрения лежит убеждение в том, что высший, промыслительный долг русского народа — “народа-богоносца” — заключается в обязанности сохранить догматические и нравственные идеалы христианства и пронести их неоскверненными через все преграды, беды и напасти. Эта идеология, так же, как и первые две, носит ярко выраженный интравертивный, то есть неагрессивный, мирный характер.

Именно сии три мировоззренческие архетипа были сведены в русском лозунге “Православие, Самодержавие, Народность”... Они же... должны быть положены в основание новой, возрождающейся России...»

Самодержавие — это обязательно, но «при этом все же надо ясно отдавать себе отчет в том, что никакое монархическое возрождение не станет возможным, пока в высоких сановных кабинетах и в средствах массовой информации господствует космополитизм и оголтелая русофобия, преклонение перед Западом и культ наживы, разврата и насилия... Монархия в России может быть восстановлена только как русская государственная власть... только как православная государственная власть... только как соборная государственная власть».

Кто все это говорит? Кто постоянно смешивает национальное и религиозное? Кто превращает христианство в «национально-религиозную идеологию»? Проханов? Стерлигов? Баркашов? Нет, это один из первоиерархов Русской Православной Церкви, имеющий сан митрополита.

Налицо весь нацистский букет: идея мирового жидомасонского заговора, идея национальной исключительности и национального превосходства, агрессивная ксенофобия (и прежде всего антисемитизм), ненависть к врагу — иноверцам, иноземцам, еретикам, экуменистам, евреям, стравливание христианских конфессий, культ государства, культ нации, националистическая демагогия, агрессивное имперское мессианство, резкий и последовательный антидемократизм.

Неудивительно, что любимый герой митрополита — царь Иоанн Грозный. Самое великое достижение — создание опричнины. С помощью опричнины он «отделял добрые семена русской православной соборности и державности от плевел еретических мудрствований, чужebesия в правах и забвения своего религиозного долга. Опричное служение стало **формой церковного послушания** — борьбы за воцерковление всей русской жизни до конца», «приняв на себя по необходимости работу самую неблагодарную, царь как хирург отсекал от тела России **гниющие, бесполезные члены**»...

Цинизм подобных «исторических» изысканий не требует комментариев. Понятно, что цитируемый мною автор и сам мечтает о таком возрождении России, которое было бы возвратом к изуверским нравам, процветавшим при Иване Грозном.

Обращаясь к казакам юга России, озабоченным «**опасностью возрождающейся ереси жидовствующих**, вносимой в Церковь многочисленными священниками еврейского происхождения», митрополит признает, что «**опасность такая есть**». «Древо познается по плодам. Надо внимательно следить за его развитием и добрый плод всячески растить и холить, а негодный, гнилой — отсекаль без ложной жалости и промедления»¹.

¹ Все цитаты — из книг митрополита Санкт-Петербургского и Ладжского Иоанна «Самодержавие духа» (СПб., 1994) и «Одолоение смуты» (СПб., 1995). В начале ноября с.г. митрополит скончался. Я не хочу судить его: Бог ему судья. Многие твердят, что он не был автором подписанных его именем статей. Быть может, это и так. Однако даже если покойный иерарх всего лишь «позволял» русским нацистам использовать свое имя, объективный смысл написанного не меняется. — В. И.

А вот что пишет, скажем, уже Баркашов: «Любой хирург, да и просто здравомыслящий человек, скажет, что гниющее место необходимо отделять от здорового, чтобы избежать всеобщего заражения». А у нас произошло «ослабление позиций православного фундаментализма в связи с внедрением во власть чужеродного мировоззрения в виде ереси жидовствующих». Поразительное сходство. Кстати, Баркашов тоже выступает за «национально-религиозную идеологию»: «Народ, который формулирует для себя национально-религиозный фундаментализм, становится Нацией».

Я так подробно остановился на взглядах одного из предстоятелей Русской Православной Церкви потому, что вижу в них концентрированное выражение общих опасных тенденций движения к «православному» нацизму. (Ведь нелишне вспомнить и то, что митрополит Иоанн долгие годы был еще и членом Синода Русской Православной Церкви.)

«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12.21) — вы помните эти слова. Митрополит Иоанн — пытался победить зло, как он его понимает, с помощью другого зла. В результате и происходит умножение зла. «Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Мф. 6.23). Эта тьма беспросветная, неприглядная. Это «мрак, который в тебе».

Нет, я не говорю о всей Русской Православной Церкви: в ней много прекрасных священнослужителей, мирян, глубоко преданных Христу, духу Его истины. Я говорю о сильном, опасном и едва ли не доминирующем сегодняя течении в нашей Церкви. И вот невольно возникает вопрос: насколько глубока и устойчива христианизация России, если один из первоиерархов Церкви может позволить себе пропаганду русского нацизма?

Фашизм укоренен в дохристианской и дехристианизированной культуре. Его следует рассматривать как мощное контрнаступление язычества. Собственно, сила фашизма состоит в слабости христианства. Это относится и к православию, поскольку речь идет о нашей стране. Для многих верующих, в том числе священнослужителей, мирян, людей околоцерковных, православие — это некая «русская религия». Это, по сути дела, этническая, точнее, племенная религия, которая если и имеет что-то общее с христианством, то лишь ритуально-обрядовую сторону. Внешне принимаемая христианские догматы, они отвергают дух Христов по существу. Когда эти люди говорят о Русском Боге, для них это не метафора, а нечто вполне реальное. Православие превращается при этом в атрибут этноса, в элемент «национально-религиозной идеоло-

гии». Но, таким образом, христианство перестает быть путем спасения, становясь средством для достижения иной, чисто политической цели.

Фашизм есть духовный феномен. Главное в нем — духовное растрепывание, растрепывание ненавистью. Возникновение неонацизма — проявление общего кризиса христианской цивилизации. Возникновение русского фашизма — это результат продолжающейся дехристианизации православия, рецидив язычества. В рамках Русской Православной Церкви фактически сосуществуют две религии — истинное, открытое христианство и христианство подменное, язычество в христианском обличье, «этническое православие». Христианство было и есть антитеза фашизму, расизму, национализму. «Православное» язычество есть измена христианству, его вселенскому духу, его универсализму.

Общее у фашистов и якобы православных нацистов — антиинтеллектуализм, обскурантизм, агрессивная ксенофобия, маскируемая под патриотизм. Двусмысленный патриотизм, своего рода соцреализм — патриотический по форме и националистический по содержанию.

Бациллы национализма, фашизма усердно взращиваются в определенных клерикальных кругах, которые видят в профашистских силах своего союзника, свою паству и социальную базу. Эти силы обращаются к Церкви как к некоей духовно-идеологической инстанции, надеясь получить от нее чуть ли не сакральную санкцию на проведение погромной, ксенофобной политики. Те и другие превращают христианство из религии любви в идеологию ненависти. Видит Бог, недаром о.Александр Мень произнес перед смертью суровые и тревожные слова: «Произошло соединение русского фашизма с русским клерикализмом и ностальгией церковной». Недаром для тех и других он остается объектом острой и неиссякаемой ненависти. Говорить правду легко и приятно, но слышать ее иным невыносимо. «Языческое самообожение» (термин Владимира Соловьева) есть еретическое мироощущение, ведущее к духовному сепаратизму. Об этой самоидеализации, культурном и религиозном нарциссизме говорил в своем последнем интервью о.Александр: «Это очень свойственно и нашим клерикальным кругам. В восторге от себя. Когда мы, верующие, справляли тысячелетие Крещения Руси, не было сказано ни одного слова покаяния, ни одного слова о трагедии Русской Церкви, а были только восторг и самоупоение».

Что есть Церковь? Евхаристическая община верующих во Христа или этнический, этнографический заповедник, собрание

людей, объединенных не любовью ко Христу, а ненавистью к общему врагу? Уместно привести в этой связи слова английского писателя Ле Карре: «...когда мы говорим о находящемся где-то там “враге”, мы имеем прежде всего в виду опасность отсутствия “врага”, неудобство, дискомфорт жизни без него. Опасность состоит в том — история подтверждала это не раз, — что когда вам нужен “враг”, вы начинаете его искать и не останавливаетесь до тех пор, пока не найдете».

Фундаменталистам от православия очень нужен враг, потому что ничего, кроме уничтожения врага, они не предлагают — никакого конструктива. И для них было бы ужасно, если бы «враг» исчез. Тогда быстро обнаружилось бы, что весь их обличительный пафос порожден духовной слабостью, тайным сознанием своей неправоты, неверием в свои силы.

Заповедники — полезная вещь: они созданы, чтобы сохранить от уничтожения редкую фауну и флору. Но Церковь, в данном случае Православная Церковь, по своей вселенской сути, не может и не должна быть заповедником, чем-то искусственно отгороженным от мира и от других христианских конфессий. Поэтому изоляционизм, дух вражды и конфронтации, агрессивное антизападничество, свойственные «истинно русским» нацистам, не имеют ничего общего с христианством. Далеко не благородная ярость, переполняющая их души и их тексты, истекает из иного источника. Языческое «православие», которое становится «единственно верным учением», ставит на место Христа идолов — нацию, державу, монархию, сакрализует русскость, формулирует самобытность России в конфронтационном сопоставлении с Западом. Оно хочет возврата к тоталитарному прошлому с его цензурой и произволом чиновников, с его контролем над драгоценным даром Бога — свободой человека.

Фашизм — плод больного духа. Бог соединяет, дьявол разъединяет. Фашизированное лжехристианство, которое зачастую подсовывают нам под именем православия, — не инструмент примирения людей, а орудие разжигания вражды. Это религия ненависти, христианство без Христа и против Христа. Переряженное в христианские одежды язычество соблазняет многих людей, сеет смуту в их душах. Попытка перенесения мифологизированного, мистифицированного прошлого в настоящее и будущее есть одновременно попытка утопии, уже не на коммунистической основе, а на основе фашистского мифа — расового и национального, которая при своей реализации может дать только геноцид, кровь, террор и т.д.

Вероятно, неслучайно не только фашисты, пытающиеся опереться на авторитет православия, но и коммунисты, дрейфующие к нацизму, «стали на учет» в Русской Православной Церкви. Им нужна такая Церковь, где этническое православие будет новой идеологией. Русский — значит, православный, православный — значит, русский. В тоталитарном «православии» личное религиозное переживание замещается идеологическим квазирелигиозным знаком. Для такого рода людей нет сакрального целого, а есть набор внутренне конфликтных, конфронтирующих символов, замещающих целое. Отсюда, кстати, противопоставление Нового и Ветхого Заветов как якобы основанных на враждебных и непримиримых ценностных установках.

Христианство и этническое православие — два абсолютно разных течения в рамках Русской Православной Церкви. Можно очертить целый ряд оппозиций, характеризующих эти течения:

открытость — закрытость;

целое — часть;

универсализм — партикуляризм;

полнота — ущербность;

установка на взаимопонимание и диалог — установка на конфронтацию и монолог.

К кому обращено христианское благовестие — ко всем людям или к одному этносу? Что такое сегодня избранный народ — вся Церковь в ее целокупности, все тело Христово или ее отдельные этнические члены? Судя по высказываниям и делам строителей православного заповедника — второе: избранный народ — один этнос, «народ-богоносец», у которого богоносность — врожденное качество. Оно у него в крови. Какие бы гадости представители этого «богоносца» и некоторые его недобрые пастыри ни творили, это ничего не меняет: он чист, как стеклышко. Остальные, ввиду своей нечестивости, отвергнуты и пойдут туда, куда должны пойти — во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. И так, собственно, им и надо, поскольку они не поняли, что истина — у нас в кармане. У нас, а не у вас. Вся истина, неповрежденное православие.

О подобном мироощущении резко и недвусмысленно отзывались деятели русского религиозного ренессанса. И если уж я предоставил столько места откровениям митрополита Иоанна, то тем более необходимо дать слово его фактическому оппоненту о.Павлу Флоренскому, на которого так любят ссылаться наши «патриоты». Вряд ли кто может усомниться в преданности Флоренского православию, России и русскому народу. Между тем он

оценивал нашу ситуацию совсем по-иному и весьма жестко: «Для русских православных людей... кумиром чаще всего служит сам русский народ и его естественные свойства, которые ставят они пред собою на пьедестал и начинают поклоняться как Богу... обрядоверие, славянофильство, народничество силятся стать на первое место, а вселенскую церковность поставить на второе или вовсе отставить»; «В основе всех этих течений лежит тайная и явная вера, что русский народ сам собою, помимо духовного подвига, в силу своих этнических свойств, есть прирожденно христианский народ, особенно близкий ко Христу и фамильярный с Ним, так что Христос как будто, несмотря ни на что, и не может быть далеким от этого народа. И как всегда фамильярность с высоким, эта фамильярность влечет за собою высокомерие и презрение к другим народам, — не за те или иные общие качества, а за самое существо их. Смысл этого высокомерия может быть выражен тем, что мы — природные христиане, с нас, собственно, ничего не требуется, и все нам простительно, тогда как другие народы, в сущности, не христиане, и самые их достоинства вызывают у нас чувство пренебрежения».

По мнению Флоренского, русский народ получил как бы даром огромное духовное сокровище — богатую и мудрую церковную культуру. Это сокровище было добыто многовековым подвигом других народов, которые «его выстрадали своей кровью. Русский народ вырос, как ребенок очень состоятельных родителей, и привык получать больше — не только заработанного, но и усвоенного... Русский народ тратил полученное им при рождении наследство, полагая, что оно никогда не иссякнет». «Между тем, — заключает Флоренский, — русская история была таким иссяканием, и настоящее положение России — это не случайная болезнь или случайное отсутствие средств, а глубокое потрясение состояния, расстраивавшегося многими поколениями. Однако русскому народу было действительно трудно заметить наступающее положение: он так привык считать даром полученную им вселенскую церковность за неотъемлемое свое свойство, что свои свойства не умел отличить от церковности и принимал за церковность. Поэтому разорение церковности не воспринималось им катастрофически, но было медленным вытеснением начал церковных началами этническими, а этих последних — и прямо греховными» (П.А. Флоренский. Записка о православии).

Этот глубокий анализ духовного состояния «народа-богоносца», весьма далекий от «языческого самообожения», есть одновременно самооценка и, если угодно, акт покаяния, продикто-

ванные высокой ответственностью за Русскую Православную Церковь и русский народ. Они не оставляют места для благонамеренных иллюзий и не позволяют переключать собственные грехи на «древнего врага».

Иоанн-Павел II в своей последней книге «Пересекая порог надежды» заметил, что многие видят в Церкви только «институциональное, иерархическое начало». Это особенно справедливо для России, для Русской Православной Церкви. Но Церковь не есть нечто внешнее по отношению к нам. **Церковь — это мы сами. Мы составляем Церковь.**

Единство Церкви возможно лишь в том случае, когда оно основано на единстве христиан, а если оно строится на их вражде, то и сама Церковь не будет единой. В конфронтационной же модели христианства национальное всегда противостоит универсальному, русское (православное) — чужеземному (еретикам, врагам). Под видом защиты истины христианства происходит искажение духа Евангелия.

Русская Православная Церковь расколота, как и все наше общество. Раскол проходит не по вероисповедному признаку, во всяком случае не только по вероисповедному, — он проходит еще и внутри каждой конфессии. Подлинный враг — не другая христианская конфессия, а «язычество в христианской обертке». Враг — национализм. Национализм — болезнь, терзающая человечество и христианские конфессии, особенно православие. Можно констатировать, что Русская Православная Церковь не желает брать на себя ответственность за то плачевное нравственное состояние, в котором пребывает множество людей, называющих себя в нашей стране христианами (эта ответственность на самом деле должна распространяться не только на христиан — на всех).

Русская Православная Церковь или Римско-католическая Церковь — части наднационального единства. Они, конечно, самоценны, если не абсолютизировать эту самоценность. Полноты истины нет и не может быть в одной конфессии. Об этом очень точно сказал тот же Флоренский: «Нежелание признать Церковь как Полноту по существу своему есть ересь и сектанство, из какого бы исповедания ни исходили подобные голоса» (статья «Христианство и культура»). Претензии какой-либо из конфессий на полную и окончательную истину беспочвенны. Единственная и абсолютная Истина — только во Христе. Единство Церкви строится только на этом краеугольном камне.

УЙТИ ОТ «СЛУЧАЙНОСТЕЙ»...

С сентября 1990 дело об убийстве моего отца, протоиерея Александра Меня вел следователь Московской областной прокуратуры Анатолий Дзюба. С самого начала им разрабатывалась версия об уголовном характере преступления. Для этого ему было на выбор «представлено» несколько кандидатур потенциальных преступников из местных жителей. У меня сложилось впечатление, что именно на А. Дзюбе лежит вина за бездействие той следственной группы, которую он возглавлял. Углубившись в изучение местной криминальной «публики», группа упустила реальный шанс выйти на действительных убийц — что по горячим следам, в сентябре 1990, было вполне возможно.

Дзюба работал меньше года; его сменил Иван Лещенков. Основным содержанием его полуторагодовой работы были поиски... жидо-масонского заговора вокруг о.Александра Меня. Принятая Лещенковым версия была своеобразна: поскольку о.Александр отговаривал евреев уезжать в Израиль, он лишал тем самым заработка «определенные израильские структуры», якобы получающие деньги за каждого репатрианта.

И. Лещенков изучил кучу материалов. Мне удалось скопировать для архивов фонда имени Александра Меня документы, собранные И. Лещенковым. Натолкнулись мы на множество доносов, датированных 70—80-ми годами. Видимо, именно утечка подобного рода информации послужила причиной того, что и этот следователь был отстранен от дела. На его место пришел Вячеслав Калинин.

В тот момент Московская областная прокуратура, по-видимому, уже осознавала, что настоящий преступник найден не будет. Не потому ли и появился в поле ее зрения некий Игорь Бушнев? Впрочем «появился» — не совсем точно. Бушнева допрашивали еще в 1990, но он доказал свое стопроцентное алиби и был отпущен. Тем не менее, В. Калинин возвращается к этой «кандидатуре» снова, проводит серию допросов родственников Бушнева, заключает его под стражу и начинает активную «обработку» арестованного. В итоге — тот признается в совершении преступления.

Настораживало в этом признании многое. Прежде всего — обстоятельства, в которых оно было сделано. (Кстати, после

перевода в другой следственный изолятор Бушнев от своего признания отказался.) Почему Бушнев отказался от помощи — бесплатной! — лучших московских адвокатов — Генриха Павды и Александра Говшгейна? Да и можно ли считать серьезным доказательством вины то, что подозреваемый показал место совершения преступления? Ведь сейчас там выстроена часовня, ее часто показывают по телевидению, так что нетрудно догадаться, что именно на этом месте и пролилась кровь...

В итоге В. Калинин был все-таки вынужден освободить И. Бушнева с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Однако следом появляется бумага из Генпрокуратуры России (я ее читал, так что свидетельствую из первых уст), где четко говорилось, что ситуацию с И. Бушневым следует держать под контролем. И дело перепоручают четвертому по счету следователю, Михаилу Белотурову, заместителю начальника следственной группы. С самого начала Белотуров дал мне понять, что есть указание работать «под Бушнева», что никакие другие «отвлекающие» моменты его не интересуют. Версия, которую разрабатывал М. Белотуров, выглядит так: Игорь Бушнев случайно попал в поселок Семхоз рано утром, случайно встретил на дорожке о. Александра, шедшего в храм, случайно принял его за другого человека, который минувшей ночью обидел его в электричке... но не слишком ли много случайностей?!..

На этот раз следственная группа намерена довести дело до конца — дело осуждения человека, чья виновность вызывает у меня большие сомнения. А в России, известно, уж если до суда дойдет, обратного хода нет. Поэтому, убежден, столь велика в этой истории роль общественного мнения. Только оно может повлиять на то, чтобы не пострадал невинный человек, чтобы не ушли от расплаты подлинные убийцы. В этом я вижу свой долг и свою задачу перед памятью отца.

Евгений ЕРМОЛИН

ПРОВИНЦИАЛ

Игорь Дедков и его литературное поприще

Несколько лет мы с Игорем Дедковым были соседями. Он в Костроме, я в Ярославле. Оба на Волге. В моем тогдашнем отщепенстве, на фоне довольно скудной литературной жизни в Верхневолжье 80-х годов, эта географическая близость каким-то образом согревала душу. Мне нравилось то, что писал Дедков, и я не скрывал это от него. Я считал его одним из двух самых значительных литературных критиков среди тех, кто регулярно публиковал свои статьи в подцензурной прессе застойных времен (второй — Игорь Золотусский). Но суть даже не в масштабе. Об этом можно спорить. Есть, однако, то, что оспорить нельзя. Это был критик с программой, с идеями, оппозиционность которого режиму нигде не акцентировалась, но не подлежала сомнению.

Кто-то молчал, а он говорил. Это значит — применялся к цензуре. Должно быть, шел на компромиссы. Он был ограничен в темах и не смог сказать о многих самых крупных писателях, которые были насильственно исключены из литературного процесса — или добровольно самоустранились. Следовательно, — не вступил с ними в творческий контакт, не выразил своего отношения к их художественному мирозерцанию. Стоила ли тогда игра свеч?

Не знаю. Но вижу, что он в своих статьях не лгал. Писал только о том, во что верил. Он давал пример негромкого достоинства в

**Евгений
ЕРМОЛИН**

— родился в 1959 г. в деревне Хачела Архангельской области. Окончил факультет журналистики МГУ. Кандидат искусствоведения, преподает в Ярославском педуниверситете. Автор ряда литературно-критических и культурологических журнальных статей. Постоянный автор «Континента». Живет в Ярославле.

той среде, где слово уже почти ничего не выражало, ничего не значило, было подчас только средством заработка. Недавно как-то поднял подшивки «Литературного обозрения» тех лет и поразился: какие это завалы макулатуры! Как мало там жемчужных зерен! А Дедков умел сказать свое. Перечитывая его статьи, ощущаешь, что написаны они свободным человеком. Написаны раскрепощенно и в то же время без той интеллектуальной распушенности, когда за ажурным плетением словес теряется смысл. Он работал серьезно, не шутя, ради какой-то высшей цели. Вот этим он и брал.

Ушла эпоха. И Игорь Дедков ушел вместе с нею. Это совпадение двух уходов не кажется случайным. Дедков был прочно укоренен в своем времени. Его литературное и житейское кредо, его литературные пристрастия в чем-то важном совпадают с существенным направлением духовного движения 60—80-х годов. Его литературная биография связана с судьбой поколения 60-х. По самому роду своей деятельности он призван был достаточно внятно выговаривать идеи поколения, формулировать суть его веры (от писателя ведь этого не ждешь и далеко не всегда это получаешь).

Появившись в литературе с некоторым промедлением, на излете оттепели, когда она сменялась заморозками, Дедков взял на себя роль хранителя шестидесятнических заветов и ценностей. Ему, пожалуй, даже удалось законсервировать их (с некоторыми видоизменениями) до самых 90-х годов. Очень характерный вектор шестидесятничества откристаллизовался в его литературно-критическом творчестве с полной отчетливостью.

После смерти Игоря Дедкова меня не покидала мысль о моем долге перед его памятью. Хочется сказать о том, что он нам оставил. Прошло уже время, можно не только горевать, можно и размышлять.

1

В чем духовная суть момента, выразителем которой стал Игорь Дедков? Прежде всего это — бунт против мнимостей в литературе и в жизни. Бунт, который уместно считать восстанием против модернистского в своей основе художественно-политического проекта и соответствующей ему практики первой половины XX века. Это было отталкивание от официозных демагогии и лицемерия, от муляжных культуры и литературы соцреализма.

Теперь бы мы сказали: советский проект вполне выявил свою демоническую природу, по определению лишенную самонадея-

шей подлинности и только отражающую (с переменной знака) чуждую ей высшую реальность. В 60-е годы и думали, и выражались иначе. Но религиозная правда шестидесятничества состоит именно в попытке оттолкнуться от утопической мнимости, от советской дьяволиады — и нащупать что-то подлинное.

Дедков после вспоминал: «Наверное, нас в ту пору одолевала духовная жажда. Ну да: «Духовной жаждою томим... на перепутье...», но «шестикрылый серафим» не являлся.

Виноват был университет: он разжег неутолимую жажду знать и понимать. Виновата была сама жизнь после марта пятьдесят третьего года с ее главным уроком: надо знать, надо помнить и видеть. Если в этих глаголах — сила и страсть, то образуется жажда».

Здесь характерны и «серафим не являлся» (о чем я еще скажу позже), и стремление к некоему знанию, которого нет в руководящих документах партии, ощущение разрыва между правильным знанием — и официальными прописями в искусстве, политике, жизни. Это была еще и нормальная человеческая брезгливость ко лжи и к подлости.

Новые люди искали правды — в жизни и в искусстве. Правда сама по себе казалась панацеей от бед и хворей. Слово правды разрушает цитадели лжи. Генеральным штабом этой борьбы за правду был, как известно, «Новый мир». Именно в таком качестве журнал будет вспоминаться Игорю Дедкову. Правдивость искусства, его верность жизни, адекватность ее основному содержанию — это новомирское кредо Дедков будет исповедовать до конца, не откажется от него и ему не изменит и в те времена, когда от старого журнала останутся только корочки голубого цвета.

В своей манере негромкой, неаффектированной проповеди он будет повторять снова и снова: «надежда наша на правду, на достоверные свидетельства». И по этому критерию совершит отбор лучшего в русской подцензурной литературе своего времени: В. Астафьев, Е. Носов, В. Шукшин, В. Распутин, К. Воробьев, В. Быков, Ю. Трифонов, В. Богомолов, Ф. Абрамов, Ю. Куранов, А. Адамович, В. Семин... Некоторых из этих писателей он, пожалуй, даже перехвалил. Но это стало ясно, только когда возникла возможность сравнить их с В. Шаламовым, А. Солженицыным, В. Гроссманом, Ю. Домбровским, Г. Владимовым, В. Максимовым, Вен. Ерофеевым, В. Войновичем, Ф. Горенштейном. Из публиковавшихся же значительных авторов Дедков оказался невосприимчив, кажется, только к Ф. Искандеру и Б. Окуджаве.

Стремление писателя к правде должно было реализоваться в «художественном исследовании и познании» социальной действ-

вительности. Характерна антимодернистская нацеленность Дедкова. Он против конструирования реальности — будь то жизнь, будь то искусство. Против игры, несерьезного сочинительства, рассудочно-го экспериментирования. Здесь «торжествует иллюзия». «Вся эта геометрия со временем зарастет», — уверен критик и одобряет известную статью Палиевского «К понятию гения». И в жизни он не приемлет то же: лицемерие, фальшь, схему и регламент, «странный мир псевдонауки, псевдодела, псевдоидейности».

Критично относится Дедков также к эгоцентрическому самоутверждению героя и автора, к самоцельному субъективистскому самовыражению в лирико-исповедальной прозе и ее различных изводах. Он особенно язвителен в своих наделавших много шуму статьях о Ю. Бондареве, А. Проханове, «московской школе» (кто теперь помнит, что была такая?), в отзывах о В. Липатове, Б. Васильеве. Наверняка не одобрил бы он за «чересчур свободное и произвольное» «обращение со словом и с жизнью» и В. Аксенова, не говоря уж о Э. Лимонове или, к примеру, Д. Савицком.

Совершенно очевидно, что Дедков возвращается к критериям «реальной критики» XIX века. Он апеллирует к традициям социально-психологического реализма, русской реалистической классики, аналитической художественной школы, стремящейся к верному познанию окружающей действительности. Аналитический метод социально-психологического реализма, выделяющий в потоке бытия «бытующие типы», мог быть, с точки зрения Дедкова, применен и к исследованию реальности во второй половине XX века. Больше того, он казался Главным (а может, и единственным надежным) средством адекватного постижения закономерностей социальной жизни.

Критик ждал от литературы «прямой речи» о жизни, «документального или документированного слова и образа». Речь шла о непосредственной передаче живых впечатлений бытия без слишком далековатого рационалистического обобщения или чересчур субъективного переживания и обыгрывания действительности.

Еще в советское время некоторые современники (например, А. Адамович) задавали ему вопрос: неужели свет сошелся клином на типологизирующем методе традиционного реализма XIX века? Нет ли здесь чрезмерной узости и не грозит ли это вторичностью? Дедков отвечал, что в искусстве, тесно связанном с жизнью, вторичность не может случиться. «Если слово обеспечено тем, что красиво, но верно называют «кровью сердца», то нет повода говорить о вторичности или самоповторе; это признак верности себе сильной творческой личности».

Ответ, конечно, неполный. С одной стороны, критик отказывается вприпрыжку бежать за новейшими прогрессивными веяниями только потому, что такого в литературе еще не было. У него была интуиция вечных истин, которые не устаревают. Но путь к этим истинам он прокладывал, действительно, слишком прямолинейно. Теперь видишь, что социально-типажной литературе и поощряющей ее критике явно недоставало средств анализа неповторимой и парадоксальной советской реальности. До конца не промеривались ими иррациональная глубина индивидуальности и абсурдная логика содействительности.

Дедков часто сосредоточивался на взаимодействии человека и обстоятельств. Он не ходил слишком вглубь человека — как и почти вся та современная ему проза, которую он любил и о которой писал. Мучительные внутренние проблемы человека нередко истолковывались здесь овнешненно. Характерны, например, рассуждения критика о беловском Иване Африкановиче Дрынове. Полемизируя с теми, кто видит в этом герое «здоровый народный идеал нравственности», Дедков сводит, однако, заслугу В. Белова к открытию «давно уже не замечаемого нашей литературой» «крестьянского типа»: Дрынов добросердечен, но отчасти уже деморализован, лишился ответственности, а потому вызывает не только симпатию, но и тревогу. Звучащий в повести «Привычное дело» вопрос о смысле человеческого существования перед лицом смерти критиком не был услышан. (Впрочем, и писатель, как уже приходилось констатировать, от этого вопроса ушел.)

2

Возникали, однако, и следующие вопросы гносеологического свойства. Где гарантия, что открытые литературой и пересказанные критиком истины — неложны? Где критерий истины? Благодаря чему, собственно, человек может видеть действительность адекватно и свидетельствовать о ней без искажений?

Не вдаваясь в полемику, Дедков веровал, что одобряемый им исследовательский метод соответствует самой реальности. Истина не таится. Мир не есть злонамеренная и систематическая шутка. «Открытый и ясный взгляд на мир» способен проникнуть в его суть.

Требование правдивости опирается на убежденность в том, что правда — есть. Есть истина, и она не может быть безнравственной. Есть четкие различия между добром и злом. Есть незыблемая

шкала бесспорных ценностей. Гносеологический оптимизм сочетался у Дедкова с этическим натурализмом.

Чем же можно измерить жизнь, чтобы сообщить о ней правду? Критик указывает на здравый смысл и нравственное чувство, а затем называет и привилегированного хранителя этих качеств. Таким хранителем уж, конечно, не могут быть парторганы. Но не дает Дедков этих привилегий и какому-либо элитному кружку — или выдающейся личности. Тем более он не хотел говорить о Боге, о «вечном», часто иронизируя по поводу такой склонности у своих современников. Сам он считал, что эти разговоры только отвлекают от главного, — и очень мягко, но недвусмысленно ставил под вопрос само существование Бога.

Что же оставалось? Оставалось связать истину с народной точкой зрения на мир. «Здравый смысл, — пишет Дедков, — исходит из народного опыта и пользы, из осмысленного, последовательно-нравственного отношения ко всему на свете». Игорь Дедков — нестигаемый, последовательный народник-демократ. Один из последних, если вообще не последний. В его суждениях как будто воскресает сюжет идейной борьбы XIX века. Народ противопоставляется несправедливой власти и эгоистическому индивиду. Причем Дедков убежден в огромной естественной силе жизни, природной и народной. Есть «неудержимое движение жизни, ее правда и красота, ее врачующая сила, исторгающая все искусственное и чужеродное». Критик живет и пишет с ощущением надежности бытия, его достоверности и правильности, его неисчерпаемой подлинности. Великий «духовный и нравственный запас» живой народной жизни в ее полноте и разнообразии позволяет, по Дедкову, надеяться на конечное «торжество справедливости».

От литературы в этой связи должно ждать «народного отношения к происходящему, изображаемому». У писателя есть долг. Литература «этически ответственна» за выражение правды, за поэтику, которая этому способствует. По оптимистической оценке критика, сознание этой ответственности растет, что «выражается в более верном понимании центральной гуманистической задачи литературы, в нарастающей степени историзма и народности, в честном обращении со словом, мыслью, героем».

Тем язвительней были его критические выпады против писателей, которые никаких подобных обязательств на себя брать не собирались или только декларировали свою приверженность к «высшим ценностям», скрывая за словесами равнодушие к народной судьбе. Помните впечатление от статьи Дедкова о Ю. Бондареве? Она имела в момент своего появления эффект разорвавшей-

ся бомбы. Конечно, для думающего читателя скептическое отношение к трилогии крупного литературного начальника, начинавшего когда-то талантливыми военными повестями, а затем превратившегося в официозного литератора, верного слугу режима, не случайно произведенного властями в Герои Социалистического Труда, не могло явиться откровением. Но критик выговорил то, что далеко не всеми было осознано с полной ясностью. Была магия когда-то славного имени, казенным решением занесенного в литературные святцы, попавшего в школьные программы. Были грандиозные тиражи по руководящим разрядам. А критик бестрепетно поднял руку на официального любимца эпохи. Он четко и строго обозначил пределы опыта и изъяны духовного зрения у захваленного литератора. Это был мощный и неотразимый удар по мнимостям в современной словесности. (Вообще впечатляют в личности Дедкова его рыцарская преданность истине, его смелая готовность в случае необходимости пойти против течения, противопоставить себя потокам славословий, литературной кляке и кружковой спайке.)

Предельно саркастичен взгляд Дедкова на воспетого Бондаревым в романе «Игра» режиссера Крымова. Критик упорно метит здесь в самовлюбленность, нарциссизм героя. Крымов наслаждается своей незаурядностью, своими необычными запросами, а Дедков тем временем выявляет фальшь в высокопарных монологах режиссера о разных небудничных материях, нравственную ущербность и человеческую мелкотравчатость героя. Романтические капризы, самоупоенность, по Дедкову, отдаляют Крымова от подлинной глубины жизни.

Дополнительную остроту этим наблюдениям придавала увиденная критиком близость Крымова к самому автору романа. Дистанция меж ними почти неуловима. Бондарев любит Крымова и считает его «положительным героем», собравшим в себе все добродетели «глубоко русского, советского человека». А на поверку? Главным критерием в оценке мира и человека в романе оказывается способность обожать «великого художника». Тот, кто не расположен к слепому поклонению, рискует попасть в разряд завистников, бездарей, дураков, тупиц и кретинов. (А в устах защитников Бондарева, хором обрушившихся на вредного критика, нелюбовь к «советскому классику» расценивалась, помнится, и как явный знак антисоветизма.) Народ здесь сводился к свите при великом человеке. В какой-то другой роли, показал Дедков, народ писателю не нужен.

В точности дедковского анализа сомневаться трудно. Можно разве лишь заметить, что конкретный объект исследования лимитировал возможности всестороннего рассмотрения темы о ве-

ликом человеке и народе, пророке и толпе. Было бы, конечно, интересно узнать, что думает Дедков в этой связи о Солженицыне, например. Позднее какие-то внутренние метания можно будет различить в суждениях критика об Астафьеве. Дедкова не устраивают его обличительный тон и пафос, хотя в данном случае он уже не может говорить о самолюбовании писателя. Мысль критика здесь начнет спотыкаться. Но это еще впереди. Пока же и статья о Бондареве смогла прийти к читателю только в связи с занимавшейся горбачевской перестройкой. А до той поры Дедков еще больше был ограничен в выборе оппонентов.

И все же он находил возможность полемически заявить свою позицию. Вспомним статью «...Когда рассеялся лирический туман» о московских писателях 70-х годов (Кирееве, Рыбасе, Афанасьеве, Маканине, Гусеве, Мирневе), которые развернули апологию героя-гедониста, героя-релятивиста, сосредоточенного на личном интересе, на себе, единственном и неповторимом. Критик метил сразу в несколько целей.

С одной стороны, его целью является литературная группа, некоторые представители которой усиленно занимались саморекламой и говорили о небывалых «прорывах в высочайшие духовные сферы», осуществляемых ими. Мир, претендовавший на величие и красоту, Дедковым был раскрыт как мир плоский и пошлый, никаких откровений не сулящий. Ни особых художественных, ни больших жизненных открытий не произошло.

С другой же стороны, Дедков вывел на обозрение и блестяще охарактеризовал реальный тип среднего городского обывателя застойных времен, у которого амбиции сочетаются с нравственной расхлябанностью, а то и цинизмом. «В небе над ними нет звезд, да и есть ли небо?» — замечает критик о героях этой прозы, живущих в соответствии с известным афоризмом из тогдашнего фольклора: «О себе не беспокоюсь я, так как власти не мешаю. Лишь проблемы ниже пояса я и ставлю и решаю». Они занимаются «призрачными» (это слово подчеркнет Дедков) делами, забыв о том, что такое долг. Вместо настоящего, большого и благородного дела у них есть только служебные страсти и интриги.

Подцензурный критик не брался говорить о распространенности этого типа. Но его статья вела к выводу, что тип этот — не вымышленный. И если писатели склонны были воспевать своего героя, то критик видел здесь повод для тревоги.

Статья оказалась приговором не только определенной писательской генерации (из которой потом редко кто нашел в себе силы шагнуть — пусть не вперед, но хоть в сторону от вытоптанной

грядки). В близком подтексте это был приговор духовно необеспеченному, утратившему идеалы, измельчавшему поколению. В более отдаленном, но тоже явственном смысле это был и суд над эпохой, создавшей условия для процветания подобного человеческого типа. Здесь за критика договаривала сама жизнь. Трудно сомневаться в том, что многие наши культурные провалы 90-х годов связаны с характером поколения, вышедшего на авансцену истории — и оказавшегося (слишком во многом) банкротом.

Но до этого еще надо было дожить. До поры же до времени Дедков утверждал: став на народную точку зрения, писатель увеличивает ресурс народных сил — и тем способствует их торжеству. Здесь не предполагался, пожалуй, низовой плебейский бунт против правящей верхушки. Дедков не был революционером. Он надеялся на логику естественного развития, согласно которой каким-то образом укорененные в мире добро и справедливость должны были возобладать и пересилить зло и корысть.

Критика Дедкова — это попытка обретения и выработки народного взгляда на литературу. Отсюда, вероятно, спокойствие и взвешенность, простота и искренность тона, прозрачность смысла. Все симпатии выверены критерием «народности», личное Я по возможности спрятано и личная интонация не выпирает, зато всюду ощутима популяризаторская, разъяснительная установка автора, преисполненного чувства высокой ответственности.

Стертость личного начала не всякий сочтет достоинством критика. Но справедливости ради нужно сказать, что у Дедкова эта тенденция умерялась доверием к естественному, органичному развитию мысли. Он не пытался себя стреножить соцзаказом. Синонимом народности была естественность, непринужденность рассуждений. Критик не тянет головную мысль на поводке. Он дает свободу своей натуре — и получается, право, недурно. Где-то, конечно, ясность мысли теряется, и самых точных определений иногда не находишь. Есть чрезмерные, должно быть, многословие и беллетристичность. Но все это искупается на лучших страницах удивительной задушевностью, какой-то даже нежностью и утонченностью, которые обнаруживают себя без всякого усилия со стороны автора, без малейшего нажима и форсажа.

Культурно осмысленным жестом выглядела и его жизнь в провинции, где после университета прописался на постоянное жительство коренной москвич Игорь Дедков. В маленькой, уютной и теплой Костроме казалось, что народ живет рядом и вместе, что нити традиции не оборваны и не пресеклись, что провинция — мир бытийной глубины и подлинности. И в этом качестве она проти-

востоит столице с ее моральным упадком, безверием и цинизмом. (Вспоминаю, как, приехав в Москву в 1976 году, я этому поразился — и из насквозь идейного советского мальчика за год сформировался вполне законченный антисоветчик с «несчастливым», раздвоенным бытием.)

То ли о драматурге Островском, то ли, оглядываясь назад, о себе Дедков однажды написал: «Москва стоила того, чтобы сбегать от нее. (...) Подале, подале, — от московских интриг, начальства, брюзжащей критики, от вечно спешащих прогрессистов, от оголтелых консерваторов, от высоких материй, от нервотрепки...»

Однако отъезд из Москвы Игоря Дедкова, молодого критика, подававшего большие надежды, состоялся в 1956 году и был не уходом, не бегством, а сознательным поиском своего места в борьбе за обновление общей жизни, за чем последовала 30-летняя верность своему выбору. Этим его костромское жительство в контексте 70-х годов отличалось — совпадая лишь по видимости, но приобретая новые акценты, расставляемые временем, — от оппозиционных стремлений интеллигенции обеих столиц эмигрировать от советских мнимостей: в провинцию — и в литературу. Это были две суверенные страны, каждая со своей подлинностью.

В начале 70-х годов малоизвестный в ту пору советскому читателю поэт Бродский пронзительно писал: «Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря». Моря в России на всех не хватало. Впрочем, еще один поэт, Кублановский, одно время жил на Соловках, там, где билось когда-то сердце Белого моря. В Костроме, однако, есть Волга, изумительная здесь (в Ярославле, кстати, не хуже). Известный критик из Костромы Игорь Дедков среди этих настроений являл собой увлекающий пример плодотворности провинциального уединения.

Но бегство в провинцию прельщало не всех, немногих. Литература казалась доступнее и уводила дальше. По логике этого ухода, столичные критики дружно переквалифицировались в литературоведов. Провинциал Дедков этого делать не стал.

Ему было близко пастернаковское:

...Там он жизни небывалой
Невообразимый ход
Языком провинциала
В строй и ясность приведет.

Признаться? Признаюсь. Этими строчками он надписал мне последнюю из своих подаренных книг. И здесь столько же от напуганности, сколько от идеальной самоаттестации.

В своем народничестве Дедков на время как бы совпал с до конца еще не определившимся, размытым не то народопоклонством, не то национализмом 70-х годов, окопавшимся вокруг «Нашего современника». Но это все же было не окончательное родство (хотя и до превращения этого журнала в орган воинствующих изоляционизма и ксенофобии было еще далеко). Там, где иные видели повод для идеологической борьбы, для обвинения в адрес «русскоязычных» сограждан, слабо укорененных в суглинках и черноземах, Дедков различал тайну человеческой жизни, трепет вечно обновляющегося и никогда не прерывающегося бытия. Собственная «русскость» не была для него предлогом для агрессии. Художник, замечал он, должен зависеть «от судеб родины и народа, от великих идеалов и заветов человечества». Народ и человечество здесь не противопоставляются друг другу. Противоречия между ними искусственны, братская связь — органична. Дедков вспоминал, как в молодости он смотрел иностранные фильмы (Хуан Бардем, Анджей Вайда) и — «потрясенно думал: про нас, ну не совсем чтобы точь-в-точь — но про нас». Есть универсальные, всеобщие истины.

Здесь Дедков разошелся со многими. «Национальная идея» не влекла его. Национальные рамки казались ему ограничением универсальной стихии жизни. С его точки зрения, «восторженные фразы о национальном духе и душе нации не очень-то убедительно звучат в современном напряженном мире», потому что разобщают хороших людей.

Представление о гармонии между народом и человечеством сочеталось у Дедкова с прекраснодушным гуманизмом. И если с первым еще можно согласиться, попеняв на явную неполноту в осмыслении проблемы, то второй делает критика архаичным чудачком. В самом деле, можно ли в конце XX века упрямо верить в то, что доброта — это естественное свойство человека, что в него от природы заложены «неуклонная тяга к добру и справедливости, порыв к счастью и красоте»? Здесь этический натурализм Дедкова приходит в очевидное противоречие со всеми неприятными открытиями последних десятилетий о сущности человека. Говоря о положительном начале в человеке, критик употребляет даже выражение «божеский смысл», беря слово «божеский» в кавычки. Ясно, в общем, что дело тут не в Боге. Тогда в чем же? Кто награждает человека инстинктом добра — и за какие заслуги? На этот вопрос ответа у Дедкова нет. Зато логика его веры дает ему основания утверждать, что за отступление от своей природы (за зло, жестокость, подлость, безответственность, за

«жадно потребляющий индивидуализм») человека обязательно достигнет возмездие. И не за гробом, не в иной какой-то жизни, а здесь и теперь.

3

Для человека идеальное задание — совпасть с принципом добра. А для общества? Каков общественный идеал Дедкова?

Марксистско-ленинский идеологический официоз уже не дает ответов на все вопросы. Кажется, Ленина Дедков начал цитировать только тогда, когда в разгар перестройки приступил к работе в журнале «Коммунист», тогдашнем органе либерального крыла КПСС. И это нужно оценить, вспомнив значение цитаты «из классиков» для цензурного прохождения статьи во времена оны. Избегая, однако, по мере сил тактической игры, Дедков так и не перестал, кажется, исповедовать веру в возможность «обновленного социализма», «социализма с человеческим лицом».

По поводу разочарования Ю. Трифонова в возможностях общественного активизма и в перспективах создания лучшего мира критик замечал: «Проскальзывающий у Трифонова фатализм не имеет отношения к философии. Скорее, это фатализм настроения, лирический фатализм, связанный с накопившимися разочарованиями и обыкновенной человеческой слабостью». Себе подобной слабости Дедков не разрешал.

В 1987 году он извлечет из истории старика Тимирязева, чтобы напомнить о «социалистической правде», которая тому грезилась. Здесь к высшей ценности — правде — найден неслучайный для критика эпитет. Характерно также, что у Дедкова невозможно найти никакого «западничества» в смысле переноса норм западной «капиталистической» цивилизации к нам. Скажем еще, что напрочь лишен он, очевидно, был и ощущения провинциальности своей страны, ее культурной отсталости и почти полной исключенности из мирового культурного процесса. Кажется, он не успел этого заметить. Или не хотел замечать? Он ведь и так был провинциалом — и не успел понять, что «отсталость» — вещь относительная.

Как же выглядит идеальный социализм по Дедкову? Мы найдем у критика позаимствованную у Вернадского идею ноосферы. Совсем как Горький или Платонов, он понимает это как сплошное образумливание действительности путем изживания всего иррационального, всех «низших инстинктов». Причем почти верит, что это неизбежный процесс.

Однако то теория. Конкретнее и чаще Дедков говорил о счастье простой и честной, здоровой трудовой жизни. О мире, где «тяжелое, грязное, подлое преодолевается, пересиливается» — и где царят справедливость, доброта и великодушие. Есть «издавна обжитое народом великое пространство (...) огромный родной Дом». И нужно вернуть туда человека — к чистым голосам родной земли, к старому русскому берегу.

Кто спорит, идеал наивный. Не учитывающий никаких достоевских «миру стоять — или мне чай пить»... Идиллический Золотой век был противопоставлен современности, мечтой стоял на горизонте сознания.

В 1987-м он пережил, по собственному признанию, кульминационный момент. Показалось, что мечта начала сбываться. Возникло «ощущение праздника, сбывающихся надежд, возвращения правды», начинающегося «торжества разума и совести, явления достойных, воздаяния виновным»... Его переезд в Москву стал знаком конца — и начала. Казалось, кончилось подлое время застоя. Оказалось, кончилось все.

4

Он был уверен, что народ есть и будет, никуда не денется. У него не возникало серьезных сомнений в прочности этого фундамента, не было подозрений насчет того, что зло, может быть, утеснилось и здесь. Откуда здесь было взяться злу? Все зло приходит извне — от власти, от бюрократии, от сталинизма. Человек и мир по природе добры и совершенны — только на них надет хомут. Что-то неисправимо руссоистское было в нем — и отсюда он спорил с Астафьевым, упрекая писателя в слишком суровом суде над человеком и над народом. Спорил, не принимая душой апокалипсический взгляд Астафьева на XX век. Дедкову кажется, что и раньше такое бывало — и ничего, выпрямлялась жизнь, шла в гору. То, что Астафьеву виделось борьбой Бога и дьявола, ее последним, может быть, раундом, Дедков воспринимал как временное помрачение светлой человеческой сущности.

Одна за другой подвергались суровому испытанию свободой его натуралистические иллюзии. Раскрепощенный человек оказался чудовищем, беспощадным и кровожадным. От народа ничего не осталось, а грады и веси заполнила невменяемая толпа. Общество легкомысленно отреклось от провозглашенных Горбачевым «общечеловеческих ценностей», «нового мышления» и

«человеческого фактора». Махровый национал-социализм расцветал на площадях и в кабинетах власти. Едва ли мог он принять и то, что другим казалось религиозным возрождением. Умирали или отходили от него его любимые авторы, а новых он не мог понять, тем паче — принять. И вот после ярких, вызывающе смелых статей он вдруг замолчал, изредка только что-то говоря — и не сказать, чтоб очень уж впопад. Пишет, скажем, о разгуле националистических стихий — и признается, что затосковал «о ясной школе марксистской мысли».

90-м годам он не пришелся ко двору. Едва ли это порок. Если оглядеться вокруг, трудно не почувствовать и своей чуждости многому из того, что обступает тебя со всех сторон. И все же ситуация Дедкова была намного драматичней, чем опыт многих других, менее склонных к идеализму и оптимизму.

Что осталось после того, как он ушел? Остались максимализм стремлений, пафос высокой цели, призыв к художественной и гражданской ответственности и исследовательской самоотдаче. Дедков не был великим интеллектуалом. Он был теплым, милым, душевным человеком. Он искал и находил светлые стороны в человеке и в социализме, потому что сам был светел — от Бога, что ли, это ему удалось? У него была интуиция полноты и неистребимости жизни, ему был дан опыт вечности, выразившийся в неодолимом порыве к высоте и праведности.

Аксиомой для Игоря Дедкова была самооценочность человеческой личности. Он не хотел видеть в человеке ад, тьму и бездну греха, которых не осилит самый разумный и благопристойный социализм. Он возлюбил человека — и можно ли сказать, что слишком возлюбил? В том, что он написал, содержится иррациональное знание, что человек не сводится только к разуму, в нем есть неисповедимая тайна. Он верил в подлинность человека в мире, где много ложного и мнимого. «Всюду, где человек живет, трудится, ищет лучшей доли, противостоит злу, побеждает и терпит поражения, всюду свершается вся полнота жизни и брезжит свой свет истины».

Этим светом озарены и страницы критической прозы Игоря Дедкова, озарено в памяти знавших его людей его лицо.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко-культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы, литературной критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь

остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, фило—софской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиального, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя.

Этот раздел БСК публикуется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

I. Художественная проза

Приступая к обзору журналов третьей четверти 1995 года, мы рады сообщить нашим читателям, что, выполняя наше обещание постепенно расширять круг аннотируемых литературно-художественных журналов, мы с этого номера включаем в наш «Путеводитель», кроме всем известных и постоянно обозреваемых нами «толстых» журналов, столичных и провинциальных, имеющих историю, традиции и более или менее сложившиеся репутации, также несколько новых российских изданий, которые стали выходить в последние годы, — «Постскриптум», «Комментарии», «Соло», «Другие берега», «Русский берег». Мы полагаем, что читателям «Континента» интересно будет знать, что печатается и в этих журналах, которые, несмотря на малотиражность и задержки с выходом очередных номеров, уже доказали свою жизнеспособность.

Начнем обзор со знакомства с романом, который мы готовы отнести к литературным событиям последнего времени и который рекомендуем прочесть нашим читателям. Роман Чабуа Амирэджиби «Гора Мгорбали» («Знамя», №7—8; переведен с грузинско-

го автором) назван именем главного героя — благородного, мужественного, вольнолюбивого человека, который не может ужиться с советской властью и потому обречен на странствия по архипелагу ГУЛАГ. Имея богатейший опыт побегов, 60-летний Гора поздней осенью, в пургу, совершает свой последний побег — из заполярного лагеря, отстоящего от ближайшей железнодорожной магистрали на полторы тысячи километров. Повествование сюжетно организуют пять месяцев пути, пройденного заметающим следы Горой по зимней заполярной тайге, и погоня, организованная стремящимся разгадать его замыслы начальником розыска Митиленичем, своего рода артистом сыскного дела, у которого еще не было ни одной осечки в поимке сбежавших заключенных. Для Амирэджиби существен прежде всего духовный смысл их противостояния — свободы и порабощения, и он именно в этом ключе тонко прорабатывает логику противоборства Мборгали и Митиленича. Роман, приближаясь к жанру обрамленной повести, ветвится вставными новеллами и отступлениями: «...жизнь — это то, что помнишь. Остальное — существование». Память Горы насыщена событиями, она поддерживает его волю и силы, помогает разобраться в прожитой жизни, в истоках своего характера, уяснить себе смысл практически бессмысленного побега. Он вспоминает Грузию времен своего детства и юности, родных, друзей, подруг, аресты, лагеря, побег, размышляет о судьбах России и Грузии, о Сталине. Размывая хронологические рамки своей истории, которая, по разным указаниям, могла происходить и в 50-е годы, и в годы 70-е, писатель верен, в основном, той манере, которая известна читателям его романа «Дата Туташкиа».

По уже сложившейся традиции, продолжим наш обзор, обратившись прежде всего к исторической теме. Как и в предыдущих обзорах журнальной прозы 1995 года (см. №№84, 85), мы вновь можем отметить обилие исторических сюжетов: историческая тема явно продолжает свою экспансию, стремясь к главенству на журнальных страницах. При этом интерес литераторов к *дореволюционной* истории, как и прежде, имеет исчезающе малый характер, тогда как *советская* история питает вдохновение прозаиков во все более возрастающем объеме.

Обращают на себя внимание и то, что исторические вымыслы мало привлекают авторов — наоборот, сносками, ссылками и оговорками они всячески стремятся подчеркнуть достоверность излагаемых событий, обнажить документальную основу своей прозы.

И еще одна, бросающаяся в глаза особенность, которая прежде не была так заметна и выразительна, — потоком идет *автобиогра-*

фическая проза, где историческое повествование выстраивается вокруг личности автора, связано с его личным опытом и где герои, факты и события отбираются и рассматриваются в меру их личной для автора значимости и интереса. Чем вызвана эта захваченность журнальной прозы стихией автобиографизма, судить преждевременно — следующие обзоры должны показать, насколько неслучайна эта тенденция. Пока же можно лишь предположить, что созревает, видимо, некая потребность в «приватизации» истории, которая прежде была госсобственностью и не допускала внутри себя частных владений, пресекая частнособственнические исторические инстинкты и притязания частных лиц, не удостоившихся роли исторических деятелей, на собственную историю и на свое место в истории общей.

Перейдем к конкретным произведениям, придерживаясь, как обычно, хронологического принципа.

Единственный обнаруженный нами случай обращения к до-революционной истории — **рассказ Марины Кретовой «Николай и Фанни»** («Лепта», №25), где излагается мелодраматическая история из петербургской великосветской хроники 70-х годов прошлого века. Действующие лица — великий князь Николай Константинович, племянник Александра II, и американская авантюристка Фанни Лир. В рассказ вмонтированы цитаты из ее переведенных на русский язык и опубликованных мемуаров. Безумная любовь великого князя к этой белокурой красавице длилась недолго — вынужденный сознаться в крайне неблагоприятном поступке (кража драгоценных камней из оклада иконы, принадлежавшей его матери), великий князь был объявлен сумасшедшим (или, действительно, был таковым?) и отправлен на жительство в Среднюю Азию, а Фанни уехала восвояси.

В советские времена погружает **«Альбом для марок» Андрея Сергеева** («Дружба народов», №№7—8), имеющий подзаголовок **«Коллекция людей, вещей, слов и отношений»**. Это несколько необычная автобиографическая хроника. Рассказ о московских детстве и молодости автора (с 1936 по 1956 годы) оформлен в виде то очень кратких, то пространных фрагментов, фиксирующих сохраненные в памяти детали жизни, характерные мнения и суждения, слухи и анекдоты. Автор тщательно отреставрировал эпоху, о которой идет речь. Не покушаясь на полноту картины, он стремится передать аромат времени, который задержался в мозаически пестрых подробностях быта рядовых московских жителей. К тому же по-детски наивное восприятие исторических перипетий дает им новую, свежую мерку. Описаны досуги и

друзья детства и молодости, быт и нравы коммунальной квартиры, дан очерк жизни отца автора, ученого-агрария. В хронике много смешных и забавных деталей, есть и страшноватые. Сергеев подробно рассказывает о том, как он учился во ВГИКе у Кулешова, а затем перешел в Иняз, как пытался сохранить себя под идеологическим прессингом. Завершает хронику рассказ о дружеской компании литераторов-вольнодумцев (Чертков, Красовицкий, Андреева и др.), в которую входил автор в середине 50-х годов.

«Страна Чащоба» Виктора Соловьева («Север», №2) — «охотничье повествование», выполненное в пришвинской манере. Но философская печаль по исчезающим лесам и благодарность природе за долгие годы общения с ней — это один пласт «Чащобы». Неспешный, скрупулезно детализированный рассказ о последней охоте перемежается живыми воспоминаниями об истории семьи, о том, как отец, партийный работник (Ленинград 30-х годов, быт тогдашней номенклатуры, близкие реалии гражданской войны, живущие в лексике и поведении отца), заболев, переезжает по совету Кирова с семьей в Карелию, ближе к природе, столь любезной его сердцу страстного охотника. Там, среди «сплошных лесов», расположился маленький тогда Петрозаводск, место ссыльных разных национальностей, городок со своеобразным укладом, нашедший в лице автора «Чащобы» своего бытописателя. Повествование недавно ушедшего из жизни петрозаводского писателя, задуманное как обширное полотно, своего рода сага об этом лесном крае, обрывается на полуслове...

Алексей Смирнов в «Автопортрете в лицах» («Знамя», №7) смотрит на мир глазами мальчика 30-х (?) годов, орнаментируя незамысловатые истории о посещении магазина тканей и о расстройстве желудка забавными подробностями, фразами и жестами. Небольшой самоцельный лирический и психологический этюд.

События «невьдуманной повести» **Андрея Блинова «Капкан» («Север», №№4—5)** происходят в первые дни войны на Карельском фронте. Вступительные главы передают известное уже читателям военной прозы ощущение начала войны как чего-то нереального: бои громыхают пока еще далеко от Петрозаводска, в городе, в семьях военных продолжается некое подобие мирной жизни, а молодой боец стыдится писать письмо девушке, ибо он «еще ни разу не выстрелил, да и живого врага не видел». Главный герой повести — командир бронепоезда, участник недавней финской кампании, готовый «бить финского агрессора

нешадно». Но одновременно он ловит в своей душе «смутное сожаление о судьбе финской нации» и даже вину, ибо считает события 1939—1940 годов несправедливыми по отношению к финнам. Правдоподобие подобного рода мыслей у советского офицера тех лет выглядит сомнительным. В остальном же это вполне традиционная военная проза, «невыдуманность» которой подкрепляется сносками, где уточняется дальнейшая военная биография героев.

Военным годам посвящен и роман Владимира Бута «Орел-решка» («Дружба народов», №4), публикуемый в журнальном варианте. Это обширное многоплановое и многословное повествование о десанте в Крым осенью 1943 года, закончившемся полным провалом. Сменяют друг друга эпизоды борьбы с врагом и со стихией, освещена и зловещая роль смершевцев и заградотрядовцев в операции. Роман выполнен в традиционной, хроникально-бытописательной манере и сопровождается напутственным словом Василя Быкова.

«Записки беспогонника» Сергея Голицына («Наш современник» №№7—8) тоже рассказывают о войне, во время которой автор, потомок рода Голицыных, геодезист и топограф по профессии, был военным строителем. Начинаясь словами «Я всегда считал, что мне в жизни повезло», записки до конца выдержаны в этой бодрой оптимистической тональности. Военные строительные объекты, перемещения и командировки, прифронтовой быт, отношения с коллегами и начальством, встречи и разлуки с семьей, картины военной Москвы, разрушенного Сталинграда, Варшава, Восточная Пруссия, Берлин — всю эту фактуру, изложенную в очерково-документальной манере, пронизывает чувство гордости за свою страну, за победивший народ и высвобожденное, окрыляющее сознание того, что он, «бывший князь, бывший лишенец, который почти 20 лет подряд боялся, что его посадят», был признан своим, преодолевал те же трудности и лишения, что и другие, ничем от них не отличаясь, и даже был отмечен наградами за свой труд...

«Рота особого назначения» Олега Россиянова («Урал», №5) — воспоминания о войне, о том, как автор, вчерашний школьник, был призван в «роту особого назначения»; его столкновение с реальностью войны — это столкновение и с системой слежки, недоверия, тайных расстрелов и т.д.

«Воспитание по-военному» Бронислава Холопова («Дружба народов», №4) — рассказы о мальчишке военной поры из Ярославля, о семье и родственниках, о барачном быте, детских

друзьях, играх и проказах. Это задушевные мемуары, воссоздающие атмосферу и топографию детства. Здесь немало метко схваченных подробностей тыловой жизни.

«Записки чжунгоуаиста» Михаила Демиденко («Нева», №7) — рассказ о том, как автор учился в школе военных переводчиков, изучал китайский язык, а потом работал в Китае, который только что стал тогда коммунистическим. Демиденко сообщает различные анекдоты из своей китайской жизни и делится сообщениями о вековых константах китайской политической жизни (Мао сопоставляется с Шан Яном и т.п.).

Новые рассказы Асара Эппеля «Из книги «Шампиньон моей жизни» («Дружба народов», №7) — очередные истории про обитателей московского пригорода 50-х годов, выполненные в обычной для автора манере: рельефные картины, тщательно выполненные очерки жестоких нравов, бессмысленных ритуалов «травяной улицы», эротические акценты. Герой одного из рассказов — обозленный на весь свет подросток-мастеровой с огромным самолюбием. В другом рассказе впавший в тихое безумие старик кончает с собой.

Сочинение Михаила Кураева «Встречайте Ленина!» («Новый мир», №9) имеет подзаголовок **«Из записок Неопехедера С.И.»**. Это история о том, как в 1967 году райкомовский чиновник в Ленинграде выступил с предложением, богатым политическими дивидендами, устроить инсценировку «повторной, или мемориальной встречи Владимира Ильича на Финляндском вокзале в рамках юбилейных торжеств в связи с 50-летием Великого Октября». Затея эта оказалась чревата для Неопехедера сплошными неприятностями. Сначала его, одоббив и интригански перехватив инициативу, отодвинули в сторону от организации действия, а после он еще был и наказан, когда сама акция обернулась чистым фарсом. Подробности этого фарса изложены обстоятельно, повествует о них сам Неопехедер, записавший отчет о происходившем на оборотной стороне протоколов бюро Выборгского райкома КПСС (в окончательный текст попало и то, что было отпечатано на лицевой стороне). Сочинение можно определить как партийно-советскую эксцентриаду, развернувшуюся в «колыбели революции» и несущую отпечаток эпохального абсурда и маразма системы в особом, ленинградском его проявлении.

К застойным временам относятся рассказы **Владимира Березина («Дружба народов», №5/6; «Новый мир», №7)** — россыпь самых разных историй из городской жизни. Автор перебирает подробности своих встреч, рассказывает о родстве и свойстве, о

местах, где жил, о необычных судьбах и т.п. Обращает на себя внимание интерес автора к сочным деталям (со ссылкой на В. Шкловского), к необычному и забавному. Есть и лирические акценты. Автор прощается с людьми, от которых «пахло дешевым вином и плохими папиросами»: «кончилась эпоха».

«Конфискованные письма» Германа Обухова («Звезда», №6) — четыре отобранных редакцией (из обширного цикла) послания, адресованные автором, сидевшим по политической статье в зоне, любимой девушке. Рассказано о детективных обстоятельствах выслеживания автора гэбистами и об его аресте с портфелем компромата, о жизни в зоне в 80-е годы.

Галина Щербакова в рассказе «Косточка авокадо» («Новый мир», №9) от имени хлопотуньи-героини повествует о богемно-околодиссидентском московском кружке, собирающемся на квартире непрактичной идеалистки Аси где-то на рубеже 70—80-х годов. Главная тема рассказа — вырождение диссидентства в декадентство, в безответственный анархизм и поиск пряных наслаждений. Модные игры по канве романа Булгакова «Мастер и Маргарита» приводят к трагикомическим последствиям, устранить которые приходится рассказчице на паях с сердобольной дамой из райкома. Весьма симптоматичный сюжет застойных времен представлен в рассказе средствами и в манере бытового анекдота, что несколько мельчит важную суть истории, схватывающей существенную черту духовной жизни позднего застоя.

Рассказы Юрия Гальперина («Волга», №8/9) — истории из стройбатовского казарменного быта и барачных буден военного поселка застойных времен. Безотрадная и бескрасочная черно-белая графика.

Продолжая обзор исторической темы, мы хотели бы выделить ряд произведений, тоже обращенных в прошлое, но из-за *«перемешанности времен»* однозначно «уложить» их в определенную хронологию представляется весьма затруднительным.

Здесь мы прежде всего отметим роман Якова Кумока «Мелимойе, или Рукопись, прочитанная на баррикаде» («Дружба народов», №№2—3). Речь идет, по всему видно, о вильнюсских баррикадах 1991 года, когда рассказчику, ученому из Израиля, приехавшему разбирать случайно уцелевшую еврейскую библиотеку в заброшенном подвале, приносят рукопись. Далее в романе пересекаются несколько планов: современные фрагменты (распад Союза, война с Ираком и т.п.), отрывки из дневника еврейки 1941 года и, наиболее подробно, эпизоды из рукописи. В последнем сюжете бывший фронтовик-инвалид рассказывает о своей встре-

че после войны с прибалтийской поэтессой Рут, об их романе, о разлуке и гибели Рут. В мемуарном отражении возникает образ трагического художника, остро переживающего расколы эпохи и подвергающегося нападкам агрессивных националистов. Рассказ о любви ведется на фоне напряженной политической борьбы в послевоенной Прибалтике и окрашен чувством неискупимой вины, которое не покидает автора записок, не прощающего себе несчастий и смерти Рут. Романтическая поэзия страстей стирается и сменяется грубой, беспощадной прозой социальных конфликтов и тоталитарного насилия.

В обширном романе Петра Паламарчука «Нег. Да» («Москва», №№8—9), где, судя по всему, много автобиографических житейских обстоятельств и подробностей, мирно соседствуют история 200-летней давности — обрывающаяся посреди романа хроника жизни тирольского дворянина Приуделя, генерала русской службы, партизана Отечественной войны 1812 года, и история 50-летней давности — описанное в том же хронологическом ключе житие архиепископа Зарубежной церкви Иоанна, в миру Михаила Максимовича, его пастырское служение в заграничных приходах. И само по себе — прерываемое вышеназванными хрониками — идет жизнеописание (в хроникально-очерковой манере) молодого человека по имени Рикс, выпускника московского Иняза с историческими интересами. Связь между сюжетами вроде бы такая: Рикс сначала собирается сделать героем своих исторических изысканий генерала-партизана, но затем, крестившись и постепенно погружаясь в мир духовных интересов, остывает к генералу, все более склоняясь в сторону владыки Иоанна. Проводя время между библиотечно-архивными занятиями и богемной квартирой своей сильно пьющей подружки Нины, у которой он 37-й по счету, герой, получив у нее отставку и отбратившись от богемы, облачается в гусарский мундир, ко многому обязывающий, и вместе с другими такими же волонтерами идет в пеший поход по местам боевой славы от Бородина до Березины, приняв по дороге крещение. Затем в том же мундире он попадает в Париж, где ему оказывают радушный прием глава императорского дома великий князь Владимир Кириллович с супругой, и далее Рикс, приобщившийся к монархической идее, совершает полуторамесячное путешествие по Европе под заботливым присмотром эмигрантов из знатных русских фамилий. А тем временем в Москве без него хоронят допившуюся до безобразия его подружку Нину. Для возвратившегося Рикса она посмертно вырастает в символ несчастного поруганного тела России,

а владыка Иоанн — в символ духа России, отлетевшего от нее, и герой видит свою задачу в их воссоединении. Если бы не авторская подсказка, разгадать эти символы и уяснить смысл всей постройки было бы затруднительно.

В отдельную подборку выделим и произведения «псевдоисторические», действие которых происходит как бы и в прошлом, но историческое время служит при этом лишь в качестве условной декорации, на фоне которой разворачиваются события, построенные на основе игрового конструирования или появившиеся на свет в результате полета фантазии, едва касающегося реальности.

Повесть Владимира Краковского «Наисчастливейшие времена» («Октябрь», №7) начинается с анекдотов о проделках Сталина и Берии (в духе черного фарсового юмора) и продолжается рассказом некоего писателя, которому было поручено создать книгу о засекреченном ученом, который вывел особый сорт пшеницы. Собирая материал, писатель узнал много лишнего, а потому был отправлен на спецпоселение, где ему стало известно, что Сталин вовсе не умер в 1953 году. К концу повести речь уже идет о возвращении вождя в большую политику, что можно интерпретировать и как беззаботную игру писателя-затейника, и как простоватую попытку прогноза. Забавные анекдоты и другие мелочи не искупают явной затянутости этого сочинения, искусственности интриги.

«Возвращение в Союз» Дмитрия Добродеева («Дружба народов», №2; главы из книги — «Соло», №16) — журнальный вариант сочинения, в котором герой, меняя имена и прозвища, убегает от преследования в самых разных пространствах и временах советской истории. Есть и попытки стилизаций в духе современного «Декамерона». В то время, как на сцене замышляется некое эротическое шоу, на заднике кулис возникает то КГБ времен тов. Ягоды, то космический полигон в Капустинном Яре, то Лиепайский плацдарм Великой Отечественной, то застрявший в снегах состав Москва-Владивосток из Гражданской. Это игровой очерк метаморфоз, преследований, избиений, убийств и проч., причудливо перемещанных по воле автора, проживающего где-то за границей.

Василий Аксенов в рассказе «Карусели» («Юность», №7) также смешивает пространства и времена. Приятельские застолья и вечеринки 60-х, аудиенции в отделе культуры ЦК, странствия на «Красной стреле» (ехал в Ленинград, а попал в Ригу) переплетены здесь с постсоветскими реалиями жизни и названы автором

«свиданием с молодостью». Возникает своеобразное бредовое поупурри, где времена и реалии советского и постсоветского характера перемешаны внутри чуть ли не каждого предложения. В итоге создается впечатление как бы некоего бытийного развала и хаоса, пронизывающего сознание рассказчика.

В рассказе Ильи Крупника «Дверь» («Дружба народов», №5/6) молодой герой путешествует по временам, покидая теплую постель и молодую супругу ради того, чтобы через странную дверцу войти в инобытийные просторы. Это небрежный ассоциативно-лирический этюд, мораль которого состоит в том, что лучше безбедно кувыряться в постели с женой, чем попасть куда-нибудь в 41-й год, в штрафбат и т.п.

В «Пробелах» Бориса Дышленко («Нева», №8) выписан странный питерский дом, где также можно попасть в исторический провал и очутиться в каких-то застойных временах, став свидетелем того, как гэбисты преследуют иностранку. Герой рассказа пытается ей помочь, но, кажется, не слишком успешно.

Борис Хазанов в «Хронике N» («Октябрь», №9), с подзаголовком «Записки незаконного человека», рассказывает об еще одном довольно странном путешествии. Автор записок попадает в глухую провинцию, в некий городок, где заводит разные знакомства, из которых наиболее примечательна встреча с неким Кузьмой Кузьмичем Фотиевым, любомудром, поклонником старины и учителем жизни. Тот учит любви, но не между мужчиной и женщиной, а к отцам — и о воскрешении отцов (а la Федоров), меж тем как злопыхатели обвиняют его в руководстве мафией нищих, в сожительстве с мальчиками — и в конце концов убивают. В записках помещены также трактаты, побочные истории, рассуждения о России, о совести, о собственности и проч.

Андрей Зосима во фрагменте романа «Хроника разочарованный» («Соло», №16) переносит читателя в галантный век очередного французского «Людовика любимого», чтобы описать некое пикантное эротическое состязание четырех провинциальных девушек, которое для забавы монарха придумал его услужливый клевет.

В «неоромане» Марка Шатуновского «Дискретная непрерывность любви» («Постскриптум», №2) нет сквозного действия, текст складывается из потоков сознания действующих лиц (включая автора), с голосами которых сливается и голос повествователя. Персонажи существуют в разных временных измерениях, перетасованных причудливым образом, — годы, предшествующие первой мировой войне, время самой войны, условные «наши дни»,

при этом некоторое удивление вызывает та наивная прямолинейность, с какой автор вводит новых персонажей: «...ей снились сны, перегруженные подробностями чужой, совершенно ее не касавшейся жизни». Нет в «неоромане» и любви, но много физиологии, которая, по Шатуновскому, организует частную жизнь. Человеку никуда не деться от своего естества, физиология и есть тот узел, которым связываются душа и тело, иначе душа улетела бы прочь с земли. Поэтому физиологические процессы — события, единственно достойные внимания, акт дефекации и мочеиспускательный процесс — глобальнее и существеннее всех текущих событий навязывающей себя общественной жизни. Для читателей В.В. Розанова эта «неороманная» философия, претендующая на новизну и излагаемая не без полемического задора, давно не нова.

Максим Скворцов в «Трех рассказах о любви» («Соло», №16) повествует об одном герое, который во время войны любил взрывать поезда, а потом добивать выживших, о другом герое, который любил насилловать красивых женщин, и о третьем, который любил убивать детей. Чтение этих вариаций на темы маркиза де Сада наводит на единственную мысль — о бессмертном желании иных литераторов во что бы то ни стало заявить свое я — и только.

Более изобретательный и тоже идущий по следам упомянутого маркиза **Николай Полянский** в рассказе «Клетка» («Соло», №16) скрещивает эротику с фантастикой. Размещенные в некоем условно-игровом времени немолодые супруги («им обоим перевалило за 500 лет») сильно надоели друг другу и для оживления и возбуждения чувств, поочередно меняясь, подвергают жестоким пыткам друг друга в специально изготовленной клетке с пыточными орудиями. Раз начав, они входят в азарт и прекращают свои садистские игры лишь по технической причине — все естественные органы вышли из строя, их пришлось заменить искусственными, нечувствительными к физическим воздействиям. Теперь огорченные супруги сдают клетку в аренду, и от желающих нет отбоя. Мораль: развязывание темных инстинктов ведет в омут, который затягивает человека.

Повесть М.И. Умнова «В поисках отца» («Русский берег», №1) посвящена, по авторскому замыслу, пробуждению веры в человеке. Сдвиги в пространстве и времени (начало века, 20-е годы), мистические видения, оживающие покойники, появление «шелкового» (князя тьмы) — все это, видимо, призвано передать кружной путь человека к Свету. Однако религиозно-мистические

туманности, которыми окутано повествование, невнятности и запутанности не свидетельствуют в пользу плодотворности такого пути.

Переходим к обзору журнальной прозы, обращенной к современности, к сегодняшнему дню и злобе его. Произведения разных жанров, тем и сюжетов, с разной поэтикой, философией и идеологией роднит одна общая черта — чувство обреченности на пребывание в сегодняшнем дне, таком, какой он есть, со всеми его безвыходностями, изверенность в завтрашних переменах, поиски смысловых ориентиров, ресурсов устойчивости и сопротивления в частном существовании. Это общая тенденция, но есть, конечно, и исключения.

Среди произведений, обращенных к нашим сегодняшним реалиям, выделяется повесть **Андрея Дмитриева «Поворот реки»** («Знамя», №8). Автор сводит в бывшем монастыре, а ныне наполовину музее, наполовину детском туберкулезном интернате, имеющем перспективу снова сделаться монастырем, несколько персонажей. Это — директор интерната, один из его питомцев (мальчик), отец мальчика, приехавший забрать его из интерната, дама, явившаяся присмотреться к монастырским стенам, за которые она решила в будущем удалиться, ее случайный спутник — бывший экскурсовод... Люди, в основном, побитые жизнью и уставшие от нее, безнадежно одинокие. Повесть лишена интриги, в ней воссоздается ситуация взаимного непонимания, невозможности контакта и духовной близости — и воссоздается адекватными этой ситуации средствами бессюжетной прозы. Писатель остро чувствует и тонко передает драму людей, не умеющих нащупать смысла в своем существовании, живущих по инерции. Очень сдержанно, в четверть тона он свидетельствует о душевной тревоге и боли человека и оставляет открытым вопрос о возможности сближения и взаимопонимания в неуютном, выстуженном и печальном мире. Повесть, резонирующая на традицию экзистенциальной прозы, в то же время несет в себе актуальный заряд. Слог автора изыскан и пластичен.

В своих новых рассказах **Александр Хургин** («Дружба народов», №8) снова рассказывает о жизни горожан, будни которых тоскливо-однообразны, пошлы и унылы. Алкоголизм, безрадостный блуд, невращения на грани психического расстройства — вот излюбленные мотивы писателя. В одном из рассказов герой возненавидел женщину, которую постоянно встречает в автобусе, и в конце концов, проникнув в ее дом в роли любовника, убил

ее. В другом рассказе по случаю отъезда жены и дочери героиня гулит с приятелем на всю катушку, блудит и пьянствует, но нисколько этому не рад. Мерзости быта — постоянная тема Хургина, решаемая довольно монотонно, в одном регистре. Это изобразитель бытовой «чернухи».

Повесть Алексея Варламова «Рождение» («Новый мир», №7) — это история о том, как поздняя беременность жены и рождение первого ребенка сблизили немолодых супругов, подмосковных интеллигентов, дав им опыт совместных переживаний. Впридачу эти перипетии отвлекли мужа от политических забот, приведя к выводу, что жизнь ребенка ему дороже, чем «судьба страны и судьба демократии». Окружающая действительность изображается автором как бедлам и хаос, единственное от нее спасение — поскорее окрестить ребенка, во всем слушать священника и крепко держаться друг за друга. Частный и семейный интерес противопоставляется Варламовым общественной ангажированности и вообще всяким притязаниям большого мира, воспринимаемого как чуждая и враждебная сила. С позиции подобного православного сентиментализма заботы малых сих важнее и значительней всех и всяческих социальных универсалий, путчей, демократий, Великих Росий, Егоров Гайдаров и т.п. Повесть довольно аморфна и явно несколько затянута.

Перекликается с Варламовым и **Татьяна Горбулина в повести «Мальчик с лисенком в конце октября»** («Север», №3), наполненной маргинальными героями, подробностями барачно-хрущобного быта, бесхитростными заботами персонажей, в сознании которых вопрос, где сдать бутылки и купить очередную выпивку, занимает наипервейшее место. В городке живут две пожилые сестры, родом из деревни — «правильная» учительница и с молодости гулена Зоя со своим сожителем Арсюшей, вечным подростком, существом наивным и неприкаянным. Замкнутый «ветошный» мирок Зои и Арсюши, увиденный небрезгливым взглядом автора, их каждодневное копошение, недавние еще скитания по общежитиям в неравной борьбе за прописку, мало соприкасаются с большим миром города, лишь изредка напоминаящим о себе отдаленно звучащими митингами и словами «приватизация», «демократы». Временами повесть опасно граничит с дидактикой («маленький человек и бездушное государство»), но лиризм и теплота в обрисовке героев счастливо удерживают автора на этой грани.

«Последний рассказ о войне» Олега Ермакова («Знамя», №8) возвращает к афганским реалиям. Молодой писатель Меще-

ряков, герой рассказа, вспоминает об афганской кампании, в которой некогда участвовал. Ермаков с присущей ему тщательностью реконструирует армейские будни, воссоздавая мир жестокости, грубости, грязи, чад и угар войны. И в то же время герой пытается освободиться от памяти, которая только отягощает, не помогая понять, зачем вообще нужна война и откуда в мире столько зла. Он хочет написать о настоящей жизни — в поле, в лесу, в глазах ребенка... Но автор убивает героя руками хулиганов на ночной улице. Пацифистская проза с неопределенно-гуманистической тенденцией.

К прошлому обращен и герой рассказа **Юрия Максимова** «**День рождения**» («Наш современник», №9) — исповеди бывшего диссидента с оставшейся за плечами бурной молодостью, участием в правозащитных организациях, журналах, акциях, с тюремными и лагерными сроками. Под «осенним мелким дождичком», один на бульварной скамейке, он отмечает свой день рождения двумя бутылками дешевого сухого вина и подводит грустные итоги жизни. Они страдали, боролись, как будто победили, но — были отодвинуты и оказались ни при чем («мы, старики, даже в подметки не годимся нынешним молодым нахрапистым делягам от политики... самые известные, самые деловые и нахальные из нас сейчас на третьих ролях... Солженицын и тот никому не нужен — того и гляди в шутовской колпак нарядят... даже бывшие полицаи со “Свободы” в большей цене, чем мы...») Ни признания, ни благодарности, ни даже сочувствия. Пойти некуда и не к кому — один в коммуналке, без денег, без славы, без власти, отчуждение от бывших товарищей, родная, но чужая, выросшая без него и не уважающая его нищета дочь...

Еще один «бывший» человек в повести **Вячеслава Репина** «**Последняя охота Петра Андреевича**» («Другие берега», №6), под которой стоит подпись «Париж. 1992—93», придающая повести ностальгически-личную окраску. Ориентированное на русскую реалистическую прозу неторопливо текущее повествование, в котором обстоятельные картины осенней среднерусской природы, подготовка к охотничьему священнодействию, портреты провинциального начальства, исполненного холопского рвения перед столичным гостем, — фон, на котором разворачивается судьба генерала, приехавшего в родные места, чтобы пулей поставить точку в своей жизни. Настроение подавленности и растерянности, которое переживают сейчас люди старшего поколения, у генерала, сильного и целеустремленного человека, честно сделавшего немалую военную карьеру, усугублено личными мотивами — политическими и

моральными разногласиями с сыном-писателем — правда, не очень внятно прописанными.

В рассказе **Михаила Бутова** «**Чины совершаемые**» («Дружба народов», №5/6) молодой москвич встречает в чужой квартире и в полном одиночестве Пасху. Он настроен весьма возвышенно, но не может избавиться от ощущения неприкаянности, затерянности в мире.

Владимир Насущенко в рассказе «**Старуха и мизантроп**» («Нева», №9) детально описал быт уединенно и бедно живущих в Петербурге старика и старухи, у которых есть только одно близкое существо — кошка. Сентиментальная история о людях, которым выпала старость в чужое для них время, равнодушное к аутсайдерам.

Похоронная тема в рассказе **Валентина Распутина** «**В ту же землю...**» («Наш современник», №8) — истории о том, как одинокая женщина-пенсионерка с помощью знакомого плотника ночью на лесной поляне похоронила свою мать, поскольку обычные похороны были ей не по силам и не по деньгам, — похоронила светло и торжественно, без спешки и казенных слов. А весной, придя к матери, увидела рядом свежую могилу — разрастается в лесу самочинное кладбище, знак протеста против грабительских и бездушных ритуальных услуг. В рассказе «**Женский разговор**» («Москва», №7) 16-летняя городская девчонка, бросившая школу, попавшая в дурную компанию, сделавшая аборт и в результате отправленная отцом на перевоспитание в деревню к бабушке, с критическим самодовольством слушает ее рассказ о любви, о двух ее замужествах, о детях, семейной жизни — бабкины мудрости ей ни к чему, сейчас надо жить по-другому. Два деревенских соседа Сеня и Вася из рассказа «**По-соседски**» («Москва», №7), в котором много веселых подробностей, ведут друг против друга военные действия, забрасывая пустые бутылки в соседский огород. Попытка мирных переговоров с застольем, с выяснением и налаживанием добрососедских отношений заканчивается новой вспышкой взаимного раздражения и продолжением военных действий.

Критически настроен к соотечественникам и **Александр Кузнецов** в рассказе «**Вечер встречи**» («Наш современник», №9) — имея дачу в деревне, он согласился на предложение завклубом устроить писательскую встречу, где собирался рассказать о «писательском труде», о своих книгах и историях, с ними связанных. На широко разрекламированное мероприятие пришло 6 человек, и, возвращаясь с него, он «смотрел на сидящих у

калиток на скамеечках мужчин и женщин, лениво переговаривающихся и провожающих нас глазами, на гуляющую молодежь с орущими транзисторами, на вылезших на улицу по поводу субботы пьяных мужиков»...

В рассказе Альберта Устинова «Надя-Надежда» («Наш современник», №9) история деревенской девчонки с добрым сердцем и со способностями, сбежавшей из деревни от пьющих отца с братом, обосновавшейся в городе и пытающейся жить как все, по-рыночному, но запутавшейся в жизни и уже окончательно несчастной.

Несчастны и старухи из рассказа Бориса Романова «Пай» («Наш современник», №8). На последнем колхозном собрании, куда они прибредают со всей деревни, стосковавшись по обществу, чужой человек из района сообщает им о роспуске колхоза и раздаче всем земельных паев, не спрашивая их согласия и не объясняя, что им делать с этими паями. Внук их когда-то раскулаченного односельчанина, вернувшийся в деревню с деньгами и непонятными замыслами, советует им не отказываться — за землю можно будет получить хорошие деньги или передать городским наследникам. От пая никто не отказывается. Но мыслими старухи возвращаются к прежней жизни, к своим погибшим на фронте мужьям и братьям, а сегодняшняя и тем более завтрашняя жизнь вызывает у них одну тоску. Мурманского лодчмана, героя рассказа «Pilot Тебеньков» — с прописанными приметамы постперестроечного хаоса и развала (ледоколы с финским оборудованием обворовывают до последней медяшки, пароходство режут, как пирог. и раздают куски направо и налево, старики роются в помойках) нагло вербует бывший «партийно-хозяйственный товарищ» с «руководящими глазками», а теперь торгово-мафиозный делец крупного калибра, окруженный свитой из «брокеров» и охранников. За «приватные» информационные услуги лодчман, имеющий доступ на судно до таможни и пограничников, получит «процент с навара», а в случае отказа пусть пеняет на себя. Лодчман резко отказывается, дав понять, что сумеет за себя постоять. Но ему ясно, что это не последний разговор и что теперь в покое его не оставят...

Иначе выглядит тема «новых русских» в сочинении «Окнами на юг» Зои Богуславской («Новый мир», №8), которое названо «эскизом к портрету «новых русских». Это сюжетно-авантюрная беллетристика. Процветающий московский деловой человек Горчичников узнает об убийстве в Крыму своей подружки Муськи. Он срочно вылетает на поиски убийцы, чтобы покарать его, но

уже в Крыму постепенно узнает, что Муська жива-здорова. Просто она смылась в Испанию со своим старым дружкой Фрэнсисом. Непрост, однако, и Фрэнсис, у него своя тайна. Вскоре он заболевает и умирает от СПИДа, подхваченного от Фрэда, русского происхождением рок-певца. Муська же возвращается в Москву с намерением нырнуть в объятия верного Горчичникова. Рассказана эта история весьма серьезно, с некоторым даже надрызгом. Симпатии автора отданы положительному предпринимателю, которому приходится вести дело в невыносимых условиях, в мире рэкета, краж, убийств и измен. Ну, а Муську постигает возмездие за ее непостоянство: в финале она одинока. Попутно выясняется, что родиной СПИДа и гомосексуализма является Россия. Мстительная рука Москвы шарит по Испании, заражая и сводя в могилу тех неосторожных европейцев, которые отбивают у наших хороших ребят их сексуальных партнеров.

Герой «документальной повести» **Николая Иванова «Черные береты»** («Наш современник», №9), остросюжетного динамичного повествования с лихо закрученной интригой, — бывший командир взвода бывшего Рижского ОМОНа, испытывавший на себе черную неблагодарность «подставивших» его и его коллег «двумличных, готовых миллион раз перекрашиваться и переворачиваться предателей-руководителей», и вдрызг разочаровавшийся в политике. Супермен без страха и упрека, но со светлыми идеалами, владеющий приемами рукопашной «с биоэнергетикой», легко справляющийся с самыми свирепыми «качками» и с любым их количеством, он в поисках себя и заработка двинулся в сомнительную охранную фирму, оказавшись в лоне организованной преступности. Попутно с развитием любовно-спасательной интриги с раскаявшейся валпотной путаной-стриптизершей, герой становится свидетелем грязных досугов и животных развлечений «новых русских», а также раскрывает зловещую тайну засекреченных грузов, отправляемых в Европу, — в товарных количествах самолеты загружаются дефицитными внутренними органами свежих покойников, и владельцы грузов лично заинтересованы в провокации массовых беспорядков со смертельными исходами. Под влиянием всех этих впечатлений, сопровождаемых драками, слезками, перестрелками, страдающий за державу герой снова возвращается в политику, став в ряды защитников Белого дома в октябре 1993 года.

«Роман воспитания» **Нины Горлановой и Вячеслава Букура** («Новый мир», №№8—9) — забавно и разнообразно рассказанная история о том, как высокопробные провинциальные интеллигенты взяли в семью девочку с улицы, «прямо из

лужи», о всевозможной анекдотической житейщине, которая с этим оказалась связана. Немаленькое повествование имеет подзаголовок «фрагменты книги» — и действительно строится фрагментарно, как собрание пестрых эпизодов. В даровитой семье девочка расцвела, «как цветок», в ней открылись разные таланты. Но в конце концов она оказалась слишком предприимчивой и не очень благодарной. «Роман» написан остроумно и поверхностно, в той юмористической манере, которая характерна для его авторов.

Вячеслав Пьецух в повести «Рука» («Дружба народов», №9) поведал об обрусевшем еврее Яше Мугере, которому ненарочно повредил руку его приятель, коммерсант Бидон. Руку отрезали, в больнице Яша создал из соседей по палате «банду налетчиков», и история пошла писать кренделя, вовлекая в действие сумасшедшую старуху, которая беспрерывно шпарит наизусть тексты разных пьес, ее говорящую собаку, двух бродячих любомудров и прочих современный народ. Все это должно служить выражением «российской стилистики бытия» и иллюстрацией к заветным выводам автора насчет России, где извечны хаос, безобразие, бесформенность, бестолковость и безвыходность. Анекдотизм ситуаций отдает на сей раз некоторой надуманностью. Рукотворный абсурд выглядит не вполне серьезно. Нарочитая идеологизация сочетается с затянutosтью, аморфностью повествования. Более органичны короткие анекдоты о разных чудаках в рассказе **«Драгоценные черты»** («Дружба народов», №5/6). Среди героев — современный сельский марксист; дама с метеостанции, изо дня в день строго исполняющая всю программу замеров, которые никому уже не нужны; провинциальный изобретатель, придумавший аппарат, вгоняющий в сон, и т.п. Это новый вклад в пьецуховскую кунсткамеру странностей и чудачеств.

Повесть «Новое под солнцем» Веры Чайковской («Новый мир», №7) — римейк тургеневских «Отцов и детей», перелицованных на современные нравы. Теперешний Базаров — это искусствовед Кунцевич, архинигилист, твердящий, что в России все и всегда идет прахом, это «заколдованное место». Прочие персонажи, собравшиеся на подмосковной даче, ему по-разному возражают. В конце концов у Кунцевича не заладилось с любовным романом, и он навсегда уезжает на Запад, где читает лекции о русском апокалипсисе. Повесть фиксирует расхожие сюжеты современного интеллигентского словоговора и обычную бытовую, семейную неурядицу.

В **«Рассказе о взломанном ящике»** («Дружба народов», №5/6) **Алексей Михальчук** повествует о том, как много интересного

можно узнать и сколько приятелей и подруг завести, если посидеть в своем подъезде рядом с почтовым ящиком, оберегая его от взломщиков. Рассказ с примесью эксцентриады и фантазмагорин.

Новая порция рассказов Юрия Буйды («Октябрь», №9) — это еще несколько казусных историй в обычной для этого автора манере. Одна — о выпивохе и врале Алешке, который на глазах своих слушателей вознесся по воздуху ввысь. Другая — о женщине, у которой муж в день свадьбы впал в летаргический сон, а она десятилетиями преданно ждет его пробуждения.

В рассказе Василия Килякова «Будьте любезны!» («Новый мир», №8) осязтим опосредованный контакт с гоголевской «Шинелью». Это история о дружбе двух немолодых холостяков, один из которых как-то странно потерял другого и был безутешен.

В прозе не переводятся произведения *о судьбе художника*, его творческих полетах и житейских досугах.

В романе Александра Кабакова «Последний герой» («Знамя», №№9—10) центральное место занимают рассказы немолодого богемного донжуана о женщинах в его жизни, а также рассуждения на разные житейские темы, презентирующие усталого, утомленного жизнью, пресытившегося похождениями и авантюрами художника.

Роман Ильи Фаликова «Белое на белом» («Октябрь», №8) — это тоже исповедь утомленного и разочарованного московского художника о себе, о жизни, с воспоминаниями о спутниках и спутницах, с подробностями советского быта, в том числе богемного. Лейтмотив записок — «мысль о крахе, постигшем почти всех, кого я знал»: смерти, разлуки, неудачи преследуют героев. Остается недовыясненным: то ли художник занимался всю жизнь зряшным делом, то ли во всем виновата современная эпоха, неспособная оценить его талант.

Женщинам в своей жизни немало внимания уделяет и герой-повествователь очередного романа Михаила Литова «Возможность» («Лепта», №№24, 26), писатель средних лет. Между героями и читателем помещена остро преломляющая призма: персонажи в их взаимоотношениях выявляются не сами по себе, а опрокинутыми во внутренний мир рассказчика — пристрастный, резко субъективный, сотканный из капризных ассоциаций и пространных рефлексий. Размышления о различных вариациях телесной любви, выступающих под псевдонимами разных женщин, переходят в философические рассуждения вообще об эманациях любви, которые, в свою очередь, сплетаются с мыслями о жизни, твор-

честве, смерти. В романе немало аллюзий, отсылающих к античным образам и мифам.

Повесть Николая Крыщука «Короток твой дар, милая» («Нева», №6) — лирический дневник литератора. Сюжет неуловим, повествование составлено из афоризмов, меланхолических наблюдений, реплик на современные реалии, ассоциативных этюдов. В повести сменяют друг друга ирония, печаль и юмор. В ней много изящества, тонкости и даже истонченности, много замысловатых выражений (типа: «ушедшее приобретает форму несбывшейся вероятности»).

В «Записках к N...» Елены Скульской («Звезда», №7), с подзаголовком «Дневник для Николая Крыщука», тоже много метафор, афоризмов, тонких наблюдений. Осязательней здесь напор жизненного материала в воспоминаниях о годах учения автора в Тарту у Лотмана, о самом мэтре, о других преподавателях, о соучениках, нравах и обычаях тартуской провинции в советскую эпоху. Есть и сведения о быте литературной тусовки. Автор ведет из Таллина разговоры с Н. Крыщуком о литературе и о любви, сопровождая свои записки цитатами из писем (?) то ли вышеназванного питерского литератора, то ли уж неизвестно и кого.

«Гомункулус» — первый роман ученого-нейрофизиолога из Киева Олега Крышталя («Нева», №№7—8). Повествуется о талантливом киевском профессоре, о его бурном романе с питерской диссертанткой Верой и попытке омолодиться и приобрести лишнюю толику гениальности посредством рискованного научного эксперимента на самом себе. Рассказ о постельных перипетиях сочетается с научными беседами и пространными отвлеченными рассуждениями. К финалу выясняется, что Вера родила от киевлянина ребенка и, проявив бдительность, предотвратила попытку профессора ввести себе нечто в мозг, справедливо рассудив, что он и так достаточно умен.

Обширный роман Андрея Молчанова «Схождение во ад» («Москва», №№8—9) — политическо-мистический детектив, завязка которого относится к последним дням третьего рейха (приводятся раскрывающие «мистическую подоплеку» национал-социализма выдержки из текстов Гитлера, Геббельса, Гимmlера, в основном, касающиеся их отношения к еврейству), а развязка происходит в наши дни. Интрига закручивается вокруг портфеля с секретными документами, содержащими тайну общения с inferнальными силами одного из параллельных миров и принадлежащими некоему доктору Краузе, носителю сакрального знания, тайному мистическому советнику Гитлера. Портфель при

бегстве шофер Краузе спрятал в подвале особняка в немецком городке, оказавшемся в советской зоне оккупации. В борьбу за портфель включаются агенты ЦРУ и КГБ, сам чудом выживший Краузе, теперь магистр могущественного тайного ордена, обосновавшегося в Америке, а также агенты «тайного мирового правительства», «сионистская верхушка» которого тоже мечтает завладеть портфелем. В результате посещения параллельного мира, который оказывается населенным бесами, один из героев обращается в католичество, другой — в православие. Есть колоритные эпизоды и картинки из жизни молодых российских дельцов, перебравшихся в Германию и беззастенчиво обдeldывающих свои торгово-спекулянтские махинации с помощью продажных армейских чинов из Западной группы войск.

Р. М. Хумани в жанрово не обозначенном сочинении тоже с модным «мистическим уклоном» «Лик любви» («Соло», №16) рассказывает историю о том, как в камере женской тюрьмы необъяснимым образом умирает одна из зэчек. Следствие устанавливает, что во всем виноват некий Адам, мистически возникающий из небытия. Зэчки по его фотографии, изготовленной в начале века, вызывают его для сексуальных утех, после чего, утешив их, он исчезает, оставляя после себя кучку пепла. Майор Клава и тюремный начальник Гурий Иванович становятся жертвами следственного эксперимента по воплощению Адама и надеванию на него наручников. Для тюремного секса нет тюремных стен — видимо, такой радостный вывод надо извлечь из этой истории.

Тюремные декорации увлекают и **Николая Байтова** в повести «Шахерезада» («Легга», №26), построенной, как шкатулка с тройным дном — рассказ в рассказе еще об одном рассказе — каждый со своим сюжетом и своими действующими лицами. Некий персонаж, сидя в тюрьме, развлекает сокамерников занятными историями — от неудачного или удачного повествования зависит его благополучие, а может, и сама жизнь. Герой его истории ловил удочкой рыбу и поймал одного за другим трех карасей, исписанных стихотворным призывом отправиться на поиски зарытого неподалеку клада. Убежденный карасями герой идет по указанному адресу и обнаруживает зарытый труп молодой женщины с проломленным черепом. Дальше следует «ужасник» о том, как натурщица Наташа, обдумав сцены и мизансцены, срежиссировала свою добровольную смерть — надписала и отправила в пруд карасей, приятеля Сергея попросила убить ее топором, а труп зарыть, что он послушно и проделал. Приятеля Сергея посадили, но, успокаивает автор, ненадолго.

На любовной коллизии построена повесть Леонида Костюкова «Играем квартет» («Постскриптум», №2), выполненная в традиционной манере. Невротичный, неуверенный в себе, с выраженным комплексом неполноценности герой (от его лица ведется повествование) в конце концов влюбляется и женится на Ольге. Но появляется его школьный приятель и тезка Павел — женившись на сослуживице Павла-повествователя, он, тем не менее влюбляется в его жену Ольгу и в случае ее отказа угрожает покончить с собой. Автор вышивает психологические узоры, не доводя своих вялых, нерешительных, рефлектирующих персонажей до подлинной драмы, и все разрешается до пошлости интеллигентским образом.

«Наполовину о любви» Татьяны Любецкой («Дружба народов», №5/6) — «маленький роман», написанный бывшей чемпионкой мира по фехтованию на рапирах, — о взаимоотношениях старика и пущенной им к себе жилицы-девушки. После инсульта старик ведет дневник, записывая туда с необычайной тщательностью все, что ему подумалось, почувствовалось, рассказывая о себе, о близких, о всевозможных житейских обстоятельствах. Попутно разворачивается пестрая летопись жизни жилицы Нору. Старика и Нору связывает какое-то особое чувство, но старик медленно угасает и в финале выпадает из окна на землю, чем и кончается эта тягучая сентиментальная история.

«Майя! Вы — женщина из плохого фильма!» Светланы Мосовой («Нева», №9) — это апологетическое сочинение о женщине-празднике, женщине-осе, хрустальной рюмочке, предмете мужских влюбленностей. Майя живет спонтанно, легко и весело. Ее похождения и развлечения описаны с восторгом.

Женскую тему продолжает Анна Левина в романе «Брак по-эмигрантски» («Звезда», №№8—9). Это болтливое бытописание о жизни выходцев из СССР в Америке, в Нью-Йорке. Поочередно о своей жизни рассказывают мать и дочь — две тонких, изящных, благородных, во всех отношениях замечательных особи. В центре повествования — история брака матери с дантистом-эмигрантом Гариком, затем развода и судебной тяжбы по его поводу. Мужчины заведомо недостойны наших героинь. В лучшем случае от них остается «неприятное послевкусие», в худшем — они что-нибудь крадут и пропадают навсегда. Лучший из них, Гарик, оказался таким же проходимцем и чудиком, как и все прочие. Из романа читатель много узнает и о подробностях судебной процедуры в Америке, о коварстве тамошних адвокатов, обирающих своего клиента. Много в романе шума, суеты и юмора.

Свой вклад в тему «наши за границей» внес **Марк Зайчик**, представив два рассказа из израильской жизни («Звезда», №6). Один — о службе в армии, об армейских типах, о гневливом грузинском еврее Рафаиле. Другой — о странноватом юноше Давиде, которому ничего от жизни не нужно. Он живет с мамой и не собирается жениться или еще как-нибудь преуспеть, его не тянет за границу, а став обладателем машины, он ни разу не удосужился сесть за руль и сдвинуть автомобиль с места.

Валерий Былинский в рассказе «Риф» («Новый мир», №9) повествует о подростке из России, который почему-то живет на Кубе и развлекается различным образом (подводная охота, карнавал, любвеобильные негритянки, первый сексуальный опыт и т.п.). Рассказ ведется с ностальгической растяжкой, со смакованием подробностей.

Среди шумной литературной пестроты благотворное терапевтическое действие производят настроенные на мягкую тональность, по-своему мудрые рассказы **Бориса Екимова** «Память лета» («Наш современник», №9), в которых ни одного действующего лица, кроме садового сверчка (рассказ «Дворовая скотинка»), ни единого сюжета, кроме сюжета о том, как из малого семечка появляются на бахче «арбузята» и «арбузенки», а уже из них вызревают неохватные пудовые красавцы-арбузы (рассказ «Арбузный мед»). В рассказе «Самый долгий день» писатель показывает, каким неповторимым событием может стать для человека каждый проживаемый день, какое он вмещает богатство впечатлений от сменяющихся друг друга красок, звуков, запахов, какой это щедрый подарок для человека.

«Убийство в графстве Кент» **Аркадия Бартова** («Звезда», №8) имеет подзаголовок «Из серии «Речевые акты». В послесловии А. Пикач объясняет, что это абсурдистская пародия на жанр «чисто английского убийства» и стиль английского поведения; образец постмодернизма с берегов Невы, предполагающего наличие «алогичной логики с привкусом музыкальной неизъяснимости». Суховато-рационалистическая, довольно занудная, но зато недлинная конструкция.

«199... Хроника» **Игоря Мартынова** («Новый мир», №8) — фрагменты из московской жизни, в том числе богемной. Рассказано о ней с натужным юмором.

«Харьковская прописка» **Константина Победин** («Дружба народов», №5/6) — пестрое собрание разножанровых текстов; рассказов о всяких странностях, необычных встречах, комических рассуждений, каламбуров и казусов игрового характера (типа:

«Житель города N имел женщину, которая доилась и неслась. Давала примерно литр молока и одно яйцо в сутки»). Иногда изобретения Победина остроумны. Есть в них и опыты карнавального снижения («Над писсуаром, потупясь, стоял Владимир Ильич Ленин. Он бурно мочился»).

Дебютная повесть литератора 1972 года рождения **Андрея Балавдина «Человек по имени Ы»** («Знамя», №7) посвящена Д. Хармсу и довольно внешним образом имитирует повествовательную манеру последнего. Сочинение имеет подзаголовок **«Якобы повесть»** и выдается за «творения» пионера из Смоленской области. Это собрание странноватых анекдотов, где суть именно в самоцельной странности, а не в юморе или абсурдно-экзистенциальной подоплеке (как это было у поздних обериутов).

В **«Сравнительном анализе лишь двух типов русского оргазма»** («Соло», №16), принадлежащем перу **Елизаветы Лавинской — «скульптора, писательницы, девственницы»** (как через запятую она была представлена по ЦТ), кругая девственница рассказала несколько баек о том, как ее герои не без удовольствия лишаются невинности.

«Два рассказа» Елены Новиковой («Нева», №6) под рубрикой **«Новые петербуржцы»** — сплошной дамский кавардак: окрошка ассоциаций, наблодений, идей, синтаксические и лексические причуды.

Отметим также две журнальные публикации, относящиеся к жанру эссеистики.

«Без языка (Тексты, присланные из Германии)» Андрея Битова («Звезда», №6) — собрание, по характеристике самого автора, «случайных почеркушек»: записи в стол, наблюдения и ассоциации, рассуждения о творчестве, о немецкой культуре и ментальности, предисловие к французскому изданию повестей Петра Кожевникова. Словом, материалы к последним томам Полного Собрания Сочинений А.Г. Битова.

Олег Дарк в эссе **«Учебник гинекологии как эстетический источник»** («Комментарии», №4) приглашает отправиться в путешествие по женскому организму, утверждая, что «современный учебник гинекологии — культурная модель, в том числе литературы». Обильные выписки из соответствующих медицинских источников приправлены именами знаменитых литераторов — от маркиза де Сада до Вагинова.

И завершим обзор журнальной прозы жанром *путешествий* — новым *путевым очерком* по Святой земле **Валерии Алфеевой**

«Великая лавра Саввы Освященного» («Москва», №7), который содержит впечатления от паломничества в лавру, воздвигнутую над Кедронским потоком. В очерке подробно изложена история лавры и первых отшельников-поселенцев, житие Саввы Освященного и других аскетов, их подвиги, чудеса прозорливости и исцеления, история лаврских построек и сегодняшняя монастырская в них жизнь.

2. Литературная критика

По давней российской традиции литературная критика всегда играла большую роль в журнале, выражая его дух, определяя его лицо и сообщая единство разнообразию журнальных публикаций. Литературно-критический урожай третьей четверти 1995 года, как и прежде, не очень богат по части событийности. Погоду продолжают делать несколько имен, переходящих из одного нашего обзора в другой и взявших на себя труд — заполняя критическую рубрику тех журналов, которые упорно не хотят от нее отказываться, — поддерживать жизнедеятельность этой, с рыночной точки зрения, реликтовой, а с точки зрения иностранцев, загадочной литературной отрасли. В так называемых «патриотических» журналах литературная критика приказала долго жить, покидая место захоронения по большим праздникам. Охотники до литературных погромов из числа молодых дарований что-то затосковали в размышлении, куда податься, поскольку в литературе прошлой и нынешней они все, что могли, уже освистали и оплевали. Кризис жанра продолжается...

В центре *литературно-критических дискуссий* продолжает оставаться роман Г. Владимова «Генерал и его армия». Валентин Лукьянин («Урал», №5), размышляя о романе Владимова через год после его публикации, когда состоялась проверка временем и «приблизилась эстетическая (всевременная и всечеловеческая) суть произведения», отмечает «безупречную шлифовку каждой грани повествования, безукоризненную выверенность каждого штриха этой сложной художественной конструкции» и подробно анализирует роман, считая его образчиком глубокого психологизма и новаторским по сути и возражая тем критикам (имеется в виду резкая критика Владимова писателем В. Богомоловым), которые увидели роман лишь с точки зрения фактической достоверности/недостоверности исторических и военных реалий и только.

Возражает Богомолу и **В. Кардин** в статье «Страсти и пристрастия» («Знамя», №9), противопоставляя его мнению свои фронтовые свидетельства и опыт. Он склоняется к позиции Владимова в оценке генералов Власова, Гудериана и Кобрисова (как «типа советского военачальника») и роли смершевцев в армии — и отводит от Владимова обвинения в апологетике Власова и Гудериана. «Вопреки фактическим оплошностям, владимовский роман насыщен тревожным воздухом войны», — полагает Кардин, — есть в нем «художественная правда» и «правда историческая». Есть новизна — в передаче самоощущения героев в ситуации, когда русские поднимают оружие против русских. Кардин размышляет о «Третей силе» в войне, считая этот мотив важным для романа. Богомолу эту силу не признает. Кардин же предлагает задуматься над проблемой Власова, власовцев, трагедией военнопленных, огульно зачисленных в изменники. Еще одной важной проблемой Кардин считает происходившую в СССР фашизацию сознания. Он полагает, что нацизм уже давно проник в кабинеты власти и спецслужб. Перед лицом таких угроз критик предлагает не заниматься «зряшной пальбой» «по своим»: владимовский роман не заслужил облыжных обвинений в посягательстве на святые понятия.

Кардина поддерживает **Михаил Нехорошев** в статье «Генерала играет свита» («Знамя», №9), где критик обзореваает публикации о романе Владимова и по деталям возражает Богомолу, полагая, что тот слишком много вчитал в текст романа, приписал роману то, чего там нет, а потом обрушился на плоды своих фантазий с жесткой критикой. Нехорошев призывает внимательно читать сам текст романа и думать больше критика П. Басинского, изменившего свое мнение о романе после статьи Богомолу. Здесь раскрывается также имя прототипа Кобрисова: это Герой Советского Союза Никандр Евлампиевич Чибисов.

Критическая дискуссия развернулась вокруг последних публикаций Ю. Нагибина.

Владимир Лавров в статье «С отвращением читая жизнь мою...» («Нева», №9) пишет об опубликованном Нагибиным незадолго до своей смерти дневнике. Критик находит в нем что-то розановское: откровенность, доходящую подчас до бесстыжести, пряный эротизм, склонность к эпатажу, почти детскую незащитную искренность и беспощадные инвективы. Писатель долгие годы жил с «зажатой душой» и на грани жизни и смерти «с бесстрашной искренностью раскрыл ее перед нами». Критик удивляется незаурядности такого поступка.

Свое объяснение нагибинской откровенности дает **Лев Алабин** в статье «Тайна жизни и загадка псевдонима» («Наш современник», №8), посвященной автобиографической книге Нагибина «Свет в конце туннеля». В этой книге, по мысли критика, писатель появился в неожиданном амплуа — «писателя-антифашиста», первооткрывателя темы «русского фашизма», позволив себе «антирусские выпады» и «недопустимую тональность», причину чего нужно искать «не в истории русского народа, не в его психологии, а в сфере чистого фрейдистского психоанализа, публичный сеанс которого провел писатель Юрий Маркович Нагибин».

В дискуссию о романе Ч. Айтматова «Тавро Кассандры» включился **Валерий Исхаков** («Урал», №4), задавшись вопросом: «Кто теперь читатель Чингиза Айтматова?» Во всяком случае, вряд ли это поклонники «Буранного полустанка» и даже «Плахи». Сам Айтматов в одном из интервью с горечью отмечает «равнодушное молчание, с которым встретили роман в России, в то время как в Европе он пользуется успехом». И неудивительно, считает критик, ибо «Тавро ...» — приличный средневропейский роман. Даже почти американский, чрезвычайно простой для перевода, так как написан на языке «художественно-публицистического эсперанто». Еще шаг — и Айтматову, по мнению Исхакова, обеспечено место в ряду сочинителей триллеров и политических бестселлеров. А вот этические и эстетические проблемы, т.е. то, что составляло сильную сторону айтматовского дарования, в последней вещи оказались ему не по плечу.

В «Новом мире» (№8) состоялась дискуссия о современной поэзии. **Владислав Кулаков** в статье «Стихи и время» утверждает, что после Аушвица и ГУЛАГа традиционные культурные формы и поэтические средства уже теряют действенность. Новое языковое пространство, новый поэтический язык создают, по его мнению, Вс. Некрасов и Ян Сатуновский, которые пишут отрезками живой речи. Высоко оценивая опыт «концептуализма», критик отмечает по поводу И. Бродского, что тот все же ищет спасения в культуре прошлого, которая себя не оправдала; и не решается на деконструкцию главной акмеистской мифологемы «мировой культуры». Отвечая Кулакову, **Юрий Кублановский** в реплике «...знать, что это стихи» исходит из представления, что в поэзии есть тайна, а его оппонент хочет ее рационалистически стреножить. С точки зрения Кублановского, распад жизни не детерминирует распада поэтической формы. Поэтика не находится в преемственной связи с исторической мистерией. Нередко

залог поэзии — как раз в несовпадении с эпохой, с языком своего времени. Подводя итог обмену мнениями, **Ирина Роднянская** в реплике «Проблема все же есть...» предлагает свой взгляд на связь поэзии с исторической ситуацией. С ее точки зрения, Кулаков идеологичен и не видит того, что не входит в круг его миропредставления. Можно провести параллель между названными им поэтами и немецкими послевоенными литераторами (в частности, Гюнтером Эйхом), осмыслявшими «ситуацию ноль», когда все слова кажутся «виновными», задействованными преступным режимом и запятнанными им, а опыт бед представляется беспрецедентным, несказанным. Отсюда и в немецкой поэзии конкретистская любовь к перечням, минимализм впечатлений, стихописание «живой речью», отказ от рифмы. Но в целом ситуация в России иная. Коммунистическая диктатура отторгла целые пласты общекультурного и поэтического лексикона. Они остались неприсвоенными ею, на них нет печати порчи. У нас тоска по мировой культуре поэтому явилась тоской по человечности. Припоминание во 2-й половине века поэтами старых слов совпало с эстетической потребностью времени, которое опомнилось от обморока. И в этом труде по идеологизации и освобождению поэтического языка поэтам, названным Кулаковым, принадлежала только небольшая доля. Их прием навязчив.

С этими соображениями вступает в диалогическую связь концепция **Марка Липовецкого**, изложенная им в обширной статье «Изживание смерти. Специфика русского постмодернизма» («Знамя», №8). Критик предлагает считаться с тем, что постмодернизм — «дух эпохи», с характерным для нее отсутствием «категории реальности» и исчерпанием ресурсов культурного развития. Функция русского постмодернизма, по Липовецкому, — в момент культурного кризиса, тупика советской цивилизации он «сознательно создает ситуацию временной смерти культуры», переживает эту смерть. Полемизируя с И. Роднянской, критик утверждает, что постмодернисты не истребляют святыни, а пытаются пережить послесмертные конченных святынь, но не находят других, не конченных. Для Липовецкого неприемлемо уже то, что Роднянская вводит «внеэстетический абсолют»: «религиозную веру». «Но, к счастью, это мы уже проходили», — не очень логично замечает он и затем еще менее логично сам выходит за рамки сугубого эстетизма, выстраивая собственную квазирелигиозную систему. Во-первых, для критика особенность русского постмодернизма в остром переживании отчужденности от мировой культуры, изолированности — и в стремлении хотя

бы в пределах одного текста восстановить, реанимировать культурную органику путем диалога разнородных культурных языков, возвратить утраченный контекст, продуцировав его «из собственного письма» и создав «особое культурное поле», в чем Липовецкий видит сходство с латиноамериканским постмодернизмом. Во-вторых, критик считает, что постмодернизм сейчас саморазрушается, на смену ему приходит то, что некие американские теоретики называют «актуализмом», а Липовецкий и Н. Лейдерман однажды сообща окрестили «постреализмом». Ситуация постреализма — это момент осмысленности в хаосе логоса, живущего внутри хаоса, «хаосмоса». Постреализм преодолевает и продолжает постмодернизм, выдвигая зависимость на место главной для последнего ценности, свободы, и завершая временную смерть культуры, пережитой и отрефлексированной в постмодернизме. Постреализм — это новая гуманность, жалость, сентиментальность, умиление человечностью, не опирающиеся на корни в традиции. Липовецкий предлагает исходить из того, что ведомо «постреалистам»: в мире нет гармонии, а есть хаосмос — временное и сепаратное перемирие с абсолютной логикой хаоса. Постоянно совершенствуя свою концепцию, критик по-прежнему, однако, не объясняет, чем постреализм отличается от существовавшего до всякого постмодернизма экзистенциального реализма в духе Камю или позднего Платонова, лишённого религиозной опоры, и что, собственно, нового открыли постреалисты, какие художественные шедевры уже создали. В целом Липовецкий варьирует старые темы экзистенциально-атеистического философствования, которые, безусловно, отчасти актуальны и сегодня.

Другая статья М. Липовецкого «Мифология метаморфоз. Поэтика “Школы для дураков” Саша Соколова» («Октябрь», №7) — очень тщательная иллюстрация к концепции критика. Открытием Соколова является, по Липовецкому, диалог не с хаосом, а диалог хаосов внутри большого сознания. В «Школе для дураков» происходит «прятие хаоса как нормы, а не как пугающей бездны, как среды обитания, а не как источника мук и страданий».

Несколько тенденций в современном рассказе намечает Н. Александров в статье «Я леплю из пластилина...» («Дружба народов», №9). А. Эпель — представитель бытовой струи: изобразитель убогих ущербных людей, мира, далекого от приличий, густо окрашенного подростковыми комплексами в связи с проблемой полового взросления. Этот автор наплодил уродов, а

иногда еще и пытаются их судить, что, с точки зрения критика, возмутительно. Для лирической струи в рассказах характерны авторский субъективизм и волюнтаризм. Таковы рассказы В. Санчука. Но не всякое Я интересно; есть здесь и угроза претенциозности. Третья струя — «сделанный мир». Таковы «сюжетно-выстроенные» рассказы Ю. Буйды. Реалии здесь — послевоенная советская Восточная Пруссия — работают на сюжет; автор стилизует литературные традиции. В современных рассказах Александров находит много имитации творчества, мечтательности, необязательности, за примером обращаясь к рассказам С. Каледина, опубликованным в «Континенте» (№83).

Александр Архангельский в статье «Гей, славяне! Черты исторического самосознания на сломе эпох» («Новый мир», №7) отмечает массовый спрос на историческую литературу специфической тематики: жизнь русских царей и придворных, история сословий, рассуждения о «евразийском векторе» российской истории. В этом проявляется любование «внешностью минувшего», в то время как сознание национальной и личной вины и ответственности снято. Либеральные же историки работают лениво и не спешат выходить к читателю. Впрочем, Архангельский анализирует и популярные мотивы, в осмыслении которых есть вклад либералов. Это вопрос о месте русской интеллигенции, о взаимоотношениях Церкви и общества. Размышляет критик и о современной религиозной литературе.

Алла Марченко в небольшой статье «И духовно навеки почил?» («Новый мир», №8) рассуждает о современных «римейках». Этот жанр, по Марченко, ставит вопрос о том, сохраняется ли в России связь времен. Маканин в «Кавказском пленном», демонстрируя классическое качество письма и красоту слога, отвечает тем самым на этот вопрос утвердительно, в отличие от Е. Попова («Накануне накануне») и Ю. Кувалдина («Ворона»), у которых в героях фигурируют люди, не связанные с русской традицией. Сама критик не дает своей версии ответа, ограничившись фиксацией коллизии.

Из статей, посвященных творчеству отдельных литераторов, отметим следующие:

В статье «Обретение стиля: доэмигрантская проза **Василия Аксенова**» («Знамя», №8) **Сергей Кузнецов** называет Аксенова культовым писателем 60-х. Он создал образы, которых ждали сверстники: честных, независимых; мужественных мужчин, любящих технику, «не прочь выпить, переспать с подвернувшейся девушкой, при случае — дать в морду и т.д.» — а также соблазни-

тельных и неприступных девушек. Аксенов — творец собственного стиля, в том числе и стиля жизни (успех, слава, блеск, мишура). Впоследствии в «Ожоге» писатель инвентаризирует мифы, переоценивает их. Выпивоха превращается в алкоголика, борцы за правду — в озлобленных людей подполья, суровые мужчины и нежные девушки — в доносчиков и шлюх. При этом он по-прежнему эстетизирует и гиперболизирует черты поколения. По-новому миф о свободной жизни Аксенов воплотил в «Острове Крыме». Это «языковой эквивалент Запада, увиденного глазами советского человека», и аналог потерянного рая. С точки зрения Кузнецова, писательская судьба Аксенова состоялась к 80-му году. Он воздвиг памятник поколению, создал и закрыл шестидесятилетний миф. Стиль был обретен, а миф исчерпан. Дальнейшее творчество Аксенова — перечень неудач.

Инна Пруссакова в статье «Подросток Савенко перед зеркалом» («Нева», №9) видит в Э. Лимонове отражение типа эпохи, породившей Веденкина и Галковского. Книги Лимонова — документ эпохи. Это сага о себе, возлюбленном, обнажающая нарциссизм вечного подростка. Лимонов не способен к развитию и самосовершенствованию. Он не хочет ни учиться, ни работать.

В другой своей статье, «Погружение во тьму», **Инна Пруссакова** («Нева», №8) рассуждает о писателе Л. Петрушевской, которая взволнована слепотой и бессилием человека, но не предлагает никаких рецептов.

Разговор о Петрушевской продолжает **Евг. Щеглова** в статье «Во тьму — или в никуда?» (Там же). Признавая талантливость писательницы, критик все же не может примириться с тем, что Петрушевская игнорирует духовную реальность. У нее «нет мироощущения, которое было бы выше гиперреалистических фактов», а человек утоплен в распаде.

Феномен «митьков» разбирает **Любовь Гуревич** в «Прельстителе», обозначенном как «Попытка критики» («Постскриптум», №2), демонстрируя не книжное знание их жизни-творчества, деликатную и доброжелательную интонацию. Позиция адепта не мешает критику дистанцироваться и увидеть явление со стороны. А «прельститель» — это В. Шинкарев, чья система мироздания формулируется незамысловато и энергично: «Всё! Хватит трн-деть про сложность жизни! Жизнь проста!» Жизнетворчество В. Шинкарева («митьков») **Любовь Гуревич** комментирует так: «Он продемонстрировал, как можно создать душевный уют, согреться при минимуме средств и возможностей. Он польстил читателю —

потрафил его желанию расслабиться, старому упованию на святость простофильства, спасительность нищеты духа».

И завершим обзор статьей-манифестом писателя **Анатолия Королева «Смена запретов»** («Общая газета», №38). Возмущенный попыткой «читателя из Львова господина Сердюченко» объявить на страницах «Нового мира» (№5) беспощадную войну «литературному свинству», смакованию «телесного низа» и т.п., писатель видит здесь пример «самого махрового эстетического обскурантизма», «вспышку эстетической санации». «Взвинченность реакций на проблематику пола» говорит о патологическом нездоровье общества. «Суть этого шока понятна — homo читающий сталкивается на странице с подлинностью своего собственного бытия. И подлинность эта убийственна, как всякое переживание достоверности». «Человек, отрывающий свое эротическое днище от собственного восприятия, не сможет понять суть и смысл жизни на любом уровне». Столкнувшись с проблемой ввести в какие-то рамки «фаллический взрыв эротики» после отмены советских запретов на нее, Королев полагает: «таковы издержки любой революции», но «паническая реакция профанической критики» неадекватна. Сам писатель — и никто другой — должен «одновременно с текстом создавать и критерии, по которым его текст должен оцениваться», выбирать «границу самодозволенного». Новые литературные возможности, свобода изображения плотского и фаллического, по признанию Королева, делают его труд писателя «занятием, близким к отчаянию». «Но дух и долг писателя — диалог, и потому он всегда открыто стоит перед агрессией невозможных вопросов».

Художник *В. Лаврентьева*
Компьютерный набор и верстка *М. Егоровой*

ЛР № 010184

**Подписано в печать 24.01.96. Формат 84x108.32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 24,36. Тираж 10 000 экз. Заказ № 342**

**Адрес издательства «Московский рабочий»
и редакции журнала «Континент»:
101923, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8
Тел. редакции: (095) 928-97-42**

**Отпечатано в Московской типографии № 13 Комитета РФ по печати
107005, Москва, Денисовский пер., 30**

1995 год, № 4

«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Издательство «Новое литературное обозрение» («НЛО») выросло из недр журнала «Новое литературное обозрение» (теория и история литературы, критика и библиография) и продолжает культурную политику, проводимую журналом: объективное освещение современного состояния русской литературы и культуры, осмысление актуальных проблем русской культуры в мировом контексте, пересмотр устаревших категорий культурного сознания, сочетание высокого профессионализма с пафосом просветительства.

**В согласии с поставленными задачами
в издательстве развиваются следующие направления:**

ТЕОРИЯ — труды современных ученых по литературоведению, философии, культурологии, искусствознанию, сборники научных статей, работы отечественных и зарубежных классиков литературоведения.

ИСТОРИЯ — монографии отечественных и зарубежных историков, посвященные осмыслению важнейших событий и личностей в истории, мемуары деятелей литературы и культуры.

ПРАКТИКА — художественные, публицистические, учебно-образовательные издания. В художественной серии особое внимание уделяется переводам малоизвестной западной классики и современной словесности.

В «НЛО» в 1994—95 гг. вышли следующие книги:

Б. Дубин, Л. Гудков. ЛИТЕРАТУРА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ.

Игорь П. Смирнов. ПСИХОДИАХРОНОЛОГИКА (Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней).

А.В. Лавров. АНДРЕЙ БЕЛЫЙ В 1900-Е ГОДЫ.

М.Л. Гаспаров. ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ.

М.Л. Гаспаров. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ. Рассказы о древнегреческой культуре.

П. Энглунд. ПОЛТАВА. Рассказ о гибели одной армии (пер. со шведского).

О. де Бальзак. ФИЗИОЛОГИЯ БРАКА. ПАТОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

В 1996 г. выходят:

Н.А. Богомолов, Дж. Малмстад. **М. КУЗМИН: ИСКУССТВО, ЖИЗНЬ, ЭПОХА.** Одно из первых полных жизнеописаний крупного поэта и прозаика первой трети XX века, основанное на архивных разысканиях.

НОВЫЕ БЕЗДЕЛКИ. *Сборник статей к 60-летию В.Э. Вацуро.* Книга приурочена к юбилею замечательного филолога, одного из лучших специалистов по русской словесности пушкинской поры. Представлены статьи ведущих отечественных и зарубежных филологов по проблемам теории и истории отечественной литературы; дана также библиография научных работ В.Э. Вацуро.

И. Паперно. **ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ВЕК РЕАЛИЗМА.** В книге переосмысливается роль Н.Г. Чернышевского в истории словесности и общественной мысли XIX века, исследуются причины, побудившие общество воспринимать художественно слабые произведения как новое слово и эстетическое достижение, большое внимание уделяется личности самого писателя.

ВСЕ ДНИ, ВСЕ НОЧИ. *Современная шведская пьеса.* Фактически неизвестная русскому читателю драматургия представлена именами наиболее известных шведских авторов. Семейные драмы, экзистенциальные проблемы изображены с психологической глубиной и подчас шокирующей обнаженностью.

М. Ямпольский. **ДЕМОН И ЛАБИРИНТ: ДИАГРАММЫ, ДЕФОРМАЦИЯ, МИМЕСИС.** В книге известного культуролога собраны этюды, посвященные отражению телесности в культуре: различных форм телесных изменений — от гримасы и смеха до танца и блуждания в потемках. С этой точки зрения автор анализирует произведения Гоголя, Достоевского, Рильке, Эйзенштейна, Арто, Борхеса и др.

В. Паперный. **КУЛЬТУРА «ДВА».** В широко известной на Западе и впервые публикуемой в России работе на примере сталинской архитектуры и скульптуры исследуются смысловые и стилевые особенности тоталитарной культуры. Издание снабжено многочисленными иллюстрациями.

В. Мери. **МАННЕРГЕЙМ — МАРШАЛ ФИНЛЯНДИИ.** Пер. с финского. Первая биография на русском языке К. Маннергейма (1867—1951) — выдающегося финского военного и государственного деятеля, исследователя и путешественника, законодателя этикета и моды, писателя. Автор стремится увидеть живого человека, проследить перипетии его судьбы.

Адрес издательства: 129626, Москва, а/я 55, тел.: (095) 194-99-70

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

**ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«КОНТИНЕНТ»**

принимается во всех отделениях связи России.
Наш подписной индекс в каталоге «Роспечати»

73218



«КОНТИНЕНТ»

высылается по индивидуальным заказам агентством
«Книга-сервис» /тел.: (095) 129-29-09/

Жители Москвы и Московской области
могут покупать выходящие номера журнала в редакции;

а также:

в «Доме книги» (Новый Арбат);
в книжном салоне «19 октября» (Казачий пер.);
в магазине «Эйдос» (Чистый пер.);
в магазине «Человек читающий» (Зубовский бульвар)
и в киосках «Роспечати» Киевского района



«КОНТИНЕНТ»

приглашает на льготных условиях распространителей
и рекламных агентов

В разделе «ГНОЗИС»

Статья **Юрия Каграманова** «Мера пессимизма»
Эссе **Сарры Гофман** «Улица Орденэ — улица Лаба»

В разделе «ПРОЧТЕНИЕ»

Статья **Анджея Лазари** «Достоевский в идеологической борьбе наших дней»
Статья **Жоржа Нива** «От Жюльена Сореля к Цинциннату (Стендаль — Набоков)»
Статья **Вольфа Шмида** «Братья Карамазовы» — надрыв автора, или роман о двух концах»

В разделе «ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ»

Игорь Виноградов. «Литературные заметки 1. Третье возвращение Александра Солженицына. 2. Литературный дебют Сергея Бабаяна (еще один опыт «реальной критики»)»
Евгений Ермолин. Новая статья о современной ситуации в литературе
Марк Харитонов. Два эссе из цикла «Определения литературы»
Марина Кудимова. «Подселенец» (о поэзии Андрея Крыжановского)

В разделе «ИСКУССТВО»

Статья **Лидии Польской** «ТВ вчера, сегодня, завтра»
Беседы о современном театре. Интервью с С. Юрским, А. Демидовой, С. Женовачем

Читайте также в нашем журнале постоянный раздел
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» —
подробный аннотационный обзор прозы, литературной критики,
культурологической, философской и религиозной мысли
в текущей российской прессе



ВЫ ЕЩЕ НЕ КУПИЛИ АВТОМОБИЛЬ?
Продажа в рассрочку:
АО "Автоплан"

тел. 276-87-80



"МОСКВИЧ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРОДАЖА

Самостоятельная продажа

ПРОДАЖА

